

Русская литература

№ 4

И С Т О Р И К О - Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й Ж У Р Н А Л

1983

Г о д и з д а н и я д в а д ц а т ь ш е с т о й

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
А. Н. Иезуитов. Партия и актуальные задачи науки о литературе	3
Д. С. Лихачев. Поэтика повторяемости в «Слове о полку Игореве»	9
Н. Д. Кочеткова. Сентиментализм и Просвещение (о преимуществах идей в русской литературе конца XVIII—начала XIX века)	22
Н. Н. Скатов. Алексей Кольцов и русская культура (конец 30-х годов XIX века)	38
Аднан Салим. О проблематике романа И. С. Тургенева «Новь»	58
А. М. Абрамов. Об одном незавершенном замысле Маяковского (поэмы «IV Интернационал» и «Пятый Интернационал»)	72
А. И. Павловский. День и вечность (о философских воззрениях Александра Твардовского)	84

Ф О Л ь К Л О Р И И С Т О Р И Я (Д И С К У С С И Я)

Д. М. Балашов. Эпос и история (к проблеме взаимосвязей эпоса с исторической действительностью)	103
---	-----

П О Л Е М И К А

П. П. Охрименко. О хронологических рамках литературы Киевской Руси	113
О. В. Творогов. К вопросу о периодизации литературы Киевской Руси	118

П У Б Л И К А Ц И И И С О О Б Щ Е Н И Я

Г. Н. Моисеева. Новые материалы по истории Апостола 1307 года с цитатой из «Слова о полку Игореве»	128
В. Г. Березина. Дополнение к статье «Из цензурной истории журнала „Московский телеграф“»	133
Н. Ф. Веленгурин. Еще о кубанских маршрутах Лермонтова	136
В. А. Захаров. Две поездки М. Ю. Лермонтова на Кубань	139
Г. А. Тиме. О новых материалах второго академического собрания писем И. С. Тургенева	151

(См. на обороте)

Н. С. Травушкин. Буревестник до и после Горького (символ, метафора, слово-сигнал)	158
В. В. Ефимов. Две статьи А. В. Луначарского о Льве Толстом	164
Л. В. Короткина. Письма Н. К. Рериха В. Я. Брюсову	173
Э. И. Ханпира. Об одной группе гротескных слов у Маяковского	175
И. А. Битюгова. Страница из научной биографии ученого (к 100-летию со дня рождения В. Е. Евгеньева-Максимова)	180

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Э. Ковальски, А. Хирше (ГДР). Исследования и публикации по русской и русской советской литературе в ГДР (1970—1980-е годы)	186
В. Н. Баскаков. Библиография: история, теория, практика (к 50-летию журнала «Советская библиография»)	196
С. П. Николаев. Поэтика славянского театра XVII—первой половины XVIII века	207
В. А. Михельсон. Две книги о взаимосвязях братских литератур	209
Ю. К. Бегунов. Древнеславянское язычество и русская культура	211
ХРОНИКА	217
Д. С. Лихачев. Виктор Андроникович Мануйлов (к 80-летию со дня рождения)	230
А. И. Овчаренко, В. Н. Баскаков, Л. Ф. Ершов. Ксения Дмитриевна Муратова (к 80-летию со дня рождения)	234
К. Н. Григорьян. По поводу статьи Такаси Кимуры «Грузинский вопрос в поэме М. Ю. Лермонтова „Мцыри“»	236
Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале «Русская литература» в 1983 году	240

Редакционная коллегия:

В. В. ТИМОФЕЕВА (главный редактор),
 П. С. ВЫХОДЦЕВ (зам. главного редактора), А. А. ГОРЕЛОВ,
 Н. А. ГРОЗНОВА, Л. Ф. ЕРШОВ, А. Н. ИЕЗУИТОВ, В. А. КОВАЛЕВ,
 А. М. ПАНЧЕНКО, Ф. Я. ПРИЙМА, Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

Отв. секретарь редакции М. Д. Кондратьев
 Адрес редакции: 199164, Ленинград, наб. Макарова, д. 4. Тел. 218-16-01

Журнал выходит 4 раза в год

© Издательство «Наука», «Русская литература», 1983 г.

ПАРТИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ НАУКИ О ЛИТЕРАТУРЕ

Июньский (1983 года) Пленум ЦК КПСС, вся работа которого была непосредственно посвящена наиболее актуальным вопросам идеологической, массово-политической деятельности партии, ответил назревшей общественной потребности. Его решения с большим воодушевлением восприняты всеми работниками культурного фронта, увидевшими в них выражение своих собственных сокровенных мыслей и чаяний, забот и опасений, надежд и устремлений, поднятых на самый высокий научный уровень, уровень глубоких, емких, смелых и перспективных принципиальных положений и обобщений, имеющих определяющее теоретическое и практическое значение.

Пленум имеет итоговый характер по отношению к другим партийным документам последних лет по идеологическим вопросам и одновременно знаменует собою качественно новый этап во всей нашей духовной, идеологической жизни.

В речи Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова на июньском Пленуме ЦК КПСС говорится о необходимости решительно поднять всю идеологическую работу на уровень новых задач. Подчеркивается, что идеологическая работа — это один из коренных вопросов деятельности партии и одна из важнейших составных частей коммунистического строительства. Идеологическая работа все больше выдвигается на первый план в жизни партии, народа и государства.

Июньский Пленум ЦК КПСС прямо и определенно напомнил о том, что общественные науки есть науки идеологические. Именно общественные науки (в том числе и наука о литературе) находятся в центре идеологического внимания КПСС. И это закономерно. Ведь от общественных наук во многом зависит решение главной идеологической задачи партии — формирование нового человека как важнейшей цели и неперемennого условия коммунистического строительства. Именно общественные науки всесторонне познают человека и они же в значительной степени формируют его, вырабатывают верное мировоззрение, передовые идейные и нравственные убеждения, прогрессивные культурные установки.

Знакомясь с материалами июньского Пленума ЦК КПСС, мы с новой силой постигаем, что и наше литературоведческое дело — составная и органическая часть общепартийного, общегосударственного, общенародного дела. Это придает особую социально-идеологическую значимость всей нашей работе и в то же время накладывает большую и высокую ответственность, обязывает внести существенные изменения в характер научно-исследовательской деятельности и в организационно-производственное ее планирование.

Материалы июньского Пленума ЦК КПСС прежде всего помогают нам подняться на новый уровень научно-идеологического мышления, без овладения которым нельзя успешно решать новые задачи. Необходимы органическое единство — не на словах, а на деле — теории и практики, трезвость в анализе сделанного и принципиальность в определении основ-

ных направлений исследовательской работы, решительный отказ от всякого формализма и парадности, действенная самокритичность.

В речи на Пленуме Ю. В. Андропов уделил много внимания вопросам, связанным с уточнением ряда положений и выводов Программы КПСС, что имеет принципиальное значение. В свете этих идей, как нам представляется, нуждаются в уточнении и некоторые положения Программы КПСС, связанные с вопросами культуры.

Так, в Программе КПСС следующим образом определяется сущность коммунистической культуры: эта культура, «вбирая в себя и развивая все лучшее, что создано мировой культурой, явится новой, высшей ступенью в культурном развитии человечества».¹

Думается, здесь нужна иная акцентировка. Коммунистическая культура сама создает качественно новые, собственные ценности, опираясь при этом на все лучшее, что было создано до нее. Такая переакцентировка весьма существенна и для теории и для практики культурного строительства в нашей стране.

На Пленуме специально говорилось о том, что само новое общество создает новые фундаментальные ценности, «новое качество жизни», что необходимо наглядно и убедительно раскрыть истинную цену исторических достижений реального социализма — его гуманизм, духовное богатство, беззаветный патриотизм и глубочайший интернационализм.

Как учит партия, без забегания вперед, без неумеренных восторгов, но и без излишнего критиканства нужно объективно и трезво оценить все сделанное и в науке о литературе, показать, что за годы советской власти созданы фундаментальные качественные ценности в отечественном марксистско-ленинском литературоведении, что у нас есть уже своя, именно советская научная классика, есть достижения поистине всемирно-исторического звучания, например, историко-функциональное изучение литературы, что нет нам никакой практической необходимости, сетуя на свою якобы методологическую «традиционность», обращаться за «новыми» идеями на Запад, в результате чего у нас появляется безжизненно-схоластический структурализм или еще более механистическая и антигуманная артоника — учение об искусстве как машине. Надо лучше, глубже, целеустремленнее изучать и пропагандировать собственное богатое и разнообразное методологическое и методическое наследие, собственный научный социалистический опыт в исследовании литературы.

Полезно было бы дать целенаправленный анализ различных школ и направлений в русском академическом литературоведении, показать его непреходящие научные достижения, раскрыть внутреннюю динамику и органичность движения в направлении к марксистской методологии через принцип историзма, социальной обусловленности литературы и т. д. Тем самым была бы отчетливее выявлена принципиально важная мысль о прочности исторических корней марксистской методологии в отечественной науке о литературе, которая опиралась в процессе своего становления и развития на в известном плане уже подготовленную научную почву, дана характеристика такого принципиально нового явления, как отечественное марксистское академическое литературоведение.

Наука о литературе ориентирует художественное творчество на определенные и устойчивые эстетические идеалы, оценивает его в широкой и многомерной исторической перспективе и в свете важнейших закономерностей становления и функционирования искусства.

Существуют также различные пути и способы воздействия литературоведения на духовную жизнь современного социалистического общества и на процесс текущего литературно-художественного развития, которые необходимо тщательно исследовать.

¹ Программа КПСС. Принята XXII съездом КПСС. М., 1976, с. 130.

На Пленуме специально говорилось о том, что научные учреждения должны работать более оперативно, гибко, вовремя обновлять и актуализировать свою тематику. Откликаясь на эти партийные указания, ИРЛИ не только более пристальное внимание обращает на идеологическую направленность подготавливаемых трудов, таких, например, как «Проблема народности в русской литературе XVIII—XIX веков» или «Идеи гуманизма в русской литературе», «Идейная направленность литературы» и др., но и приступает к работе над новыми трудами, непосредственно связанными с проблемами и запросами современности. В их числе — сборник, посвященный 40-летию Победы советского народа над германским фашизмом в Великой Отечественной войне. Проблематика труда будет осмыслена его авторами в широком духовно-психологическом и социально-идеологическом контексте и в интернациональном аспекте. Мы будем стараться продолжать и развивать в данном случае известный опыт, накопленный при создании труда «Русская литература и развитие советских национальных литератур». Новый труд, посвященный 40-летию Победы, как мы надеемся, сможет помочь воспитанию советского патриотизма, повышению духовной готовности молодого поколения к защите социалистического отечества.

В коллективном труде «Современность классики. Русская литература и воспитание нового человека» будет раскрыто многообразие и синтетическое воздействие русской классической литературы на современного советского читателя в идейном, нравственном, психологическом, гражданственном, эстетическом и других аспектах; выявлены конкретные пути, способы и средства такого воздействия с учетом различных творческих индивидуальностей писателей, социально-исторически обусловленного характера их литературной деятельности, а также самой воспринимающей читательской аудитории (степени ее образованности, уровня культуры и т. д.).

В работе «Взаимодействие и взаимообогащение. Русская литература и литература народов СССР» будут рассмотрены в историческом плане и на важнейших этапах общественно-литературного развития, включая дооктябрьский период, различные формы, пути и способы взаимодействия русской литературы с литературами других народов нашей страны в проблемно-тематическом, индивидуально-творческом, жанрово-эстетическом и других ракурсах.

В целях усиления борьбы с буржуазной идеологией предполагается создание в ИРЛИ серии трудов под общим названием «Русская классическая литература в контексте мировой литературы». Первый труд из этой серии получит название «Идеологическая борьба вокруг классического наследия». В нем будет раскрыт идеологический смысл разнообразных высказываний и суждений современных западных исследователей о русской классической литературе и подвергнуты аргументированной критике их философско-эстетические и методологические концепции.

Институт русской литературы намерен также приступить к подготовке специальной серии работ под общим названием: «Современная русская советская литература». В эту серию войдут книги, посвященные важным и актуальным проблемам текущего литературного развития и углубленному анализу взаимоотношений искусства социалистического реализма с новой действительностью. Имеются в виду книги: «Герой и конфликт», «Система жанров», «Национальное и социальное». В этих работах будет освещена проблема положительного героя, получающая специфическое истолкование в современных общественных и литературных условиях и находящаяся в органическом единстве с проблемой конфликта, который приобретает сейчас новое социально-эстетическое и нравственно-психологическое наполнение и в практическом разрешении которого наиболее отчетливо и многосторонне проявляются важнейшие каче-

ства и свойства положительного героя; будет исследовано своеобразное переплетение в современной советской литературе различных жанров (эпических, лирических, драматических), образующих в своей совокупности систему, динамически развивающуюся и творчески постоянно обогащаемую; будут раскрыты специфические взаимоотношения в современной жизни и литературе национальных черт, признаков, присущих целым народам и отдельным личностям, с новым социальным содержанием человеческих характеров и окружающих и заставляющих их действовать исторических обстоятельств.

На июньском Пленуме ЦК указывалось, что сейчас происходит невиданное обострение идеологической борьбы во всем мире, что наша пропаганда, наша борьба против враждебной идеологии должна быть наступательной, аргументированной, оперативной и мобильной. Это необходимо учитывать во всей научной деятельности, учитывать новую идеологическую ситуацию, меняющуюся тактику идейных врагов, новые их «аргументы». Надо своевременно и доказательно разоблачать враждебные концепции, искажающие историю и основные завоевания советской культуры и литературы, отчетливее выражать идеологическую направленность собственной исследовательской позиции.

Партия призывает нас на июньском Пленуме ЦК КПСС к предельной самокритичности, к четкому пониманию еще не решенных и качественно новых задач. На июньском Пленуме отмечалось, что недопустимо пересматривать истины, не подлежащие пересмотру, и пересматривать решение проблем, решенных давно и однозначно. К сожалению, такого рода «пересмотры» и попытки заново «решить» решенное наблюдаются и в современной науке о литературе.

Это относится, например, к ленинскому учению о двух культурах в каждой национальной культуре. Следует сказать, что против этого учения сейчас в нашей науке никто не выступает, однако предпринимаются попытки неверного его истолкования. Так, можно встретить в современных работах утверждение, что главный признак культуры — это ее «единство». При этом фактически происходит смешение вопроса о структуре такого явления, как культура, с вопросом о ее генезисе, внутренней направленности и функциональном использовании. Действительно, в структурном отношении культура целостна, но это вовсе не отрицает, а напротив, даже предполагает, что идеологически она может иметь различное социальное происхождение, различную идейную направленность и может быть используема в различных идейных целях, что именно в функциональном аспекте происходит идеологическая поляризация культур внутри одного генетически-структурного образования.

Немало пишется в наши дни о методологическом значении ленинских статей о Толстом. Однако, к сожалению, чаще всего об этом пишут в самой общей форме. Более того, ощущается тенденция к тому, чтобы объявлять именно идеологически самое слабое и даже реакционное в наследии Л. Толстого, его «религиозно-правственную философию», наиболее ценным и исторически перспективным. Неудивительно, что не только «кричащих противоречий», а вообще каких бы то ни было идейных противоречий некоторые наши ученые совсем не видят или не желают видеть в творческом наследии Достоевского.² Такого рода методологическим просчетам надо давать незамедлительный и самый решительный отпор.

На июньском Пленуме ЦК КПСС говорилось, что в современной литературе наблюдаются отступления от исторической правды, проскальзывают «богоскательские» мотивы, встречается идеализация патриархальщины. Надо сказать, что сходные явления можно увидеть и в литературоведении. Так, в ряде работ мы находим совершенно необоснованное

² См.: *Петропавловский Р.* По поводу одной книги. — *Коммунист*, 1983, № 8, с. 102—114.

отождествление антицерковности с атеизмом (например, при изучении творчества Л. Толстого и Н. Лескова) и «вечных» духовных ценностей исключительно с христианской религией, неумеренное и неоправданное обращение к евангельским текстам, апологетическое отношение к философии Федорова и славянофильству, некоторыми авторами дается одностороннее освещение творчества современных писателей-«деревенщиков».

Необходимо, как указывает нам партия на июньском Пленуме ЦК КПСС, неустанно совершенствовать «методологическую дисциплину мысли», постоянно и глубоко изучать идейное наследие К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина.

Необходимо также повышение всего методологического уровня нашей работы на основе марксистско-ленинской теории, усиленное и постоянное внимание к методологии литературоведения как важнейшей сфере идеологической деятельности ученого. Эти задачи будут интенсивно осуществляться в Пушкинском Доме и путем целенаправленной разработки методологических проблем науки о литературе, и через всемерную активизацию деятельности философского (методологического) семинара ИРЛИ.

Особую сложность представляет для нас вопрос о практической ответственности литературоведения как общественной науки, а ведь именно о практической значимости общественных наук специально говорилось на июньском Пленуме ЦК КПСС.

Специфика литературоведения как общественной науки состоит в том, что оно само оказывает духовно-практическое воздействие на человека, способствуя формированию верного мировоззрения, идейной убежденности, творческого отношения к жизни у тех, кто им занимается и кому оно непосредственно адресовано. Имея дело с литературой, которая создает идеологически направленную, исторически обусловленную и внутренне целостную картину мира, литературоведение, со своей стороны, проясняет, упорядочивает, конкретизирует и научным образом интерпретирует эту картину, помогая человеку верно ориентироваться в окружающем его мире. Занимаясь изучением тонких и сложных проявлений человеческого духа, воплощенных в литературе, литературоведение содействует пропаганде и освоению непреходящих культурных достижений и богатейшего духовного опыта, накопленного человечеством, вырабатывает объективные критерии для его оценки. Литературная наука сама обладает отчетливо выраженным социальным звучанием. Непосредственно обращаясь в процессе анализа художественных явлений к разуму и чувству людей, она идейно-нравственно воспитывает и психологически обогащает их.

Можно наметить различные пути и способы практической реализации нашего литературоведческого дела, главная цель которых — сделать неотъемлемым духовным достоянием советского народа передовую отечественную культуру. Это и академические издания русских писателей-классиков: Пушкина, Жуковского, Некрасова, Достоевского, Тургенева, Блока, адресованные самому широкому читателю, и подготовка энциклопедий, посвященных жизни и творчеству крупнейших русских писателей, и выпуск учебников и учебных пособий по литературе для средней и высшей школы, при подготовке которых всегда нужно помнить указание Ю. В. Андропова: «Партия добивается того, чтобы человек воспитывался у нас не просто как носитель определенной суммы знаний, но прежде всего — как гражданин социалистического общества, активный строитель коммунизма, с присущими ему идейными установками, моралью и интересами, высокой культурой труда и поведения»;³ это и придание

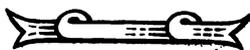
³ Правда, 1983, 16 июня, № 167.

большей идеологической целенаправленности работе журнала «Русская литература», призванного быть активной и действенной трибуной подлинного академического марксистско-ленинского литературоведения; и усиление научно-консультационной работы института по всем вопросам истории отечественной литературы, чтобы не допускать идеологического искажения и опошления жизненного пути и творческого наследия писателей, составляющих гордость отечественной культуры и нашу непреходящую духовную ценность.

Важнейшее условие повышения практической действенности науки — это ее собственное внутреннее совершенствование: методологическое, методическое и организационное. Как писал Маркс: «Самопознание есть первое условие мудрости».⁴

Решения июньского Пленума ЦК КПСС обязывают нас учитывать в своей работе возросший уровень читателя, подчеркивают, что в современных условиях нетерпимы шаблон, формализм, робость и лень мысли. Следует больше внимания уделять вопросам планирования научной работы, сочетая актуальность тематики с ее перспективностью; совершенствовать организацию научных исследований на всех этапах их создания — от определения замысла до получения «конечного продукта»; не допускать мелкотемья; улучшать стиль и методы руководства научными коллективами, создавать в них здоровый морально-психологический, истинно творческий климат; повышать роль научных коллективов в целом и максимально полно и целесообразно использовать возможности и способности каждого научного работника в интересах общего дела.

⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 66.



ПОЭТИКА ПОВТОРЯЕМОСТИ В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Анализируя художественную ткань произведения, литературовед обязан основываться на презумпции «художественной оправданности» всех его элементов, презумпции цельности художественного построения произведения. Это, если хотите, методический принцип, из которого должен исходить и фактически всегда исходит исследователь в своем анализе. Только то, что остается за пределами воссоздаваемой художественной системы, может быть отнесено на долю внехудожественных факторов создания произведения.

На первый взгляд такого рода методический прием анализа может показаться требованием «сознательной предвзятости» в анализе произведения, но если мы задумаемся по существу, то убедимся, что художественную систему или художественную логику в любом произведении, которое мы признали эстетически ценным, иначе обнаружить и невозможно. Случайности не поддаются стилистическому анализу: па то они и случайности, чтобы не входить в систему и не определяться внутренней логикой произведения. Стремясь обнаружить систему, мы обязаны «верить», что эта система существует. Это — рабочая гипотеза, оправданность или неоправданность которой обнаруживает себя только в конце исследования.

Аналогичное правило декларировано мною и в текстологии. Во всех случаях обнаружения текстологом изменений текста он должен прежде всего проверить: не поддаются ли замеченные изменения истолкованию как сознательно сделанные с какой-нибудь определенной целью автором, редактором, переписчиком. Только если эта проверка не удалась, открытое изменение текста можно относить на долю случайности и рассматривать как просмотр, ошибку автора или какого-либо другого лица, отвечающего за текст. Но даже и при обнаружении простой ошибки, опечатки, опечатки и пр. исследователь все же обязан объяснить текст, хотя бы и на другом уровне: на уровне психологии письма, его техники. Он должен объяснить ошибку как происходящую при определенных «технических» условиях или как результат тех или иных особенностей психического склада творца текста.

Итак, стремясь обнаружить логику художественных образов в «Слове о полку Игореве», мы должны предполагать, что оно художественно логично, т. е. что автор его проводит в своем тексте единую художественную линию, а также придерживается принципа полноты художественного образа.

Конечно, можно стать на ту точку зрения, что «Слово о полку Игореве» — произведение художественно несовершенное (такая точка зрения высказывалась теми, кто считал «Слово о полку Игореве» произведением вторичным по отношению к «Задонщине»), но тогда мы вообще лишаемся права его художественного прочтения, ибо в несовершенном произведении может существовать любая несогласованность — грамматиче-

ская, логическая, любая неточность значения и любой художественный промах.

Этим объясняется то, что каждый предлагающий новое прочтение или новое толкование текста «Слова о полку Игореве» исходит сознательно или бессознательно из презумпции его художественной логичности.

Вполне естественно предположить, что художественная логика «Слова», не будучи принципиально отлична от нашей, тем не менее обладает средневековым и чисто авторским своеобразием, с которым обязан считаться всякий, так или иначе пытающийся восстановить в «Слове» его утраченные, испорченные или просто непонятные места. Нельзя произвольно выходить за пределы этой средневековой художественной логики, свойственной как «Слову», так и другим художественным произведениям его времени, и подменять их или восполнять той образной системой, которая характерна только для нашего времени.

И в самом деле, эстетическое восприятие в средние века в древней Руси было несколько иным, чем в современности.

Обратим прежде всего внимание на анонимность многих произведений древней Руси. Анонимность была проявлением не только недостатка авторского чувства собственности, но и явлением эстетики.

«Анонимность» не следует рассматривать лишь под углом зрения отсутствия чувства «авторской собственности», пониженного личностного начала и т. п. Анонимность есть также и явление поэтики средневековья и фольклора. Средневековое произведение пишется не для самовыражения, а для того чтобы ответить на ожидания, требования, желания читателя, слушателя, зрителя. Неизвестный автор озабочен не собой, а тем, для кого он создает свое произведение.

Отсюда связь анонимности с традиционностью. Традиционность также выражает коллективное начало искусства. Двигаясь в рамках традиционности (именно двигаясь, а не застывая), творец как бы идет по проторенным, знакомым его слушателям, читателям и зрителям путям. В искусстве же чрезвычайно важен как раз момент «узнавания» (поэтому-то слушать второй раз сложное произведение всегда легче, чем первый). Этот момент узнавания особенно важен в древнерусском искусстве, где он может даже преобладать над моментом познания нового.

Создавая житие святого, автор как бы участвует в церемониале, его прославляющем, а церемониал всегда традиционен — это его характерная черта. И раз преобладает традиционность и церемониал, то само собой отступает на второй план личностное начало; на первый же план выступает коллективность.

Эту коллективность не следует представлять себе непременно как творчество совместное. Творец почти всегда один, но он творит для многих, используя то, что сделано до него многими. Если в созданном им «что-то не так», переписчики или исполнители всегда могут переделать, ибо у них нет ощущения отличий стиля произведения от традиционных стилей. Этих стилей много, но они тоже различаются между собой не по авторам, а по тому, для чего и для кого произведение создается, по жанрам.

Анонимность, традиционность и церемониальность требует повторений. В древнерусских произведениях эстетически действительна не новизна, а этикетная обычность. Художник ищет не свежести впечатлений, а выражения этих впечатлений в полагающихся им формах.

От этих представлений древнерусскому книжнику было очень легко перейти к уверенности в том, что произведение не пишется автором, не «придумывается» им, а как бы диктуется традицией, чем-то посторонним, стоящим над автором. В известной мере средневековые книжники были

в этом отношении правы: ведь произведение прибегало к уже готовым формулам, готовым образам и пр.

Все сказанное объясняет нам факт особого значения в средневековье «соседства произведений». Одно произведение, получившее «художественный авторитет», начинает использоваться в других произведениях не только ради красоты и точности самой «цитаты», но и для того чтобы создавать настроение художественной возвышенности. Простейший пример — использование цитат из псалтири. Оно не только усиливает религиозную убедительность, но и создает настроение поэтичности.

«Повторяемость» в древнерусских произведениях мы можем разделить на «внешнюю» и «внутреннюю». Внешней повторяемостью я называю отклики в произведении на другие произведения. Отклики эти могут быть цитатами, этикетными формулами, использованием образов других произведений, даже хода событий или жизненной канвы героя из других произведений. К внутренней повторяемости я отношу различного рода переключки в пределах самого произведения — рефрены, повторения образов, выражений, художественных приемов, отдельных слов и т. д. Как уже было сказано, в средние века в искусстве над познанием нового преобладает узнавание уже знакомого. Этим объясняется частое использование старого в новом контексте, обилие цитат из Священного писания и других произведений литературы, рефрены, повторения.

Повторяемость — это основа «художественного обряжения мира» в древнерусской литературе.

В «Слове о полку Игореве» эта внутренняя повторяемость играет очень большую роль, она очень часто выходит за границы самого произведения, получает поддержку со стороны.

Повторяемость не только способствует художественному узнаванию (в отличие от художественного познания), но создает в произведении своего рода ритмы и рифмы, роднит художественную средневековую прозу с поэзией.

Это не означает, что у автора «Слова о полку Игореве» не было собственных находок. Наверное, они были, но нам очень трудно выявить все — где и какие они: ведь других произведений того же жанра мы не знаем, а есть только отдельные «похожести». Зато вот что интересно в «Слове»: склонность к цитированию, к повторениям, к ограниченно в употреблении многих тропов, к использованию одних и тех же образов, хотя бы и с некоторыми вариациями. «Переключка», которая в большом масштабе идет по всей древнерусской литературе, может быть замечена и внутри текста одного произведения, в частности в «Слове о полку Игореве».

Вот этой внутренней переключке текстов, которая может быть сопоставлена с явлением рефрена в поэзии, и посвящаются ниже мои наблюдения над текстом «Слова». Эта «переключка» эстетически действенна и для нас.

Поэтика повторяемости лежит в самой сути всех художественных тропов. Она подготавливается характером тропов, создается ограничением их возможностей, закрепляется выбором традиционных тем.

В 1980 году значению художественных повторов в художественной системе «Слова» специальное внимание уделила Н. С. Демкова в своей статье «Проблемы изучения „Слова о полку Игореве“». ¹ Хотя явление повторов было известно и до этой работы (повторы в той или иной мере ощущаются любым внимательным читателем), только Н. С. Демкова уде-

¹ В кн.: Чтения по древнерусской литературе. Ереван, 1980, с. 58 и след. Частично повторы в «Слове» рассмотрены и в статье Н. С. Демковой «Повторы в „Слове о полку Игореве“». (К изучению композиции памятника)» (в кн.: Русская и грузинская средневековые литературы. Л., 1979, с. 59 и след.).

лила ему внимание как определенному эстетическому явлению, дав при этом ряд новых наблюдений. Так, например, она определила наличие повторов в речи князя Игоря к дружине, представляющей собой по существу три варианта одной и той же формулы о победе над врагом, служащей своеобразной «скрепой» для трех самостоятельных фрагментов этой речи.

В нашу задачу входит рассмотреть повторы в связи с другими художественными тропами. Дело в том, что повторы часто вызываются самим характером художественной системы «Слова», являются как бы производным этой системы, например результатом ограниченности выбора. С другой стороны, повторы — активный художественный элемент этой системы, явление, организующее материал «Слова».

* * *

Из всех художественных тропов наибольшую «свободу» творцу предоставляют сравнения. Сравнения в новой литературе могут делаться по любому поводу — где только художник сможет обнаружить сходство. И вот здесь обратим внимание на то обстоятельство, что художественные образы «Слова» крайне редко строятся на сравнениях. Это утверждение на первых порах кажется неожиданным, ибо мы привыкли думать, что «Слово» часто сравнивает своих персонажей с птицами (соколами, галками, воронами и пр.), зверями (волками, турами и т. п.), а события — с полевыми работами, пиршеством, свадьбой, охотой и т. д. Но в большинстве случаев перед нами не столько сравнения, сколько подмена, смещение одного ряда явлений другим, в основе которого лежит не сходство, а уверенность в том, что в мире существуют эстетически высокие области, такие, как война, охота, земледелие, отношения человека к природе, которые художественны сами по себе и одно сопоставление с которыми вызывает представление о художественной ценности того, о чем говорится. Поэтому если описывать что-либо в охотничьих, военных или земледельческих терминах, то это уже означает введение описываемого в разряд художественных явлений. Автор пользуется понятиями из этих областей, как знаками художественности.

Сравнения в «Слове» в своем чистом виде все же встречаются, хотя и редко, так же редко, как и в других произведениях его времени. Но примечательно, что, прибегая к сравнениям, авторы очень часто пользуются формой отрицательного сравнения, вернее — отрицания возможного отождествления. Обычно отрицательные сравнения в «Слове» считаются признаками его народно-песенной основы. Это не так. Фольклорной стихии в «Слове» много, но отрицательные сравнения, в тех редких случаях, когда они вообще появляются, характерны и для древнерусской книжности времени «Слова о полку Игореве». Ср. у Кирилла Туровского: «Пища же не брашно речеться, но слово божие, имъ же питается тварь».² В «Слове святого Кирилла-мниха о снятии тѣла Христова с креста» идет целая серия отрицательных сравнений, прямо указывающих на различие сравниваемых объектов: «Како начну или како разложю? Небомъ ли ты прозову? Нъ того свѣтълѣй бысть благочъстьемъ, ибо... Землю ли ты благоцвѣтущую нареку? Нъ тоя четьнѣй ся показа... Апостоломъ ли ты именую? Нъ и тѣх вѣрнѣе и крѣпчечю обрѣтеса...» и т. д.³ Ср. в «Слове о полку Игореве»: «Боянъ же, братие, не 10 соколовъ на стадо лебедѣй пуцаше, нъ своя вѣщиа прѣсты на живая струны вѣскладаше», «Не буря соколы занесе чресь поля широкая — галици стады бѣжать къ Дону Великому», «Немизѣ кровави брезѣ не бологомъ бяхуть посѣяни, посѣяни

² Памятники литературы Древней Руси. XII век. М., 1980, с. 294.

³ Там же. с. 322.

костью русских сыновъ», «А не сороки втрескоташа: на слѣду Игоревѣ ѣздитъ Гзакъ съ Кончакомъ».

Впрочем, не совсем ясен второй из приведенных выше примеров отрицательного параллелизма: «Не буря соколы занесе чресь поля широкая — галици стады бѣжать къ Дону Великому». Вряд ли здесь галки сравниваются с соколами, тем более что вся фраза говорит о том, что галки спасаются бегством от соколов, т. е. второй член параллели служит естественным следствием первого.

Художественная система «Слова» построена не на внешних сходствах, ведущих к сравнениям, а на каких-то символических представлениях. Пир — битва, земледельческие работы — битва; подмена людей охотничьими птицами и зверями: теми, на которых охотятся и с которыми охотятся, основанная, очевидно, на каких-то далеко в прошлое уходящих представлениях о тотемах людей. Сюда же относится символика, связанная с солнцем: князь — солнце, молодые князья — месяцы, и представления о приметах, предвещающих смерть, гибель, поражение (затмение — поражение, крыша без князька — смерть), об оборотничестве (князь оборачивается волком и носится волком в ночи).

К этой же символической системе принадлежит и представление о вокняжении как об обручении с тем городом, в котором князь вокняжается. Отсюда Киев для захватившего киевский престол Всеслава — девица, с которой он не успел обручиться. Всеволод только «доткнулся» золотого киевского стола «стружием» — по-видимому, древком копья.

Сравнения вводятся в тексте «Слова о полку Игореве» с помощью сравнительного союза «аки»: о курянах, например, говорится: «сами скачють, акы сѣрыи влѣци в полѣ», о половцах: «по Руской земли прострошася половци, акы пардуже гнѣздо», про князей Рюрика и Давыда спрашивается: «не ваю ли храбрая дружина рыкають, акы турци, ранены саблями калеными на полѣ незнаемъ?» Но характерно, однако, что и эти сравнения берутся не по внешнему сходству, а по символической системе средневековой: воины и князья сравниваются с волками, пардусами, турками — зверями, входящими в «охотничью символику древней Руси». Как сравнение охотничьего характера может рассматриваться и сравнение половецких телег с лебедями в единственном случае, в котором сравнение вводится с помощью формы «рци» от глагола «речи»: «крычатъ тѣлѣгы полунощы, рци, лебеди роспущени» (или «роспужены» — вспугнуты), однако здесь возможно и другое объяснение: лебеди могли быть тотемом половцев.

Художественность произведения не создается «приемами», «образами», «средствами», а заложена уже в самом содержании произведения, в характере тем, настроении — она в глубине произведения, а поверхность отражает лишь то, что находится в этой глубине. Художественность «Слова о полку Игореве» — в особой интерпретации несчастного похода Игоря как части русской истории, в восприятии значительности происходящего, причастности к целому отдельным личностям, их поступков и разнообразных событий вокруг похода и его героев.

Преобладающий троп в «Слове» не сравнение и не метафора, а метонимия или синекдоха. Метонимию отнюдь не следует считать простой разновидностью метафоры. Метонимия не входит в метафору, а является равноправным метафоре художественным тропом, особенно распространенным в церемониальной эстетической системе средневековья и время от времени отвоевывающей свои права в литературных направлениях нового времени (например, в барокко и классицизме).

Сравнительно с другими тропами метонимия ограничена в своем разнообразии. Принцип метонимии — часть вместо целого — обуславливает выбор частей их целым. В древнерусской же художественной прозе метонимия, кроме того, имеет и другое ограничение — выбирается вместо це-

ремониального целого важнейшая церемониальная же часть этого целого.

Типичная метонимия «Слова» и других памятников его времени — «вдеть ногу в стремя» вместо «выступить в поход». Это метонимия как бы второй степени.

Вдевание ноги в стремя — важнейшая церемониальная часть восседания князя на коня, а восседание на коня князя — важнейшая часть церемонии выступления княжеского войска в поход. Недаром и в Радзивилловской летописи выступление князя в поход (л. 234 верх) изображено как вдевание князем ноги в стремя. При этом в церемонии участвует и стремянный, стоящий перед сающимся на коня князем на одном колене.

Обе эти метонимии настолько привычны, что употребляются иногда просто как термины, означающие выступление в поход. Поэтому в старорусских текстах можно сесть на коня *против кого-либо* или *за кого-либо*, так же как и вступить в стремя *за кого-либо* или *против кого-либо*. Стремя — важная символическая деталь любого конного похода. Поэтому князья могут предлагать друг другу ездить «возле стремени», т. е. совершать общий поход, или находиться в феодальном подчинении у кого-то, «у стремени» кого они обещают ездить.

Другой пример метонимии — «приломити копие» вместо «начать битву». Начало битвы тоже имело свою церемониальность. Право начать битву имел только князь, даже если он был малолетним. Летопись так описывает начало битвы с древлянами, которую открывает малолетний князь Святослав Игоревич: «А сънемъшемася обема полкома на скупъ, суну копьемъ Святославъ на деревляны, и копье летѣ сквозѣ уши коневы».

Поэтому, когда Игорь говорит: «Хощу бо копие приломити конецъ поля Половецкаго», он выражает этим желание сразиться с половцами.

К метонимиям относятся выражения «стоят стязи», «понизите стязи свои», «пали стязи». Стяг — это знак войска, знак войсковой единицы (нам не совсем ясно сейчас, какая войсковая единица имела право иметь собственный стяг, сколько у князей было стягов и какое войско эти стяги собирали, «стягивали» собой). Ясно, однако, что под стягами часто разумелось войско, обладавшее стягом. Поэтому падение стягов означало поражение, «понижение» стяга — сдачу. Поставить стяг означало собирать войско и пр. Развитие этого образа-метонимии — заявление автора «Слова», что у князей Рюрика и Давыда «рѣзно», т. е. в разные стороны, развеваются знамена. Значение этого заявления вполне ясно — князья устремляются в разные стороны и соответственно у них полотнища развеваются по направлению, откуда они едут, но не по направлению ветра.

Выражение «но рѣзно ся им хоботы пащут» в других древнерусских текстах не встречается, но оно вполне в духе древнерусских представлений о стягах и их метонимическом значении.

К метонимиям относится и выражение «трубы трубят», т. е. происходит сбор войска трубными звуками: «Трубы трубятъ въ Новѣградѣ».

К числу метонимий принадлежат выражения «отворить ворота» (взять город приступом или подчинить его себе), «затворить ворота» — не пустить кого-либо. И мн. др.

Возникает вопрос, не означает ли выражение «позвонить кому-либо заутреню в каком-либо княжестве» метонимию признания кого-либо князем. Ведь в быту заутреню звонили для всех, а не кому-либо в особенности. Поэтому, когда в «Слове» говорится о Всеславе: «тому въ Полотьскѣ позвониша заутреню рано у святыя Софеи въ колоколы: а онъ въ Кыевѣ звонъ слыша», то это, возможно, означает: «Всеслава в Полотске признают князем, звонят ему заутреню, а он находился в Киеве в заключении». «Слышат» в «Слове» обычно именно князья на огромные расстояния, и означает это, по-видимому, их осведомленность в делах дале-

ких княжеств — через гонцов или как-либо иначе. Так же точно как в «Слове», и в летописи князья говорят друг другу из княжества в княжество — и, разумеется, через послов. Упоминания послов, гонцов просто пропускаются, и это создает иллюзию резкого сближения князей между собой. На большом расстоянии из своих княжеств разговаривают друг с другом Игорь и Всеволод, причем Всеволод осведомляет брата, как у него обстоят дела в Курском княжестве. Не следует думать, что Игорь и Всеволод говорят друг с другом уже съехавшись: Игорь только ждет еще своего милого брата, собирая войска в Новгороде Северском и в Путивле (в первом городе еще только звучат трубы, во втором поставлены стяги).

Таким образом, не только сама метонимия, но «метонимический способ мышления» могут считаться характерными для «Слова о полку Игореве». Вместе с тем и метонимия, как и сравнение, ограничена определенными областями, где метонимия допустима и где она традиционна.

Вот почему и в сравнениях, и в метонимиях мы встречаемся с некоторой традиционностью и повторяемостью.

Повторяемость встречается в «Слове» в различных видах. Каждый из этих видов имеет помимо общего эстетического назначения повторяемости еще и частные цели.

Один из наиболее частых видов повторений в «Слове» — это перечисления: «съ черниговскими былями, съ могуты, и съ татраны, и съ шельбиры, и съ топчаки, и съ ревугы, и съ ольберы».

Перечисления встречаются как способ усиления, как способ гиперболлизации. Так, например, перечисление народов, поющих славу Святославу, служит показу широты распространения этой славы: «Ту нѣмци и венеиди, ту греци и морава поють славу Святъславлю».⁴

После первой победы Игорю подносят трофеи — черлен стяг, белу хорюговь, черлену чолку и сребрено стружие. В связи с тем, что все это может быть частями одного предмета, у меня возникла мысль: не значит ли это, что Игорю подносится какой-то один пышный знак-символ власти, на стяге-древке которого могли быть и стружие и чолка? Однако мне не удалось найти в древней литературе ни одного случая такого «описательного разделения» упоминаемого в произведении предмета. О каждом предмете говорится в древнерусских литературных произведениях как о некоей цельности — будь ли то бор, дом, церковь, человек или что-то другое. Только при описании построения храма или специально его драгоценных материалов, из которого он составлен, и предметов искусства, его наполняющих, можно было перечислять их отдельно. Подносимый же предмет мог быть изображен с соответствующими эпитетами, если они необходимы в рассказе только как объекты действия (в приведенном выше примере из «Слова» — как поднесения трофеев). Перечисление различных трофейных предметов встречается и в другом месте «Слова»: «... орьгьмами, и япончицами, и кожухы начаша мсты мстити по болотомъ и грязивымъ мѣстомъ». Это перечисление также показывает богатство трофеев.

Повторение тех или иных слов и выражений подчеркивает длительность действия: «бишася день, бишася другый; третяго дни къ полуднию падоша стязи Игоревы». Аналогичным образом автор «Слова» пользуется и словом «уже»: «уже снесся хула на хвалу; уже тресну нужда на волю; уже врьжеса дивь на землю».

Повторяемость этих «уже» связана еще с одной особенностью в «Слове» — наличием в нем рефренов. Рефрен не только важен для ат-

⁴ Указательное местоимение «ту» встречается и в других перечислениях в «Слове»: «ту ся копиемъ приламати, ту ся саблямъ потручяти». Прямая цель этого перечисления — подчеркнуть жесточенность наступающей битвы.

мосферы оплакивания происходящего, но и как «стук судьбы», явление частое в музыке и придающее «Слову» своеобразную музыкальную организованность. Собственно «чистых» рефрена в «Слове» два: «О Русская земле! Уже за шеломянемъ еси!» и «А Игорева храбраго плъку не крѣсити!». Мне уже приходилось писать по поводу последнего рефрена, что выражение «не кресити» несколько раз употребляется и в летописи, как формула отказа от родовой мести.

Рефрены в «Слове» носят характер некоторого примирения с судьбой, констатации безвозвратности совершившегося или носят церемониальный характер.

Дважды в «Слове» говорится о дружине: «ищучи себѣ чти, а князю славѣ». Это церемониальная фраза. Различие между честью и славой в том, что «слава» кроме чести дает еще и известность — известность на Руси и за ее пределами. Славы может достигнуть только князь, чье имя становится известным и способно даже вызывать страх, как вызывали в других произведениях страх имя Владимира Мономаха или Александра Невского. Дружина не может стать далеко известной по именам, поэтому на ее долю приходится только честь, которую, кстати, могут получать и князья.⁵ Поэтому рефрен этот своего рода церемониальное объяснение храброго поведения дружины.

Но помимо явных рефренов в «Слове» есть как бы и скрытые рефрены, заключающиеся в повторении образов, а иногда и отдельных слов: «*Были вѣчи Трояни, минула лѣта Ярославля; были плъци Олговы, Ольга Святъславличя*». Повторения, сопряженные с разъяснениями, создают ощущение неторопливости рассказа, подчеркивают длительность происходящего. Как изобразительный способ длительности времени ожидания Игорем бегства может быть понято и следующее перечисление изменений в состоянии Игоря: «Погасоша вечеру зори. Игорь спить, Игорь бдитъ, Игорь мыслю поля мѣрить отъ великаго Дону до малаго Донца». Повторение «Игорь» (трижды) создает то же впечатление сосредоточенности действия в Игоре, длительных переходов времени, сопряженного с ожиданием.

В качестве одного из видов повторений могут рассматриваться и идущие подряд одинаковые синтаксические конструкции — особенно короткие: «земля тутнетъ, рѣкы мутно текутъ, пороси поля прикрывають»; «въстала обида въ силахъ Дажьбожа впука, вступила дѣвою на землю Трояню, въсплескала лебедиными крылы на снѣмъ море...»; «стрежаше ё гоголемъ на водѣ, чайцами на струяхъ, чрънядьми на ветрѣхъ»; «летять стрѣлы каленя, гримлютъ сабли о шеломя, трещать копиа харалужныя». Святослав «своими сильными плъкы и харалужными мечи» «притопта хлѣми и яругы, взмути рѣкы и озеры, псуши потоки и болота».

Постоянные эпитеты также являются элементом «поэтики повторения». Так, например, кони в «Слове» имеют эпитет борзый, чем подчеркивается главное достоинство боевого коня — его быстрота. «...А вядемъ, братне, на свои *бръзья комони*», — говорит Игорь перед походом. К своему брату Всеволоду Игорь обращается: «Сѣдлай, брате, свои *бръзьи комони*». Когда Игорь бежит из плена, снова говорится о борзых конях: «А Игорь князь... вѣврѣжесе на *бръзъ комонь*», Игорь с Овлуром загнали («претръгоста») своя *бръзая комоня*. Этот эпитет коня постоянен и в других древнерусских произведениях: в русском переводе Хро-

⁵ Иного мнения (более строгого разграничения и противопоставления чести и славы) придерживается Ю. М. Лотман. См.: Лотман Ю. М. Об оппозиции честь—слава в светских текстах Киевского периода. — Учен. зап. Тартуск. ун-та, 1971, вып. 284, с. 464—466.

ники Георгия Амартола, в Ипатьевской летописи, в Девгешевом Деянии, Хронике Малалы, Великих минеях и пр.⁶

Эпитет «злат» по отношению к княжескому стремени встречается в «Слове» трижды: «въступи Игорь князь въ златъ стремянь», «ступаетъ (Олег Святославич) въ златъ стремянь», «Вступита, господина, въ злата стремянь...»

Трижды автор «Слова» называет Игоря Святославича «буим», и каждый раз в связи с упоминанием его ран: «Вступита, господина (Рюрик и Давыд), въ злата стремянь за обиду сего времени, за землю Рускую, за раны Игоревы, буего Святъславлича»; «Стрѣляй, господине (Ярослав Осмомысл), Кончака, поганого кощя, за землю Рускую, за раны Игоревы, буего Святъславлича»; «Загородите (Ингварь и Всеволод и все трое Мстиславичей) полю ворота своими острыми стрѣлами за землю Рускую, за раны Игоревы, буего Святъславлича». Трижды повторяется одно и то же выражение. Не означает ли связь ран и бустити, что раны Игоря, одна из которых, в левую руку, была получена им при попытке остановить бегство ковуев, — свидетельство его особой храбрости?

Примечательно то, что «постоянные» эпитеты в «Слове» употребляются вовсе не постоянно, а только в тех случаях, когда они осмыслены. «Борзый» конь только тогда «борзъ», когда быстрота его необходима — в выступлении в поход или в бегстве. Боян — «вещий» тогда, когда необходимо подчеркнуть его мудрость, прозорливость, умелость: «Боянъ бо вщий, аще кому хотяше пѣснь творити, то растѣкашется мыслию по древу...»; «Тому (Всеславу) вщией Боянъ и прѣвое припѣвку. смысленый, рече: „Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда божна не минути“, «чи ли вьспѣти было, вщией Бояне, Велесовъ ввуче...» (далее пример того, как бы воспел Боян).

Как явление повторяемости можно рассматривать и отдельные случаи часто употребления отдельных слов.

«Слово» постоянно сопрягает и ассоциативно связывает различные явления. Это поэтический прием как бы игры. Связать разные явления помогает постпозитивный союз «бо» со значением «потому что», «так как», и то же слово как усилительно-выделительная частица со сходным значением — «же», «ведь». Ср: «Уже, княже, туга умь полошила, — се бо два сокола слѣтѣста съ отня стола злата», «нъ нечестно одолѣсте, нечестно бо кровь поганую пролиясте». В последнем случае создается впечатление, что «нечестность одоления» Игорем и Всеволодом происходит от того, что они «нечестно бо кровь поганую» пролили, т. е. Игорь и Всеволод осуждаются за их первую победу над половцами.

Не случайно, думается, в «Слове» слово «бо» употреблено 25 раз⁷ — это один из основных приемов слияния (скрепления) различных смысловых блоков в единое целое. Повторения есть и в диалогах, когда прославляемый отвечает прославляющему в тех же выражениях. Ср. диалог Доща с Игорем: «Донецъ рече: „Княже Игорю! Не мало ти величия, а Кончаку нелюбия, а Руской земли веселна!“ Игорь рече: „О Донче! Не мало ти величия...“»

Можно отметить и следующую особенность «Слова»: если в современной художественной прозе «глаголы говорения» чрезвычайно разнообразны и, в сущности, любые глаголы человеческих действий могут быть обращены по своему значению в глаголы говорения (например, со словами прямой речи можно не только «обратиться», но также «обернуться», «прервать», «засмеяться», «улыбнуться» и т. д.), то в «Слове» и в древней Руси даже ритуал плача, который во всех случаях требовал слов или пе-

⁶ См.: Словарь-справочник «Слова о полку Игореве», вып. Р. М.—Л., 1965, с. 60—61.

⁷ Там же, с. 51—54.

ния, сопровождается обозначением «а ркучи» или «аркучи» (какая из этих форм правильнее, не установлено): «Жены руския въсплакашась, аркучи» (далее идут слова плача); «Ярославна рано плачетъ въ Путивлѣ на забралѣ, аркучи» (далее слова плача). Последняя форма введения слов повторена в «Слове» трижды.

Наконец, следует упомянуть и о ситуационных повторениях. Эти ситуационные повторения вызваны, с одной стороны, тем, что только некоторые явления жизни считались эстетически ценными (война, охота, земледелие и пр.), о чем мы уже говорили выше, а с другой — древнерусским ритуалом, которым сопровождалось то или иное событие.

Обращает на себя внимание в «Слове» и значение «берега» или «брега» как места ритуальных действий, оплакиваний, ритуальных пений. Ср.: «темнѣ *березѣ* плачется мати Ростиславля по уноши князи Ростиславѣ»; «се бо готьскыя красныя дѣвы въспѣша на *березѣ* синему морю»; «Немизѣ кровави *березѣ* не бологомъ бяхуть посѣяни, посѣяни костыми рускихъ сыновъ». Возможно, что и место разлуки Игоря со Всеволодом, происходящей «на *березѣ* быстрой Каялы», тоже имеет ритуальное значение, в связи с чем повышается уровень возможности признать название реки Каялы символическим, как реки «каяния», «плача», горести.⁸

Простое упоминание берега без связи с определенными значительными событиями и не как места поминаний и ритуалов имеется в рассказе о бегстве Игоря: «О Донче! не мало ти величия, лелѣявшу князя на вълнахъ, стлавшу ему зелѣну траву на своихъ сребреныхъ *березѣхъ*». Возможно, что берег подразумевается в конце «Слова», где говорится о пении дев славы Игорю: «Дѣвици поють на Дунаи — вьются голоси чрезъ море до Києва».

Знаменательно, что в летописи мне не встретилось употребление «берега» как места какого-то ритуала, очевидно, языческого и потому именно встречающегося в полуязыческом «Слове о полку Игореве».

В самом построении «Слова», в его композиции, есть признаки повторений. Так, например, «Слово» постоянно переходит от темы к теме, от настоящего к прошлому, от общегосударственного к личному. Ритм этих переходов создает как бы задержки в повествовании. Автор как бы не может рассказать о поражении Игоря. Он переходит к прошлому — к событиям, близким по характеру, призванным объяснить печальное настоящее. Обращаясь к отдельным живущим князьям, автор «Слова» делает это по определенной схеме, напоминая им о прошлом и о их возможностях. Эти обращения кажутся от этого тоже как бы введенными в определенный ритм повторений. Ярославна молит природу (ветер, Днепр, солнце) помочь Игорю, и в ответ Игорь возвращается на Русь. Ему помогают реки. Реки стерегут его «чрънядьми на ветрѣхъ». «Солнце свѣтитса на небесѣ — Игорь князь въ Руской земли». Возвращение Игоря как бы ответ на мольбу Ярославны, на ее обращение к ветру, Днепру, к солнцу. Этот ответ не прямой — как бы завуалированный. Аналогичным образом повторы в «Слове» не всегда ясно различимы. Многие только ощутимы, даны в намеках. Тем сильнее их поэтическое воздействие.

Учитывать повторяемость образов и выражений в «Слове» необходимо постоянно, особенно когда дело идет о внесении в текст «Слова» поправок. Из всех предложенных исправлений следующего места «Слова» (цитирую по первому изданию): «...а самъ подѣ чрълеными щиты на кровавѣ травѣ притрепанѣ Литовскыи мечи. И схоти ю на кровать, и рекъ: дружину твою, княже, птицъ крылы приодѣ, а звѣри кровь полизаша», как кажется, наиболее вероятно следующее исправление: «а самъ

⁸ См. именно такое толкование Каялы в работе: Дмитриев Л. А. Глагол «каяти» и река Каяла в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, т. IX. М.—Л., 1953, с. 36.

(Изяслав Василькович) подъ чрълеными щиты на кровавѣ травѣ притрепанъ литовскими мечи и с хотиу на кров, а тѣи рекъ: „Дружину твою, княже, птиць крилы приодѣ, а звѣри кровь полпизаша“. «Хоть» — это княжеский любимый певец. Это название любимого княжеского певца встречается еще раз ниже, где говорится о Бояне (а возможно, не только о Бояне, но и другом певце — предполагаемом Ходыне). Боян назван там «хотем» князя Олега: «Рекъ Боянъ и Ходына, Святъславля пѣснотворца стараго времени Ярославля, Ольгава коганя хоти: „Тяжко ти головы: кромѣ плечю, зло ти тѣлу кромѣ головы — Руской земли безъ Игоря“». Тут снова песнотворец-«хоть» выступает в роли мудреца, произносящего свой суд над свершившимся. Еще одно повторение в этом месте «Слова» — это смерть на траве, на кровавой, на крови, смерть от ран — плавание в крови. Предлагаемое исправление выдержано в художественной системе «Слова»: Изяслав Василькович погибает, притрепанный мечами на кровавой траве, вместе со своим певцом, и тот произносит умирающему князю свой приговор — в типичной для певцов афористической форме. Исправление заключает в себе элементы типичных для «Слова» повторов.

* * *

«Предчувствия» исторических событий играют роль своеобразных: «ситуационных антиповторов» — перевернутых ситуационных повторов. Если в «Слове» события настоящего имеют как бы прототипы в прошлом, то прототипы будущих событий — это их предчувствия в настоящем. Это как бы тени, отбрасываемые событиями будущего в настоящем... Следует указать на большую роль, которую играют в «Слове» предчувствия — прямо или косвенно выраженные. Прямо выражены предчувствия событий в таких фразах, как: «быти грому великому, итти дождю стрѣлами съ Дону Великаго» (замечательно, кстати, это повторение слова «великий»: «грому великому» и «Дону Великаго»).

Приметы неоднократно используются в «Слове» в художественных целях. Они создают напряженность ожидания. Мутное течение реки — очевидное предчувствие несчастья. «Земля тутнетъ, рѣкы мутно текутъ, пороси поля прикрывають, стязи глаголютъ: половци идутъ отъ Дона, и отъ моря, и отъ всѣхъ странъ, рускыя плѣкы оступиша». Перед битвой реки мутно текутъ, и это не только потому, что они замутилены переходящими вброд вражескими конями или отдаленным ливнем, но потому, что представляют образ надвигающегося несчастья. Прямой угрозой полно мутное течение рек: «Сула не течеть сребреными струями къ граду Переяславлю, и Двина болотомъ течеть онымъ грознымъ полочаномъ подъ кликомъ поганыхъ».

Благодаря приметам события воспринимаются в «Слове» как сбывшиеся предчувствия, как нечто предвиденное и предсказанное, как нечто значительное. Эта значительность исторических событий выражена через разнообразные ряды повторов, которые создают впечатление какой-то предопределенности происходящего. Разнообразные повторы в «Слове о полку Игореве» образуют различные микроритмы, связывающие в единое целое все многообразие его тем. Повторы вторгаются в смысл произведения. События похода Игоря удивительно умело вплетены в ход всей истории Руси именно благодаря этим связующим нитям малых ритмов, повторов и, конечно, предчувствий.

В «Слове» очень часто повторяется наречие «уже»: «уже бо бѣды его пасеть птиць по дубию»; «уже дьскы безъ кнѣса»; «О Руская земле! уже за шеломянемъ еси» (дважды); «уже снесеся...»; «уже, княже, туга умъ полонила»; «нѣ уже, княже Игорю»; «уже бо Сула», «уже понизите стязи свои» и т. п. Случайно ли это слово? Мне кажется, что в этом «уже» указывается на то, что событие предвиделось ранее, как бы созрело для

своего осуществления. Произошло то, чего следовало ожидать. Все действие «Слова» втянуто в течение поэтической судьбы, поэтического предвидения, и тем создается особое настроение — «исторической лирики», русская история воспринимается лирически. Каждое из этих «уже» связано с какими-то печальными событиями, возникает ощущение какой-то обреченности, неизбежности и значительности совершающегося.

Мы уже писали, что в «Слове» преобладают описания действий над описаниями неподвижных состояний. Добавим к этому, что если в «Слове» попадаются описания состояний, то как результатов действий. Святослав Киевский видит во сне свой «терем без кнеса». Что это: особый терем, построенный без кнеса, чудесным образом отсутствующий кнес в нерушимом тереме или терем поврежден? Думаю, что перед нами последнее. Свидетельством тому служит это «уже»: «Уже дьскы безъ кнѣса». Раньше он не был без кнеса. И это согласно «Слову о князех» того же времени служит знаком близящейся смерти: «единою рассѣдеся верхъ теремцю» и через этот расседший верх в терем влетает голубь за душою. Эта параллель к «Слову» обычно не указывалась исследователями, а привлекался фольклорный и этнографический материал. Однако показания «Слова о князех» особенно важны тем, что это произведение того же времени имеет и другие сходства со «Словом о полку Игореве» и подчинено той же идее единения русских князей перед лицом внешней опасности. Речь идет о смерти черниговского князя Давида Святославича, не сорившегося с другими князьями, а потому удостоенного праведной смерти. Вот этот рассказ о смерти Давида Черниговского: «Въ велицѣ тишинѣ бысть княжение его. Егда же изволи богъ пояти душу его отъ тѣла и болѣвшу ему недолго, позна епископъ Фектисть, яко уже князь преставитися хочеть, повѣлѣ пѣти капуиъ крѣсту, единою рассѣдеся верхъ теремцю, и вси ужасошася. И влетѣ голубь бѣлѣ, и сѣде ему на грудехъ. И князь душу испусти, голубь же невидимъ бысть».⁹

Итак, повторения в «Слове» (и в том числе предчувствие — своеобразные «антиповторы», перевернутые повторения) имеют не только ритмическое значение. В «Слове» они играют и большую роль для создания особого настроения исторической значительности, неслучайности происходящего. Это в какой-то мере связывает прошлое, настоящее и будущее. В самом деле, когда по нескольку раз повторяется с одинаковыми промежутками то или иное местоимение, этим указывается, что явления эти все соединены между собой, имеют роковой характер, предопределены.

Автор «Слова», говоря о событиях русской истории, неизменно ощущает их как роковые. Дважды он прямо говорит о «суде божьем».

И это не просто покорность судьбе, року, вершащему человеческую историю. Через все «Слово» проходит идея борьбы людей с обрушивающимися на них несчастьями. Войско Игоря терпит поражение, но в конце концов он бежит из плена, появляется в Киеве, и люди ему рады.

Забегание вперед путем предчувствий в «Слове» — явление чисто художественное. Оно не может быть связано с сознательно выраженным мировоззрением. Если гибель Анны Карениной «предсказана» в сне, который она видит, то из этого одного никак нельзя вывести заключения, что Л. Толстой «верит в сны». Читатель, особенно читатель лирических произведений, должен получать в чтении ощущение, что будущее предопределено, настоящее — это свершение каких-то предшествующих ему событий и законов, а прошлое непосредственно связано с настоящим. Связать все три времени: прошлое, настоящее и будущее в единый поток — одна из художественных задач лирики «Слова».

У автора же отношение к предчувствиям почти такое же, как и к древнерусскому язычеству: язычество переведено у него в эстетический

⁹ Памятники литературы Древней Руси. XII век, с. 340.

план. В эстетическом ракурсе предстает перед ним и его «лирика предчувствий».

Подобно тому как язычество перешло в «Слове» в аспект художественный, предчувствие поражения, тех или иных событий в «Слове» также выступает не как явление мистического мировосприятия, а как чисто художественное явление. Предчувствие в «Слове» соседствует с ощущением чего-то сбывшегося, с сознанием неизбежности случившегося, предопределенности происшедшего.

Роковой характер событий подчеркивает и вещей сон Святослава.

* * *

В повторяемости один из секретов завораживающей силы «Слова о полку Игореве». Сложные сплетения и переплетения различных повторений составляют различные ритмы «Слова». Ритмичность «Слова» не может быть вскрыта на одном каком-то уровне. Она идет в самых неуловимых и трудно осознаваемых сферах — от чисто звуковых до чисто смысловых, от коротких повторов внутри одного предложения до повторов, разделенных большими расстояниями. И при этом ритмы «Слова» не замкнуты в себе, в одной только собственной ткани произведения. Они раздвигают рамки произведения, связывая его с традициями культуры, с ритмами труда, войны и охоты, с ритмами русской истории. Последнее — ритмы истории, эстетическая данность истории — должно составить предмет особого рассмотрения, рассмотрения необходимого, ибо без этого невозможно до конца понять самую суть поэзии «Слова».



СЕНТИМЕНТАЛИЗМ И ПРОСВЕЩЕНИЕ

(О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ИДЕЙ В РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ КОНЦА XVIII—НАЧАЛА XIX ВЕКА)

Проблема «Сентиментализм и Просвещение» была намечена уже в ходе дискуссии по проблемам русского Просвещения на конференции, организованной Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР в 1959 году.¹

Исходя из оценок, которые К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин давали европейскому Просвещению и деятельности русских просветителей XIX века, участники дискуссии пришли к выводу о том, что Просвещение — явление идеологическое, представляющее собой определенный исторически закономерный этап в развитии общественной мысли и культуры.

Важным достижением советского литературоведения явилось признание того, что «классицизм и сентиментализм с последней трети столетия живут в искусстве одновременно, то борясь между собою, то мирно уживаясь в творчестве одного и того же писателя».² Соответственно идеология Просвещения не замкнута в пределах какого-то одного литературного направления, не прикреплена к одному-единственному художественному методу.

Х. Грасхоф со всею определенностью подчеркнул, что европейский сентиментализм глубоко связан с просветительской идеологией.³ При этом исследователь затронул и вопрос о философских корнях нового художественного метода, отошедшего от рационализма Декарта и обратившегося к эмпиризму и сенсуализму Локка, Шефтсбери и Кондильяка. Решительно возражая против недооценки идейного содержания литературы сентиментализма, Х. Грасхоф показал, как в произведениях Л. Стерна, Ж.-Ж. Руссо, в романе И. Гете «Страдания юного Вертера» отразилась просветительская мысль о внесловной ценности человека. Говоря о социально-классовой основе сентиментализма, исследователь обратил внимание на его антифеодальный характер. В странах Европы развитие нового метода совпало с периодом, непосредственно предшествовавшим Великой французской революции, и литература сентиментализма в основном выражала антифеодальные настроения третьего сословия.

Несколько иные исторические условия сложились в России,⁴ где рост буржуазии оказался замедлен и пропагандистами идей Просвещения ча-

¹ См.: Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII века. М.—Л., 1961.

² Кулакова Л. И. Просветительство и литературные направления XVIII века. — Там же, с. 167.

³ Grashoff H. Zur Rolle des Sentimentalismus in der historischen Entwicklung der russischen und der westeuropäischen Literatur. — Zeitschrift für Slavistik, 1963, Bd 8, H. 4, S. 558—570; Grasshoff G. О роли сентиментализма в историческом развитии русской и западноевропейских литератур. — В кн.: Славянская филология. Материалы от V Международного конгресса на славистике, т. 8. Литературоведение. София, 1966, с. 21—22.

⁴ Сходные моменты в отношении к идеям Просвещения в русской и венгерской литературе сентиментализма отмечены в новейшей содержательной работе М. Тетени «Проблемы и задачи изучения литературы сентиментализма» (Hungaroslavica. Budapest, 1983, p. 321—331).

сто выступали писатели-дворяне. Не без основания и литература русского сентиментализма в течение длительного времени рассматривалась преимущественно как дворянская. Однако вопрос о связи этой литературы с Просвещением стал предметом специального изучения сравнительно недавно.

В результате предпринятого им исследования П. А. Орлов пришел к следующему важному выводу: «Русский сентиментализм, как и западноевропейский, в лучших своих проявлениях — одно из выражений просветительской идеологии и, следовательно, не реакционное... а прогрессивное в своей основе литературное направление».⁵ Призывая отказаться «от представления о русском сентиментализме как о сугубо дворянском искусстве»,⁶ автор обратил внимание на творчество писателей-разночинцев: Н. С. Смирнова и И. И. Мартынова. Расширение круга имен русских сентименталистов, безусловно, плодотворно. В этом направлении, очевидно, предстоит выявить еще немало важных фактов.⁷ Вместе с тем трудно согласиться с предложенным П. А. Орловым резким разграничением русской литературы сентиментализма на два течения: «дворянское во главе с Карамзиным и демократическое, лучшим, но не единственным представителем которого был Радищев».⁸

Вопрос о связи радищевского творчества с сентиментализмом, безусловно, вполне правомерен, и многое уже сделано для его выяснения.⁹ Тем не менее споры о принадлежности Радищева к тому или иному литературному направлению продолжаются.

Многие современные исследователи отказываются от однозначного решения этой сложной проблемы. «Как часто бывает, — пишет В. И. Федоров, — творчество одного крупного писателя не покрывается каким-либо одним направлением, особенно в „переходные“ периоды, когда начинают формироваться новые эстетические системы и не исчерпали своих возможностей направления предшествующего периода».¹⁰ Ю. В. Стенник также пришел к убедительному выводу, что «в вопросе о художественной природе метода Радищева в его знаменитой книге не может быть принято однозначное решение».¹¹ Автор статьи выделил несколько пластов в тексте «Путешествия из Петербурга в Москву», связанных с «воздействием на писателя традиций сентиментализма и сатирико-обличительной прозы русских просветителей XVIII века».¹² Признание сопричастности Радищева и в некоторой степени даже Фонвизина (об этом далее) к сентиментализму — факт, чрезвычайно важный.

Современные исследователи стали рассматривать сентиментализм не имманентно, а как закономерный этап в истории русской литературы XVIII века с ее ускоренными темпами развития. Проблема «европеизации», так остро поставленная в Петровскую эпоху, продолжала сохранять свое значение для истории России еще очень долго.

⁵ Орлов П. А. Русский сентиментализм. М., 1977, с. 268.

⁶ Там же, с. 269.

⁷ В частности, о творчестве Н. Ф. Эмипа и П. Ю. Львова как предшественников Карамзина пишет С. Е. Шаталов. Он справедливо отмечает «внутреннюю сложность» раннего русского сентиментализма, но, к сожалению, несколько бегло характеризует его отношение к Просвещению, оставляя вне поля зрения многочисленные работы советских и зарубежных исследователей, посвященные затронутым проблемам (см.: Шаталов С. Е. Ранний сентиментализм. — В кн.: Русский и западноевропейский классицизм. Проза. М., 1982, с. 321—342).

⁸ Орлов П. А. Указ. соч., с. 269.

⁹ См.: Гуковский Г. А. Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века. Л., 1938; Кулакова Л. И. О некоторых особенностях творческого метода А. Н. Радищева. — Учен. зап. Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена, т. 219, 1961, с. 3—21; Орлов П. А. Указ. соч., с. 145—162.

¹⁰ Федоров В. И. Литературные направления в русской литературе XVIII века. М., 1979, с. 93.

¹¹ Стенник Ю. В. К вопросу о реализме в русской литературе XVIII века. — Русская литература, 1982, № 4, с. 76.

¹² Там же.

Разъясняя смысл процесса «европеизации» в начале XX века, В. И. Ленин писал: «Но эта европеизация вообще идет с Александра II, если не с Петра Великого». ¹³ Суждения В. И. Ленина о сущности и значении «европеизации» России обнаруживают, что «европеизация» — «это одна из форм развития всемирной истории, это сложный диалектический процесс, обусловленный и внутринациональными, и общеисторическими, всемирноисторическими потребностями». ¹⁴ На разных этапах развития русской культуры XVIII века «европеизация» оказалась связанной с разными конкретными задачами. Первостепенное значение при этом имело освоение опыта французской революции 1789—1794 годов, начавшееся в России в период расцвета русского сентиментализма. ¹⁵ Вполне естественно, что в связи с поставленной проблемой внимание исследователей было обращено на творчество Н. М. Карамзина, отразившее «самую перспективную тенденцию русского сентиментализма, его изначальную либерально-просветительскую, а тем самым и европейскую ориентацию». ¹⁶ Изучение общественно-политической позиции Карамзина, эволюции его взглядов способствовало более объективной и глубокой оценке его роли в историко-литературном процессе. Особенно важно было решение вопроса об отношении писателя к французской революции. ¹⁷ Немало нового выявили советские и зарубежные исследователи, занимавшиеся переводческой деятельностью Карамзина, вопросами соотносительности его творчества с западноевропейской литературой. ¹⁸ Вполне обоснованной и закономерной явилась постановка проблемы «Карамзин и Просвещение». ¹⁹ Углубленное изучение проблем историзма в России XVIII—начала XIX века ²⁰ обнаруживает, что новое историческое мировоззрение начало формироваться именно в эпоху Просвещения, прежде всего в творчестве Радищева и Карамзина. Их мышление, так же как и мышление европейских просветителей XVIII века, «отнюдь не было антиисторичным». ²¹

До сих пор, однако, недостаточно исследованы творческие связи Карамзина с его предшественниками и современниками — и более широко —

¹³ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 22, с. 371.

¹⁴ Берков П. Н. Понятие «европеизация» в истолковании В. И. Ленина и спорные вопросы истории русской литературы конца XVII—начала XVIII в. — В кн.: Наследие Ленина и наука о литературе. Л., 1969, с. 308.

¹⁵ См.: Куприянова Е. Н. Французская революция 1789—1794 годов и борьба направлений в русской литературе первой четверти XIX века. — Русская литература, 1978, № 2, с. 87—107.

¹⁶ Там же, с. 96.

¹⁷ Логман Ю. М. 1) Эволюция мировоззрения Карамзина (1789—1803). — Учен. зап. Тартуского ун-та, вып. 51, 1957, с. 122—162; 2) Отражение этики и тактики революционной борьбы в русской литературе конца XVIII века. — Там же, вып. 167, 1965, с. 3—32; Макогоненко Г. П. Литературная позиция Карамзина в XIX веке. — Русская литература, 1962, № 1, с. 68—106; Иванов М. В. Проблемы истории и французской революции в творчестве Карамзина 1790-х годов. — Там же, 1974, № 2, с. 134—142; Кислягина Л. Г. Формирование общественно-политических взглядов Н. М. Карамзина. М., 1976.

¹⁸ Rothe H. N. M. Karamzins europäische Reise: der Beginn des russischen Romans. Berlin—Zürich, 1968; Cross A. G. N. M. Karamzin. A Study of His Literary Career: 1785—1805. London and Amsterdam, 1971; Кафанова О. Б. Карамзин-переводчик. Диссертация на соискание ученой степени канд. филол. наук. Томск, 1981. Особую ценность составляет приложенная к диссертации библиография переводов Карамзина, впервые устанавливающая ряд источников.

¹⁹ Макогоненко Г. П. Карамзин и Просвещение. — В кн.: Славянские литературы. VII Международный съезд славистов. М., 1973, с. 295—318; Куприянова Е. Н., Макогоненко Г. П. Национальное своеобразие русской литературы. Л., 1976, с. 169—195; Хармаг М. «Письма русского путешественника» Карамзина и некоторые проблемы русского Просвещения. — Studia Slavica, 1978, t. 24, f. 1—2, p. 81—98.

²⁰ См.: XVIII век, сб. 13. Л., 1981.

²¹ Фридлендер Г. М. История и историзм в век Просвещения. — Там же, с. 66.

вопрос о преемственности и взаимосвязи, существующей между литературой русского классицизма и сентиментализма. Выяснение этого вопроса должно помочь и при анализе творчества тех писателей, которых нельзя безоговорочно причислять к какому-то одному направлению. Изучение конкретного историко-литературного процесса в России в конце XVIII — начале XIX века обнаруживает, что таких писателей было очень много: и крупнейшие (Радищев, Фонвизин, Державин), и менее значительные, и второстепенные.

При характеристике сентиментализма нередко возникала тенденция решительно противопоставлять его классицизму: культ чувств, приходящий на смену культу разума. Абсолютизируя это положение, некоторые западные историки литературы пытались утвердить мысль об антипросветительском характере творчества сентименталистов, прежде всего Руссо (работы Д. Морне, А. Монглона и др.²²). Однако подобные попытки подверглись аргументированной критике со стороны советских ученых и исследователей ГДР.²³ В частности, В. Краус и В. Шрёдер подчеркивали, что философия сенсуализма, определяющая эстетику Руссо, явилась основой как французского, так — несколько позднее — и немецкого Просвещения. В исследованиях М. Л. Тронской убедительно было показано, как идеи Просвещения нашли отражение в творчестве Л. Стерна и в немецком сентиментально-юмористическом романе.²⁴ «Культ чувства, — указывает исследователь, — не есть отказ от завоеваний разума, это лишь протест растущего человека против централизованной опеки разума, испытание разума чувством».²⁵ Целиком принимая это положение, С. В. Тураев решительно выступил против попыток резко противопоставить друг другу рационализм и иррационализм XVIII века и отнести к Просвещению только раннюю, рационалистическую стадию в развитии литературы этого столетия.²⁶ «Реальный характер литературного процесса рубежа XVIII—XIX столетий, — замечает А. С. Дмитриев, — свидетельствует отнюдь не о полном отрицании романтиками просветительских традиций, а о глубокой диалектической взаимосвязи между Просвещением и все более прочно утверждавшимся романтизмом».²⁷

Сказанное о европейской литературе сентиментализма и романтизма во многом может быть отнесено и к русской. Более того, именно в русской литературе, где смена направлений происходила так быстро, более устойчивым оставалось рациональное мышление, характерное и для классицизма, и для сентиментализма. Эстетика нового направления ориентировалась не только на аналогичные явления европейской культуры, но и на отечественные традиции. Даже декларируя свой отказ от авторитетов недавнего прошлого, писатели нового направления продолжали еще опираться на них и, провозглашая ценность чувства, вовсе не отказывались от признания ценности разума. В русской литературе на протяжении всего XVIII века живым явлением оставалось творчество Ломоносова и Сумарокова. С их теоретическими принципами спорили, но по-своему постоянно использовали их в художественной практике.

²² *Mornet D.* La Nouvelle Héloïse de J.-J. Rousseau. Paris, 1929; *Monglond A.* Le préromantisme français, Vol. 1—2. Grenoble, 1930.

²³ *Krauss W.* Französische Aufklärung und deutsche Romantik. — Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl Marx-Universität Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe. 1963, N. 2; *Schröder W.* Die Präromantiktheorie — eine Etappe in der Geschichte der Literaturwissenschaft? — Weimarer Beiträge, 1966, N. 5/6, S. 725—764.

²⁴ *Тронская М. Л.* 1) Немецкая сатира эпохи Просвещения. Л., 1962; 2) Немецкий сентиментально-юмористический роман эпохи Просвещения. Л., 1965.

²⁵ *Тронская М. Л.* Немецкая сатира эпохи Просвещения, с. 68.

²⁶ *Тураев С. В.* Спорные вопросы литературы Просвещения. — В кн.: Проблемы Просвещения в мировой литературе. М., 1970, с. 19.

²⁷ *Дмитриев А. С.* Романтизм и Просвещение — борьба или взаимодействие? — Вопросы литературы, 1972, № 10, с. 117.

Для русского сентиментализма особенно характерно сохранение дидактики. Это качество во многом оказывалось связано с задачами Просвещения. «Учительная», воспитательная функция, традиционно присущая русской литературе, осознавалась и сентименталистами как важнейшая. Вместе с тем характер ее постепенно менялся.

Раньше оказывалось очень четким и не вызывающим никаких сомнений противопоставление: образованность — невежество (Феофан Прокопович, Кантемир, Ломоносов). На новом этапе развития русской просветительской мысли эта антитеза, разумеется, сохраняла свое значение, но все более усложнялись понятия «наука» и «образованность», начались споры о том, какие именно знания нужнее всего человечеству, какими путями они могут быть достигнуты. С одной стороны, важнейшим стимулом для подобных размышлений явилось знакомство с произведениями французских просветителей, особенно с сочинениями Ж.-Ж. Руссо.²⁸ С другой — переоценке прежних ценностей способствовали события русской общественной жизни: деятельность Комиссии по составлению проекта нового Уложения 1767—1769 годов и особенно Великая крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева 1773—1775 годов. Самая действительность выдвигала на первый план социальные проблемы, которые так или иначе оказывались в центре внимания всех крупнейших русских писателей именно в тот период, когда складывалось новое направление — сентиментализм. Человек и общество — вот проблема, к решению которой с разных позиций обращаются и Новиков, и Фонвизин, и Радищев, и Карамзин, и многие менее маститые авторы. В современной историко-литературной науке хорошо показано, что у каждого из них своя позиция, свой творческий путь, свое место в истории отечественной культуры. Сентиментализм Карамзина и отчасти Радищева — явления, в большей или меньшей степени общепризнанные. Но отношение к этому литературному направлению других русских писателей-просветителей, не ставших сентименталистами, нередко игнорировалось или трактовалось преимущественно в негативном плане. Между тем эта проблема существует, она достаточно сложна, но обойти ее — значит обеднить представление о русском сентиментализме и его связи с идеологией Просвещения.

* * *

В 1772 году на страницах новиковского «Живописца» посмертно было опубликовано стихотворение Н. Н. Поповского «О пользе наук и о воспитании во оных юношества», идейно связанное с трактатом Дж. Локка «О воспитании детей». Этот трактат в переводе Поповского неоднократно издавался в России в XVIII веке (М., 1759; М., 1760; М., 1788). Как известно, идеи Локка оказали впоследствии серьезное воздействие на педагогические взгляды Ж.-Ж. Руссо.²⁹ Поповский, поэт-классицист, изобразил идеальный результат воспитания следующим образом:

Не игры на уме и не непостоянство,
Не вкус и щегольство, ппрушки и убранства,
Но польза общества, потомства похвала,
Чтоб вечность получить чрез славные дела.³⁰

Приведенные стихи вполне соответствовали идейно-эстетической про-

²⁸ См.: Логман Ю. М. 1) Руссо и русская культура XVIII века. — В кн.: Эпоха Просвещения. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1967, с. 206—281; 2) Руссо и русская культура XVIII—начала XIX века. — В кн.: Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969, с. 555—604.

²⁹ См.: Джибладзе Г. Н. Жан-Жак Руссо и его педагогическое наследие. — В кн.: Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения, т. 1. М., 1981, с. 7—18.

³⁰ Поэты XVIII века, т. 1. Л., 1972, с. 111.

грамме русского классицизма. Эта программа во многом продолжала сохранять свою притягательность и для Новикова. Характерно, что тема науки и воспитания «на пользу общества» находит постоянное место в журналах Новикова не только начала 1770-х, но и конца 1770—1780-х годов.³¹

Особого внимания заслуживает роль Новикова как своеобразного посредника между писателями разных поколений и направлений. В этом отношении важными представляются новейшие исследования, посвященные истории взаимоотношений Новикова и М. Н. Муравьева, непосредственного предшественника Карамзина.³² Отмечая, что «близость к Хераскову и Новикову сказалась в постановке Муравьевым морально-этических проблем»,³³ Л. И. Кулакова обратила внимание и на существенные расхождения между писателями, касавшиеся как философских, так и эстетических вопросов: критерий «точности», столь важный для Новикова, стал утрачивать свой авторитет в глазах Муравьева. Тем не менее просветительские идеи Новикова, связанные со стремлением способствовать культурному росту и самосознанию русского общества, несомненно находили самый живой отклик со стороны Муравьева. Творчески осмыслив труды французских просветителей, Муравьев опирался на них в своей последующей деятельности.³⁴

Несмотря на справедливо отмечавшиеся расхождения Новикова и Муравьева в вопросах эстетики, и здесь было немало сближавшего их. Новиков выступил пропагандистом некоторых важных принципов, получивших дальнейшее развитие в литературе сентиментализма. В частности, особенно характерен в этом отношении трактат Новикова «О воспитании и наставлении детей» (1783), одно из самых замечательных произведений русской педагогики XVIII века. Опираясь на сочинения Дж. Локка, Ф. Фенелона и других европейских мыслителей, Новиков с большой обстоятельностью разработал просветительскую программу воспитания «счастливых людей и полезных граждан». Выделив три стороны в воспитании (физическое, нравственное и умственное), Новиков с одинаковым вниманием отнесся и к «образованию сердца», и к «образованию разума». В полном соответствии с просветительскими представлениями Новиков утверждает, что «процветание государства, благополучие народа зависят неотменно от доброты нравов, а доброта нравов неотменно от воспитания».³⁵ Далее он говорит о том, что «человекодружественные, общественные и гражданские добродетели должны овладеть *сердцами* граждан».³⁶ Характерно, что речь идет здесь именно не об «умах», а о «сердцах». Новиков не противопоставляет умственное и нравственное образование: одно неразрывно связано с другим. И все-таки «первое, великое, толь много в себе заключающее дело воспитания» — это «образование сердца».³⁷

Исследователи с полным основанием видят в статье «О воспитании и наставлении детей» выражение не только педагогических, но и важнейших общественно-политических идей Новикова. Вместе с тем сочинение представляет несомненный интерес и для истории русской эстетической

³¹ См.: *Макогоненко Г. П.* Николай Новиков и русское Просвещение XVIII века. М.—Л., 1954; *Дербова Л. А.* Общественно-политические и исторические взгляды Н. И. Новикова. Саратов, 1974.

³² *Кулакова Л. И.* Н. И. Новиков в письмах М. Н. Муравьева. — В кн.: XVIII век, сб. 11. Л., 1976, с. 16—23; Письма М. Н. Муравьева. Публикация Л. И. Кулаковой и В. А. Западава. — В кн.: Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980, с. 259—378.

³³ *Кулакова Л. И.* Н. И. Новиков в письмах М. Н. Муравьева, с. 20.

³⁴ См.: *Фоменко И. Ю.* Исторические взгляды М. Н. Муравьева. — В кн.: XVIII век, сб. 13, с. 167—184.

³⁵ *Новиков Н. И.* Избр. соч. М.—Л., 1954, с. 418.

³⁶ Там же. Курсив мой, — Н. К.

³⁷ Там же, с. 419—420.

мысли: оно уже отражает процесс переоценки ценностей, приведший в конце концов к переосмыслению классицистического культа разума.

Напомним, что речь идет именно лишь о переосмыслении, но не об отказе от этого культа, сохраняемого — иногда даже вопреки декларациям — достаточно долго, но дополняемого представлением о ценности человеческого чувства. Для Новикова одинаково важно научить людей правильно мыслить и правильно чувствовать. Вкоренить идеи наилучшим образом — это значит вкоренить их «в сердца». Таким образом, необходимость обращения к сердцу, к чувству получает еще рационалистическое обоснование. Но при этом обогащается и усложняется самая категория разума. Характерно, что член новиковского кружка И. П. Тургенев переводит «речь, говоренную одним из лейпцигских профессоров» «О действии наук над сердцами и правом человеческим», где также подчеркивается необходимость познания «человеческого сердца». Автор, явно находящийся под влиянием руссоистских идей, порицает тех, которые, посвятив себя наукам, «при исправленном разуме исправленного сердца не имеют и остаются горделивыми и тщеславными», «не думают о делах своих, но о себе».³⁸ Своеобразным итогом речи оказывается сентенция вполне в духе сентиментализма: «Истина дозволяет себя токмо чувствовать, а не доказывать».³⁹

Кульм разума уступал место культу чувства, но авторитет разума оставался непререкаемым для поколения, воспитанного на литературе сентиментализма. Через пятнадцать лет после трактата Новикова А. А. Прокопович-Антонский писал: «Руссо делает весьма сильные возражения противу отцов, кои хотят, чтоб дети их рассуждали с самого младенчества, однако же при всех шагах своего Эмиля дает он вождем ему разум».⁴⁰ Истолковывая таким образом воззрения Руссо, русский писатель и педагог несомненно использовал опыт Новикова и продолжил его традиции. Но если для Прокоповича-Антонского важно было вернуть своих читателей к старой мысли о необходимости «образования разума», то Новиков был поглощен заботой внушить читателям, что сердце требует образования, не в меньшей степени, чем разум. Осуществляя эту идею на практике, он озаглавил свой журнал: «Детское чтение для сердца и разума» (1785—1789).

В этом первом русском периодическом издании, предназначенном для детей, помещались статьи и познавательного, и нравоучительного характера. В частности, здесь печатались переводы из сочинений И. Г. Кампе, вызвавших большой интерес в России в 1780—1790-е годы.⁴¹ Имя Кампе в истории немецкой литературы связано с таким важным прогрессивным для своего времени явлением, как «филантропизм». Антифеодалная настроенность, увлеченность Ж.-Ж. Руссо, а затем самое сочувственное отношение к событиям французской революции — вот что достаточно ярко характеризует филантропизм Кампе и его сподвижников, замечательных представителей немецкого Просвещения.⁴² Один из них, Х. Х. Вольке, приехав в Петербург в 1784 году, принял участие в организации учебного дела в Кадетском корпусе, оказав известное влияние на директора корпуса Ф. Ф. Ангальта. Вольке, однако, натолкнулся на ряд серьезных препятствий, связанных с осложнением внутренней политической обстановки в России и фактическим отказом Екате-

³⁸ Московское ежемесячное издание, 1781, ч. 2, с. 304—305.

³⁹ Там же, с. 310.

⁴⁰ Прокопович-Антонский А. А. Слово о воспитании. М., 1798, с. 17.

⁴¹ См.: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века, т. 2. М., 1964, с. 8—10.

⁴² König H. Der Philantropismus — eine Kraft des gesellschaftlichen Fortschritts. — In: Zwischen Wörlitz und Mosigkau, H. 1. Dessau, 1969, S. 6—17.

рины II от провозглашенной ею либеральной политики.⁴³ Тем не менее едва ли справедливо отрицать воздействие филантропизма на русскую общественную мысль.

В этом отношении многое было сделано именно Новиковым. При всей ограниченности социальной программы «Детского чтения» журнал учил «гуманному отношению к нижестоящим людям», вызывал «интерес и уважение к третьему сословию».⁴⁴ Новиков воспитывал, таким образом, не только маленьких и взрослых читателей, но и своих молодых сотрудников: Н. М. Карамзина, В. С. Подшивалова, Н. Н. Сандунова, А. А. Прокоповича-Антонского — начинающих литераторов, выступивших через несколько лет как зрелые писатели, в большей или меньшей степени связанные с сентиментальным направлением. В кружке Новикова и его друзей (И. П. Тургенева, А. М. Кутузова, И. В. Лопухина, А. А. Петрова) осуществлялось, по словам И. И. Дмитриева, «нравственное образование Карамзина».⁴⁵ Кружок Новикова, как известно, объединял видных деятелей русского масонства. Отношение же масонов XVIII века к идеям Просвещения было далеко не однозначно: одни принимали их с известными ограничениями, другие относились к ним откровенно враждебно. Характерно, что мистические устремления масонов оказались чужды Карамзину,⁴⁶ сохранившему, однако, на протяжении всей жизни глубокое уважение к Новикову. Высоко оценивая роль Новикова в истории отечественной культуры, А. И. Герцен особо отметил его воздействие на Карамзина: «Этот неутомимый человек до своего падения помог сложиться последнему великому писателю той эпохи — Карамзину».⁴⁷ Воспринятое в кружке Новикова Карамзин, благодаря своему литературному таланту, сделал достоянием многочисленных читателей и литераторов, в той или иной степени ориентировавшихся на карамзинское творчество, т. е. более широко — сентименталистского направления в целом. Нельзя, однако, забывать, что Новиков «помог сложиться» не одному Карамзину, но и Муравьеву, и многочисленным сотрудникам «Детского чтения», и тем, кто зачитывался этим журналом в детстве.

В чем же прежде всего состояло влияние Новикова на процесс формирования нового литературного направления? Однозначно ответить на этот вопрос нелегко. Можно, однако, выделить несколько главных аспектов. Немалое значение, конечно, имело внимание Новикова-издателя и его сотрудников к литературе западноевропейского сентиментализма, в частности переводы А. М. Кутузова, И. П. Тургенева, И. В. Лопухина из сочинений Э. Юнга, Х. Геллерта и др.⁴⁸ Но еще важнее было нравственное влияние Новикова как личности, как педагога-просветителя, по-новому раскрывавшего идею внесловной ценности личности. А. И. Герцен обратил внимание именно на эту сторону деятельности Новикова: «Каким огромным делом оказалась эта смелая мысль — объединить во имя нравственного интереса в братскую семью все, что есть умственно зрелого, от крупного сановника империи, как князь Лопухин,

⁴³ *Opitz G.* Christian Heinrich Wolke in Russland und die Wirkungen des Philantropismus in Russland. — *Ibid.*, S. 27—31.

⁴⁴ См.: *Подшивалова Е. П.* Социальная проблема на страницах журнала Новикова «Детское чтение для сердца и разума». — В кн.: XVIII век, сб. 11, с. 107—108.

⁴⁵ *Дмитриев И. И.* Взгляд на мою жизнь. — Соч., т. 2. СПб., 1893, с. 25.

⁴⁶ Об этом подробнее см.: *Кочеткова Н. Д.* Идеино-литературные позиции масонов 80—90-х годов XVIII в. и Н. М. Карамзин. — В кн.: XVIII век, сб. 6. М.—Л., 1964, с. 176—196.

⁴⁷ *Герцен А. И.* О развитии революционных идей в России. — Собр. соч. в 30-ти т., т. 7. М., 1956, с. 190.

⁴⁸ *Brang P. A. M.* Kutuzov als Vermittler des westeuropäischen Sentimentalismus in Russland. (Zum Problem der Attributierung anonymer Werke des 18. Jahrhunderts). — *Zeitschrift für slavische Philologie*, 1962, Bd 30, H. 2, S. 44—57; *Левин Ю. Д.* Английская поэзия и литература русского сентиментализма. — В кн.: От классицизма к романтизму. Л., 1970, с. 195—297.

до бедного школьного учителя и уездного лекаря».⁴⁹ Новиковская этика — вот что способствовало углубленному переосмыслению идеи внесловной ценности человека.

Представление о том, что человек незнатный и небогатый может всего достигнуть благодаря своим личным достоинствам, было хорошо знакомо еще читателям петровских повестей.⁵⁰ Не знатность рода, но истинное понимание дворянской чести служило основным критерием оценки человека в глазах А. П. Сумарокова. И все-таки сословные ограничения долго продолжают сковывать самые смелые умы. Переворот в системе сословного мышления осуществляется долго и мучительно. Коренной перелом наступает, когда человека начинают ценить не за его способности, приносящие ему в конце концов деньги и почести, а за его нравственные качества. Идея внесловной ценности приобретает, таким образом, более глубокое и богатое содержание. Героем становится не тот, кто вопреки своему происхождению сумел «выйти в люди», а тот, кто независимо от своего сословного состояния имеет благородные чувства. Эта идея, принявшая в европейской литературе сентиментализма ярко выраженный буржуазный характер, по-своему была воспринята русскими писателями, и не только сентименталистами.

Серьезный интерес к третьему сословию, особенно к купечеству, характерен для Д. И. Фонвизина.⁵¹ Вполне закономерным оказалось его внимание к «слезной» мещанской драме.⁵² Естественно, это еще не определяет главного в художественном методе Фонвизина. Но следуя просветительской традиции русской литературы классицизма и обогащая ее блеском своего таланта, драматург по-своему подошел в «Недоросле» к теме воспитания. Осмеяние невежества — лейтмотив «комедии народной». Но для Фонвизина, как и для Новикова, существуют два главных аспекта воспитания: «образование ума» и «образование сердца». При этом второму автор «Недоросля» придает первостепенное значение, как видно, в частности, из разговора Стародума и Правдина:

Стародум. ... Отец мой непрестанно мне твердил одно и то же: имей сердце, имей душу, и будешь человеком во всякое время. На все прочее мода: на умы мода, на знания мода, как на пряжки, на пуговицы.

Правдин. Вы говорите истину. Прямое достоинство в человеке есть душа.

Стародум. Без нее просвещеннейшая умница — жалкая тварь.⁵³ Фонвизин, таким образом, уже ставит под сомнение достоинства просвещенного разума, не подкрепленные достоинствами сердца. Здесь обнаруживается известная близость русского драматурга к кругу идей Руссо, которого, как известно, он выделял среди других французских писателей. основополагающая для Руссо идея оказалась одной из важных, но далеко не главной для Фонвизина — сатирика и публициста, обратившегося к изображению конкретной русской действительности, нравов и быта своих соотечественников. Положительные герои Фонвизина — это дворяне, а не представители третьего сословия. Идея внесловной ценности человека остается еще во многом ограниченной все теми же сословными рамками. Важно, что усложняется и повышается критерий при оценке личности: ум и знания — необходимое, но недостаточное условие: «Ум, коль он только что ум, самая безделица... Прямую цену ему дает благо-

⁴⁹ Герцен А. И. Указ. соч., с. 190.

⁵⁰ См.: Моисеева Г. Н. Русские повести первой трети XVIII века. М.—Л., 1965.

⁵¹ См.: Макогоненко Г. П. Денис Фонвизин. (Творческий путь). М.—Л., 1961; Кулакова Л. И. Денис Иванович Фонвизин. Биография писателя. М.—Л., 1966; Левинсон-Лессинг В. Ф. Фонвизин и образительное искусство. — В кн.: Труды Гос. Эрмитажа. XIV. Л., 1973, с. 97—132.

⁵² См.: Степник Ю. В. Указ. соч., с. 64—68.

⁵³ Фонвизин Д. И. Собр. соч., т. 1. М.—Л., 1959, с. 130.

нравие».⁵⁴ Таким образом, вопросы нравственного воспитания выдвигаются на первый план.

В этой связи едва ли совершенно случайным явилось обращение Фонвизина к сентиментальной повести Ф.-Т. Арно «Сидней и Силли, или Благодеяние и благодарность». Этот переводный труд, предпринятый писателем по желанию любимой им женщины и посвященный ей, внутренне связан с позднейшим оригинальным зрелым произведением Фонвизина — «Чистосердечным признанием в делах моих и помышлениях».

«Чувствительные» повести Арно пользовались большой популярностью в России 1770—1790-х годов — период расцвета сентиментализма. «Благодеяние и благодарность» — тема, которая беспрестанно варьируется в литературе того времени и отражает одну из ее важнейших тенденций. Разумеется, подход к этой теме был возможен с разных социальных позиций.

Тема привлекала Новикова и его сподвижников, пропагандировавших активную деятельность, помощь обездоленным и страждущим. Этой пропаганде, которая велась на страницах новиковских журналов, соответствовали конкретные действия: организация училищ для бедных детей, бесплатных аптек и т. д. С другой стороны, появлялись произведения — переводные и оригинальные, — призывавшие к благотворительности, но проникнутые умиленной самоуспокоенностью, содержавшие благонамеренные и верноподданнические рассуждения. Эта двойственность в трактовке темы «благодеяние и благодарность» стала проявляться тем явственнее, чем популярнее делалась сама тема. В ее развитии можно проследить и некоторую эволюцию.

В журнале «Утренние часы» (1786—1789), издававшемся при активном участии просветителя-вольтерьянца И. Г. Рахманшова, обращает на себя внимание постоянный раздел: «Черты великодушия и добродетели». Здесь публиковались небольшие переводные статьи, сообщавшие о благородных поступках, проявлениях бескорыстия, отзывчивости и т. п. Источники переводов — самые разные,⁵⁵ но подборка сделана так, чтобы она служила для читателя своеобразным учебником «добронравия». Действующими лицами оказываются и исторические деятели, и вымышленные персонажи, и реально существовавшие, но не названные по имени люди. Самое замечательное, что среди них появляется новый тип героя: человек «среднего» или «низкого» сословия: башмачник, мясник, крестьянин.

Особый интерес представляют все чаще встречающиеся в периодике 1780-х годов оригинальные рассказы о «благородных поступках» россиян. Для этих рассказов также характерна установка на достоверность — типичная черта сентиментальной повести. Показывая примеры, достойные подражания, авторы, как правило, апеллируют к «чувствительному сердцу» читателя. Вполне в духе этой традиции оказалась напечатанная в «Московском журнале» (1791) повесть Карамзина «Фрол Силин, благодарственный человек», идейно подготовленная сотрудничеством писателя с кружком Новикова.⁵⁶ Крестьянин Фрол Силин, бескорыстно и неутомимо помогающий окружающим его людям, надолго стал хрестоматийным героем. Но подобный ему персонаж появился почти одновременно, и даже на несколько месяцев раньше, на страницах другого журнала — «Чтение для вкуса, разума и чувствований», главным сотрудником которого, а затем и издателем был В. С. Подшивалов. В статье, озаглавлен-

⁵⁴ Там же, с. 152.

⁵⁵ См.: *Рак В. Д.* Переводческая деятельность И. Г. Рахманинова и журнал «Утренние часы». — В кн.: *Русская культура XVIII века и западноевропейские литературы*. Л., 1980, с. 83—126.

⁵⁶ См.: *Степанов В. П.* Повесть Карамзина «Фрол Силин». — В кн.: *XVIII век*, сб. 8. Л., 1969, с. 229—244.

ной «Могущество сострадания», рассказывалось о поденщике Федоре, который, накопив сто рублей, отдал их бедной старой женщине Марье. Этот поступок навлекает на него насмешки, и Федор отбирает деньги, но тут же раскаявшись, снова отдает. «Что люди ни бают, а жалость сердцу велика утеха, — делает «нравоучительный» вывод герой рассказа, а повествователь заключает статью следующей сентенцией: — Соболезнующая чувствительность! по твоему сладостному впечатлению познать можно, что человек есть творение небесное».⁵⁷ В последующих номерах «Чтения для вкуса» и в другом журнале В. С. Подшивалова «Приятное и полезное препровождение времени» публикуются переводные и оригинальные статьи подобного же типа («Великодушный пастух», «Великодушный крестьянин», «Иван Варфоломеевич» и др.). В одной из издательских ремарок к этим текстам В. С. Подшивалов заметил: «И простой крестьянин может судить так! Что ж мы, просвещенные?»⁵⁸ Для интеллигента-разночинца Подшивалова за этим вопросом стояли те же проблемы, что и для Карамзина и других европейских и русских авторов, начинавших подвергать критической проверке просветительские идеалы.

Связанное с культом разума представление о просвещении как о сумме знаний, о всеилии человеческой мысли вступало в противоречие с идеей «естественного человека», руководствующегося прежде всего теми истинами, которые ему подсказывает сердце. Разными писателями по-разному решалось это противоречие, возникавшее в ходе эволюции самой просветительской идеологии, которая не оставалась замкнутой и неподвижной системой. Если в европейской литературе это наиболее четко отразилось в спорах Руссо с Вольтером и энциклопедистами, то в русской литературе, благодаря особенностям ее ускоренного развития, картина получилась иная.

Идея «естественного человека» оказалась связана прежде всего с возникновением философского просветительского романа и сатирической прозы (роман П. И. Богдановича «Дикий человек, смеющийся учености и нравам нынешнего света», анонимный роман «Кривонос-домосед, страдалец модной», «Отрывок путешествия в*** И*** Т***» и др.).⁵⁹

Совершенно особое место занимает «Путешествие из Петербурга в Москву». Мысль о нравственном превосходстве людей из народа над дворянами, как известно, одна из главнейших в революционной книге Радищева. Но апология крестьянина как «естественного человека» не приводила писателя к отрицанию пользы наук и искусств. Замечательно в этом отношении завершающее «Путешествие» «Слово о Ломоносове», имеющее такое большое значение в композиции всей книги. «Образование ума» — неотъемлемая часть воспитания человека в представлении Радищева. Об этом идет речь и в главе «Крестьяны», где высказаны важнейшие педагогические идеи писателя. Крестьянский дворянин говорит своим сыновьям: «Но если рассудку вашему предоставлял я направлять стопы ваши в степях науки, тем бдительнее тщился быть во нравственности вашей».⁶⁰ Опять-таки речь идет не только об «образовании ума», но и об «образовании сердца». Именно этой стороне посвящено большинство наставлений крестьянского дворянина. В частности, он дает следующий совет своим детям: «Ходите в хижины уничижения, утешайте томящегося нищего; вкусите его брашна, и сердце ваше усладится, дав отраду скорбящему».⁶¹ Этическая программа Радищева, несомненно, го-

⁵⁷ Чтение для вкуса, разума и чувствований, 1791, ч. 1, с. 181.

⁵⁸ Приятное и полезное препровождение времени, 1794, ч. 1, с. 275.

⁵⁹ См.: Лотман Ю. М. Пути развития русской просветительской прозы XVIII века. — В кн.: Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII века, с. 79—106.

⁶⁰ Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. 1. М.—Л., 1938, с. 289.

⁶¹ Там же, с. 290.

раздо шире, чем Новикова. Радищевский герой рассуждает следующим образом: «Добродетели суть или частные или общественные. Побуждения к первым суть всегда мягкосердие, кротость, соболезнование, и корень всегда их благ. Побуждения к добродетелям общественным нередко имеют начало свое в тщеславии и любочестии. Но для того не надлежит останавливаться в исполнении их».⁶² Перечисленные «частные добродетели» вполне соответствуют идеалу «чувствительного человека». Для Радищева, однако, они составляют лишь первый этап нравственного образования, хотя и необходимый: «Упражняйся всегда в частных добродетелях, дабы могли удостоиться исполнения общественных».⁶³ Воспитательная программа, изложенная в главе «Крестьяцы», дополняется содержанием всей книги, открывающей путешественнику и читателю душевную красоту таких людей из народа, как Анюта, слепой певец, бескорыстно помогающая ему женщина и другие. Особое место занимает образ крепостного интеллигента, сохранившего, несмотря на весь трагизм его положения, лучшие качества «естественного человека» и одновременно человека образованного, духовно развитого.

Характерная для сентиментализма тема сословного неравенства приобрела у Радищева самое смелое социальное звучание. В этом нашла отражение его общественная революционная позиция. У других авторов, обращавшихся к этой теме, в большей или меньшей степени появлялось лишь осознание несовершенства существующего миропорядка. «Чувствительный» герой обычно вступает в конфликт с людьми, которые нравственно гораздо ниже его — часто и менее образованы, — но занимают в обществе более высокое положение. Исход такого конфликта чаще всего трагичен.

Мысль о том, что «и крестьянки любить умеют», знакома была русскому читателю уже до «Бедной Лизы» Карамзина. Положительные герои крестьяне были частыми персонажами в русской комической и «слезной» комедии 1770—1780-х годов.⁶⁴ Но чаще всего социальный конфликт здесь или совершенно отсутствовал (как, например, в «Новом семействе» С. К. Вязмитинова), или был существенно смягчен (как в «Розане и Любиме» Н. П. Николева), или же «чувствительная» крестьянка оказывалась в действительности дворянкой (начиная с «Анюты» М. И. Попова и кончая сентиментальной драмой начала XIX века).

В «Бедной Лизе» Карамзина важное значение имел мотив социального и имущественного неравенства героев. Правда, сходную ситуацию можно найти уже в романах Ф. А. и Н. Ф. Эммы, а затем в ряде сентиментальных повестей — например, в «Несчастном М-ве» А. И. Клушина. Сюжеты этих произведений находили непосредственные параллели и в европейской литературе.⁶⁵ Одним из излюбленных типов героя стал разночинец, «чувствительный» интеллектуал. Карамзин же делает героиней крестьянку, образ которой очерчен достаточно условно и по-своему воплощает идею «естественного человека», далекого от цивилизации, но нравственно совершенного. Именно так представляет себе Лизу «просвещенный» Эраст, находящийся под впечатлением романов и идиллий, ко-

⁶² Там же, с. 293.

⁶³ Там же, с. 294.

⁶⁴ См.: Берков П. Н. История русской комедии XVIII в. Л., 1977; Кукушкина Е. Д. Драматургия русской комической оперы XVIII века. Диссертация на соискание ученой степени канд. филол. наук. Л., 1981.

⁶⁵ О типах русской сентиментальной повести см.: Сиповский В. В. Очерки из истории русского романа, т. 1, вып. 2. СПб., 1910; Brang P. Studien zu Theorie und Praxis der russischen Erzählung 1770—1811. Wiesbaden, 1960; Канунова Ф. З. Из истории русской повести. Томск, 1967; Städtke K. Die Entwicklung der russischen Erzählung (1800—1825). Berlin, 1971; Русская повесть XIX века. Л., 1973, с. 53—76; Перрунина Н. Н. Проза 1800—1810 гг. — В кн.: История русской литературы, т. 2. Л., 1981, с. 59—64.

торые он «читывал». Идея «естественного человека» связывается, таким образом, с мифом о «золотом веке». Столкновение этого мифа с действительностью приводит к развязке, трагической не только для Лизы, но и для Эраста, который «был до конца жизни своей несчастлив». ⁶⁶ Он по существу и является центральным героем повествования, наиболее близким автору. Стремясь отринуть сословные ограничения, Эраст неизбежно подчиняется их власти. Решившись «оставить большой свет», он убеждает Лизу, что для него «важнее всего душа чувствительная, невинная душа». Но он уже не может отказаться от «света» и, вполне подчиняясь его законам, спасается от карточных долгов женитьбой на богатой невесте.

Противоречие, с которым столкнулся герой Карамзина (литературный идеал — разрушающая его действительность), возникало и в жизни. Читатели, воспитанные на произведениях сентиментализма, провозглашавших высшей ценностью человеческое чувство, с горечью обнаруживали, что мерилом отношения к людям, как правило, по-прежнему оставалось их положение в обществе: богатство и знатность. Воспитанница Лабзиных С. А. Лайкевич вспоминала о своей юности: «Были молодые люди, которым, казалось мне, я нравилась, но маменька в подобных случаях всегда выражалась, что я девка бедная... а это никогда и никому не могло быть лестно». ⁶⁷ Г. П. Каменев, познакомившийся с Карамзиным и Дмитриевым в 1800 году, с удивлением констатировал: «Они живут очень дружно и обращаются просто, хотя один поручик, а другой генерал-поручик». ⁶⁸

«Нравственное образование» публики, осуществлявшееся писателями-сентименталистами, осложнилось не только ее недостаточной подготовленностью, но и ограниченностью программы самих наставников. Прославление «благородных поступков» у сентименталистов нередко сочеталось с проповедью смирения и довольства своим состоянием. Как пример «бескорыстия» Карамзин поместил в «Вестнике Европы» со своим предисловием рассказ некоего В. Н. Ключкова о том, как его брат добровольно разделил с ним оставленное отцом ему одному имение, «состоящее в 250 душах». ⁶⁹ А. И. Измайлов опубликовал в «Любителе словесности» «истинные анекдоты», в которых героями оказывались «честные слуги», проявлявшие свою преданность господам. Признавая, что «земледелец полезнее для государства, нежели тунеядцы, в свете живущие», Н. П. Брусилов прославлял «простолюдина» Якова, который «малым доволен». ⁷⁰ В рассказе о благодеяниях московского купца Жигарева упоминалось об его отказе от «дворянского достоинства», который он обосновывал следующим образом: «Я чувствую, что я буду худым дворянином, теперь я хороший купец и состояния не променяю ни на какие блестящие титла». ⁷¹

Подобные примеры нетрудно умножить. Традиционное сословное мышление вступало в противоречие с просветительской идеей внесословной ценности человека. С этим связано и двойственное отношение сентименталистов к фольклору. Простота и душевность народной поэзии (прежде всего песни) привлекала поэтов нового направления. Им принадлежит немалая заслуга в пробуждении широкого интереса к народному творчеству и более глубоко — в признании ценности искусства каждого народа каждой эпохи (Карамзин). ⁷² Вместе с тем фольклорные произведения

⁶⁶ Карамзин Н. М. Избр. соч., т. 1. М.—Л., 1965, с. 621.

⁶⁷ Лайкевич С. А. Воспоминания. СПб., 1905, с. 183—184.

⁶⁸ Бобров Е. Литература и Просвещение в России XIX в., т. 3. Казань, 1902, с. 130—131.

⁶⁹ Вестник Европы, 1803, ч. 8, № 7, с. 227—229.

⁷⁰ Журнал российской словесности, 1805, ч. 2, с. 70—73.

⁷¹ Там же, ч. 3, с. 153.

⁷² См.: Русская литература и фольклор. XI—XVIII вв. Л., 1970, с. 351—389.

с точки зрения большинства сентименталистов требовали литературной обработки. Характерен в этом отношении «Карманный песенник» И. И. Дмитриева и его собственные подражания народным песням, во многом противостоящие практике Н. А. Львова, чей сборник «Собрание народных песен с их голосами» (1790) занимает особое место.

Таким образом, самая идея «естественного человека» принималась, но с большими или меньшими ограничениями. С одной стороны, эти ограничения сохранились в русской литературе сентиментализма со времен господства классицизма с его системой иерархического мышления. С другой, они возникали заново в ходе осмысления опыта буржуазной революции во Франции, заставившего во многом пересмотреть просветительские идеалы и, в частности, вызвавшего полемику многих русских литераторов с сочинениями Руссо. И. В. Лопухин и И. П. Тургенев, участники новиковского кружка, страстные поклонники «чувствительного» Руссо (прежде всего автора «Новой Элоизы»), решительно отказались принять его учение о социальном равенстве людей и по отношению к французской революции заняли самую реакционную позицию.

Идея «естественного человека» и связанная с ней критика современной цивилизации для большинства русских сентименталистов (включая и Муравьева, и Карамзина, и Подшивалова, и др.) оказалась приемлемой лишь в самом общем плане. Соответственно решительное неприятие встретило у Карамзина и знаменитое рассуждение Руссо, написанное на тему, предложенную Дижонской академией. Программный характер для русского сентиментализма в целом имела статья Карамзина «Нечто о науках, искусствах и просвещении» (1793).

Полемизируя с Руссо, Карамзин противопоставил его рассуждению апофеоз человеческому разуму и научному знанию. «Чувствительные впечатления» предстают лишь как начальный этап познавательного процесса, осуществляемого благодаря «той удивительной силе или способности, которую называем мы разумом»: «Подобно лучезарному солнцу, освещает она хаос идей, разделяет и совокупляет их, находит между ими различия и сходства, отношения, частные и общие, и производит идеи особого рода, идеи отвлеченные, которые составляют знания, составляют уже науку...»⁷³ Не случайно Карамзин тут же упоминает Декарта, а далее Локка и Кондильяка, не противопоставляя их друг другу, но стремясь дополнить философию картезианства идеями сенсуализма. Подобная позиция была во многом обусловлена ориентацией писателя на отечественную литературную традицию. При всем внешнем стремлении сентименталистов оттолкнуться от этой традиции, внутренне они были с ней связаны гораздо теснее, чем западноевропейские писатели. Борьба с невежеством, пропаганда научного знания и стремление к образованности в самом широком смысле слова — все это сохраняло свою актуальность не только для Кантемира, Ломоносова, Сумарокова, но и для Новикова и Фонвизина, а затем Муравьева, Карамзина и его сподвижников. Таким образом, для опровержения идей Руссо Карамзин использовал аргументацию, выработанную несколькими поколениями русских писателей.

Спор Карамзина с Руссо шел в пределах одной и той же концепции — просветительской, допускавшей два разных истолкования: «исцеление социального зла рисовалось одним в облике столь же мгновенного возрождения природных прав человека — революции, другим — как следствие постепенного прозрения человечества под влиянием Разума и просвещения».⁷⁴ Именно второе истолкование в первую очередь получило

⁷³ Карамзин Н. М. Избр. соч., т. 2, с. 125.

⁷⁴ Лотман Ю. М. Идея исторического развития в русской культуре конца XVIII—начала XIX столетия. — В кн.: XVIII век, сб. 13, с. 83—84.

признание в русской литературе как классицизма, так и сентиментализма. Идейная преемственность здесь совершенно очевидна. Вполне в духе своих предшественников Карамзин полагает, что «худое воспитание» — «главный источник нравственных зол».⁷⁵ Но, говоря о благотворном воздействии на человека наук и искусств, писатель подчеркивает эмоциональную сторону этого воздействия: «Искусства и науки, показывая нам красоты величественной природы, возвышают душу; делают ее чувствительнее и нежнее, обогащают сердце наслаждениями и возбуждают в нем любовь к порядку, любовь к гармонии, к добру...»⁷⁶ Сохраняя представление о первостепенности воспитательной функции искусства и литературы, Карамзин, как и Муравьев, подчеркивает их эстетическую функцию. Для писателя-сентименталиста сливаются воедино категории «доброе» и «прекрасного».⁷⁷

В связи с этим особое значение приобретает вопрос о нравственном характере творца. Просветительская тема воспитания получает, таким образом, новый аспект: воспитание самого писателя, самовоспитание. В статье «Что нужно автору?» Карамзин пишет: «Говорят, что автору нужны таланты и знания: острый, пронизательный разум, живое воображение и проч. Справедливо, но сего не довольно. Ему надобно иметь и доброе, нежное сердце, если он хочет быть другом и любимцем души нашей; если хочет, чтобы дарования его сияли светом немерцающим; если хочет писать для вечности и собирать благословения народов».⁷⁸ Карамзиным не забыты «знания» и «острый пронизательный разум», но они обесцениваются, если нет нравственной основы — «доброе сердце». Здесь писатель вполне солидаризовался с Руссо, расходясь с ним в оценке роли наук и разума. Таким образом, обе стороны просветительской концепции по-своему отражаются в эстетике русского сентиментализма. Теоретические принципы, сформулированные Карамзиным, основывались на его собственной литературной практике, на опыте предшественников (особенно Муравьева) и современников (Дмитриева, Подшивалова и др.). Одновременно эти принципы во многом служили программой для дальнейшего развития нового направления. Именно в литературе сентиментализма впервые раскрылась сложность, двойственность просветительской концепции, представлявшейся единой писателям классицизма. Осознание этой сложности нередко порождало рефлексию, заставлявшую отказываться от политического радикализма и приводившую к умеренно-консервативной позиции. Однако новый аспект, появившийся в просветительской идеологии («образование сердца»), получил опосредованное отражение в самой поэтике сентиментализма.

Проблема нравственного воспитания читателя и самого писателя оказалась связанной с интересом к психологии человека, к «внутреннему человеку». Особое значение стал приобретать автобиографический момент, что содействовало сближению литературных и документальных жанров.⁷⁹ Трансформировалась, как известно, и самая жанровая система: в поэзии теряла главенствующее место ода и выдвигались на первый план более камерные жанры. Самыми популярными прозаическими жанрами сделались повесть и «путешествие».

Появился и герой нового типа — «чувствительный» путешественник или «чувствительный» поэт, который декларирует свою творческую не-

⁷⁵ Карамзин Н. М. Избр. соч., т. 2, с. 139.

⁷⁶ Там же.

⁷⁷ См.: Кулакова Л. И. Очерки истории русской эстетической мысли XVIII века. Л., 1968. с. 198.

⁷⁸ Карамзин Н. М. Избр. соч., т. 2, с. 120.

⁷⁹ См.: Лазарчук Р. М. Дружеское письмо второй половины XVIII века как явление литературы. Диссертация на соискание ученой степени канд. филол. наук. Л., 1972; Макогоненко Г. П. Письма русских писателей и литературный процесс. — В кн.: Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980, с. 3—41.

зависимость, отказываясь выступать с традиционными похвальными одами. Именно в этом проявилась прежде всего общность поэтов-сентименталистов, особенно Карамзина с Державиным.⁸⁰

Намерение автора «писать портрет души и сердца своего» предполагало своеобразное нравственное испытание. Роль судьбы при этом отводилась читателю, одновременно другу и «сочувственнику» автора. Большое значение в связи с этим приобретали посвящения: не коронованной особе, не знатному вельможе и покровителю, а частному человеку, известному лишь узкому кругу друзей и близких. Помимо конкретного адресата посвящений, существовал и некий собирательный образ читателя — представителя «просвещенной» публики. С одной стороны, автор ориентировался на его вкус, с другой — способствовал формированию этого вкуса, воспитывал его, содействуя нравственному образованию читателя.

Эта задача оставалась актуальной для Карамзина не только в период издания «Московского журнала» и «Аглаи», но и в годы издания «Вестника Европы». Особенно показательна в этом отношении статья «О книжной торговле и любви к чтению в России», продолжавшая давний спор писателя с Руссо. «Не знаю, как другие, а я радуюсь, лишь бы только читали! — заявлял Карамзин. — И романы, самые посредственные, — даже без всякого таланта писанные, способствуют некоторым образом просвещению».⁸¹ «Просвещение» в понимании писателя, — это прежде всего обогащение «всякого рода познаниями», совершенствование разума: «Всякое приятное чтение имеет влияние на разум, без которого ни сердце не чувствует, ни воображение не представляет».⁸² Но не менее важна и эмоциональная сторона: «Какие романы более всех нравятся? Обыкновенно чувствительные: слезы, проливаемые читателями, текут всегда от любви к добру и питают ее».⁸³

С точки зрения сентименталиста, развитие «чувствительности» читателя и предполагало его нравственное воспитание. В зависимости от того, насколько емким оказалось самое понятие «чувствительность» у того или иного автора, определялось и его отношение к просветительской идеологии, его общественная позиция. Характерно, что этому понятию, сентименталистскому по своему существу, придавали большое значение писатели, настроенные весьма радикально. Н. Н. Сандунов, правомерно причисляемый к группе авторов, выступивших одновременно с Карамзиным, но независимо от него, называл «чувствительность» «нравственным тончайшим и драгоценнейшим ощущением». «Чувствительность есть зародыш совести, — заявлял Сандунов. — Чувствительность с совестью неразлучны; в ком есть чувствительность, в том есть и совесть, нечувствительный бессовестен, а бессовестный нечувствителен».⁸⁴

Этика русских сентименталистов неразрывно связана с их эстетикой, с их вниманием к внутреннему миру человека, к сфере его чувств. Психологический анализ, в свою очередь, подчинен задачам нравственного порядка, определяемым в соответствии с общественной позицией того или иного автора, с его отношением к просветительской идеологии.

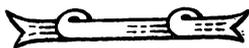
⁸⁰ См.: Берков П. Н. Державин и Карамзин в истории русской литературы конца XVIII—начала XIX века. — В кн.: XVIII век, сб. 8, с. 17.

⁸¹ Карамзин Н. М. Избр. соч., т. 2, с. 179.

⁸² Там же.

⁸³ Там же, с. 180.

⁸⁴ Сандунов Н. Н. Слово о необходимости знать законы гражданские и о способе учиться российскому законоведению. М., 1822, с. 14.



АЛЕКСЕЙ КОЛЬЦОВ И РУССКАЯ КУЛЬТУРА

(КОНЕЦ 30-Х ГОДОВ XIX ВЕКА)

«Издавая в свет полное собрание стихотворений покойного Кольцова, — писал в 1846 году Белинский, — мы прежде всего думаем выполнить долг справедливости в отношении к поэту, до сих пор еще не понятому и не оцененному надлежащим образом».¹ Но, кажется, и до сих пор Кольцов не вполне понят и надлежащим образом не оценен. Может быть, как раз потому, что обычно к нему подходят только как к поэту. Между тем и явление его, и значение гораздо более универсальны. Без этого вряд ли бы сам Белинский решился приложить к Кольцову определение «гениальный». А на такую оценку не покупились не один Белинский. «Я, — вспоминал М. Н. Катков, — знал Кольцова близко, еще будучи студентом. . . При всей скудости образования, как много понимал он! . . . Биограф Кольцова (Белинский, — Н. С.) имел полное право назвать его натуру гениальной».² И если Белинский называл Кольцова «гениальным талантом», то, например, Вл. Ф. Одоевский даже — гением «в высшей степени».³

Рождение такого самобытного явления, как Кольцов, при всей его уникальности определялось четкими — национальными и социальными — посылками и теснейшим образом связано со становлением всей русской литературы, шире, русской духовной жизни и прежде всего с Пушкиным. Истоки коренятся глубоко и особенно явственно обозначаются с Петровского времени. Сам Пушкин недаром неизменно возвращался к эпохе Петра, видя в ней узел всей истории новой России, так ярко заявившей себя в 1812 году. Именно 1812 год воззвал к новой человеческой личности, появившейся и сложившейся в русской истории на рубеже 10—20-х годов XIX века, возникшей на волне национального подъема и наиболее полно этот подъем выразившей.

Но подошла-то нация к пику своего становления драматически разделенной: единая, она предстала в двух ипостасях. Об этом тогда же много говорили, писали, думали. И, может быть, сильнее и острее многих это ощутил и выразил Белинский. Несколько позднее Достоевский писал как о задаче времени о необходимости огромного переворота, который бы дал «слитие образованности и ее представителей с началом народным и приобщение всего великого русского народа ко всем элементам нашей текущей жизни, — народа, отшатнувшегося от Петровской реформы еще 170 лет назад и с тех пор разъединенного с сословием образованным, жившего отдельно, своей собственной, особенной и самостоятельной жизнью».⁴

Думается, не случайно именно после 1812 года с громадной силой парод и в духовной сфере заявил о своей «собственной, особенной и само-

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. IX. М., 1955, с. 497. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

² Современники о Кольцове. Воронеж, 1959, с. 118—120.

³ Одоевский В. Ф. Музыкально-литературное наследие. М., 1956, с. 372.

⁴ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти т., т. 18. Л., 1978, с. 35.

стоятельной жизни». Заявил в Кольцове. Подобно тому как Пушкин универсально представил мировой художественный опыт и опирался на всю предшествующую русскую литературную традицию, подобно тому как декабризм стремился охватить от античности идущий опыт гражданской жизни и политической борьбы и уходил глубокими и разветвленными корнями в традицию русского республиканизма и передовой русской публицистики и литературы, Кольцов обобщил результаты многовекового духовного художественного творчества народа и уже предпринимавшиеся ранее попытки выхода к такому творчеству из «ученой» литературы тоже. Не остался он чужд и мировой традиции.

В широком социальном смысле Кольцов был, конечно, представителем народа и выходцем из народа. Но социальные истоки, его породившие, достаточно четко локализируются. Сам этот народ не был столь уж суммарен. В нем всегда существовала своеобразная интеллигенция, и в крестьянстве, например, и в купечестве. И чаще всего наши литераторы XIX века, так называемые выходцы из народа, оказывались выходцами именно из таких слоев. «Интеллигенция, — писал выдающийся знаток народной жизни Глеб Успенский, — среди всяких положений, званий и состояний исполняет всегда *одну и ту же* задачу. Она всегда — свет, и только то, что светит, или тот, кто светит, и будет исполнять интеллигентное дело. . . и в деревне, и в курной избе, там, где вместо лампы горит лучина, — и там были свои интеллигентные люди, добывавшиеся *тех же самых* целей, что и интеллигентные люди высшего общества, *но по-своему. . .*»⁵

Конечно, судьба крестьянина Спиридона Дрожжина, поэта и человека, связана с ясным осознанием истоков своего мироощущения и своего дарования. С гордостью рассказывает поэт о своей крестьянской родословной, даже и о прапрадеде, чтеце «священных» книг, да и обо всей семье, традиционно из поколения в поколение грамотной. Много и верно пишут о тяжелых нравах в купеческой семье поэта Ивана Никитина, но почти никогда не вспоминают о том, что отец его тоже был книголюбом — владельцем большой, по понятиям своего времени и своей среды, библиотеки, хорошо знал старинных писателей до Пушкина. С университетских высот два года кольцовского обучения в уездном училище (предваренного, правда, и домашними занятиями с учителем), может быть, кажутся ничтожными, но, согласимся, без них Кольцов-поэт был бы обречен. Сам он писал: «Все всего сила создать не может. . . Будь человек гениальный, а не умеет грамоте, ну — не прочтет и вздорной сказки».⁶ Пусть первоначальная, но все же возможность приобщения к книге, грамотность оказалась тем просветом, в который устремился духовный мир Кольцова, в котором получил выход и его «выдающийся ум», составляющий и вообще, по свидетельству биографа, как бы «родовую принадлежность Кольцовых».⁷

Замечательно и то, что Кольцова всю жизнь прямо выносило на интересные, значительные и значительнейшие встречи и знакомства. Его недалекий поэтический по Воронежу наследник Иван Саввич Никитин был вроде и образованнее Кольцова (в семинарии поучился), но остался в своих общениях провинциален, без всяких выходов в большую литературу: переписка с Ап. Майковым — чуть ли не все. Кольцов же, четыре раза за свою жизнь сумевший выехать в столицы, охватит буквально всю русскую словесность: знакомство с Пушкиным и Вяземским, бли-

⁵ Успенский Г. И. Собр. соч. в 9-ти т., т. 5. М., 1956, с. 237—238.

⁶ Кольцов А. В. Соч. в 2-х т., т. 2. М., 1958, с. 96. Далее ссылки на этот том даются в тексте.

⁷ Де-Пуле М. Ф. Алексей Васильевич Кольцов в его житейских и литературных делах и в семейной обстановке. Пб., 1878, с. 2.

зость Жуковскому и Станкевичу, дружба с В. Одоевским и Бакуниным, Боткиным и Белинским. Он все время как бы искал меру себе и ни одной он не оказался недостоин.

* * *

Мы чаще всего думаем о Кольцове-песеннике, Кольцове-поэте. Между тем он автор таких писем, которые являют собою настоящие литературные произведения порошнь и по сути единую литературную повесть в целом. Кольцов начинает писать письма в 1836 году, во всяком случае, нам известны письма от этого времени. Конечно, их появление объясняется житейски: в этом году установились его связи с москвичами и петербуржцами. «1836-й год, — писал Белинский, — был эпохой в жизни Кольцова. По делам отца своего он должен был побывать в Москве и Петербурге и пробыть довольно долгое время в обеих столицах» (IX, с. 508). Но того, что из себя представляют письма Кольцова, житейски уже не объяснишь. Позднее, цитируя в своей статье о Кольцове одно из них, Белинский отметил: «В этом письме весь Кольцов. Так писал он всегда и почти так говорил. Речь его была всегда несколько вычурна, язык не отличался определенностью, но зато поражал какую-то наивностью и оригинальностью» (IX, с. 512). С тем большим основанием можно было бы теперь сказать, что во всех своих письмах раскрывается «весь» Кольцов. Называя переписку Кольцова с Белинским истинно драгоценной, Некрасов в 1848 году определяет ее как «любопытнейший памятник рукописной нашей словесности».⁸

Конечно, Кольцов в отличие от Гоголя, например («Выбранные места из переписки с друзьями»), никакого преднамеренного собственно литературного задания не ставил. Тем не менее его письма, может быть, еще более литературны, ибо с течением времени стали единственной, наряду со стихами, и даже тесня последние, сферой, куда устремился духовный мир поэта, особенно когда нашелся настоящий читатель-адресат. Не случайно чуткий, а в 1848 году уже и достаточно опытный редактор Некрасов пишет в связи с судьбой архива только что умершего Белинского о драгоценности писем Кольцова именно к Белинскому. «Весь» Кольцов прежде всего — в них. Де-Пуле и стоявшие за ним воронежские круги не случайно называют Кольцова пропагандистом, особенно пропагандистом Белинского. И в Воронеже Кольцов не молчал и со всей страстью пропагандировал Белинского, его статьи, его издания, оказываясь как бы своеобразным агентом журнала Белинского и его информатором, и даже ходяком по делам.

Кольцов находился в добрых отношениях с Александром Васильевичем Никитенко. В 1838 году Никитенко хлопочет у Смирдина о новом сборнике Кольцова, а Кольцов хлопочет у Никитенко о статьях Белинского: «С вами ужасно хочет познакомиться Виссарий Григорьевич Белинский, теперешний издатель „Московского наблюдателя“. Его сильно теснит цензор в Москве, и он хотел просить вас, чтобы вы ему позволили кой-какие статьи посылать цензоровать к вам в Петербург, особенно одну прекрасную статью переводную из Марбаха (перевод В. П. Боткина, — Н. С.). Он так почему-то посумнилсЯ пропустить. Такая статья была бы в теперешнее время полезна в журнале. И я ее из Москвы было послал к вам, но она уже не застала вас (Никитенко уехал на родину в Острогжск, — Н. С.). Если вы позволите Белинскому беспокоить такими просьбами, то вы бы для него сделали весьма много добра» (с. 49).

В самом Воронеже, как теперь бы сказали, малотиражный и довольно труднодоступный по характеру своих материалов «Московский наблюда-

⁸ Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем, т. 10. М., 1952, с. 123.

тель» не выписывал никто. Кольцов оказался единственным и, судя по письму к Никитенко, даже полномочным представителем журнала: «Вчера говорил знакомому полковнику о нем: он хотел подписаться. А я, как получу, отдам его в книжную лавку; пусть книгопродавец раздаст его в чтение, этим я все-таки с ним ознакомлю многих» (с. 48).

Во всем Воронеже — да и не только в Воронеже — Кольцов, наверное, лучше кого бы то ни было представлял положение дел в русской журналистике того времени и уж тем более подлинную в ней иерархию явлений, которую он выстраивает с абсолютной точностью, определяя метким и образным народным словом: «А добрый Плетнев прислал первый номер „Современника“; хотя он и легонек, но все ему большое спасибо за него. Прошлый год „Записки“ я все получил от Андрея Александровича (т. е. за 1839 год, когда Белинский еще не начал там сотрудничать, — Н. С.), и они мне много сделали добра, славный журнал, есть что читать в нем и есть над чем задуматься. У нас их нынче получают немного больше, а все никак не уверишь людей, что „Библиотека“ гадость: по привычке хвалят и читают ее, — да и только. Русь, раз покажи хороший каляч из пазухи, долго будет совать руку за ним по старой привычке. „Сына отечества“ у нас совсем нет, он, бедный, все более хромает; стар муж деньги начал собирать, а время еще немного — и на покой. Зато уж драма за драмой, водевиль за водевилем дождем валит. „Сквозь старое решето скорее мука сеется“, — говорят мужики» (с. 79).

Но дело не только в понимании того, что хорошо, а что плохо. Кольцов, вероятно, мог бы быть отличным журналистом, как тогда часто называли издателей, и потому, что был наделен замечательным чувством действительности, прекрасно понимал конъюнктуру. Он подробно объясняет Белинскому, почему хуже, чем могла бы, прошла подписка на «Отечественные записки» («В прошлом годе был неурожай и сей год; а это много значит: другой бы и степняк-помещик и житель городской выписал журнал, да людей надо кормить да купить хлеба, а денег нет»), почему идет «Библиотека для чтения» («... ради Брамбеуса; он много сперва захватил кредиту своими грязными островами: они приходились по людям как раз...»), почему читатели не отказываются от «Сына отечества» («... ради Полевого, которого по старой дружбе (стариков много еще и теперь) любят»), и заключает: «Народ же, как ни дурен, но имеет свое время, пору, силою же в один час его не переделаешь» (с. 98).

С приходом Белинского в «Отечественные записки» Кольцов с тем большей страстью становится «пропагандистом» журнала, что и себя почитает его, как говорили в свое время, «постоянным и непремешным» сотрудником, явно стремится идти в ногу с журналом и вообще ощущает себя и свое творчество, при всей вроде бы его уникальности в литературном процессе, в авангарде этого процесса: «... лучше „Отечественных записок“ для меня места не надобно. Дай бог только удержаться в них и не отстать: чертовский журнал! Я так и смотрю в нем на свои пьески: не торчит ли какая вон? Горячо пошел работать в них родной наш разум. Дай-ка мне еще распахнуться нынешний год, а на следующий пойдет покос добрый» (с. 88—89).

Из писем видно, каким мог бы быть Кольцов, да в сущности и был, литературным критиком. Он отчетливо представлял себе движение русской журнальной и литературной мысли своего, и не только своего, времени. «Сын отечества» и «Телескоп», «Московский наблюдатель» и «Современник», «Русский вестник» и «Библиотека для чтения», «Маяк» и «Пантеон», «Москвитянин» и «Отечественные записки»... Пушкин и Гоголь, Лермонтов и В. Одоевский, Константин Аксаков и Белинский, Шекспир и Байрон, Вальтер Скотт и Фенимор Купер — круг его раздумий и оценок.

Здесь в полной мере проявилось то, что отметил в Кольцове А. Станкевич как «широкую русскую способность откликаться на впечатления жизни».⁹ В Кольцове не было и тени заскорузлости и провинциализма. В литературе второй половины 30-х годов XIX века, кроме Белинского, пемного было людей, судивших о литературе столь верно. Лучшие критики той поры хоть на чем-нибудь, да срывались: не на Пушкине, так на Гоголе, не на Гоголе, так на Лермонтове. В своих письмах Кольцов дал десятки критических характеристик — и ни разу не сделал промаха. Время подтвердило точность не только тех или иных суждений Кольцова, но всей иерархии его эстетических оценок. Проще всего вроде бы предположить, что такая система его взглядов сложилась под влиянием Белинского. Первым, кто признавал громадное здесь влияние Белинского был сам Кольцов, но он отнюдь не был наивным, глядящим в рот учителю неопитом, решительно мог противостоять тем или иным суждениям критика. По поводу повести Кудрявцева «Флейта», неоднократно Белинским хвалимой, Кольцов недоумевал: «Да расскажите, бога ради, почему „Флейта“ хороша, два раза читал — не понял...» (с. 68). Белинский понял позднее, почему «Флейта» не так уж хороша.

Более того, Кольцов не раз высказывал в адрес самого Белинского суждения смелые, категорические и очень пронизательные: «Критика ваша о „Древних стихотворениях Кирши Данилова“ чудо как хороша... Рассказ о Прометее чрезвычайен; только, кажется, вы весьма много отдаете Гете; у Эсхила он точно таков же, идея та же, разве Гете облек его в лучшую, свою немецкую, форму. А если идея во время Эсхила не была так выяснена; как во время Гете, то здесь, кажется, главное уяснение во времени; человечество — живя и своею жизнью — дало ей такой огромный интерес. Одно нехорошо; ваша эта статья растянулась на четыре номера. Я понимаю эту необходимость, но в другом отношении она вас не оправдывает... С критической статьей, особенно с философской, этого делать нельзя» (с. 160). А вот что пишет поэт критику о том, какой должна быть критика. Речь идет о статье Белинского «Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке»: «Одно мне не понравилось: напрасно вы ее расположили в разговорную форму. Разговорная форма необходима в драме, на сцене, в драматических отрывках; но, кажется, уж никак не в критике и ученой статье. Как-то второе лицо останавливает всегда и охлаждает внимание. Видишь каждую минуту в нем миф, который, по приказу первого лица, иногда затеет новый интерес, потом либо сейчас же откажется или согласится с первым; тогда как первое ежеминутно все ползет вперед, как жизнь в человечестве. По-моему, критика должна высказываться прямо от одного лица и действовать повелительно и державно» (с. 165—166).

Много позднее Герцен расскажет о своем разговоре с Белинским по поводу такой статьи-диалога: «... все, что ты говоришь превосходно, по скажи, пожалуйста, как же ты мог биться, два часа говорить с человеком, не догадавшись с первого слова, что он дурак?» — „И в самом деле так, — сказал, помпрая со смеху Белинский. — Ну, брат зарезал! ведь совершенный дурак!“».

Воронежское предупреждение Кольцова прозвучало, может быть, менее категорично, но едва ли не более серьезно: речь шла вообще о том, чем должна быть критическая статья. Трудно сказать, как влияли на Белинского такие предупреждения, но после 1842 года он перестает писать статьи в «разговорной форме».

В 1840 году Кольцов сообщает Белинскому о довольно странных мнениях Константина Аксакова, касающихся Шекспира, Гомера и Гоголя,

⁹ Лит. наследство, т. 56, 1950, с. 288.

как бы предваряя бурную журнальную полемику по этому вопросу, которая разразится между Аксаковым и Белинским через два года и станет одной из самых примечательных страниц литературной жизни 40-х годов.

* * *

В 1838 году Кольцов снова почти полгода прожил сначала в Москве, потом в Петербурге и снова в Москве. Уже в июне по возвращении домой он напишет Белинскому: «Эти последние два месяца стоили для меня дороже пяти лет воронежской жизни» (с. 45). Он имел в виду время общения с Белинским, но если уж следовать арифметике, то можно было бы сказать, что шесть месяцев столичной жизни стоили пятнадцати лет воронежской. Конечно, дело не в арифметике, она здесь лишь образ той необычной концентрированности в духовной жизни, которую второй раз пришлось после 1836 года пережить Кольцову. Поражает не только сама интенсивность этой жизни, но и многообразие сфер, в которых она проявилась. Трудно назвать какое-нибудь яркое художественное явление этого времени в литературе, музыке или живописи, мимо которого прошел бы приехавший в столицу по тяжёлым делам воронежский прасол. Кажется, нельзя вспомнить ни одного более или менее примечательного деятеля литературно-интеллектуальной жизни из бывших в ту пору в столицах, с кем бы Кольцов в свои последние годы и в те месяцы этих годов, которые жил он в столицах, не общался, не разговаривал, не спорил, не переписывался. Со временем Кольцов все более отступал от вводившей, очевидно, многих в заблуждение роли сдержанного, почти робкого человека, малозначащего и малообразованного, которого счастливая судьба свела с людьми многознающими и многообразованными. Проницательный П. В. Анненков, только один раз видевший поэта в 1840 году, понял эту особенность его поведения. Осенью на последнем пароходе, отплывавшем из Петербурга в Любек, Анненков и Катков отправлялись в Германию. До Кронштадта их провожали Белинский, Панаев и Кольцов: «Как теперь смотрю на малорослого, коренастого поэта, со скуластой, чисто русской физиономией и с весьма пытливым и наблюдательным взглядом. Все время проводов он молчал как бы озадаченный и подавленный умными, а еще более — развязными речами литературных авторитетов, — речами, которые выслушивал с покорным вниманием неопита. Это была как будто обязательная маска, принятая им в литературном обществе... Она не мешала, однако же, его суждению. По словам Белинского, не было человека, более зоркого, проницательного и догадливого, чем Кольцов с его спокойным и покорным видом: он распознавал людей сквозь кору наносной культуры и цивилизации и судил о них очень правильно и самостоятельно».¹⁰

Положение Кольцова, тянувшегося к культуре, но с самого начала во многом избавленного и от возможности покрыться корой культуры наносной, тем легче открывало ему любую поверхность и наносность. Слишком органичным и коренным человеком он был, слишком «естественным», чтобы обольститься такой наносной культурой, человеком почвы, отнюдь не в отвлеченном смысле этого слова, поэтом «земли». Он действительно имел возможность выходить к самой сути, к самому естеству любого человека, проникая в его человеческую глубь и потому в самом деле оказываясь одним из проницательнейших людей своего времени.

Кстати сказать, в свой 1838 года приезд Кольцов уже не только посещает литераторов, но и принимает у себя. «По воскресеньям я обе-

¹⁰ Современники о Кольцове, с. 135—136.

даю у Венецианова, а иногда у Григоровича... По вторникам бываю у Гребенки... По средам у Кукольника и у Плетнева... По четвергам у Владиславлева... По пятницам у Никитенки... По понедельникам вечера у меня, и всех их было два. На первом были Полевой, Кукольник, Краевский, Булгарин, Бенедиктов, Гребенка, Бернет, Прокопович, Пожарский, Шевцов, Сахаров и моих земляков человек восемь. На другом — Владиславлев, Краевский, Никитенко, Григорович, Мокрицкой, Венецианов, Туранов, трое Крашенинниковых, Посылин, Бенедиктов, Гребенка, Бернет, Пожарский, Прокопович, Губер, Шевцов, Сахаров и земляков человек пять» (с. 39).

Казалось бы, скрытный провинциальный купец должен был быть преисполнен гордости и удовлетворения от собственных вечеров, в которых участвуют, конечно, не Гоголь, не Лермонтов, не Жуковский, но все же и Плетнев, и Краевский, и Никитенко («Вот каково, Виссарион Григорьевич! В Питере живем и добрым людям вечера даем!» — с. 39). Однако в 1838 году Кольцов уже ведет себя иначе и по отношению ко многим литераторам. Не без иронии сообщает он Белинскому и Бакунину о своем новом положении: «Да, новость: я в этот раз вдвое поумнел противу прежнего; так славно толкую, говорю уверенно, спорю, вздорю, что беда. Риск — благородное дело. Я с важными учеными людьми толкую, спорю, пускаюсь в суждения и убеждаю их на своем мнении» (с. 33).

Но происходит не просто, так сказать, уравнивание с «важными учеными людьми». Кольцов стремительно идет вперед и быстро уходит вперед от уровня среднего литературного быта и обихода. Вот какой приговор вскоре выносится и этим вечерам в Питере и многим «добрым людям», их участникам. «О душевной жизни вечеров моих и прочих не знаю, что вам сказать. Кажется, они довольно для души холодны, а для ума мелки; в них нет ничего питающего душу; искра божьей святой благодати не проникает. Молчание в них играет первую роль; оттого-то, кажется, я-и не последний. Тихий разговор по уголкам между двух-трех человек. Кругом диванного стола серьезный разговор о пустоши людей серьезных — не по призванью, а по роли, ими разыгрываемой. На них можно скорее приучить себя к ловкому светскому обращению, а ума прибавить нельзя ни на лепту. Завтра буду у Ишимовой; хочется посмотреть, что есть еще здесь» (с. 39—40). Что есть что, кто есть кто — стало ясно.

Недаром Белинский писал позднее: «Когда он [Кольцов] освободился от замешательства первого представления и сколько-нибудь освоился с новым лицом, оно заинтересовало его. Говоря мало, глядя немножко исподлобья, он все замечал, и едва ли что ускользало от его пронизательности — что было ему тем легче, что каждый готов был видеть в нем скорее замешательство и нелюдимость, нежели пронизательность. Ему любопытно было видеть себя в кругу тех умных людей, которые издали казались ему существами высшего рода; ему интересно было слышать их умные речи. Много ли слушался он их, об этом мы кое-что слышали от него впоследствии... Кто познакомился в Петербурге с первыми литературными знаменитостями, тому ничего не стоит переизнакомиться с второстепенными. Сперва он и здесь больше все молчал и наблюдал, но потом, смекнув делом, давал волю своей иронии... О, как бы удивились многие из фельетонных и стихотворных рыцарей, если бы могли догадаться, что этот мужичок, которого они думали импонировать своею литературною важностию, видит их насквозь и умеет настоящим образом ценить их таланты, образованность и ученость...» (IX, 510).

Любопытно, что и поэт более всего тянется к людям философского склада ума, и они к нему тянутся. Так было чуть раньше с Михаилом Катковым, так происходит в зимние месяцы 1838 года в Москве с Михаилом Бакуниным. А конец 30-х годов для москвичей — время напря-

женных философских штудий, усиленно осваивается Гегель, конспектируется, переводится, обсуждается. Герцен позднее назовет это «отчаянным гегелизмом».

* * *

При всей скудости школьного образования Кольцов был замечательно глубокой философской натурой. И в этом смысле у него много общего с Белинским. То, что Белинский не окончил университета, конечно, сдерживало характер его философских занятий. Здесь прежде всего требовалось знание немецкого языка, но в конце концов это не помешало ему стать в центре философской жизни своей эпохи, если не всего девятнадцатого века. Может быть, даже геллертерское штудирование, в иных случаях, конечно, необходимое, помешало бы широте воззрений, которая отличала нашего великого критика, свободе от той или иной системы в узком смысле этого слова, удивительной гибкости и одновременно цельности его воззрения на мир.

Примечательно, однако, не только широта творческого диапазона Белинского, но, может быть, еще более сам характер развития его, неостановимость стремления. В этом постоянном движении вперед Белинский был близок разным людям, сходился и противостоял, сближался и расходился, часто как раз вследствие характера каждого очередного этапа этого движения. Герцен одну из главок своей книги «Былое и думы» назвал «Ссора с Белинским и мир». Из-за чего? Из-за того, что «Белинский — самая деятельная, порывистая, диалектически-страстная натура бойца — проповедовал тогда индийский покой созерцания и теоретическое изучение вместо борьбы. Он веровал в это воззрение и не бледнел ни перед каким последствием, не останавливался ни перед каким моральным приличием, ни перед мнением других, которого так страшатся люди слабые и не самобытные: в нем не было робости, потому что он был силен и искренен; его совесть была чиста».¹¹

Речь идет у Герцена как раз о самом конце 30-х годов, о периоде примирения с действительностью. «„Знаете ли, что с вашей точки зрения, — сказал я ему, думая поразить его моим революционным ультиматумом, — вы можете доказать, что чудовищное самодержавие, под которым мы живем, разумно и должно существовать?“ — „Без всякого сомнения“, — отвечал Белинский и прочел мне „Бородинскую годовщину“ Пушкина. Этого я не мог вынести, и отчаянный бой закипел между нами. . . Белинский, раздраженный и недовольный, уехал в Петербург и оттуда дал по нас последний яростный залп в статье, которую так и назвал „Бородинской годовщиной“. Я прервал с ним тогда все сношения».¹²

Рассказал Герцен и о восстановлении сношений и о том, как и почему это произошло. Белинский отказался от примирения. «Через несколько месяцев после его отъезда в Петербург в 1840 году приехали и мы туда. (Белинский уехал туда в октябре 1839 года, Герцен приехал в мае 1840 года, — *И. С.*). Я не шел к нему. Огареву моя ссора с Белинским была очень прискорбна, он понимал, что нелепое воззрение у Белинского была переходная болезнь, да и я понимал. . . Наконец он натянул своими письмами свидание. . . в продолжение ничтожного разговора я помянул статью о „бородинской годовщине“. Белинский вскочил с своего места и, вспыхнув в лице, пренаивно сказал мне: „Ну, слава богу, договорились же, а то я с моим глухим правом не знал, как начать. Ваша взяла; три-четыре месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все

¹¹ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. IX. М., 1956, с. 22.

¹² Там же, с. 22—23.

доводы. Забудемте этот вздор...“ С этой минуты и до кончины Белинского мы шли с ним рука в руку».¹³

Все это говорит о последовательности Герцена в отстаивании своей позиции, но отнюдь не о понимании Белинского именно тогда в его целом: в его концах и началах, в его движении. Да, в ту пору его «вззрение» действительно было «переходным», но «нелепым» не было, и сам Белинский никогда «вздором» его не считал. «Конечно, — писал он в письме к Боткину в конце того же 1840 года, — идея, которую я силится развить по случаю книги Глинки о Бородинском сражении, верна в своих основаниях, но должно было бы развить и идею отрицания, как исторического права, не менее первого священного, и без которого история человечества превратилась бы в стоячее и вонючее болото...» (XI, 576). Уже позднее Г. В. Плеханов показал, какой высокой ступенью в становлении Белинского был этот переходный период и как он свидетельствовал, не говоря уже о прочем, в пользу Белинского именно как философа, может быть самого замечательного философа России, по характеристике того же Плеханова.

Другой пример. Одним из наиболее близких Белинскому людей в конце 30-х годов был Константин Аксаков. Все меняется с начала 40-х годов, с новым периодом в деятельности Белинского, с переездом его в Петербург для сотрудничества в «Отечественных записках». Уже в январе 1841 года Кольцов сообщал Белинскому из Москвы в Петербург: «Аксаков приехал из Питера и говорит, что подписка на „Отечественные записки“ идет хорошо и равняется подписке на „Библиотеку“. Дай-то бог! Я был третьего дня у Аксакова. Он мне говорил, что Павлов, Николай Филиппович, получил от кого-то письмо из Питера, в котором пишут к нему, что вы от сотрудничества в „Отечественных записках“ отказались; почему — неизвестно... Кажется, это сказки; но для чего они выдуманы, не знаю. — Аксаков это сказал мне с какою-то тайной радостью. Друзья, друзья! сердечные друзья!...» (с. 113—114).

А ведь Аксаков действительно мог быть твердым и верным в дружестве, мог решительно отстаивать Белинского перед своей недолюбливавшей того семьей. Но и в дружбе здесь все решали непосредственно общественные позиции и взгляды. В 1842 году раскол между К. Аксаковым и Белинским вылился и в острую журнальную полемику.

Кольцов был единственным человеком, который с самого начала принял Белинского в целом, со всей его эволюцией, с кризисами и взлетами, с остановками в пути и новыми движениями вперед.

Более того, Кольцов был, наверное, единственным человеком в России, который уже тогда так понял роль, место, скажем сильнее, высокую миссию Белинского в русской жизни. Понял ее в ее безусловности, т. е. безотносительно к тем или иным взглядам и мнениям в узком значении этого слова, к которым часто сводился для иных своих друзей Белинский и которыми он для них ограничивался. Кольцов и здесь понял великого критика Белинского, как он понял великого поэта Пушкина, в качестве некоего космоса, целого мира, могучего и даже стихийного явления, в качестве откровения и пророчества: «Апостол вы, а ваша речь — высокая, святая речь убеждения». Был ли хоть один человек во всей России, который мог сказать и сказал бы тогда и так о Белинском?

Но именно такой поэт, как Кольцов, должен был и здесь увидеть и увидел не срывы, метания и противоречия, а цельность, последовательность и безусловность. Именно это, а никакое не «раболепие» позволяло ему всегда и на каждом следующем этапе становления Белинского, на каждом очередном витке развития великого критика принимать его, его

¹³ Там же, с. 27—28.

понимать и отдаваться в его власть, вполне, впрочем, сохраняя и трезвость ума и способность критического подхода.

Показательно и то, что сближение с Белинским Кольцова произошло именно в 1838—1839 годах. Конечно, играли свою роль и внешние обстоятельства: новый приезд как раз в 1838 году Кольцова в Москву, смерть друга А. П. Серебрянского и т. д. Но, думается, главными были причины внутренние, духовные, и, так сказать, философские. Характерно также, что непосредственные, предельно дружеские отношения и откровения, при всей эмоциональной отдаче, уясняются опосредованно, теоретически и очень в духе тридцатых годов — в переписке.

Однажды академик Д. С. Лихачев сказал, что есть косноязычие Моисея, а есть косноязычие дурака. Кольцовские «умствования» — и в письмах, и в думах — подчас косноязычны. Но дураки, даже отнюдь не косноязычные, естественно, увидели в Кольцове только косноязычие. Белинский и Н. Станкевич, Катков и Бакунин, Боткин и В. Одоевский видели в нем глубокий и оригинальный философский ум.

Наибольшую сдержанность здесь должны были проявить и проявили только Аксаковы, т. е. прежде всего Константин, будущий «передовой боец славянофильства», как называл его когда-то проф. С. А. Венгеров. Хотя это как раз тоже говорит в пользу оригинальности, смелости ума Кольцова и его самостоятельности.

На первый взгляд, уж кто-кто, а славянофилы-то, пусть даже будущие, казалось бы, должны были на руках носить Кольцова и пропагандировать его поэзию. Между тем не случилось ничего подобного. О нем напишут Белинский и Добролюбов, Салтыков-Щедрин и Писарев, но в общем промолчат и Аксаковы, Иван и Константин, и Киреевские, Петр и Иван, и Юрий Самарин. Промолчат, кажется, потому, что Кольцов отнюдь не был тем простодушным простаком-прасолом, «типичным» человеком из народа, которого умудрялись видеть в нем или не очень задумывающиеся над сутью дела литераторы средней руки, или те люди, которых сам Кольцов не предполагал выводить из заблуждений на этот счет: «Кольцов здесь, — сообщает А. И. Тургеневу из Петербурга князь П. А. Вяземский, — дитя природы, скромный, простосердечный».¹⁴ Впрочем, Вяземским это писалось при первой встрече с Кольцовым, в самом начале 1836 года. Во времени знакомства с Аксаковыми, в 1838 году, Кольцов во многом изменился.

Умный К. Аксаков, вероятно, увидел в Кольцове отнюдь не «дитя природы», но самостоятельного человека со своими взглядами, явно чуждыми многим из его собственных. Из чего это видно? Ведь переписки нет. Сохранилась, правда, одна записка Кольцова к К. Аксакову от 1841 года: «Любезнейший Константин Сергеевич! Жалею, очень жалею, что вчера вы были у меня и не застали. Я был в театре. Но моя ли вина, скажите? В Москве я живу один, — и вы — отчего бы вам не приехать с утра весточку, а я был бы дома. Ну, а без этого нет во мне мысли предвидеть несделанное. Когда вам угодно быть у меня, то прошу поступить так. Я скоро еду. Уважающий вас *Алексей Кольцов*» (с. 119—120). Записка по тону вежливо сдержанная. Но сухость тона вроде бы бытовой записки, очевидно, есть и отражение общих вежливо-сдержанных отношений.

И. С. Аксаков подтверждает: «В переписке с братом моим он не состоял. . . Личных отношений вне литературы, равно как и личной симпатии друг к другу, у них не было, хотя не было и антипатии. Я был мальчиком лет 12, когда видел Кольцова у нас дома за большим обедом. . . Кольцов не произвел на меня приятного впечатления: напротив,

¹⁴ Остафьевский архив князей Вяземских, т. III. Пб., 1889, с. 289.

его взгляд исподлобья мне не понравился, и мы дома о том толковали».¹⁵ Но толковали, видимо, не только о не вызывавшей там симпатии внешности.

Вот, например, вероятный пункт принципиальных разногласий: Москва и Петербург. Славянофилы, еще даже не став славянофилами в собственном смысле, в том, в каком мы говорим о них с начала 40-х годов, неизменно противопоставляли «русскую» Москву как хранительницу исконных патриархальных начал «европейскому» Петербургу как созданию, чуждому национальной жизни. Полемические баталии развернутся в основном в 40-е годы, когда Белинский в пику славянофилам напишет и в 1844 году напечатает в сборнике «Физиология Петербурга» очерк «Петербург и Москва». Споры продолжатся и позднее, родят обильную и разнообразную литературу, вплоть до сатирической «Дружеской переписки Москвы с Петербургом» Некрасова и Добролюбова, направленной как против славянофилов, так и против либерального красноречия. «Петербург, — заявил в своей „Петербургской летописи“ 1847 года Достоевский, — и глава и сердце России».¹⁶

Защита Петербург в качестве явления и результата прогресса именно русской жизни, Белинский писал, указывая как раз на его оригинальность и самобытность: «... Петербург оригинальнее всех городов Америки, потому что он есть новый город в старой стране, следовательно, есть новая надежда, прекрасное будущее этой страны. Что-нибудь одно: или реформа Петра Великого была только великою историческою ошибкою, или Петербург имеет необъятно великое значение для России. Что-нибудь одно: или новое образование России, как ложное и призрачное, скоро исчезнет совсем, не оставив по себе и следа; или Россия навсегда и безвозвратно оторвана от своего прошедшего. В первом случае, разумеется, Петербург — случайное и эфемерное порождение эпохи, принявшей ошибочное направление, гриб, который в одну ночь вырос и в один день высох; во втором случае Петербург есть необходимое и вековечное явление, величественный и крепкий дуб, который сосредоточит в себе все жизненные соки России» (VIII, 394—395). И далее: «... как будто город Петра Великого стоит вне России и как будто исполин Исаакиевской площади не есть величайшая историческая святыня русского народа...» (VIII, 406). Но все это пишется Белинским уже в середине 40-х годов.

Кольцов внедряет такие мысли в Белинского в конце 30-х. «Москвич» Белинский тогда еще очень близкий «москвичам» Аксаковым, с тревогой смотрел на свой переезд в Петербург. Кольцов не только берет на себя организационные хлопоты, ведет переговоры с И. И. Панаевым, с Н. А. Полевым, с А. А. Краевским, но является и, так сказать, идейным побудителем к такому переезду.

Самый факт переселения Белинского в Петербург в общем идеологическом контексте времени переставал быть простым житейским переездом, только сменой места жительства. Кольцов, всячески толкавший Белинского к нему, это понимал и в этом убеждал, судя по всему, продолжая в письмах многие на эту тему разговоры и преодолевая сопротивление: «В Петербург вы едете — не только это хорошо; но вам нужно там быть. Пусть он на первый раз вас не очень ласково примет, пусть многие будут на вас смотреть подозрительно, пусть будут говорить и то и се... Бог с ними! Ничего не сделают. Вся их выгода в одном: иногда нанесут на первый раз неприятностей, и то легких. Пусть их отуманят утро, а оно все-таки разведется опять, и солнышко засветит в нем роскошней прежнего и блистательней... „Ты, царь, живи один“ — свя-

¹⁵ ИРЛИ, ф. 569, ед. хр. 105.

¹⁶ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти т., т. 18, с. 26.

тая правда, и ваш девиз она. Но Эрмитаж, но Брюллов, но весь Петербург снаружи даже, Нева, море стоят гораздо больше; и, может быть, года через два за границу, к Гоголю, в Италию. Надо быть в Италии и Германии, непременно надо; без того вам умереть нельзя» (с. 66).

Сам Белинский по переезде в Петербург был настроен еще очень промосковски и не скрывал того, как Петербург его раздражает. Видимо, писал об этом и Кольцову. Кольцов или получал такие раздраженные письма или догадывался о состоянии Белинского. Письма Белинского Кольцову не сохранились, но настроение его в эту пору хорошо раскрывается в письме Боткину от 22 ноября 1839 года. Пересылая это письмо с художником Степановым, он просит, чтобы Боткин принял Степанова по-человечески и по-московски, что для Белинского тогда, видимо, одно и то же: «Да, и в Питере есть люди, но это все москвичи, хотя бы они и в глаза не видали белокаменной. Собственно Питеру принадлежат все половинчатое, полуцветное, серенькое, как его небо, истершееся и гладкое, как его прекрасные тротуары. В Питере только поймешь, что религия есть основа всего и что без нее человек — ничто, ибо Питер имеет необыкновенное свойство оскорбить в *человеке* все святое и заставить в нем выйти наружу все сокровенное. Только в Питере человек может узнать себя — человек он, получеловек или скотина: если будет страдать в нем — человек; если Питер полюбится ему — будет или богат, или действительным статским советником. Сам город красив, но основан на *плоскости* и потому Москва — красавица перед ним» (XI, 418).

Письмо Кольцова звучит почти как спор с подобным письмом. «В Питере вы — час добрый, жить-поживать припеваючи! Каков Петербург? Сер, и воздух мутен, и дни грустны? На первый раз он кажется для всех таков, а обживешься в нем — и получшеет, и чем дальше, тем лучше да лучше, а наконец и вовсе полюбится этот русский богатырь — Питер-городок. Конечно, дальше в лес — больше дров: Германия, Италия, я думаю, другое дело. Но, пока нам туда грязен путь, хорошо и в Питере побрататься с нуждой» (с. 77).

Конечно, Кольцов, мечтающий об Италии и Германии и называющий Петербург русским богатырем, должен был тех же Аксаковых раздражать. Но еще более Аксаковых должен был раздражать, как это на первый взгляд ни странно, самый тип кольцовского творчества. Приведем еще одно свидетельство Ивана Аксакова: «Брат же мой Константин Сергеевич, страстный поклонник народного поэтического творчества, не любивший литературно-народной поэзии, т. е. поэзии литературной с приемами и ухватками „маленько-мужицкими“, — народность возведенная или низведенная в генг была ему противна. Признавая несомненный талант Кольцова в первых его произведениях, он не мог, конечно, не замечать в стихах Кольцова позднейшего периода отсутствия той простоты и искренности, той непосредственной внутренней правды, которая в поэзии есть существеннейшее достоинство. Едва ли было бы справедливо обрушивать вину на самого Кольцова. Сам он жалок и истинно несчастлив. Виноваты его развиватели».¹⁷

* * *

Совершенно особое место, особенно после напечатания своего «Философического письма», в интеллектуальной, общественной да и в бытовой жизни Москвы занимал в конце 30-х—начале 40-х годов П. Я. Чаадаев. По известному слову Пушкина, могущий быть Брутом в Риме и Периклесом в Афинах, в России к тому времени он уже давно не был даже и офицером гусарским.

¹⁷ ИРЛИ, ф. 569, ед. хр. 105.

«Печальная и самобытная фигура Чаадаева, — свидетельствует хорошо его знавший Герцен, — резко отделяется каким-то грустным упреком на линючем и тяжелом фонде московской high life... Десять лет стоял он сложа руки где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах и театрах, в клубе и — воплощенным veto, живой протестацией смотрел на вихрь лиц, бессмысленно вертевшихся около него, капризничал, делался странным, отчуждался от общества, не мог его покинуть, потом сказал свое слово, спокойно спрятав, как прятал в своих чертах, страсть под ледяной корой. Потом опять умолк, опять являлся капризным, недовольным, раздраженным, опять тяготел над московским обществом и опять не покидал его. Старикам и молодым было неловко с ним, не по себе: они, бог знает отчего, стыдились его неподвижного лица, его прямо смотрящего взгляда, его печальной пасмешки, его язвительного снисхождения... Чаадаев не только не делал им уступок, но теснил их и очень хорошо давал им чувствовать расстояние между им с ними».¹⁸ Отверженный правительством человек этот в московском обществе, по замечанию И. Аксакова, принимал поклонение себе, как кумиру.

Между тем Кольцову явно с Чаадаевым было и не «неловко» и не «не по себе». Ни Чаадаев не смотрел на Кольцова с того пьедестала, с которого смотрел он на московский свет, ни Кольцов не подходил к Чаадаеву как к кумиру. Во всяком случае, Кольцов сообщает в 1841 году Белинскому из Москвы о посещении Чаадаева «запросто». «На днях был я у Чаадаева; он говорил как-то к речи слово, что у вас в „Наблюдателе“ или „Телескопе“ была напечатана ваша статья о Пушкине и что он ее показывал ему. Пушкин прочел с большой охотой и после прислал ему номер „Современника“, просил передать вам, не сказывая, что он его прислал нарочито для вас» (с. 116).

Разговоры поэта с Чаадаевым, как видим, носили характер простой, откровенный и доверительный. Видимо, таким отношениям мы обязаны и сообщением, сделанным между прочим («к речи слово») о факте для нашей культуры чрезвычайно: Пушкин, обративший свой пристальный взор на молодого критика и ищущий к нему путей. Подтверждается он и письмом самого Пушкина к П. В. Нащокину. Для Белинского, мы знаем, факт этот станет на всю жизнь предметом особой и законной гордости.

Органичный философский универсализм Кольцова не предполагал узкого философствования: «Купил... — сообщает он Белинскому в мае 1839 года, — „Историю философских систем“ Галича; мне их наши бурсари шибко расхвалили; а я прочел первую часть; вовсе ничего не понял; разве философия другое дело? Может быть. Итак, будем читать еще до конца» (с. 61).

Позднее, Кольцов напишет о Галиче резкие слова своему воронежскому другу помещику А. Н. Черткову: «Насилу дал бог храбрости одолеть этого гадкого идиота Галича. Следовало бы его и его творения на костер — да и сожечь. Извините, что долго продержал. Начнешь читать — сон. Не прочтя отослать — стыдно не одолеть дряни» (с. 136). Это написано уже в 1841 году, через несколько лет, человеком, явно за эти годы немало читавшим и думавшим и потому судящим с большой определенностью. Такие, видимо довольно обычные, философские чтения Кольцова подтверждаются и тем, что речь во втором письме идет совсем не об «Истории философских систем» (1819) Галича, как обычно пишут комментаторы Кольцова (ведь эта книга была в библиотеке самого поэта), а о каком-то другом его труде, всего скорее об «Опыте науки изящного» (1825). Кстати сказать, о кольцовских занятиях философией, видимо, было достаточно широко известно. В 1841 году Кольцов писал

¹⁸ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. X, с. 141—143.

Белинскому из Москвы: «Жуковский в Москве. Я у него был; говорил мне, что он слышал, что я немного знаю философию, жалеет об этом; советует бросить все к черту. „Философия — жизнь, а немцы — дураки“, и проч.» (с. 124). И, наверное, не только малая философская образованность мешала Кольцову понять, но и большая философская мысль не давала ему принять быстро устаревавшего А. И. Галича.

Поддерживая и после смерти Николая Станкевича дружеские отношения с его братьями, Кольцов сообщал Белинскому об Александре Владимировиче: «Был у меня третий Станкевич. Он как-то странно переменился, зарылся в науку, в формальность, математически сурьезно. Оно хорошо с молодых лет поучиться хорошенько, а все-таки странно видеть человека ученого, сухого, без огня в душе и без фантазий жизни» (с. 78).

О себе поэт писал брату покойного поэта Дмитрия Веневитинова Алексею: «... за всеми недосугами читаю, пишу, и пусть впереди будет хуже, я все-таки буду идти тем путем, которым давно иду, куда бы ни дошел, все равно; в понимании явлений жизни — лучшая жизнь человека. В духе — царство бога. Его моментов — тьма, и каждый отдельно есть часть — и вечность, и все они — одно» (с. 54). Речь идет именно не об академическом восприятии философии, хотя, как пишет Кольцов, «рад каждую статью философскую, как и статью о Шекспире, читать и уважать» (с. 98).

Само упоминание Шекспира здесь в этом ряду вряд ли случайно. С таким подходом к жизни, к охвату глобальных проблем бытия, к универсальному освоению его и в искусстве нужно было пытаться найти нечто всепокрывающее, всеохватное, абсолютное. Таким явлением стал для Кольцова в конце 30-х годов Шекспир. «Я, — пишет он Белинскому, — читаю теперь Вальтер Скотта. „Пуритане“ прочел с удовольствием. „Роб-Рой“ другой день читаю первую часть, а уж дочту. Смотри, шотландец, не сконфузья (вы не любите этого слова): вот авось раскусим мы тебя; что дальше, а твой старинный большой брат британец дивно больно хорош. Когда будете писать, уведомьте о „Ромео и Юлии“: если переведен, нарочно приеду в Москву читать его» (с. 53). Дело в том, что переводом «Ромео и Джульетты» занимался Катков и близкий ему Кольцов мог получить перевод сразу из первых рук и с соответствующими комментариями. Что до соотношения Шекспира и Вальтера Скотта, то за шутливыми, ироничными словами Кольцова, звучащими и некоторым вызовом, всего скорее стоит продолжение какого-то спора с Белинским. Критик от самых первых своих писаний еще пачала 30-х годов всегда восторженно оценивал Вальтера Скотта — «великого человека», «блистательного гения» — и часто называл его рядом с Шекспиром.

Вообще освоение Шекспира — переводы, споры, театральные постановки первостепенного значения — характерная примета второй половины русских 30-х годов. Случилось так, что с впечатлениями от Шекспира оказались связаны даже первые литературно-бытовые хлопоты и отношения Кольцова, как только он приехал в Петербург в феврале 1838 года, приехал из Москвы от Белинского и с его поручением. Кольцов вел переговоры с Полевым о возможности помещения статьи Белинского о Гамлете в негласно редактировавшихся тогда в Петербурге Полевым «Сыне отечества» или «Северной пчеле». Понимание вселенского значения Шекспира у Белинского было и раньше, например в «Литературных мечтаниях», но это было именно ощущение, проявившееся в самых общих характеристиках: «Шекспир — царь поэтов» и т. п. Статья Белинского о Гамлете — новое слово в мировом освоении Шекспира. Почему?

В начале сам Белинский отправляется от того определения Гамлета, которое дал еще Гете в своем «Вильгельме Майстере» и без которого

с тех пор, кажется, не обходится ни один разговор о Гамлете: сознание долга при слабости воли. Белинский поставил свой анализ Гамлета на совершенно иные, философские основания. Он увидел в Гамлете этап в развитии абсолютного духа, стадию на пути движения мировой идеи, реализующейся в лучших представителях человечества, и потому же дал совсем иную психологическую характеристику Гамлету: «...слабость воли, но только вследствие распада, а не по его [Гамлета] природе. От природы Гамлет человек сильный» (II, 293).

Замечательный советский шекспировед, профессор М. Морозов писал, что именно Белинский первый почувствовал не только распад героя, но и обретение им новой, мужественной силы: «...со времени статьи Белинского, сумевшего впервые почувствовать динамику образа Гамлета, старый и, пользуясь шекспировским эпитетом, „покрытый плесенью“ вопрос о том, слабый или сильный человек Гамлет, получил совершенно иное решение. Да, слабый в начале трагедии, но сильный в ее конце».¹⁹

Здесь точно отмечено, что образ Гамлета рассмотрен Белинским в его динамике. Неточно лишь, что, якобы по Белинскому, Гамлет развивается из слабого человека в сильного. Для Белинского развитие Гамлета это не развитие слабого человека в сильного, а развитие сильного человека; с точки зрения философских взглядов критика именно в этом и заключается для Гамлета залог выхода из состояния распада: «Его страстные выходы в разговоре с матерью, гордое презрение и нескрываемая ненависть к дяде — все это свидетельствует об энергии и великости души». Сама слабость Гамлета — это слабость сильного человека: «Он велик и силен в своей слабости, потому что сильный духом человек и в самом падении выше слабого человека в самом его восстании».

Именно такой подход к делу хорошо поясняет, кстати сказать, «слабости» самого Белинского в конце 30-х годов. И «слабости» Кольцова. Наконец, следует сказать, что вряд ли бы Белинский так проникся духом шекспировской трагедии без великого русского Гамлета — Павла Степановича Мочалова, который вскоре станет одним из самых преданных друзей и самых горячих поклонников Кольцова. Ведь уже название статьи Белинского есть некое уравнение: «Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета». «...Благодаря Мочалову, — писал критик, — мы только теперь поняли, что в мире один драматический поэт — Шекспир, и что только его пьесы представляют великому актеру достойное его поприще и что только в созданных им ролях великий актер может быть великим актером» (II, 309).

Таким образом, Кольцов именно тогда получил от Шекспира потрясение громадной силы. Явно не было человека, кроме Кольцова, чьи впечатления от Гамлета, от игры Мочалова в этой роли, от статьи Белинского об этой драме так наложились бы друг на друга и слились в некую цельность.

Статья эта — «Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» — одна из главных работ критика в конце 30-х годов. Любопытно, что в оценке двух русских Гамлетов — В. А. Каратыгина и П. С. Мочалова — Кольцов сразу и безоговорочно встал на сторону Белинского, а может быть, и укреплял Белинского в его суждениях, во всяком случае, оценки Кольцова высказываются совершенно самостоятельно: «Я был на „Гамлете“ в Питере, и вот мое мнение: Каратыгин человек с большим талантом, прекрасно образован, чудесно дерется на рапирах, великан собою; и этот талант, какой он имеет, весь ушел он у него в искусство, и где роль легка, там он превосходен, а где нужно чувство, там его у Каратыгина нету, — извините. Например, сцена после театра, монолог „быть или не быть“, разговор с матерью, разговор с Офелией: „удались от людей,

¹⁹ Морозов М. Избранные статьи и переводы. М., 1954, с. 238.

иди в монастырь“, — здесь с Мочаловым и сравнить нечего: Мочалов превосходит, а Каратыгин весьма посредственный. У Мочалова немного минут, но чудесных; Каратыгина с начала до конца вся роль проникнута искусством» (с. 31).

Именно одержимость Шекспиром и ощущение Шекспира подвигало Кольцова не только на постоянные чтения, но и на заявления, часто смелые и категоричные, заставляло внимательно следить за усилиями переводчиков и жадно внимать спорам и суждениям на эту тему.

Вообще характерно, что переводческое освоение Шекспира у нас в XIX веке, особенно в его первой половине, не носило узко филологического характера, было отмечено широким общекультурным пониманием и проникновением. Недаром уже в наше время такой художник-переводчик Шекспира, как Борис Пастернак, писал: «Я совершенно отрицаю современные переводческие воззрения. Работы Лозинского, Радловой, Маршака и Чуковского далеки мне и кажутся искусственными, неглубокими и бездушными. Я стою на точке зрения прошлого столетия, когда в переводе видели задачу литературную, по высоте понимания не оставлявшую места увлечениям языковедческим».²⁰

Именно «высота понимания» позволила Кольцову резко оспаривать статью даже такого высоко ценившегося Белинским знатока и переводчика Шекспира, как А. И. Кронеберг, которая была направлена против перевода «Гамлета», осуществленного Н. А. Полевым. А уж цену Полевому и его писаниям и его позиции Кольцов в конце 30-х годов хорошо знал: «У вас в „Литературной газете“, — пишет он Белинскому, — напечатана статья г-на Кронеберга о поправках „Гамлета“; очень вещь невыгодная для Кронеберга — и довольно дурно его рекомендует. Можно замечать и поправлять ошибки, как ему угодно, можно даже перевести „Гамлета“ лучше Полевого и легче Вронченки; но так бессовестно бранить старше себя и, верно, лучше себя, и за такой труд, за который Николай Алексеевич Полевой заслуживает в настоящее время полную благодарность! Без его перевода не было [бы] на сцене такого „Гамлета“ и в нем такого Мочалова, какие у нас теперь. Надо бы Кронебергу сначала его перевести, а потом напечатать, а потом и ругать других, — и дело бы тогда было похвальное. Бранить Полевого за „Угольно“, за драмы, водевили и переделку их с французского — другое дело; здесь всякая брань у места» (с. 98—99).

«... Однажды, — вспоминает Л. М. Юдин, — читая при мне некоторые сцены из шекспировской драмы „Ромео и Джульетта“, переведенной Катковым, особенно прочел он с необыкновенным воодушевлением сцену, представляющую свидание Ромео и Джульетты ночью, в саду Капулетти. Окончив чтение, он вскричал: „Вот был истинный поэт! А мы что?“»²¹

Это ощущение («а мы что?») постоянно толкало Кольцова вперед, определяло энергичнейшую внутреннюю работу в нем, понимание, что такое истинный поэт и что такое истинная поэзия. Такое ощущение не было только естественной читательской реакцией, но точным именно поэтическим ощущением гения и гениальности. «... Она, — пишет Кольцов Белинскому об одной из своих последних дум, — не вся вышла; я хотел сказать иначе, но не сказалося. Вы знаете, что этот предмет не по моему мозгу, я его только чуть понимаю, но не совсем переварил; да и переварю ли? — кто знает? Впрочем, это название не то, которое бы я ей дал» (с. 119). Какое же название Кольцов ей дал бы? — «... Я бы назвал ее „Бог“, но ведь тогда она никуда не может показаться» (т. е. цензура не пропустит). А какое название Кольцов ей дал? — «Шекспир». Конечно, Шекспир не бог, но уж если искать подмен, то, по Кольцову,

²⁰ Мастерство перевода, сб. 6. М., 1970, с. 342.

²¹ Современники о Кольцове, с. 92.

эта, очевидно, самая подходящая и приемлемая. Уже после смерти Кольцова Белинский напечатал думу под названием «Поэт». Но мы, во всяком случае, знаем, какого поэта Кольцов мог иметь в виду.

* * *

В письмах Кольцова поражает прежде всего универсализм, своеобразная эстетическая и интеллектуальная энциклопедичность. «Нет голоса в душе быть купцом, — пишет он Белинскому, — а все мне говорит душа день и ночь, хочет бросить все занятия торговли — и сесть в горницу, читать, учиться. Мне бы хотелось теперь сначала поучить хорошенько свою русскую историю, потом естественную, всемирную, потом выучиться по-немецки, читать Шекспира, Гете, Байрона, Гегеля, прочесть астрономию, географию, ботанику, физиологию, зоологию, Библию, Евангелие и потом года два поездить по России, пожить сначала год в Питере. Вот мои желанья, и, кроме их, у меня ничего нет. Может быть, это бред души, больной и слабой; но мне бы все-таки хотелось бы это сделать, и я уж начал понемногу и кое-что прочел» (с. 92).

Очень трудно сейчас восстановить это «кое-что», сколько возможно доскональные списки чтения Кольцова. Вероятно, это «кое-что» кое-что значило. Беда, что библиотека Кольцова после его смерти была разорена, а архив в большей своей части погиб, с письмами Белинского, Жуковского, Вяземского, В. Одоевского, Боткина и других. Немногое из рукописей поэта, продававшихся на толкучем рынке на обертку, сохранилось случайно. Вот почему и круг чтения Кольцова восстанавливается так скудно.

За год до приведенного выше письма, т. е. в мае 1839 года, Кольцов сообщает Белинскому о полученных книгах («есть что читать»): «Ваш подарок получил; „Отечественные записки“, „Современник“ тоже; от Губера получил „Фауста“, от Владиславлева — альманах „Утреннюю зарю“. Купил полное сочинение Пушкина, „Историю философских систем“ Галлича... еще надобно обзавестись непременно Историей Карамзина. У меня есть Полевого и Ишимовой краткая, а хочется иметь полную. Да опер несколько: „Роберт-Дьявол“, „Фенелла“, „Дон-Жуан“, „Виндзорские кумушки“ Шекспира; хоть дурной перевод, да все лучше, чем ничего. А „Дон-Жуана“ прочесть после пушкинского!» (с. 61).

То, что пишет Кольцов о своих чтениях, отнюдь не маниловский «бред души больной и слабой». Выучиться по-немецки было делом наиболее возможным, так как какие-то начальные основы изучения закладывались уже в уездном училище. Это открывало прямой путь не только к Гете и Гегелю, но и к Байрону, а главное — к Шекспиру, ибо немцами-то все это тогда в отличие от русских уже было переведено. Чтение Библии и Евангелия совмещалось с изучением «Физиологии» Велланского. «Для занятий своих он имел особый небольшой флигель, в котором часто запирался по целым неделям... Здесь лежали на столах груды книг в величайшем беспорядке; подле сочинений Пушкина находилась книга духовного содержания, там история вместе с песнями, философия рядом с простыми сказками. Кольцов жаждал познаний, хотел все объять».²² Трудно сказать, достал ли Кольцов «Историю» Н. М. Карамзина, но, видимо, он знал не только Н. А. Полевого и А. О. Ишимову, ибо в сохранившейся записи о необходимости выписать полного Пушкина помечены и «Всеобщая история» Эрта, и М. П. Погодин. Кстати, там же в «нужных книгах» отмечена «Теория» С. П. Шевырева, т. е. его «Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов». Оперы собираются и изучаются с особым тщанием, так как и сам Кольцов думал

²² Там же, с. 92—93.

о создании оперы из народной жизни, и своеобразный оперный драматизм даже таких музыкальных миниатюр, как «Хуторок», вряд ли можно понять без учета этих изучений Кольцовым образцов русской и мировой оперы.

Недаром почти в это же время, прямо связывая русскую оперу с русской песней, Гоголь писал: «Какую оперу можно составить из наших национальных мотивов! Покажите мне народ, у которого бы больше было песен. Наша Украина звенит песнями. По Волге от верховья до моря, на всей веренице влекущихся барок заливаются бурлацкие песни. Под песни рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси. Под песни мечутся из рук в руки кирпичи, и как грибы вырастают города. Под песни баб пеленается, женится и хоронится русский человек. Все дорожное, дворянство и недворянство, летит под песни ямщиков. У Черного моря безбородый, смуглый, с смолистыми усами казак, заряжая пицаль свою, поет старинную песню, а там на другом конце, верхом на плывущей льдине, русский промышленник бьет острогой кита, затягивая песню. У нас ли не из чего составить своей оперы? Опера Глинки есть только прекрасное начало».²³

Хотел же Кольцов писать оперу, конечно, из русской жизни по мотивам Владимира Даля: «Есть у Луганского, в четвертой части его „Былей и небылиц“, „Ночь на распутии“; она написана, кроме некоторых мест, языком варварским, а материал драмы русский, превосходный; и мне все думается, что я из ней сделаю русскую оперу; если это можно и труды не пропадут понапрасну, я начну, а нельзя — не надо. Я разумею труды не в деньгах, а чтобы время употребить на дело, а не на пустяк. Конечно, я сделаю оперу не такую, чтобы можно поставить на сцену, а по крайней мере чтобы можно было прочесть; а то ее теперь и прочесть нельзя» (с. 89).

Характерна эта тяга к драматургии и к драматургии особого типа — одной стороной своей музыкальной (опера), другой — эпической («чтобы можно было прочесть»). Это, конечно, уже предчувствие театра Островского. Невольно вспоминаются слова Островского, как назвал его когда-то Иннокентий Анненский, «поэта-слуховика»: для него достаточно, чтобы его пьесу только хорошо прочитали. И для Кольцова главное в этой задуманной им опере — слово.

«Да надо непременно изучить живопись и скульптуру. Они все вещи чудесные и для человека, который пишет стихи, особенно необходимы» (с. 96). Кольцов общался со многими художниками и прежде всего с А. Г. Венециановым и его кругом. Но это сравнительно понятно, тем более, если полагать, что Венецианов являл что-то вроде аналога Кольцову в живописи. Интересно, что Кольцова очень любил Карл Брюллов. Ученик Венецианова А. Н. Мокрицкий вспоминает о том, как состоялось знакомство Кольцова с Брюлловым: «Спустя полчаса по приезде Жуковского (к Брюллову, — П. С.) дали мне знать, что пришел Алексей Васильевич Кольцов. Я сказал об этом Брюллову и просил позволения представить ему степного певца, стихи которого любил он слушать. . . Благодаря художника за счастье, которым он обязан свиданию с ним, Кольцов вручил ему экземпляр своих стихотворений; в книжке было вложено одно рукописное сочинение. Жуковский раскрыл и что ж? Это было новое его сочинение „Великое слово“. . . Жуковский прочел вслух; сочинение написано прекрасно; Брюллов был тронут и, обнимая поэта, благодарил его за дружеское внимание. . .»²⁴ Напомним, что сам Кольцов в письме Белинскому относил Брюллова к важнейшим «достопримечательностям» Петербурга.

²³ Гоголь Н. В. Собр. соч. в 6-ти т., т. 6. М., 1953, с. 114.

²⁴ Современники о Кольцове, с. 122.

В 1838 году Кольцов написал «Мир музыки», написал сразу под влиянием музыкального вечера у Боткина. Вообще отношение к музыке было у Кольцова особое и многообразное. Главное, конечно, то, что в нем жила великая музыкальная стихия. Но она получала поддержку и в том восприятии музыки, которое было у его окружения. Белинский недаром в первом посмертном издании Кольцова напечатал и статью Серебрянского о музыке, очевидно как хорошо поясняющую мир Кольцова. Точнее — перепечатал: впервые эта статья была помещена в «Московском наблюдателе». Музыка — постоянный предмет и раздумий и писаний В. Ф. Одоевского, того же В. П. Боткина.

Конечно, Кольцов постоянно жил в музыкальной воронежской песенной стихии — и в селах и дома. Однако многократно у него отмечена предельная острота реакции как раз на «высокую», «ученую», классическую музыку. Во время пребывания поэта в Москве и Петербурге музыкальные впечатления — из главных. И дело не столько в частых посещениях концертов, хотя Кольцов, кажется, не упустил ни одной из столичных театрально-музыкальных возможностей, сколько в силе восприятия. «Я до сих пор помню Лангера и тот вечер и никогда его не забуду» (с. 96), — сообщает он Белинскому о выступлении известного музыканта на вечере у Боткина. По воспоминаниям Юдина, слушая игру знаменитого виолончелиста Серве, Кольцов «дрожал, как в лихорадке».

Передавая впечатление от посещения Дворянского собрания, Кольцов пишет: «Огромная зала полна людей, богато, разнообразно одетых, танцующих; и музыка с высоких хор, как с дальнего неба, волнами разливаясь во все стороны, падала вниз, на нас, людей наземных» (с. 112). Музыка превращала здесь для Кольцова маскарадный зал буквально в высокий храм. Сама сила непосредственного восприятия музыки у Кольцова неизменно приобретает очень конкретный и осмысленный характер и в то же время отличается необычайной широтой.

Любопытно, сколь по-разному реагируют на музыку два таких музыкальных поэта, как Кольцов и Фет. Тем более, что Фет, как писал он сам, инстинктивно находился под могучим влиянием Кольцова: «Меня всегда подкупало поэтическое буйство, в котором у Кольцова недостатка нет. . . в нем так много специально русского воодушевления и задора. . .» Вот как «специально» русски ориентирован Фет, слушая певицу-иностранку, знаменитую Полину Виардо: «Виардо пела какие-то английские мотивы и вообще пьесы, мало на меня действовавшие, как на немужика. Афиши у меня в руках не было, и я проскучал за непонятными квартетами и непонятным цепнем. . . Но вдруг совершенно для меня неожиданно мадам Виардо подошла к роялю и с безукоризненно чистым выговором запела: „Соловей мой соловей“. Окружающие нас французы громко аплодировали, что же касается до меня, то это неожиданное мастерское, русское пение возбудило во мне такой восторг, что я вынужден был сдерживаться от какой-либо безумной выходки».²⁵

А вот как слушает и тоже знаменитую певицу-иностранку Кольцов: «Недавно был я на концерте. Пела Паста, итальянка, женщина 48 лет; но боже мой! — что за голос, что за музыка, что за звуки, за грация, что за искусство; что за сила, за энергия в этом голосе роскошного Запада. . . чудеса! диво дивное, чудо чудное. Я весь был очарован, упоен ее звуками; кровь вся в жилах кипела кипятком» (с. 112).

Как односторонен здесь «дворянский» поэт Фет, как «специален» и как равнодушен («мало действовала как на немужика») к западной музыкальной классике. Можно было бы сказать, как лиричен, как многосторонен здесь «крестьянский» поэт Кольцов, как широк и как воодушевлен ею. Как эпичен. А вот другой тип такой классики и другое приятие

²⁵ Фет А. Мои воспоминания. 1848—1889, ч. I. М., 1890, с. 178—179.

ее, опять-таки совершенно осознанное и формулированное: «Был на опере „Жидовка“ (в немецком театре). Эту оперу («Жидовка» — опера Галеви «Дочь кардинала», написанная в 1835 году, — *Н. С.*) надобно посмотреть: она не то, чтобы была прекрасная опера, полная: отчетливости в полном смысле слова этого в ней нет; но надобно посмотреть, как господа немцы ее выполняют удивительно; все первые роли выполняют невероятно хорошо; певцы — чудо, певицы — прелесть. Да, надобно чаще смотреть немецкую оперу» (с. 32). Тем глубже, конечно, осмысляется русская опера: «Был на опере „Жизнь за царя“, и, говоря про оперу, я совершенно согласен с Михайлом Александровичем [Бакуниным], он на нее смотрит с настоящей точки умозрения» (с. 32). Вообще Кольцов, как видим, на все стремится смотреть с «настоящей точки умозрения», пытаясь охватить всю полноту мира, всю сложность бытия.

Нет, недаром петрашевцы смотрели на Кольцова как на один из залогов национального развития, как на «второго Ломоносова».²⁶ И нам еще предстоит усилия, чтобы в полной мере осознать Кольцова как одно из истинно уникальных явлений русской культуры.

²⁶ Дело петрашевцев, т. 2. М.—Л., 1941, с. 19.



О ПРОБЛЕМАТИКЕ РОМАНА И. С. ТУРГЕНЕВА «НОВЬ»

Принято считать вершинным произведением Тургенева роман «Отцы и дети». С этим трудно спорить. И все же, думается, до сих пор не оценены по достоинству два его последних романа «Дым» и «Новь», стоящие как-то особняком в его творчестве. Оба эти произведения отличаются на редкость сложным составом идей и сегодня могут быть рассмотрены прежде всего с точки зрения их нравственно-философской проблематики: именно она сообщает двум последним романам Тургенева поучительный смысл и непреходящую актуальность.

Известно, что Тургенев, как никто другой, чутко улавливал общественные запросы своего времени, улавливал так называемую «злобу дня» и связывал ее с широким кругом общечеловеческих проблем. И хотя материалистическое понимание истории Тургеневу не было доступно, мудрость художника, привыкшего опираться на самые высокие образцы мировой литературы, на опыт и идеи лучших и передовых философских умов человечества всех времен, придавала нередко неожиданную эффективность выводам Тургенева-художника. Художественные прогнозы Тургенева-романиста — то весьма дальновидные, то глубоко ошибочные — сегодня могут восприниматься как *поучение* и *предостережение*. Собственно, то же самое можно было бы сказать о современнике Тургенева Достоевском, авторе «Бесов» и «Братьев Карамазовых», который с присущей ему беспощадной откровенностью ставил себе в заслугу умение «угадывать и ошибаться».

Не следует забывать и о том историческом времени, о той эпохе, в которую создавались «Дым» и «Новь». Это было переходное время, когда, по словам самого Тургенева, поколебленный быт «ходуном ходил». Да и самого Тургенева отнюдь не случайно называли «художником переходного времени, художником эпохи перелома». Говоря о времени создания последних романов Тургенева и Достоевского, важно помнить гениальную формулу Л. Толстого из романа «Анна Каренина»: «У нас теперь все переверотилось и только укладывается» и тот замечательный комментарий, который дал этой толстовской формуле В. И. Ленин: «... трудно себе представить более меткую характеристику периода 1861—1905 годов. То, что „переверотилось“, хорошо известно, или, по крайней мере, вполне знакомо всякому русскому. Это — крепостное право и весь „старый порядок“, ему соответствующий. То, что „только укладывается“, совершенно незнакомо, чуждо, непонятно самой широкой массе населения».¹ Этот ленинский комментарий многое проясняет в сложном сплаве идей романа «Дым» и в особенности «Нови».

Неоднократно и справедливо отмечалась удивительная переплетенность и тесная связь любовной темы с темой политической в романах Тургенева. Не являются исключением в этом смысле «Дым» и «Новь»,

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 100—101.

хотя связь этих тем предстает здесь в ином качестве. Общественная борьба, пафос идейных исканий, настойчивое стремление угадать возможное будущее России, поиск ответа на сомнения и раздумья: *как жить, что делать, куда идти* — так вкратце можно определить главный стержень, основное направление художественной и философской мысли автора «Дыма» и «Нови».

Если в «Дыме» Тургенев как бы подводит к Литвинову, главному герою, представителей различных групп общества — «правую и левую сторону», по собственному выражению Тургенева из «Предисловия к романам» (1880), словно приглашая героя сделать выбор и не торопя его с ответом, то в «Нови» герой уже сделал выбор: он вступил на путь революционной борьбы, хотя этот путь и не принес ему удовлетворения. Почему не принес — это разговор особый. А главная, существенная особенность последнего романа заключается в том, что Тургенев в «Нови» очень близко подошел к достоверному изображению сущности различных групп русского революционного народничества. Таких предметов русская литература еще не касалась.

Приступая к анализу любого романа Тургенева, следует непременно вспомнить чрезвычайно важное суждение автора, сформулированное им в «Предисловии к романам». Вот это суждение: «Автор „Рудина“, написанного в 1855-м году, и автор „Нови“, написанной в 1876-м, является одним и тем же человеком. В течение всего этого времени я стремился, насколько хватало сил и умения, добросовестно и беспристрастно изобразить и воплотить в надлежащие типы и то, что Шекспир называет: „the body and pressure of time“ («самый образ и давление времени»), и ту быстро изменяющуюся физиономию русских людей культурного слоя, который преимущественно служил предметом моих наблюдений».² Важность и ценность этой самооценки в том, что она верно запечатлела общественную и творческую устремленность создателя шести романов, каждый из которых был значительным событием в общественной и культурной жизни России и обозначал собой веху в развитии русского романного искусства. Не менее важно и ценно это тургеневское суждение и в другом отношении: оно правильно ориентирует исследователя в проблематике любого из шести романов Тургенева, столь метко очерченной самим автором. Это и стремление отчеканить в образы и типы быстро изменяющуюся физиономию русских людей культурного слоя, и стремление приблизиться к шекспировской масштабности в постижении диалектики бытия. Иными словами, получается как бы совмещение двух ракурсов: конкретно-исторического и общечеловеческого в параметрах вечности.

Учитывая все это, попытаемся дать ответ на следующие вопросы: в чем сила прогнозов Тургенева как художника и в чем слабость его как мыслителя и идеолога? Как и какое народничество изображено в романе? Это сугубо русское явление или явление международного порядка? Какова позиция автора, на чьей стороне его симпатии? В чем актуальность этого романа?

Чтобы по достоинству оценить художественное произведение, необходимо объективно и трезво взвесить мнения современников при его появлении и сопоставить их с тем значением, какое оно, произведение, имеет для нас сегодня.

Роман «Новь» при своем появлении (в журнале «Вестник Европы», в №№ 1 и 2 за 1877 год) вызвал целую бурю критических отзывов, мало в чем уступавших в количественном отношении тем, что сопутствовали

² Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т., Соч. в 15-ти т., т. XII. М.—Л., 1966, с. 303. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

опубликованию романа «Отцы и дети», причем, как и в первом случае, преобладали отзывы отрицательные. И вряд ли тут будут уместны ссылки на холодный прием большинством читателей и критикой предшествующего романа «Дым». Сработала, дескать, инерция общественного мнения. Правда, топальность отзывов на «Новь» резко изменилась после шумевшего процесса над пятьюдесятью народниками-пропагандистами, проходившего с 21 февраля по 14 марта 1877 года. Нет нужды подробно останавливаться на пестрой, то острой, то поверхностной и достаточно противоречивой массе высказываний современников о последнем романе Тургенева. Тем более что всесторонний анализ многочисленных отзывов о романе «Новь» содержится в том обзоре, который дан в примечаниях к роману в полном академическом собрании сочинений и писем И. С. Тургенева в 28-ми томах (Соч., XII, 476—552). Однако нам представляется совершенно необходимым привести те критические суждения и мнения о романе, которые проливают дополнительный свет на его проблематику и помогают понять позицию самого автора произведения.

Начнем с отзыва В. М. Гаршина, пронизательно отметившего: «Прочли ли вы „Новь“? Вот Иван Сергеевич на старости лет тряхнул стариною. Что за прелесть! Я не понимаю только, как можно было, живя постоянно не в России, так гениально *угадать* все это».³ С отзывом В. М. Гаршина как бы невольно перекликается мнение ближайшего друга И. С. Тургенева П. В. Анненкова, писавшего М. М. Стасюлевичу: «Читаем мы здесь процесс наших пропагандистов (Анненков адресуется к своему корреспонденту из Баден-Бадена, — А. С.) и не можем не изумляться тому, что Тургенев угадал заранее их ходы и приемы. Вот уж подлинно *vates*, так, кажется, звали пророков по латыни».⁴

Весьма любопытно, что два разных человека, не сговариваясь, отмечают эту удивительную способность Тургенева угадывать «ходы и приемы» русского народничества в романе «Новь». Поразительно также и то, что в своих показаниях на «процессе пятидесяти» русские революционеры, говоря о своем «хождении в народ», приводили факты и эпизоды, очень сходные с изображенными в «Нови».⁵

Во многих отношениях замечательна статья С. К. Брюлловой (Кавелиной), в которой глубина и смелость суждений, страстная убежденность, сила логики и прогнозов удивительным образом перекликаются со многими формулировками и программными суждениями самого автора «Нови». Достаточно сравнить известное письмо И. С. Тургенева к А. П. Философовой от 11 (23) сентября 1874 года с отдельными страницами статьи С. К. Брюлловой, чтобы убедиться в этом. Кстати, черты близости и даже сходства между суждениями И. С. Тургенева и С. К. Брюлловой убедительно показаны во вступительной заметке Н. Ф. Будановой к статье С. К. Брюлловой.⁶ Особенно примечательно в статье С. К. Брюлловой противопоставление тургеневского романа романам Достоевского и Гончарова: «Г-н Достоевский в своих „Бесах“ является настолько враждебным молодежи, что мог выразить свои чувства где и в какой угодно форме, не прибегая к образности. Г-н Гончаров в „Обрыве“ также изобразил дикого нигилиста в самом непривлекательном виде. Тургенев — единственный русский литератор, воспользовавшийся своим положением художника, чтобы поставить вопрос *честно*,

³ Гаршин В. М. Полн. собр. соч., т. III. М.—Л., 1934, с. 109.

⁴ М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. III. СПб., 1912, с. 340.

⁵ Об интереснейших связях «процесса пятидесяти» с разработкой в романе образов Маркелова, Нежданова и Соломина см. в содержательной и свежей по фактическому материалу статье А. И. Батжто «Роман „Новь“ и „процесс пятидесяти“» (Тургеневский сборник, II. М.—Л., 1966, с. 195—209).

⁶ Лит. наследство, т. 76, 1967, с. 277—296.

прямо, откровенно, высказать открыто, на все стороны. И он не мог высказать всего, что думал, потому что и беллетристу не все позволено, но то, что он высказал, настолько недвусмысленно, что не оставляет ни иоты сомнения в том, что недосказано».⁷

Наблюдение С. К. Брюлловой очень интересно, хотя и спорно: сегодня напрашивается скорее не противопоставление, а сопоставление трех романов: «Бесов», «Обрыва» и «Нови». Но это — отдельная тема, требующая серьезного и специального разговора. По мнению С. К. Брюлловой, «Тургенев в последнем большом романе задел самое больное, самое живое место нашего общественного тела — нашей молодежи, наших ходителей в народ... Его „Новь“ не фотография, не этюд — не только верное, вполне объективное воспроизведение тех или других типов и явлений. Это — картина, в которой есть центр... Мы всюду видим Тургенева, видим его взгляды на дело, на описываемую им среду, даже его взгляд на будущее, на новые, только что намеченные типы. Это роман — *тенденциозный* с начала до конца, это, прежде всего, крупное общественное явление, политическая *profession de foi*».⁸

Свой в высшей степени оригинальный и глубокий разбор романа С. К. Брюллова завершает на редкость смелой и далеко идущей по выводам характеристикой образа Соломина: «Мы не думаем, чтобы в лице Соломина Тургенев хотел представить последнее слово русской мысли, русского гения, не думаем даже, чтобы он изображал собою главного двигателя будущей российской революции. Нам кажется, что Соломины — это желанные для русской земли пахари. Только тогда, когда они вспашут „новь“ вдоль и поперек, на ней можно будет сеять те идеи, за которые умирают наши молодые силы. Когда на десять русских придется шесть Соломиных, существующий порядок вещей станет невозможным, и если правительство опоздает реформой, Соломин XX века и его ученик, плутоватый, сметливый и энергичный Павел сознательно, трезво возьмутся за топор. Он не выпадет из их рук, им не нужно будет переодеваться: народ их и без того будет знать, потому что они сами — народ. Соломины будут *не вожаки*, а рядовые революции, которая и возможна-то будет только тогда, когда у нее окажутся такие рядовые».⁹

В заключительных строках статьи С. К. Брюллова ставит в заслугу Тургеневу «политическую честность, *доведенную до щепетильности*, искренность, прямоту, которою проникнут роман. Россия вспомнит это когда-нибудь с благодарностью, вспомнит, что маститому нашему писателю приходилось тысячу раз проскальзывать между Сциллой и Харибдой, вспомнит, что он первый отделил личный, нравственный характер народников от их политических задач и приемов и, представив их честными, благородными людьми, героями, плюнул в лицо нашим „охранителям“. Тургенев теперь стоит одинокий, отвергнутый крайнею левою и крайнею правую стороною. Он с достоинством занимает самое неблагоприятное место между двумя лагерями. Но, несомненно, для того, чтобы занять это место и крепко держаться на нем, требуется большая честность, большой запас энергии и нравственных сил».¹⁰

Пожалуй, никто другой не устаивал роман Тургенева «Новь» таким вдумчивым истолкованием; вряд ли какой еще отзыв может быть сопоставлен с этим по глубине понимания.

Интересно сравнить оценку С. К. Брюлловой образа фабричного рабочего Павла с тем, что написал об этом образе сам И. С. Тургенев К. Д. Кавелину 17 (29) декабря 1876 года: «Быть может, мне бы следо-

⁷ Там же, с. 302—303 (курсив мой, — А. С.).

⁸ Там же, с. 303.

⁹ Там же, с. 314—315.

¹⁰ Там же, с. 315.

вало резче обозначить фигуру Павла, соломинского фактотума, будущего *народного* революционера; но это слишком крупный тип — он станет — со временем (не под моим, конечно, пером — я для этого слишком стар — и слишком долго живу вне России) — центральной фигурой нового романа. Пока — я едва назначил его контуры» (Письма, XII, 39). Как видим, Тургенев вполне осознавал и отдавал себе отчет в том, какие огромные потенциальные возможности сокрыты до времени в фигуре Павла.

Суждения С. К. Брюлловой о Павле и Соломине красноречиво свидетельствуют о том, что она весьма близко подходила к тургеневскому пониманию этих образов. Что касается ее суждений о Соломине, то их необходимо рассмотреть и скорректировать в свете тех оценок, которые дали образу Соломина марксистские критики В. Воровский и А. Луначарский. В. Воровский не без основания полагал: «Соломин недооценен русской критикой. Критика народнического лагеря считала этот тип надуманным, неестественным, ибо он не подходил к ее схеме... А между тем Соломин — подлинный представитель новой и молодой России, но России буржуазной, торгово-промышленной. Это — зарождавшийся в то время тип просвещенного коммерсанта, и Тургенев тонким чутьем уловил в нем прогрессивную силу, идущую на смену оскудевающему барству».¹¹ Интерпретация В. Воровского такова, что позволяет протянуть нити от Соломина к чеховскому Лопухину из «Вишневого сада».

Трактуя образ Соломина, еще более тонкие нюансы, заложенные в нем, улавливает А. В. Луначарский: «Ясно, что это какой-то прообраз будущей буржуазии, умеренный и аккуратный гражданин... от такого типа, как Соломин, опять-таки идут разные водоразделы. Может он остаться и оппортунистом, вроде Потугина, может оказаться и Наживинным. Сначала будет он директором, а потом и хозяином фабрики, и всегда знает, что делает. Может он выйти на этот путь, но может выйти и на совсем другой... Опять-таки человек типа Соломина... мог бы выродиться в меньшевика. Но может оказаться в нем соединение трезвости с большим запасом энергии, с большим революционным вызовом, — тогда из него мог бы выйти большевик».¹²

Спектр толкований образа Соломина, предложенный Луначарским, достаточно широк — он отличается большой подвижностью и диалектической гибкостью. Очевидно, таковы возможности, объективно заложенные в этом образе. Думается, уже одно это является ярким доказательством силы и мощи тургеневского художественного обобщения, положенного в основу образа Соломина. Луначарский, кстати, правильно уловил своеобразие авторской позиции в этом романе: «„Новь“ бьет очень сильно старый мир... но роман очень сильно, беспощадно, хотя задумчиво и грустно, осуждает и народничество».¹³

Как же восприняли роман Тургенева наиболее выдающиеся представители революционного народничества, жившие в то время в эмиграции? Вот мнение Германа Лопатина: «Даже такие художники-джентльмены, как Ив. С. Тургенев, которого, конечно, никто не заподозрит в добровольном холопстве, посодествовали своими трудами искажению образа нашего „мученика правды ради“ в глазах нашего общества. Частью недостаток знакомства с последним движением и его представителями, частью условия нашей подневольной прессы принудили даже его избрать своими героями наименее характерные и многочисленные типы и заставить их действовать самым несообразным, чтобы не сказать смешным, образом; вследствие чего у читателя невольно получается

¹¹ Воровский В. В. Соч., т. II. [Л.], 1931, с. 144.

¹² Луначарский А. В. Очерки по истории русской литературы. М., 1976, с. 235.

¹³ Там же, с. 235—236.

самое неверное представление как о внутренних мотивах, толкающих наших революционеров на избранный ими путь, так и о формах их деятельности и о степени состоятельности их упований». ¹⁴ И далее следует очень резкая характеристика «„революционеров“ г. Тургенева».

Как видим, Г. Лопатин упрекает писателя в допущенных им, как ему кажется, искажениях и неверных представлениях о внутренних мотивах действия русских революционеров. К тому же Г. Лопатин обвиняет Тургенева в том, что он «смешал две ступени развития, резко различающиеся между собою по своим основным воззрениям на способ достижения новых порядков», вставив «чисто „народническое“ движение последнего шестилетия в рамки „заговорщицкого“ движения времен печавицши». ¹⁵

Любопытно, что с аргументами Г. Лопатина согласился и другой признанный лидер русского народничества П. Л. Лавров, с чьим мнением И. С. Тургенев весьма считался. П. Л. Лавров, находясь в это время в эмиграции, поместил в лондонском журнале «The Athenaeum» (1877, 17 февр., № 2573) специальную статью о романе Тургенева, в которой, в частности, писал, что «Новь» представляет собою неполную картину народнического движения, поскольку «в революционной партии были не одни Машурины, Остродумовы и Неждановы... если бы революционная партия состояла в это время только из тех личностей, которых нарисовал Тургенев, то история России последних десяти лет была бы невозможна». Говоря о группе русской молодежи, составлявшей, по его мнению, центр тургеневского повествования и привлекавшей наибольшие симпатии читателей, П. Л. Лавров подчеркивал, что главная черта этой группы заключается в том, что «они суть представители иной, высшей нравственности, нравственности, которая убивает всякий эгоизм, всякое личное возжелание, придает людям характер искренности и делает их способными на все жертвы для класса несчастных и обездоленных». ¹⁶

Для полноты картины сошлемся еще на одно авторитетное мнение. Оно принадлежит известному революционеру П. А. Кропоткину, который, указав на то, что роман «Новь» дает не вполне правильное понятие о революционном движении, поскольку в 1876 году И. С. Тургенев знал далеко не все факты героической деятельности русских народников, вместе с тем подчеркнул, что Тургенев подметил со своим обычным удивительным чутьем «две характерные черты самой ранней фазы этого движения, а именно: непонимание агитаторами крестьянства, вернее — характерную неспособность большинства ранних деятелей движения понять русского мужика вследствие особенностей их фальшивого литературного, исторического и социального воспитания — и, с другой стороны, — их гамлетизм, отсутствие решительности, или, вернее, „волю, блекнущую и болеющую, покрываясь бледностью мысли“, которая действительно характеризовала начало движения семидесяти годов. Если бы Тургенев писал эту повесть несколькими годами позже, он, наверно, отметил бы появление нового типа людей действия, т. е. новое видоизменение базаровского и писаровского типа, возраставшего по мере того, как движение росло в ширину и в глубину. Он уже успел угадать этот тип даже сквозь сухие официальные отчеты о процессе ста девяносто трех, и в 1878 году он просил меня рассказать ему все, что я знал о Мышкине, который был одной из наиболее могучих личностей этого процесса». ¹⁷

Кто же прав в этом споре? По-видимому, каждый по-своему, по всех ближе к истине, думается, все же Тургенев, поскольку он говорит много-

¹⁴ Лит. наследство, т. 76, с. 250.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Цит. по: И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников. М.—Л., 1930, с. 36, 34.

¹⁷ Кропоткин П. Идеалы и действительность в русской литературе. СПб., 1907, с. 116.

мерной концентрированной сутью художественных образов. Собственно, даже точка зрения С. К. Брюлловой представляет особую ценность именно потому, что в ряде существенных моментов она соприкасается с тем художественным прогнозом, который высказан и заявлен самим автором в его романе.

Интересно в этом плане сопоставить два мнения об одном из центральных образов романа — Соломине. Первое мнение принадлежит самому И. С. Тургеневу. На вопрос С. Кривенко: «А не думаете ли вы, что Соломины легко могут превращаться в простых буржуа или в самодовольных навозных жуков?» Тургенев ответил так: «Это уж от них зависит, это смотря по человеку или по людям и по тому, как они будут действовать, — в свою пользу или нет, в одиночку или согласно, поддерживая друг друга».¹⁸ Второе мнение принадлежит А. В. Луначарскому. Рассуждая о потенциальных возможностях Соломина, он предполагает: «Перед ним расстилаются широкие горизонты. Тургенев не смеет, да и не может еще окончательно сказать, какие горизонты, куда приложит свои силы этот новый тип революционера».¹⁹

Здесь перед нами довольно неожиданная близость суждений И. С. Тургенева и А. В. Луначарского. Оба видят в Соломине определенный общественный тип, перед которым открывается множество путей — в зависимости от того, как пойдет историческое развитие России, и поэтому открыта возможность выбора. В известном смысле ситуация с Соломиным напоминает ту, в которую поставлена чеховская героиня Надя Шумова из последнего рассказа «Невеста». Не случайно на вопрос В. В. Вересаева: «В революцию ли уходит его Надя, так ли уходит в революцию?» Чехов ответил: «А туда разные пути бывают».

В романе «Новь» Тургенев вывел представителей различных общественных групп: тут и народники всех оттенков, и реакционеры всех мастей, причем Тургенев обрисовал их всех с присущей ему максимальной объективностью. В нашу задачу не входит рассмотрение всех образов тургеневского романа — глубокий анализ их дан в содержательной статье А. Цейтлина.²⁰ Напомним только, что это и революционно настроенная молодежь с ее «хождением в народ», начиная с Нежданова и Маркелова и кончая Марианной и Машуриной; это и противостоящие им деятели враждебного лагеря Сипягин и Калломейцев; это и особняком стоящие две фигуры — Паклин и Соломин.

Даже такая эпизодическая фигура, как Паклин, которого можно охарактеризовать как представителя мелкобуржуазного либерализма, склонного к тому же к ренегатству, выполняет в романе Тургенева важную функцию. Он не является народником, он — из «сочувствующих», «помогающих», но эта его «помощь» дорого обходится доверившимся ему. При всем том он острее других видит слабые стороны их движения. Именно в его уста вкладывает автор романа исполненное глубокого символического смысла восклицание: «Безымянная Русь!». «Безымянная» — подпольная, скрывающая свои имена не только от политических врагов, но и от друзей.

Не случайно современная Тургеневу критика отмечала особую значимость этого образа, определенную близость его к Тургеневу: «Маленький уродец Паклин — Мефистофель романа, он острит так умно, замечания его так глубоки и метки, что я уверен, что сам Тургенев, слышно для всех, говорит его устами и сидит в его уродливом теле».²¹ Это именно так.

¹⁸ И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников, с. 241.

¹⁹ Луначарский А. В. Указ. соч., с. 235.

²⁰ См.: Лит. наследство, т. 76, с. 106—146. Здесь же попутно, но достаточно четко освещена проблематика романа и его жанрово-стилевое своеобразие.

²¹ Алисов П. Ф. Несколько слов о романе «Новь» И. С. Тургенева. Genève—Bale—Lyon, 1877, с. 4.

Иной вопрос: правомерно ли было придавать подобные функции этому предтече Самгина?

Боле всего писатель размышляет на страницах своего последнего романа над объективными противоречиями народнического революционного сознания. Тут и разновидности жертвенного энтузиазма, и мечтательность, нерешительность, неумелость, подтачиваемая к тому же рефлексией и сомнением, и суетливая, говорливая решительность, односторонняя напористость, сочетающаяся с примитивностью и бездуховностью, и, наконец, горячее нетерпение увидеть сбывшейся свою утопию, в которую веруют свято. Одним словом, все оттенки и все масти деятелей, энтузиастов, подвижников, краснобаев, интеллектуалов, молчаливников, которых объединяет, пожалуй, одно: незнание истинных путей к народу.

Чтобы взвесить и оценить силу и слабость тургеневских художественных приговоров и прогнозов, содержащихся в романе «Новь», необходимо обратиться к ленинским статьям и суждениям о народничестве. Как известно, В. И. Ленин различал народничество в узком и широком смысле. Первым, кто указал на эту особенность употребления термина «народничество» В. И. Лениным, был выдающийся советский ученый — литературовед и историк — Б. П. Козьмин.²² Он разобрался в этом сложном и запутанном вопросе спокойно, вдумчиво, с научной глубиной. Напомнив известные слова В. И. Ленина, сказанные в 1905 году, о том, что «вся история русской революционной мысли за последнюю четверть века есть история борьбы марксизма с мелкобуржуазным народническим социализмом»,²³ Б. П. Козьмин справедливо подчеркивает: «Утопизм народников не мешал ему (т. е. В. И. Ленину, — А. С.) признавать большое историческое значение их *революционного демократизма*».²⁴ Как видим, Б. П. Козьмин выделил и подчеркнул те начала, которые никак не сочетались, и тем не менее не исключали друг друга. Достижение социализма на путях народничества невозможно, но ускорение революционного процесса при его участии — факт реальный.

Вместе с тем следует помнить и другое известное положение В. И. Ленина: «...сущность народничества лежит глубже: не в учении о самобытности и не в славянофильстве, а в представительстве интересов и идей русского мелкого производителя».²⁵ Следует учитывать всю совокупность ленинских высказываний о революционном народничестве 60—70-х годов. Так, в статье «Две утопии», размышляя о многолетней борьбе в России двух утопий, либеральной и народнической, В. И. Ленин сделал удивительно тонкое и точное замечание: «Либеральная утопия отучает крестьянские массы бороться. Народническая выражает их стремления бороться...»²⁶ Далее в той же статье, приведя известное положение Ф. Энгельса: «Ложное в формально-экономическом смысле может быть истинной в всемирно-историческом смысле», В. И. Ленин блестяще применил его затем к противоречивым сторонам русского революционного народничества: «Ложный в формально-экономическом смысле, народнический *демократизм* есть истина в историческом смысле; ложный в качестве социалистической утопии *этот демократизм* есть истина той своеобразной исторически-обусловленной демократической борьбы крестьянских масс, которая составляет неразрывный элемент буржуазного преобразования и условие его полной победы».²⁷

²² См., например, его работы: *Козьмин Б. П.* 1) Народники и народничество. — Вопросы литературы, 1957, № 9; 2) Народничество на буржуазно-демократическом этапе освободительного движения в России. — В кн.: *Козьмин Б. П.* Из истории революционной мысли в России. М., 1961, с. 638—727.

²³ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 12, с. 40.

²⁴ *Козьмин Б. П.* Из истории революционной мысли в России, с. 639.

²⁵ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 1, с. 422.

²⁶ Там же, т. 22, с. 120.

²⁷ Там же.

Устанавливая исторические корни русского народничества, В. И. Ленин прямо указывал: «Русская буржуазная демократия окрашена в народнический цвет — начиная с ее далекого и одинокого предтечи, дворянина Герцена»,²⁸ «Народничество очень старо. Его родоначальниками считают Герцена и Чернышевского».²⁹

Внимательно проанализировав многие ленинские оценки, относящиеся к народничеству, Б. П. Козьмин приходит к такому выводу: «Итак, с точки зрения В. И. Ленина, народничество — идеология, представлявшая интересы русского крестьянства в его борьбе первоначально против крепостничества, а после реформы 1861 г. — против его пережитков.носителем же этой идеологии выступала разночинная интеллигенция, вытеснявшая, а затем и полностью вытеснившая интеллигенцию дворянскую».³⁰

Необходимо также иметь в виду, что В. И. Ленин допускал, что пароднические взгляды, представляющие разновидность утопического социализма, могут вполне соединяться с революционным демократизмом. Это убедительно показано им в статье о Сун Ят-сене «Демократия и народничество в Китае».³¹ Обосновывая свою точку зрения, В. И. Ленин доказывает, что Сун Ят-сен и его последователи в одно и то же время были и революционными демократами, и народниками. Непроходимой пропасти тут нет: одна из граней мировоззрения отнюдь не исключала другую, а дополняла ее.

Цитируя эту ленинскую статью о Сун Ят-сене, Б. П. Козьмин снабжает ее следующим расширенным комментарием, который нам представляется весьма резонным: «Не может быть сомнений в том, что эта оценка Ленина с полным основанием применима и ко всем русским революционным народникам второго этапа освободительного движения в России... Известно, что расцветом „действенного“, т. е. революционного, народничества Ленин считал время „хождения в народ“. Вспомним еще раз, что, перечисляя предшественников русской социал-демократии, Ленин наряду с Герценом, Белинским, Чернышевским поставил „блестящую плеяду революционеров 70-х годов“».³²

Наблюдения и выводы Б. П. Козьмина дополняет Ф. Ф. Кузнецов в статье «Ленин о народничестве».³³ Подробно останавливаясь на вопросе об употреблении В. И. Лениным термина «народничество» в узком и широком значении слова, Ф. Ф. Кузнецов метко характеризует один из существенных аспектов этой проблемы: «Ленин не считал народничество чисто русским, узконациональным явлением. Он указывал, что народничество может быть характерно для многих стран, переживающих буржуазные революции в условиях развитых противоречий капитализма. В силу того, что на Западе, указывал Ленин, „на очереди стоит уже освобождение от буржуазии, т. е. социализм“, — „неизбежно возникает сочувствие китайских демократов социализму, их субъективный социализм“ (т. 21, с. 403). Вот почему Ленин определял Сун Ят-сена как народника».³⁴ То, что современный исследователь ставит акцент на международном характере народничества, раздвигая его привычные чисто русские, узконациональные рамки, придает его суждениям особую ценность. Именно так и следует рассматривать народничество сегодня.

Далее Ф. Ф. Кузнецов не без основания полагает, что лишь «уяснив, что такое народничество в широком значении этого слова, мы можем

²⁸ Там же, т. 21, с. 401.

²⁹ Там же, т. 22, с. 304.

³⁰ Козьмин Б. П. Из истории революционной мысли в России, с. 646.

³¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 400—406.

³² Козьмин Б. П. Из истории революционной мысли в России, с. 662—663.

³³ В кн.: Кузнецов Феликс. Избранное в 2-х т., т. 1, М., 1981, с. 7—25.

³⁴ Там же, с. 13.

глубже понять и эволюцию народничества, и его истинную роль в русском освободительном движении. Только в свете ленинской концепции народничества в широком значении этого слова можно понять и народничество как особое направление в русском освободительном движении 70-х годов».³⁵ Здесь важно указание на народничество как на особое направление в освободительном движении 70-х годов, на его эволюцию и истинную роль. Эти моменты действительно очень важны и существенны.

Не менее значительным представляется суждение Ф. Ф. Кузнецова о том, что «противоречие между социальными процессами реальной действительности и идеологическим осмыслением их», заложенное изначально в народнической теории, углублялось все более, накладывая свой отпечаток на все стороны мирозерцания народничества.

В заключение приведем еще одно соображение Ф. Ф. Кузнецова, имеющее самое непосредственное отношение к «Нови» Тургенева. «... Категория народничества — не как направления освободительного движения 70-х годов, но как идеологии (системы взглядов) крестьянской демократии в России, — пишет Ф. Ф. Кузнецов, — привлекает внимание Ленина при анализе истории русского освободительного движения, русской общественной мысли ничуть не меньше, чем категории просветительства или революционного демократизма. Не пришла ли пора в полной мере взять на вооружение ленинскую концепцию народничества в широком значении слова и использовать ее при конкретном анализе историко-литературного процесса так же смело и последовательно, как и концепцию просветительства или революционного демократизма?»³⁶ Разумеется, нельзя при этом игнорировать различие между уровнем и качеством социально-философской демократической мысли 1860-х и 1870-х годов, т. е. надо подходить к эволюции и развитию идей освободительного движения исторически. Важнейшую задачу современного литературоведения Ф. Ф. Кузнецов видит в раскрытии того, как народническая идеология во всем ее многообразии воздействовала на судьбы передовой русской литературы второй половины XIX века. А мы, в свою очередь, добавили бы: и на судьбы многих национальных литератур в современном мире.

Выдвинутые Б. П. Козьминым и Ф. Ф. Кузнецовым соображения помогают правильно расставить акценты при анализе тургеневского художественного суда над народничеством в романе «Новь». Припомним еще раз. В романе «Новь» изображены представители народа и дворянства (от умеренных либералов до откровенных реакционеров). Но чаще всего в романе речь идет о революционном народничестве во всех его разновидностях. А Цейтлин полагал, что Тургенев «не обратил достаточного внимания на внутреннюю многосоставность и противоречивость этого движения».³⁷ Однако с этим выводом трудно согласиться. Представляется, что, напротив, Тургенев как художник воспроизвел в своем произведении именно «многосоставность и противоречивость этого движения».

Там же А. Цейтлин, на наш взгляд, ошибочно утверждает, что автор «Нови» смешал два различных периода исторического развития народнического движения: «бакунинское» течение доминирует у него над более поздним, «лавровским».³⁸ Думается, что в романе «Новь» автором рассмотрены разные группы народничества, условно говоря, «ткачевское» и «лавровское». И если Тургенев смешивает, как полагает А. Цейтлин, два различных периода народнического движения, то делает он это совершенно сознательно. Тургенев как художник сумел дать в последнем романе близкую к объективной оценку народничеству, критически и

³⁵ Там же, с. 16.

³⁶ Там же, с. 24.

³⁷ Лит. наследство, т. 76, с. 117.

³⁸ Там же.

трезво относясь как к крайне «левым», так и к крайне «правым» течениям общественно-политической мысли.

Изображая в романе события 1868 года и размышляя над тем, каково положение народных масс, в частности крестьянства, после отмены крепостного права, Тургенев определяет его лаконичной и предельно выразительной формулой Нежданова: «Пол-России с голода помирает». Думая об историческом будущем России, наблюдая ее пореформенное настоящее, революционное брожение в ней, Тургенев приходил к мысли о трагической изолированности народников от народа и вследствие этого обреченности их дела. В образах Маркелова и Нежданова воплотилось твердое убеждение Тургенева, высказанное им еще в 1862 году в письме к Герцену: «Вы... в сущности *отрекаетесь от революции* — потому что народ, перед которым вы преклоняетесь, консерватор *par excellence* — и даже носит в себе зародыши такой буржуазии в дубленом тулупе, теплой и грязной избе, с вечно набитым до изжоги брюхом и отвращением ко всякой гражданской ответственности и самодельности — что далеко оставит за собою все метко верные черты, которыми ты изобразил западную буржуазию в своих письмах» (Письма, V, 52).

В какой мере справедлива эта оценка гражданской незрелости русского крестьянства? Судить об этом можно на основе сравнения ее с оценкой Г. Успенским социальной неразвитости наблюдаемых им крестьян в очерках «Власть земли». Убежденный народник не может не признать, что мелкому собственнику дела нет до социалистических утопий. Его крошечный земельный надел, двор, хозяйственные хлопоты, мелкие дразги с соседями — все это заслоняет в его глазах весь остальной мир. Он слышал от пропагандистов народнической утопии слова об общине и артели как ячейках социализма, но пренебрежительно отмахивается от их призывов. Г. Успенский убедительно показал: мелкий собственник на земле — стихийный монархист и враг общественной собственности. Именно поэтому он отказал в доверии народникам.

Что думал сам Тургенев о революционных народниках, которых он изобразил в своем романе? На сей счет он высказался недвусмысленно и откровенно в известном письме к М. Стасюлевичу: «Молодое поколение было до сих пор представлено в нашей литературе либо как сброд жуликов и мошенников — что, во-первых, несправедливо, — а во-вторых, могло только оскорбить читателей-юношей как клевета и ложь; либо это поколение было, по мере возможности, возведено в идеал, что опять несправедливо — и, сверх того, вредно. Я решил выбрать среднюю дорогу — стать ближе к правде; взять молодых людей, большей частью хороших и честных — и показать, что, несмотря на их честность, самое дело их так ложно и нежизненно, что не может не привести их к полному фiasco... молодые люди не могут сказать, что за изображение их взялся враг; они, напротив, должны чувствовать ту симпатию, которая живет во мне — если не к их целям, то к их личностям» (Письма, XII, 43—44).

О чем свидетельствует это искреннее признание? Конечно, прежде всего о том, что писатель, как всегда, стремится «точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни», «стать ближе к правде». Кроме того, о том, что дело, затеянное народниками, несмотря на их субъективную честность, — ложно и нежизненно. И, наконец, что Тургенев при всем том испытывает неподдельную симпатию и глубокое сочувствие к революционной молодежи, пошедшей в народ.

Это, кстати, живо почувствовали еще современники автора «Нови», тесно связанные с движением народолюбцев. Так, один из вождей этого движения, с которым Тургенев был лично знаком, П. Л. Лавров в статье о романе «Новь» подчеркивал, что «изо всех группировок, которые писатель предлагает вниманию читателя, только эта (П. Л. Лавров имеет в виду народников, — А. С.) обладает нравственной силой, не преследует

эгоистических целей, не ищет наслаждений, свободна от личного честолюбия и готова трудиться с жаром и самоотвержением ради будущности русского народа».³⁹

На протяжении статьи П. Л. Лавров неоднократно и справедливо подчеркивает, что, не веря в успех народнической революции, Тургенев тем не менее вывел молодых борцов за нее как единственных представителей высокого нравственного начала. Отнюдь не случайно и члены партии «Народная Воля» в своей листовке 1883 года также подчеркнули: «Глубокое чувство сердечной боли, проникающее „Новь“ и замаскированное местами тонкой иронией, не уменьшает нашей любви к Тургеневу. Мы ведь знаем, что эта ирония не ирония нововременского или катковского лагеря, а сердца, любившего и болевшего за молодежь... он служил русской революции сердечным смыслом своих произведений...»⁴⁰

Весьма любопытно, кстати, что высокую оценку нравственным качествам тургеневских героев дал Генри Джеймс, признанный классик американской литературы, друг Тургенева, написавший еще в 1877 году рецензию на роман «Новь», которая недавно впервые переведена на русский язык. В этой рецензии Г. Джеймс, называя роман Тургенева «произведением на злобу дня», в частности писал: «Тургенев, как всегда, подошел к своей теме с нравственной и психологической стороны, углубившись в исследование характеров... Мудрость его позиции сказалась в глубоком понимании того, что подпольное движение, которое он изображает, дает исключительные возможности для раскрытия характеров, что оно непременно заключает в себе семена острой психологической драмы. Столкновение различных натур, вступивших в союз ради служения общему идеалу — идеалу особенно притягательному для юных сердец с их благородными порывами и „полужизнью“, которое столь опасно, — вот в двух словах основное содержание романа „Новь“... эти вольнолюбивые молодые люди, не имея возможности открыто провозгласить убеждения, расходуют весь пыл на бесплодные действия, в равной доле сочетающие в себе мальчишество и героизм».⁴¹

О чем говорят эти отзывы и отклики на роман «Новь»? О том, что в романе Тургенева очень сильно разработан нравственный аспект, получивший столь широкий не только русский, но и международный резонанс.

Тургенев не всегда верно разбирался в нюансах той конкретной борьбы, которую вели русские народники. Но чутье большого художника помогало ему улавливать ведущие тенденции этого явления. Правда, он сосредоточил основное внимание на слабых сторонах движения народников. Но вместе с тем, он, как никто, сумел подчеркнуть нравственную высоту борцов-подвижников, пошедших в народ. Этот повышенный интерес к нравственной стороне деятельности народников заметили у Тургенева уже его современники, заявлявшие, что «он служил русской революции сердечным смыслом своих произведений». Подчеркнем, однако, что тургеневское сочувствие, преобладая в романе, тесно переплеталось с трезвым взглядом писателя, философски осмысляющего новое общественное явление. Отсюда и некоторая компромиссность тургеневского суда над народничеством: с одной стороны, резко очерченные симпатии и антипатии, с другой — попытка примирить непримиримое.

³⁹ Там же, с. 204.

⁴⁰ И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников, с. 7, 8.

⁴¹ Джеймс Генри. «Новь» Ивана Тургенева. — В кн.: Джеймс Генри. Женский портрет. М., 1981, с. 503. (Серия «Литературные памятники»). Попутно отметим, что в своем романе «Княгиня Казамассима» Г. Джеймс продолжил тему тургеневской «Нови» на английском материале, подобно тому как ту же тургеневскую тему «разрабатывал» в «Жерминале» Э. Золя.

Зато сочувствие и сострадание позволили Тургеневу удержаться от крайностей в интерпретации новых явлений русского освободительного движения, что отличало, например, «Бесов» Достоевского, явно грешащих элементами глумления и пародии. Не случайно еще современники сопоставляли «Новь» с «Бесами», и явно не в пользу романа Достоевского.⁴² Однако в плане философского осмысления сложного общественного явления просматривается определенная близость между Тургеневым и Достоевским в пункте, метко сформулированном последним: «Угадывать и ошибаться».

Оба писателя в каких-то существенных моментах ошибались, причем каждый по-своему. Но оба и многое правильно угадали. Диагноз Тургенева, поставленный им в романе «Новь», представляется в основе своей более верным, нежели прогноз Достоевского в романе «Бесы».⁴³

Тургенев подошел к народничеству и к различным его уклонам трезво и дифференцированно: тут и самоотверженные героические усилия, тут и сложный, мучительный путь поисков, проб, провалов, заблуждений и прозрений. Можно предположить, что В. И. Ленин, критически рассматривая эволюцию русского народничества — вплоть до вырождения его в Скалдиных и К⁰, — в чем-то опирался на материал художественных приговоров этому явлению, содержащийся в произведениях многих русских писателей, в том числе, быть может, и на материал «Нови» Тургенева.

Тургеневские прогнозы в «Нови», просвеченные и откорректированные ленинскими оценками народничества в узком и широком смысле слова, помогают и сегодня распознавать как здоровые, так и нездоровые тенденции в национально-освободительном движении той или иной страны, помогают и сегодня отличать истинных революционных демократов от либерально-ренегатаствующих народников всех мастей, поскольку явление это, как верно указывал В. И. Ленин, носит международный характер. Вернемся еще раз к ленинскому комментарию из статьи «Две утопии» к словам Ф. Энгельса: «Ложное в формально-экономическом смысле может быть истиной в всемирно-историческом смысле». Приведя эти слова Ф. Энгельса, В. И. Ленин разъясняет: «Глубокое положение Энгельса необходимо помнить при оценке современной народнической или трудовической утопии в России (может быть, не в одной России, а в целом ряде азиатских государств, переживающих в XX веке буржуазные революции)».⁴⁴

В чем актуальность романа И. С. Тургенева «Новь» сегодня? Тургенев был не совсем прав, полагая, что народничество представляет собой лишь чисто русское явление. В одной из записей, запечатлевших начальный замысел романа (июль 1870 года), Тургенев, имея в виду феномен народничества, высказался следующим образом: «... их явление, возможное в одной России, где все еще носит характер *пропедевтический*, воспитательный, полезно и необходимо: они своего рода пророки и проповедники» (Соч., XII, 314). А спустя почти десять лет, в «Предисловии к романам», Тургенев не без иронии заметил: если поначалу его роман «Новь» был дружно осужден, то затем автора стали обвинять в другом — в том, что он с самого начала был посвящен в «неблагоденственные замыслы»: иначе как бы он мог все предвидеть и предсказать в своем романе! (см.: Соч., XII, 308—309).

⁴² Впрочем, и сегодня некоторые исследователи, среди них А. Цейтлин и Г. Бялый, отмечают бытовой гротеск и трагический юмор отдельных эпизодов «Нови», сближающие Тургенева с автором «Бесов».

⁴³ О том, какой сложный и спорный роман «Бесы», недавно остро и полемично напомнила статья Б. Бялика «К спорам о „Бесах“», напечатанная в журнале «Вопросы литературы» (1983, № 1).

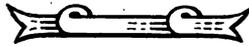
⁴⁴ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 22, с. 120.

Ленинские работы, да и сам ход истории убедительно доказали: народничество — мировое, общечеловеческое явление и носит международный характер.

Роман «Новь» — это роман прогнозов и предостережений, не во всем безошибочных, но весьма поучительных. Он учит ориентироваться в сложных процессах революционной борьбы беспокойного XX века. Национально-освободительное движение во многих регионах земного шара проходит сегодня неизбежно и через стадию народничества, принимая различные формы, направления и оттенки — от прогрессивного и революционного, до реакционного и оппортунистического. Поставленный Тургеневым диагноз и вынесенный им приговор,⁴⁵ тот исторический суд, который вершит автор «Нови» над народничеством, над объективными противоречиями этого движения, вооружает и сегодня борцов национально-освободительного движения, учит их распознавать идеологию крестьянской демократии, эволюцию и метаморфозы этой идеологии, которая на определенных этапах своего развития может утрачивать присущий ей историзм и вырождаться в реакционно-оппортунистическую и мещанскую идеологию.

Именно в этом видится актуальность предложенных Тургеневым в романе «Новь» художественных решений и выводов.

⁴⁵ В этом отношении показателен один чересчур эмоциональный, по весьма характерный отзыв современника Тургенева: «Господа консерваторы и либералы! К топору вас приговорил не молодой, пламенный, негодующий юноша, а великий сердцевед, великий современный писатель, седой старик, умудренный опытом, всю жизнь тонко и сильно наблюдавший жизнь. Не знаю, как на вас подействует этот приговор, но, откровенно говоря, меня мороз дерет при мысли о вас» (Алисов П. Ф. Указ. соч., с. 9—10).



ОБ ОДНОМ НЕЗАВЕРШЕННОМ ЗАМЫСЛЕ МАЯКОВСКОГО

(ПОЭМЫ «IV ИНТЕРНАЦИОНАЛ» И «ПЯТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ»)

В литературном наследии Маяковского есть замысел, значение которого становится ясным только сейчас. Речь идет о поэмах «IV Интернационал» и «Пятый Интернационал», работу над которыми поэт оставил в свое время. Оставил, может быть, и потому, что поэмы были обращены к таким явлениям, подлинный смысл которых мог тогда не улавливаться, — трудности и противоречия нашего пути к коммунизму, мысли об их преодолении и о положении в мире, в человечестве. Сейчас над сходными вопросами, хотя и по другим поводам, размышляют многие во всем мире. Чрезвычайно показательно всмотреться, как решал эти вопросы Маяковский, он, которого никогда не удовлетворяла роль «просто поэта».

Позиция Маяковского — позиция реального гуманиста. Думая о будущем человечества, он исходит из тех факторов, которые никак не обойти. Сейчас даже крупные ученые нередко высказывают скептическое отношение к науке, к прогрессу, видя, какие зловещие явления они порождают. Макс Борн, например, предлагает людям обратиться к подлинным человеческим ценностям: к миру, любви, кротости, удовлетворенности собой, своим положением. Но мира, любви не может быть, когда есть силы, которым нужна война. Гуманизм Макса Борна утопичен.

Маяковский смотрит правде в глаза. Он не предлагает человечеству рецептов устройства жизни в обход подлинных сил, действующих в мире, и прежде всего таких, как революция и наука. Серьезное отношение автора «Пятого Интернационала» к этим двум силам есть показатель его подлинной ответственности перед людьми.

Но сказанное — только одна сторона замысла. Не менее важна другая, характеризующая Маяковского как поэта, как личность. Страна только что вышла из тяжелейшей войны. Люди были заняты насущнейшими делами по налаживанию элементарных условий жизни. Занят был этим и Маяковский, притом занят прямо, непосредственно, действительно как поэт-рабочий (и не только при создании «Окон» РОСТА и Главполитпросвета). Но он никогда не жил только сегодняшним днем. И вот в обстановке нужды, скудости быта, бесчисленных нехваток его мысль, мечта, фантазия рвутся вперед. И рвутся не в обход трудностей и даже прямых опасностей, которые уже тогда обнаруживались в нашем быту.

Потому, естественно, в поэмах рельефно выступает масштаб мысли Маяковского. Маяковский думает. И думает, говоря словами В. Вернадского, в планетарном аспекте. Думает, как хозяин. Каждый должен стать хозяином страны, государства — как поэт-ленинец, Маяковский эту идею утверждал всеми своими произведениями. Но так как поэт Октября верит в победу революции на всей земле, в нем уже ясно обозначается психология хозяина всей планеты и даже Вселенной — жилища нового человечества. И это при той ярости бойца, которая пронизывает его поэзию, при том напоре критики всех и всего, мешающего людям создавать

настоящую жизнь. Такое сочетание почти несоединимых качеств — прикреплённости к конкретной земной точке, где идет бой, и часто трудный, затаенный, бой с казюками, бюрократами, подхалимами, и порыва к дальним целям, к явлениям космическим — одна из самых глубоких особенностей Маяковского. В поэмах «IV Интернационал» и «Пятый Интернационал» — в силу самого их замысла — это проявляется особенно сильно.

Сначала несколько необходимых фактов.

В своей автобиографии «Я сам», в главке «22-й год», поэт сообщает: «Начал записывать работанный третий год „Пятый Интернационал“. Утопия. Будет показано искусство через 500 лет».¹ В том же году в разное время появились следующие произведения поэта: поэма «IV Интернационал» («Красная новь», 1922, № 3), затем «Пятый Интернационал», сначала первая часть, а потом вторая («Известия ВЦИК», 1922, 10 сент. и 23 сент.).

Из последних публикаций, т. е. тех, что появились в «Известиях», выяснилось, что «Четвертый», «Тридевятый» (в ходе работы поэта возник и такой заголовок) и «Пятый Интернационал» — названия одной и той же вещи. Говоря об этом в примечании в «Известиях», поэт прибавлял: «На заглавии „Пятый Интернационал“ остановлюсь окончательно».

Известно и другое: то, что было напечатано под названием «Пятый Интернационал», писалось Маяковским как бы заново и рассчитывалось на восемь частей. Этот последний факт подтверждает незаконченность поэмы («Пятый Интернационал» имеет сейчас только две части) и ставит вопрос о том, какое место в окончательном замысле поэта теперь должен занимать большой отрывок, озаглавленный «IV Интернационал». И более того, входит ли он вообще в него.

Так как сам Маяковский, увлеченный другими работами, не оставил никаких указаний на этот счет, «IV Интернационал» и «Пятый Интернационал» остались без призора. О них почти не вспоминали, а что касается «IV Интернационала», его и не печатали. Впервые эта несправедливость устранена в собрании сочинений Маяковского 1955—1961 годов. Поэма напечатана — и непосредственно перед «Пятым Интернационалом».

Такой порядок печатания определен самой хронологией, но важнее другое: поэма «IV Интернационал», конечно же связанная с поэмой «Пятый Интернационал», является по отношению к ней поэмой-прологом. Само слово «пролог» в примечании к этому произведению Маяковского давно произнесено. Но надо посмотреть, насколько оно правомерно, как именно поэма «IV Интернационал» предвдвуряет ту, вводной главой к которой она фактически является.

Как раз в ту пору Маяковский писал: «Мы получили задания на реальнейшую стройку в века.

Земля, шатаемая гулом войны и революции, — трудная почва для грандиозных построек.

Мы временно спрятали в папки формулы, помогая крепиться дням революции. . .

Сметя старье революцией, мы и для строек искусства расчистили поля.

Землетрясения нет.

Кровью сцементенная, прочно стоит СССР.

Время взяться за *большое* (т. 12, с. 48).

¹ Маяковский Владимир. Полн. собр. соч. в 13-ти т., т. 1. М., 1955, с. 26. Далее ссылки на произведения Маяковского даются по этому изданию в тексте.

Вот этим *большим* и охвачен поэт. Ни на минуту не забывая о величии дела масс в только что отгремевших боях и видя поднимающуюся дрянь-мещанство, обывательщину, Маяковский идет вглубь — он думает о смысле жизни, он хочет проникнуть в глубины материи, понять масштабы человеческих дерзаний, осязаемо ощутить те пределы, те грани почти неведомого, за которыми возникают глубины возможностей человека и новые изменения пространства и времени. Сохранились старые записи, рассказывающие, с каким почти гипнотическим пристрастием Маяковский расспрашивал о новых достижениях науки в те годы и особенно о новых путях, которые открывает перед человеком теория относительности.

Мы хорошо знаем слова Маяковского из его стихотворения «Казань»: «...рукою своею собственной щупаю бестелое слово „политика“» (т. 9, с. 163).

Но так же хотел он «ощупывать» и такие сложные и вроде бы далекие вещи, как смысл жизни, движение человека вперед, пределы его возможностей. Ибо в понимании большой перспективы жизни, в понимании того, каким человек может стать завтра, поэт видел выход из драм, трагедий или даже трагикомедий сегодняшнего дня. В такой перспективе видится замысел поэмы «Пятый Интернационал».

Но вся эта даль и высь порождена земными делами, земными заботами Маяковского. Вот почему тому, что мы узнаем в «Пятом Интернационале», предшествует содержание поэмы «IV Интернационал». «IV Интернационал» — исключительно характерное для Маяковского произведение. В нем с особенной остротой выразилась тревога поэта за нового человека, за его внутреннее содержание.

Кратко, но сильно нарисовав путь коммунистов до революции, в дни революции и гражданской войны, путь, целиком подчиненный высоким целям борьбы, формировавшей человека, поражающего бескорыстием и огромной силой духа, Маяковский затем приходит к главной своей мысли, к главному, чем стала жить его поэзия в дни мирного строительства:

И тут-то вот
над земною точкою
загнулся огромный знак вопроса.
В грядущее
тыкаюсь
пальцем-строчкой,
в грядущее
глазом образа вросся.

(т. 4, с. 100—101)

Поэт определенно и четко говорит о том, что же именно встает перед его «глазом образа», которым он вросся в грядущее, и какие именно вопросы тревожат его как поэта и гражданина:

Коммуна!
Кто будет пить молоко из реки ея?
Кто берег-кисель расхлебает опоев?
Какие их мысли?
Любови какие?
Какое чувство?
Желанье какое?

(т. 4, с. 101)

Старье подсказывает коммуне ответ: «Что будет? Будет спаньем, едой себя развлекать человечье быдло» (т. 4, с. 101). Но самое опасное — не свидетельство старья, а то, что мертвый действительно хватает жи-

И любви
 придумаем
 слово свое,
 из сердца сделанное,
 а не из ваты.
 (т. 7, с. 131—132)

Поэма «IV Интернационал», разумеется, не может быть оторвана от замысла Маяковского написать поэму об искусстве будущего — «Пятый Интернационал». Она служит, как уже говорилось, прологом к этой поэме. Но от того, что замысел в целом оказался не осуществленным, вовсе не уменьшается значение поэмы «IV Интернационал». Она поражает силой образов, энергией языка, мастерством в передаче чрезвычайно экономными, но выразительными средствами большого пути родины. Голос поэта звучит поистине, как «колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных». Сам поэт говорит о своей поэзии здесь так:

Восторжен до кряка,
 тревожен до боли,
 я тоже
 в бешеном темпе галопа
 по меди слов языком колоколил,
 ладонями рифм торжествующе хлопал.

(т. 4, с. 99)

Но именно потому, что Маяковский прежде всего *тревожен до боли*, он пишет вторую часть поэмы с крайним заострением чувства тревоги. В ту пору могло казаться, что тревога Маяковского излишня, формы, которые она принимает, — анархически-бунтарские. Вот почему, думается, поэма, напечатанная в марте 1922 года, в последующие годы Маяковским не перепечатывалась. Сегодня видно: тревога Маяковского была тревогой большого художника и большого человека, который крайне ревностно относился ко всему, что было связано с Октябрем, с идеями коммунизма. Поэму «IV Интернационал» в какой-то степени можно сейчас сопоставить с Четвертой симфонией Шостаковича. Написанная почти пятьдесят лет тому назад, подготовляемая к исполнению в Ленинграде и снятая с репетиции самим автором, симфония так и не прозвучала публично до 1962 года, когда она, будучи исполнена впервые, предстала перед многими как произведение огромной трагедийной силы. Мысль о борьбе глубочайшей человечности и какой-то холодной, лязгающей силы зла, ломающей человека, при слушании этого произведения поражает и не музыканта. Но не менее чувствуешь и то, что ответа на страшную, жестокую борьбу, мне думается, композитор в этой симфонии не дает. Может, потому он ее и не исполнял. Теперь ясно — ответ был дан композитором потом, и очень скоро, в Пятой симфонии. Победил человек, победил свет. Мрак отступил.

«IV Интернационал» Маяковского не является таким произведением, поэма имеет ответ на глубокие раздумья. «Мысль-красногвардейка» поэта призывает всех к битве за настоящего человека. Но поэт не только говорит:

Идите все
 От Маркса до Ильича вы,
 все,
 от кого в века лучи, —

(т. 4, с. 104)

он еще утверждает, что видит счастье, и знает, как за него надо бороться:

Вами выученный,
 миры величавые
 вижу —
 любой приходи и учись!

(т. 4, с. 104)

Кстати, мысль Маяковского о том, что его поэзия — не только ученица революционеров, но и учитель тех, кто будет продолжать революцию, — мысль, конечно, гордая и дерзкая, но вовсе не случайная. Она никогда не умирала в поэзии Маяковского. Она звучит в широко известном утверждении, что он, поэт, — «народа водитель и одновременно народный слуга». И она же выступает в поэме-завещании «Во весь голос», где он прямо говорит, обращаясь к потомкам:

В курганах книг,
похоронивших стих,
железки строк случайно обнаруживая,
вы
с уважением
ощупывайте их,
как старое,
но грозное оружие.

(т. 10, с. 281—282)

И все-таки, хотя поэма Маяковского и предлагает выход, отдельные места ее выразили крайнюю тревогу поэта, которая сама по себе, вырванная из всего творчества Маяковского, могла быть не понятой, как, по-видимому, не надеялся до конца быть понятым и Шостакович, отказавшись от исполнения остро трагедийного произведения и как бы перешагнув через него к иным вещам. Примерно так поступил и Маяковский. Однако в «контексте» всего творчества поэта это его произведение не только понятно, но и полно огромного смысла.

Тем более оно понятно в перспективе всего замысла. «Миры величавые», которые поэт видит в конце «IV Интернационала», собственно и составляют существо поэмы «Пятый Интернационал». «Пятый Интернационал» непосредственно начинается размышлениями Маяковского об искусстве. Само название этого раздела (он озаглавлен «Приказ № 3») связано с двумя предшествующими «приказами» поэта — «Приказом по армии искусства» и «Приказом № 2 армии искусств».

Затем, заявив «Начинаю», поэт действительно раскрывает основное содержание своего замысла. Читавшие «Пятый Интернационал» знают, что это содержание состоит в том, что Маяковский, герой поэмы, изыскивает способ «поднять» себя над сущим, над тем, что он видит ежедневно, словом, поэт рассказывает о том, как человек становится «людогусем» и что из этого проистекает. А проистекают и на самом деле удивительные вещи: человек не только гигантски в прямом смысле растет, он растет и во времени. Собственно, то, что потом в «Бане» Маяковский обретает при помощи машины времени, здесь достигается образом «людогуса». Из эпохи 20-х годов XX века он попадает в будущее Москвы, России и всего мира. Если сказать кратко, то это будущее является расцветом техники: Москва, ее дома выглядят так, какими их можем видеть мы с вами. Впрочем, «Европа лежит грудой раскопок, гулом пушек обложенная огульно» (т. 4, с. 123). Затем, как говорит автор, «начинаются дела... небесные» (т. 4, с. 115). Маяковский не дожил до времен космонавтики, но он описывает состояние человека, испытывающего невесомость, и то подчинение чувств, нервов сознательной воле, которое он связывает с возможностями человека в будущем.

Вторая часть «Пятого Интернационала» включает в себя размышления об искусстве и рисует еще более напряженную картину планеты, перед тем как вся она оказывается охваченной огромной битвой, из которой возникает Земная Федерация Коммун.

На этом текст поэмы обрывается. «Самое интересное, — говорит в конце второй части автор, — конечно, начинается отсюда. Едва ли кто-нибудь из вас точно знает события конца XXI века. А я знаю. Именно это и описывается в моей третьей части» (т. 4, с. 134).

И хотя об этом «самом интересном» Маяковский не написал, давайте взглянемся в то, что написано. Что оно означает? О чем оно?

Сам Маяковский, как мы уже знаем, назвал поэму «утопией», тут же прибавив: «Будет показано искусство через 500 лет» (т. 1, с. 26). В своих устных заявлениях поэт, однако, говорил и о том, что в поэме он покажет «будущую жизнь мира так», как он ее себе представляет.³ Последнее определение кажется более точным, потому что демонстрация «будущей жизни», а еще точнее человека будущего, занимает в поэме первостепенное место. И этому, в свою очередь, подчинен, как мы увидим, и показ искусства. А поняв это, начинаешь четче представлять общий замысел произведения.

Сегодня он может быть очерчен следующим образом: Маяковский хочет написать картину мира, дать человека и его жизнь в динамике, т. е. речь идет не о показе «двадцати четырех часов из жизни» человека и даже не всей его жизни с рождения до смерти — речь идет о жизни мира, от сегодняшнего дня и на несколько столетий вперед.

Конечно, важно установить, какими мотивами руководствовался поэт, задумывая и уже воплощая этот свой замысел. Кажется, в единственной книге, в которой говорится о поэме «Пятый Интернационал», в книге Е. Наумова «Маяковский в первые годы советской власти», фантастический замысел поэмы связывается с неизжитым схематизмом и абстрактностью представлений поэта, которыми характеризуется его поэзия и отчасти его взгляды в пору создания поэмы «150 000 000».

Но, хотя Маяковский и страдал этими недостатками, в данном случае не в них дело. Автор анализируемых нами поэм думает о сегодняшней жизни и хочет понять, на каких путях человек и человечество обретут достойное людей существование. И он считает — на путях двух величайших сил: освобождения народов из-под власти капитализма и новых научных открытий, меняющих наши представления о самой жизни, о времени, о пространстве (речь идет прежде всего о теории относительности, которой тогда был захвачен Маяковский). В представлении поэта и та и другая силы являются гранями революции. Вот почему и картина технического прогресса, проникновения человека в космос, и картины освобождающегося мира даются у Маяковского, так сказать, в одном ключе.

Революция на земле у поэта обручена с революцией в небесах, революция социальная дополнена революцией духа. Так, в сущности, поэт отвечает на то, о чем он говорит в поэме-прологе «IV Интернационал».

С чисто внешней стороны, читатель прежде всего обратит внимание на описание тех явлений, о которых мы узнали, например, после полетов наших космонавтов (состояние невесомости и т. д.) или по мере разрушения колониальной системы в мире.

Поэта интересует человек будущего, его подлинное избавление от власти вещей, быта, и тем более власти сытости. В центре внимания Маяковского дух человека или, точнее говоря, личность.

И только в связи с этим свое значение приобретают и мечты об искусстве, в частности известные строки поэта, обычно цитируемые вне контекста поэмы как полемика Маяковского с пролеткультовцами:

Пролеткультцы не говорят
ни про «я»,
ни про личность.
«Я»
для пролеткультиста
все равно что неприличность.
И чтоб психология
была

³ Катанян В. Маяковский. Литературная хроника. Изд. 4-е, доп. М., 1961, с. 167.

«коллективней», чем у футуриста,
 вместо «я-с-то»
 говорят
 «мы-с-то»:
 А по-моему,
 если говорить мелкие вещи,
 сколько ни заменяй «Я» — «Мы»,
 не вылезешь из лирической ямы.

(т. 4, с. 122)

В поэме «Пятый Интернационал» Маяковский, как реальный гуманист, хочет разобраться в путях решения тех противоречий, которые он так резко обозначил в поэме-прологе «IV Интернационал». Иначе он не может поступить, потому что, по его словам, «поэт настоящий вздувает заранее из искры неясной ясное знание».

Выход Маяковский видит на путях революции, но не только в том, чтобы Россия не лежала «закандаленная границами», чтобы «красное тело России» сливалось с «красным телом Германии». Поэт пишет о революции, охватывающей весь внутренний мир человека. По-видимому, это он и называет «третьей революцией» — духа.

В «Пятом Интернационале» Маяковский делает упор на том, чтобы показать научные, т. е. наиболее прочные, основания перестройки личности и ее духовного мира. Наука вообще занимает огромное место в мыслях Маяковского о достойной человеческой жизни (овладение временем, пространством, усовершенствование самой земли — каналы, зелень).

Мне кажется, сюда же надо отнести и мечты поэта о господстве человека над самим собой, своими чувствами. Человек станет действительно господином положения, он полностью вырвется из власти стихийных сил — таков ход мыслей поэта. Даже представляя человека, говоря современным языком, в состоянии невесомости, в том состоянии, когда на огромных высотах человек теряет ощущение своей «материи», потому что масса его как бы пропадает, Маяковский и здесь опирается на мысль.

Но я
 оковался мыслями каркасом.
 Выметаллизировал дух.

(т. 4, с. 117)

Сила мысли — вот истинный металл, вот, по Маяковскому, непочатый запас прочности того «человека просто», к которому идет поэт. Маяковский продолжает:

Мысль —
 вещественней, чем ножка рояльная.
 Вынешь мысль из-под черепа кровельки,
 а мысль лежит на ладони,
 абсолютно реальная,
 конструкцией из светящейся проволоки.

(т. 4, с. 117)

Здесь и безудержность замыслов, возникавших в ту бурную эпоху, которой, казалось, ничего не стоит реконструировать самого человека, и мечты Маяковского об усовершенствовании самой природы человека. Но вместе с тем это и ратование за человека, порвавшего с мистикой, с подчинением подсознательности, туманности.

И только в этой связи можно по-настоящему понять и его требования к искусству. Прежде всего Маяковскому дорого самое заветное для него — гигантское возвышение над планетой. Иронически говоря о разных попытках как-то осмыслить подобное возвышение («Я сделался вроде огромнейшей радиостанции»), сам Маяковский оценивает его по-своему:

То, что я сделал,
это
и есть называемое «социалистическим поэтом».

(т. 4, с. 121)

Именно в этом месте, назвав себя «Святогором богатырем» «будущих былин», Маяковский обобщает одну из своих важнейших идей о современном, а еще точнее социалистическом искусстве:

Чтоб поэт перерос веков сроки,
чтоб поэт
человечеством полксводит мог,
со всей вселенной впитывай соки
корнями вросших в землю ног.

(т. 4, с. 121)

Формула ценнейшая, и наша литература еще не раз к ней будет возвращаться. Как видим, она возникла в поэме «Пятый Интернационал». Далее «Пятый Интернационал» ратует за точное искусство, где-то соприкасающееся с наукой. «Пятый Интернационал» — это, наконец, и героическая попытка писать «формулами», выкинуть за борт смутные и тем более томные переживания, писать без «венчиков аллитераций», не поклоняясь «богу поэзии с образами образов», словом, так, как говорит сам автор:

Я
поэзии
одну разрешаю форму:
краткость,
точность математических формул.

(т. 4, с. 108)

Маяковский не шадит себя. Он заявляет: «К болтовне поэтической я слишком привык, — я еще говорю стихом, а не напрямик».

Поиски Маяковским «прямого», «голого языка» — это реакция на туманные писания многих поэтов начала века. Преувеличенность Маяковского в стремлении отгородиться от «стиха», от «лирики» как символа поэтической туманности стала ясна и ему самому едва ли не на другой день. Во всяком случае, в «Юбилейном» он скажет:

Нами
лирика
в штыки
неоднократно атакована,
ищем речи
точной
и нагой.
Но поэзия —
пресволочнейшая штукавина:
существует —
и ни в зуб ногой.

(т. 6, с. 49)

Но, может быть, без этой преувеличенности, без этой яростной атаки на туманность поэзии не было бы той эстетики точности, той красоты, извлекаемой из мира современности, которая так поражает в стихотворениях типа «Бродвей».

Но дело не только в «Бродвее» и подобных произведениях. Важнее другое. Поэмы «IV Интернационал» и «Пятый Интернационал», оставшиеся как бы в стороне от самых значительных созданий поэта, являются крайне характерными для понимания самого существа поэзии Маяковского. В них — важнейшие ее черты.

Уже было сказано, как остро Маяковский всматривается в нашу жизнь и особенно в то, что может серьезно помешать нам в пути. Опасностей немало, но первая из них — бездуховность, именно против нее «встает из времен... революция духа» (т. 4, с. 103).

И одновременно он думает об ускорении революционного процесса в мире, об обществе завтрашнего дня. И важно понять, с чем поэт связывает будущее, что для него в этом завтрашнем дне главное. Мятежный, всегда готовый протестовать, поднимать на бой, Маяковский произносит:

Я видел революции,
видел войны.
Мне
и голодный надоел человек.
*Хоть раз бы увидеть,
что вот,
спокойный,
живет человек меж веселий и нег.*

(т. 4, с. 132—133. Курсив мой, — А. А.)

Человека, живущего «меж веселий и нег», Маяковский не видел, но увидеть хотел, хотел горячо, страстно, ради этого жил, ради этого славил «революцию — радостную и скорую», говоря, что «это — единственная великая война из всех, какие знала история» (т. 6, с. 309). И говоря о том, что он хотел увидеть, Маяковский поворачивался к читателю новыми (и если и не новыми, то не часто обнаруживаемыми) гранями своей гигантской личности. Не крайняя напряженность («душа канатом, и хоть гвозди вбивай ей — каждая мышца», «нежность из памяти вырвать с корнями, головы скрутить орущим нервам» — т. 1, с. 71), а самочувствие естественности, ощущение радости — вот каков человек на последних страницах «Пятого Интернационала»:

Радуюсь просторам,
радуюсь тишине,
радуюсь облачным нивам.
.....
Словно
стекло
время, —
текло, не текло оно,
не знаю, —
вероятно, текло.

(т. 4, с. 133)

Это «не знаю» о времени, которое «текло» или «не текло... вероятно, текло», — поразительно: так перевоплотился Маяковский в человека счастливого и вместе с тем «вырабатывающего счастье». Жизнь в поэме Маяковского после окончательной победы добрых начал бытия — это и отсутствие враждующих сил на земле («На всем вокруг ни черного очень, ни красного, но и ни белого не было» (т. 4, с. 133)), это и могучая природа, все ее врачующие силы, расцветающие в гармонии с разумной волей свободного человека:

Где раньше
река
водищу гоняла,
лила наводнения,
буйна,
гола, —
теперь
геометрия строгих каналов
мрамору в русла сскожно легла.

(т. 4, с. 133—134)

Поэт, который, казалось, никогда не занимался воспеванием природы, с которым связано создание в литературе особого типа «политического пейзажа» (детали его — закаты, тучи, облака и т. д. — все прямо работают на идею произведения или какой-то части его), здесь с радостью пишет о зеленом покрове родной планеты:

Где пыль
вздыхалась,
ветрами дуета,
Сахары охрились, жаром лентя, —
росли
из земного
из каждого дюйма
строения и зеленя.

(т. 4, с. 134)

Как далек этот Маяковский, певец планеты, «оборудованной» «для веселия», от того, который, пораженный чудом электричества, считал, что он навсегда нашел, что ему петь и славить: «После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь» (т. 1, с. 11).

По-видимому, мы уже никогда не сможем точно объяснить, почему Маяковский не стал заканчивать поэму «Пятый Интернационал». Но вполне вероятно, что суровая обстановка тех дней особенно остро подчеркивала утопизм идеи Маяковского, идилличность его картин. Интересно, однако, что наша литература (и вовсе не только типичная фантастика) никогда не оставляла этих порывов в космос. Решение наших сугубо земных проблем в какой-то степени связывают с космическими просторами и писатели нашего литературного сегодня.

Из рассмотрения незавершенного замысла Маяковского можно сделать вывод: Маяковский широк и всеобъемлющ, его идеал — жизнь богатая и разнообразная. Некоторые явления в его поэзии (заостренная, а иногда и «голая» социальность в ущерб вниманию к природе, к таким сферам, как семья и т. д., постоянное требование от человека напряжения всех сил, максимализм почти всегда и во всем) порождены временем, конкретными обстоятельствами, когда стране приходилось постоянно быть «на чеку». В природе же поэзии Маяковского они не заложены. Пусть некоторые стороны человеческого бытия не получили полного развития в творчестве Маяковского, важно то, что они им не отрицались, они в нем были, поэт видел их расцвет в коммунизме.

Изучить этот вопрос, исследуя весь материал его творчества, — одна из актуальных задач современного литературоведения.



ДЕНЬ И ВЕЧНОСТЬ

(О ФИЛОСОФСКИХ ВОЗЗРЕНИЯХ АЛЕКСАНДРА ТВАРДОВСКОГО)

Философские воззрения Твардовского по существу никогда не привлекали специального внимания исследователей. Лишь с появлением поздних стихов, отмеченных явной медитативностью интонации и обращенностью к вечным темам, стали все чаще говорить о собственно философской стороне его произведений, об индивидуальности и своеобразии его взглядов на мир. В стихах последнего десятилетия, собранных в книге «Из лирики этих лет», Твардовский предстал, для многих, по-видимому, совершенно неожиданно, художником, не только не чуждым «вечным темам» и «гамлетовским вопросам», но и мыслителем, обладавшим продуманной и издавна сложившейся системой взглядов, выраставшей из многовекового опыта народного мирознания. Эта система еще не только не исследована, но и полностью не выявлена.

Сам Твардовский, имея в виду заглавную мысль, одушевлявшую его творчество, склонен был употреблять правившееся ему слово «дума». В его понимании слово это могло обозначать широкий комплекс духовно-эмоциональных переживаний, стянутых, однако, к некому организующему смысловому центру. Дума А. Твардовского не была для него чем-то вроде темы, разрабатываемой в стихах особого философского склада: она пронизывала все творчество, так как была внутренней, интимно-сокровенной основой всей его личности. В позднем творчестве, с которым обычно связывается представление о возобладании у него философской тенденции, эта «дума», всегда существовавшая и почти неизменная от самой молодости в своих координатах, лишь зримо вышла на первый план: она как бы кристаллизовалась под давлением возраста и обстоятельств и обрела выразительную силу духовно-поэтического завещания. К. Симонов, возможно, подразумевая именно эту особенность поздней лирики Твардовского, писал, что в ней поражает не столько форма, хотя и она сама по себе поразительна, а то, как «надолго вперед *подумано* о жизни, с какой глубиной, печалью и мужеством, заставляющими заново подумать о самом себе, о том, как живешь и как работаешь...»¹ Дума Твардовского — о времени, о народе, о себе, о конечности единичной судьбы и бесконечности жизни, о смысле бытия, о природе и месте в ней человека — крупна и многомерна. Эпоха не только находила в его созданиях свой пластически запечатленный образ, но и художественно осознавала себя посредством ищущей и бесстрашной мысли поэта.

Как уже сказано, философские воззрения А. Твардовского, которые он сам обозначал словом «дума», еще не исследованы. Одной из причин такого запоздания, возможно, является пресловутая «простота» Твардовского. Долгие годы он считался (и не только в среде массового читателя) писателем совершенно простым и, так сказать, общедоступным, что в об-

¹ Симонов К. Об Александре Твардовском. Цит. по: Твардовский А. Т. Собр. соч. в 6-ти т., т. 1. М., 1976, с. 15. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте.

щем и верно, если, правда, забыть о том, что это простота высокого и сложного искусства. Как писал сам Твардовский: «Вот стихи, а все понятно...» Понятность Твардовского, т. е., например, естественность его поэтической речи, сердечность интонации, наглядность изображаемого мира и реальность его пропорций, отсутствие каких-либо ухищрений и т. д. — все это несомненные и ценнейшие особенности Твардовского-художника. Но именно они отчасти, а может быть и главным образом, маскировали истинную его глубину.

Но помимо так называемой простоты, как бы скрывающей, хотя бы и на время, подлинную глубину, надо еще учесть, что Твардовский был человеком и художником неоткрытым. Он, правда, поддержал слова Ольги Берггольц о «самовыражении», но сам предпочитал выражать себя иначе: или на большой глубине, не сразу доступной первому взгляду, или же сливая себя с так называемым «другим человеком» — «ты да я — так песня спелась...» Опубликованные о нем воспоминания рисуют его человеком замкнутым, не способным на быструю открытость, предпочитавшим воздвигать между собой и недостаточно знакомыми, а то и хорошо знакомыми людьми ощутимую стену, предохранявшую от вторжения в его интимный мир, в его личность, в его «думу». Он берег и охранял свой внутренний мир, не выставлял его напоказ — ни в быту, ни в стихах, не анализировал его прилюдно и не ставил себя в пример. Даже в лирических стихах, захватывающих читателя силой внутреннего волнения, он был сдержан, немногословен, скуп и целомудрен. Как в знаменитом стихотворении «Я знаю: никакой моей вины...», он предпочитал не договаривать: «И все же, все же, все же...» Возможно, что именно по этой причине в его обширном творчестве отсутствует любовная лирика — явление очень редкое. Он, кроме того, был не склонен, в отличие, например, от Н. Заболоцкого, Л. Мартынова или Б. Пастернака, к построению философских систем, к преимущественному созерцанию одной какой-либо стороны жизни, взятой под «философское наблюдение», не стремился, судя по всему, и к какой-либо специальной упорядоченности своих взглядов относительно общих проблем бытия, хотя взгляды эти были у него определенными, выношенными и устойчивыми. Всю жизнь он впитывал в себя самые разнообразные знания, читал, по воспоминаниям знавших его людей, фантастически много и, помимо институтского образования, сумел до многого дойти, как он говорил, «самоуком». Многообразная государственная и общекультурная работа сформировала его в деятеля большого масштаба. Он был образованнейшим человеком своей эпохи. Будучи в курсе современных знаний о мире, Твардовский всегда, однако, сохранял в себе разумно-реалистический, народный взгляд на жизнь — и в конкретном и в широком смысле этого слова. Именно здесь — основа его миропонимания. В статье об М. Исаковском он писал о том, что поэзия и язык искони несут в себе «врубившиеся в память, лаконичные и неотразимые формулы, добытые многовековым опытом страданий и поисков» (т. 5, с. 234). Эти формулы, запечатлевшиеся в виде поговорок, присловий, примет, крылатых, перелетающих из века в век речений, живущие в народной песне и вошедшие крупными мудрости в литературу, он почитал для себя маяками, верно указывающими направление человеку на его жизненной дороге. Они были для него подлинным духовным богатством, вошли в духовный состав его личности. Кстати сказать, Твардовский не так уж часто употреблял в своих стихах поговорки, пословицы, присказки, он даже удивительно скуп на них, но здесь дело, очевидно, в том, что они жили в его сознании органично, как песня матери, как воздух родины, они растворились в нем и потому не нуждались в какой-либо цитации.

* * *

Опора на многовековой опыт народного мирознания определила в философских воззрениях Твардовского очень многое, во всяком случае самое важное. С этим багажом, доставшимся ему в наследство от народа, он вышел в жизнь, берег его и не расставался с ним. Твардовский приумножил его огромным опытом собственной жизни, опять-таки сопряженной с опытом народной судьбы, придал ему, так сказать, личную форму, поставил на нем золотую печать своего таланта, но в основе своей он был, в его понимании, действительно «неотразим», как бы и впрямь «врублен» в самую сердцевину его поэтического дара.

Скорее всего, именно этим обстоятельством и объясняется исключительная цельность его поэтической личности, последовательность и целеустремленность его творческого поведения. Его художественный путь не знал резких скачков, переломов, катастрофических спадов, быстрых поворотов. Если исключить несколько ученических годов, отмеченных бродильным началом ранней молодости, то начиная уже с первой половины тридцатых годов, т. е. очень рано, он движется, скорее, концентрически, неуклонно расширяя себя самого, раздвигая свои границы, но сохраняя при этом сердцевину, некое драгоценное животворящее ядро, заключающее в себе огромную, рассчитанную на десятилетия энергию. В самом деле, разве «Страна Муравия», написанная раньше, в чем-то уступает «Василию Теркину» или же поздней поэме «За далью—даль»? То же можно сказать и о лирике. Его поздняя философская поэзия вышла из той же сердцевины таланта, из того же изначального ядра, что и лирика, скажем, самых ранних лет. Разве образ-символ Переправы, так ударивший по читательским сердцам в «Василии Теркине» («берег левый, берег правый...»), не возник уже в стихотворении «Перевозчик» (1927), а затем появился в стихах «Памяти матери» (1965), а также в поэме «За далью—даль», где он стал заглавным, многосмысловым и широко ассоциативным?

Начав свой путь с образа Переправы—Дороги—Перевоза, Твардовский этим же образом завершил свое последнее стихотворение («К обидам горьким собственной персоны...»). Верно было подмечено, что столь же постоянным является у него и образ Дома. В раннем стихотворении образ Дома дан вместе с распахнутыми воротами — символом ухода, возвращения, дороги. В одной из статей он даже сказал о Доме поэзии. В его представлении поэзия должна строиться подобно дому — для живых людей и вблизи людской дороги. Надо ли говорить, что и Дом Жизни должен строиться ладно и толково и что он должен быть обдуман — и в главном и в мелочах? Неудивительно, что стихи Твардовского, в том числе и ранние, а не только поздние, «философские», это всегда — размышление, с оттенком неусыпной заботы о Доме и с тревогой о предстоящей неизбежной и неизведанной дороге жизни. Даже те его стихотворения, в которых очень силен элемент описательной образительности, житейской сюжетности и т. д., тоже, как правило, включают в себя момент, если так можно выразиться, рассуждающей мысли, размышления или сентенции.

Так называемые вечные вопросы (кстати сказать, Твардовский протестовал против кавычек в этом словосочетании) интересовали его постоянно — он размышлял над ними напряженно и неотступно. Как ни странно, но среди наших поэтов, исключая, может быть, Н. Заболоцкого и А. Ахматову, он наиболее часто писал о смерти и бессмертии. Ведь от ответа на эти вопросы, ответа хотя бы приблизительного, зависел и ответ о смысле жизни:

Что ж, мы — трава?..

(т. 3, с. 27)

«Никогда смерть не будет безразличной для человеческого сознания, — писал он, — ни при каком идеальном общественном устройстве и самой счастливой личной судьбе» (т. 5, с. 77). Между тем отвлеченное философствование, пусть даже на тему смерти или бессмертия, ему претило, он его не любил, презирал, и у него самого нет ни одного стихотворения, в котором какая-либо из вечных тем трактовалась умозрительно, т. е. без соотнесенности с конкретным временем и судьбой.

Характерны в этом отношении его суждения о философских мотивах у Бунина, писателя очень высоко им ценимого не только за знание крестьянской жизни, природы, богатство языка и высокое искусство классической прозы, но и за непрестанный и глубокий интерес к вечным проблемам бытия. Бунину, по справедливому мнению Твардовского, было свойственно исключительно обостренное чувство смерти в силу обостренного чувства жизни. Эта диалектика очень интересовала Твардовского. Он подметил ее и у Л. Толстого и у Достоевского. Но, замечал Твардовский, в отличие от Л. Толстого и Достоевского, проблема смерти у Бунина нередко оборачивалась «эстетизированной философичностью» (т. 5, с. 72).

Но как же все-таки, не соглашаясь с Буниным и оставаясь земным, реальным человеком дня, решает Твардовский вопрос о смерти? Находит ли он иной «выход», чем тот, что предложил Бунин, пытавшийся найти его то во всевременном единстве жизни, то в любви, то в забвении?

Твардовский, как и следовало ожидать, обращается к многовековому опыту народного мирознания, народного миропонимания, сложившегося в результате практически-жизненного единения людей в их совместной жизни и работе. Этому опыту он, как и всегда, полностью доверяет — он проверен как раз той «чредой веков», о которой так красиво, но не реально написал И. Бунин. Среди формул народной мудрости, «врубившихся», — как он выразился, — в память», Твардовский особо оценил крылатое и всем известное выражение «на миру и смерть красна». Оттого, что оно всем известно, оно примелькалось и его глубина скрылась, но Твардовский заново открывает мудрость этой формулы. Он замечает, что по существу здесь идет речь о нераздельности человека и человечества. Да, человек умирает, но «какую-то долю, — рассуждает он, — большую или меньшую — этого неизбежного бремени отдельного человека берут на себя его близкие и те „далекие“, для которых он честно потрудился на земле и выполнил свой долг перед ними. . . Нужны мостки, — заключает он свое рассуждение по поводу приведенной «формулы» и по поводу вообще проблемы смерти, — которые соединяют одного со всеми или многими, ему подобными, нуждающимися и заслуживающими, как и он, участия и поддержки перед неизбежным порогом — далек ли он, близок ли» (т. 5, с. 77).

Итак, в чем же все-таки выход, если он вообще есть? Твардовский не дает на этот вечный вопрос бодрого ответа, не строит какой-либо философской концепции: он подходит к проблеме «выхода» с точки зрения реальной жизни реальных людей и доказывает во многих своих стихотворениях, что лишь единство человеческого сообщества, крепкая связь поколений, цепочкой идущих друг за другом в неизведанные времена, а может быть и в вечность, дают реальное бессмертие людскому роду, человечеству. По его убеждению, человек — это человечество, и в этом смысле каждый как бы бессмертен. Частица души и дела любого живущего, работающего, думающего, радующегося и страдающего человека остается с живыми, не все уходит под «тяжелый слой земли».

В своей поздней лирике Твардовский вновь вернулся к этой теме: надвинувшаяся старость, болезнь, предчувствие конца обострили его раздумья, но не изменили их смысла. В размышлениях о жизни как необ-

ходимой смене поколений он с годами отводил смерти естественное для нее место: смерть — это работа самой жизни; это сама жизнь творит и продвигает себя дальше — в будущее. Как ни парадоксально, но с этой точки зрения смерти как бы и не существует, вернее сказать, она является лишь в каждом отдельном случае, люди подвластны ей лишь врозь: «иною смерти не дано». Но и эта подвластность несколько относительна: ведь наличествует, как сказано, «связь», «провод»: «мы слышим в вечности друг друга и различаем голоса». В «Слове о Пушкине» Твардовский говорил: «Для Пушкина мир не кончается вместе с уходом из него отдельной „моей“ личности...» И дальше: «... он жил в своем времени, со своими современниками, своей средой, но как бы и с другими поколениями, и живет с нашим и будет жить с теми, что придут нам на смену» (т. 5, с. 376).

Вместе с тем Твардовский в своей мысли о бессмертии человека как человечества не отчуждался от живой конкретной боли перед концом любого существования. Слово «срок» — его излюбленное слово, и, подобно тому как у И. Бунина, по его же меткому наблюдению, всегда ощущимо во всех произведениях «чувство возраста» «лирического героя», так и у Твардовского, хотя и на иной лад, это чувство возраста, срока, предела человеческой жизни также весьма ощутимо. Он сохраняет полнейшую здравость и трезвость относительно реальности конца любого человеческого существования, и если говорит о бессмертии человечества, то никогда не говорит о посмертном существовании. Граница между жизнью и смертью, если иметь в виду каждого отдельного человека, для него реальна и непреложна. Но в отличие от И. Бунина, который, по его словам, «не сводит глаз с песочных часов своей жизни» (т. 5, с. 73), Твардовский предпочитает отдать отпущенный судьбою срок делу конкретной, реальной жизни, какова она есть именно в данный срок: каждое звено бесконечной цепи отдельных жизней, уходящих в бесконечность, должно быть добротнo сковано и загодя присоединено, по мере сил и умения, к последующему. Как сказано у него в одном стихотворении:

И дальше связь пойдет в таком порядке...

(т. 3, с. 151)

Затем он пишет:

Ты не в восторге?
Сроки наши кратки?
Ты что иное мог бы предложить?

(т. 3, с. 151)

Как известно, «предложений» на эту тему в мировой философии и искусстве, а также и в науке нашего времени было немало, и трудно предположить, чтобы Твардовский вовсе не обращал на них внимания. Он отозвался прекрасным стихотворением на первые космические полеты, радовался тому, что человечеству впервые удалось

Ступить за тот порог Вселенной,
Что вечность глухо стережет...

(т. 3, с. 92)

Надо думать, что были известны ему и смелые гипотезы К. Циолковского, и мечтания Н. Федорова, и многое другое, что время от времени будоражило его эпоху, отмеченную грандиозной научно-технической революцией. Но, зная все это, держа в памяти и в сознании, учитывая и примеряя, он все же был склонен опираться на те фундаментальные, пусть и откорректированные временем, представления о мире,

что сотнями, если не тысячами лет складывались в повседневном обиходе трудового человечества. Никакая образованность и никакое специальное знание, в том числе и наука, не могут заменить мудрости, уже откристаллизованной веками опыта. Поэтому, сохраняя, как уже сказано, в памяти современный научный образ мира, считаясь с ним, соглашаясь или недоумевая, Твардовский все же в наиболее трудных для себя вопросах, касающихся бытийной сферы, предпочитал обращаться к первоисточнику — к народному знанию и опыту, т. е. к тому основанию, на котором и выросли затем все науки и все, удачные или нет, философские системы. Он полагал это наиболее разумным, правильным, этого держался.

Каждый должен пахать свое поле — только этим продолжается жизнь, только этим она и оправдывается. От ранних стихов до самых поздних, до последней, предсмертной своей строки Твардовский отчетливо и неуклонно провел эту мысль. Он высказывал ее то шутливо, то иронически, то вполне серьезно, нередко со скорбью и грустью перед краткостью жизненных сроков:

Ты хоть завтра собирайся
Помирать, а жито сей!

(т. 3, с. 117)

Эта народная мудрость оставалась для него неколебимой, она была как бы основой основ, фундаментом, без которого немислим ни дом жизни, ни дом поэзии, ни дом знания.

Последняя строка в последнем его стихотворении, которым и заканчивается теперешнее посмертное собрание его сочинений, наполнена тем же смыслом — только, может быть, звучит еще более требовательно:

Час мой, дело свое верши.

(т. 3, с. 208)

Время для Твардовского существовало лишь постольку, поскольку оно было наполнено делом.

* * *

Естественно, что понятие времени, или, как предпочитал говорить Твардовский, «срока», постоянно занимало воображение и мысль поэта. Правда, «песочные часы жизни», судя по всему, не стояли перед его глазами, как это было с И. Бунным, но он отдавал себе трезвый отчет в крайней «срочности» жизни и к «часам» относился серьезно, деловито, по-хозяйски, примерно как тот крестьянин, который старался «управиться с полем» вовремя, еще до холодов. Поэтому, хотя, по-видимому, и справедливо, что художническое время Твардовского «согласуется с новыми представлениями о времени и в науке XX века» и что он подчас шел даже дальше «„самых безумных“ трактовок времени современной физикой или биологией»,² все же изначальное и в основе своей традиционно-крестьянское представление о круговороте времен природы и человеческой жизни оставалось родственно близким Твардовскому. Не случайно время, даже в тех случаях, когда Твардовский пишет о нем медитативно, т. е. не чуждается явственного философского оттенка, все равно предстает в его стихах как бы одомашненным, жизненно-плотным, прикрепленным или к дому, или к дороге.

Он доверял прежде всего самому себе, своему художническому ощущению мира, и доверял тем больше, чем явственнее видел связь между своим личным мироощущением и давним, многовековым, традиционным, народным, идущим от поля, от земли, от природного кругооборота.

² Македанов А. Творческий путь Твардовского. Дома и дороги. М., 1981, с. 278.

Неизменный обиход,
 Вековой расчет природный —
 (т. 3, с. 175)

вот это было для него ценно, важно, оно лежало в основе, лишь видоизменяясь и так или иначе согласуясь с требованиями «науки», пусть и неожиданными, непривычными, но приемлемыми, если они в свою очередь идут от природы, от векового расчета, а не от «безумств».

На проблему времени он также смотрел художнически самостоятельно и с полным вниманием к «природному расчету».

Понимание им времени в сильнейшей степени сказалось на всем его художественном мире. Так, давно уже было замечено, что Твардовский строит свои произведения принципиально бесфабульно. После войны у него вообще не было сюжетных стихов, да и в лирике Великой Отечественной войны сюжет появлялся у него лишь в стихотворных очерках и балладах, т. е. в произведениях, которые требовали этого по самой своей природе. Но, надо сказать, что и очерковую «природу» он быстро переначил, сделав ее бессюжетной («Родина и чужбина»).

Твардовский несколько раз специально говорил о том, как он не любит в литературе «закругленности», когда обязательно есть «начало» и «конец», когда, как учат в школе, существует некая завязка, потом кульминация и развязка. Ему не нравилась откровенная литературность всех этих ухищрений: ведь жизнь лишь в исключительных случаях дает возможность наблюдать такую гармонию в натуре. Она движется непрерывно — из прошлого в будущее, и, следовательно, у нее нет и не может быть «конца». По убеждению Твардовского, художественное сознание должно все же учитывать эту совершенно реальную, непреложную, абсолютно природную вещь.

Бесфабульность произведений Твардовского была опосредованным отражением его понимания времени. Судя по смыслу некоторых его высказываний, он склонен был порою как бы отождествлять время и жизнь, поскольку время без жизни попросту не существует: без человека и его дел оно отсутствует, проваливается в пустоту или превращается в «дурную бесконечность».

Ощущение времени как некоей реки, где нам не дано видеть ни истоков, ни конца, где, двигаясь вместе с потоком и даже формируя его по мере наших сил, мы постоянно находимся в его середине, — это философско-поэтическое ощущение наложило особый отпечаток на характер историзма Твардовского как художника, на всю его манеру письма, воспроизведения действительности и даже на главенствующую интонацию и облик его лирики. Бесфабульность поэм — лишь одна, причем наиболее очевидная примета, по которой можно безошибочно судить о том, как поэт понимает время и в какой форме стремится его понять и запечатлеть.

Обращает, например, на себя внимание как бы известная «незавершенность» его лирических произведений, их эскизность, фрагментарность, их, так сказать, «записочность». В особенности это касается поздней лирики, хотя в принципе такая манера была присуща Твардовскому и раньше. Но стихи из книги поздней лирики создают дополнительное впечатление как бы произвольности своего возникновения из самого потока времени, из его течения; их «начала» и «концы» размыты, а контуры колеблются, они — путешественники, мелькнувшие на миг из дальних путешествий памяти по реке жизни. Твардовский, например, может начать стихотворение словами, даже и не предполагающими какого-либо «начала» или «зачина»:

«Стой, говорю, всему помеха...»

Такая фраза могла возникнуть лишь посреди какого-то длительного раздумья или мучительного припоминания, в момент озарения, догадки — вот, дескать, в чем вся поеха... Такою может выглядеть и фраза в дневнике, а скорее, в записной книжке или на клочке бумаги — для записи, для памяти, она сделана как бы «на потом», для дальнейшего дудумывания и, конечно, как бы даже без особой заботы о читателе, в расчете, что поймет тот, кому дано понять. А вместе с тем в этой «записочной» форме, в этом кратком «меморандуме для себя» высказана очень важная, чрезвычайно серьезная и дорогая для Твардовского мысль о писательском долге, о свободе и несвободе творчества, о муке и тайне искусства. Надо ли говорить, что форма мгновенно вырвавшейся речи, фрагментарность и эскизность не означают у Твардовского ни непроясненности мысли, ни тем более художественной незавершенности произведения.

Конечно, так называемая «фрагментарность» лирики Твардовского не абсолютна, в ней тоже есть многое от литературного приема, от замысла, но появление и приема, и замысла, именно такого, а не иного, свидетельствует о неких глубинных свойствах и чертах мироощущения и миропонимания.

Твардовский был художником, с особенной остротой, впечатлительностью и осознанностью воспринимавшим время, его движение, его поток через сегодня. В этом была личная и, возможно, наиболее характерная черта его таланта. Он был прежде всего поэтом современности, преданным сегодняшнему дню с такой же силой, как и его великий, непохожий на него предшественник Маяковский, мечтавший о том, чтобы «пришпилить» день к бумаге. Недаром Твардовский помимо работы над стихами, главным делом его жизни, был еще и крупным общественным деятелем — депутатом, редактором журнала, секретарем Союза писателей, членом многих литературных и общественных организаций. Его день, которым он так дорожил, называя его «жестким сроком», быстро текучесть которого ясно осознавал, был до отказа наполнен общественной работой, не так-то много оставлявшей часов и минут для работы за письменным столом. Но Твардовский, сетуя на постоянную занятость разного рода общественными делами, на необходимость чтения бесчисленных материалов, готовившихся каждый месяц в течение многих лет для «Нового мира», все же никогда не бросал этой «черновой текучки», так как она в искупление затраты сил давала ощущение жизни, ее торопливого, порывистого движения. Возможно, образ Некрасова — редактора «Современника» не раз вставал в его воображении. Свою общественно-литературную работу он осознавал как необходимую традицию, завещанную русской литературой. В одной из статей он вспомнил и о Пушкине — редакторе журнала. Словом, Твардовский был человеком, полностью преданным своему дню — тому самому, «текущему», в котором жил он сейчас и в котором жили его современники. Не случайно не только лирика, но и все его поэмы — злободневны, они выходили из современности и, выйдя, начинали формировать ее, оказывать на нее свое воздействие. Без этой отдачи своих сил, своего стиха потребностям дня он, можно сказать, и не мыслил себя как поэта.

В стихотворении «Жить бы мне век соловьем-одиночкой...» он говорит об этом развернуто и страстно:

Жить бы да петь в заповеднике этом,
От многолюдных дорог в стороне,
Малым, недалёким довольствуясь эхом —
Вот оно, счастье. Да, жаль, не по мне.

(т. 3, с. 129)

Твардовский отвергает «заповедники поэзии», как некогда отвергал «барские садоводства» Маяковский, как не признавала их некрасовская

гражданская муза, как бежал их Пушкин. Он не желал, по его же словам, крохоборствовать в лирике «садового уголка».³ В Пушкине его особо привлекало то, что, чего бы ни касался великий поэт, «все это обращалось сегодняшним днем» (т. 5, с. 18). Можно сказать, что все обращалось сегодняшним днем и в поэзии Твардовского.

В поэтическом сознании Твардовского всегда было чрезвычайно обострено и живо ощущение слитности, неразрывности бытия: большое и великое не существуют, по его убеждению, без малого. Поэт пишет в стихотворении «Жить бы мне век соловьем-одиночкой...» о неоскудевающих и драгоценных родниках «малой родины», но — это первый слой его рассуждений, глубинный же слой произведения заключен в мысли о равномерности «нормального» бытия, о всепронизывающем характере жизненных ритмов, создающих глубинную гармонию всего сущего — то, что Блок называл «музыкой бытия», преодолевающего «хаос», разлом, дисгармонию. Не умеющий оценить и понять «подробность», краткую прелесть мгновенной жизни, по убеждению поэта, вряд ли сможет верно понять и «великое» — ведь они неразрывны. В этом отношении Твардовский несколько отличен, например, от Заболоцкого, который — в принципе — не признавал этой равномерности и, ища другие пути, прорывался к ней лишь стихийно. Но он — в этом же плане — неожиданно близок Пастернаку и Ахматовой. У Твардовского любое противопоставление малого великому отсутствует. Он пишет, например, о море, столь далеко от его смоленских рек и родников, что в нем

Распознавалась та же мера
И тоны музыки земной...

(т. 3, с. 150)

Естественно, что это ощущение соразмерности и равновеликости бытия (оно, может быть, больше всего роднит Твардовского с Пушкиным) распространяется им и на человеческую жизнь.

К времени Твардовский относился по-хозяйски — рачительно и экономно. И всегда — как дню сегодняшнему, ибо «другого нам не дано».

Некогда. Времени нет для мороки, —
В самый обрез для работы оно.
Жесткие сроки — отличные сроки,
Если иных нам уже не дано.

(т. 3, с. 133)

Время дано человеку, по его убеждению, для работы — ни для чего больше. Это — содержание времени, его плоть. Поэт мерит его «походными мерками», «делами», «большими и малыми стройками», дорогами и новыми городами. Оно для него всегда «крутое, рабочее», не знающее перерывов и отдыха.

Время для Твардовского всегда живо, телесно и сиюминутно, что сразу же делает живым и телесно ощутимым вечный ход безмерной реки жизни.

В его поэзии, как это ни парадоксально, день и даже минута при всей своей краткости и мимолетности по существу оказываются равными вечности, потому что, с точки зрения поэта, данная минута (или жизнь, или даже эпоха) есть своего рода как бы точка пересечения единого временного потока. Вечность позади нас и впереди нас, поэтому внутри нашей сегодняшней жизни одновременно текут разновременные струи. Они-то и образуют, если использовать выражение О. Берггольц, то Большое Время, которое в разные минуты исторического бытия принимает различный облик. Для А. Твардовского важнее всего именно *день*.

³ Твардовский А. Т. Собр. соч. в 5-ти т., т. 5. М., 1971, с. 13.

Поскольку день (или конкретная человеческая жизнь) является сам по себе мгновенным выражением вечно живущей и вечно изменяющейся действительности, то все происходящее сегодня надо осмысливать, как советовал Л. Толстой в «Войне и мире», как бы в середине этого бесконечного процесса. Для Твардовского подобное понимание, помимо тех художественных «последствий», о которых уже говорилось, означало обостренную чуткость по отношению к вечности, находящейся «позади», т. е. к тем потокам из прошлого, которые обусловили и обуславливают существование сегодняшнего дня. Но он также не менее ревнив и к будущему, к тем струям, которые уходят в завтра — в вечность, находящуюся «впереди»: его разговор с «другом-потомком» прямо свидетельствует об этом. Но и сама память, которая лишь субъективно кажется прошедшим, своего рода «эхом», на самом деле, в понимании Твардовского, как оно вырисовывается из общего смысла его произведений, есть часть настоящего, переходящего в будущее — в ту невероятную отдаленность, которую принято называть вечностью. Живая цепочка минут, дней, годов, тысячелетий уходит из прошлого в эту даль, не умерщвляясь. Своего рода внешним, но убедительным доказательством жизненности времени, уходящего в вечность, но остающегося деятельным, является то, что можно было бы назвать законом обратной перспективы: ведь позади Дня тоже простирается Вечность, и можно ли предполагать, что в певдомой для нас, уже прошедшей Вечности не существовало своих «сроков», тех звеньев и жизненных толчков, с помощью которых она исторгла из себя и наш, сегодняшний день — наш вечный миг бытия.

Так или иначе, но отдельный день человеческой жизни настолько в сознании и изображении Твардовского неотривен от всего потока бытия, пришедшего из прошлого и уходящего в вечность, что приобретает трудноуловимые для анализа, но тем не менее несомненные черты эпичности. По справедливому замечанию одного из исследователей, эта эпичность обусловлена именно контекстом времени, в котором существует и с которым взаимосвязан лирический фрагмент. «Контекст... — пишет он, — порождает необходимую „сокрытую“ диалогичность, без чего философская лирика вообще немислима... Эпоха, в своем конкретно-историческом облике, является у Твардовского не просто темой или миром идей. Она выступает общим уплотненным контекстом как сознание творца и потому конструктивно включена в стихотворение. Эпоха присутствует рефлексивно, в морально-исторической памяти народа».⁴

Действительно, внутренний диалог с эпохой (с «другом-читателем») — постоянная примета лирики Твардовского, как, впрочем, и его поэм. Эта обращенность к читателю ощутима в его стихах даже тогда, когда происходит, казалось бы, разговор с самим собою: эпоха (контекст времени) объемлет лирическое высказывание, укрупняет его, придает ему общий, далеко распространяющийся смысл.

Понимая время как движущуюся из прошлого через настоящее в будущее череду дней, как некую цепь, начала и конца которой нам не дано видеть, Твардовский особо озабочен тем звеном времени, которое создается сегодня. Чтобы не порвалась связь, звено должно быть прочным. Время это прежде всего труд. Незаполненное трудом, оно проваливается в пустоту — превращается в фикцию наподобие «того света», куда однажды попал Василий Теркин.

* * *

Будучи поэтом современности, художником, преданным сегодняшнему, «текущему» дню, Твардовский тем не менее постоянно и очень

⁴ Смирнов В. П. Философская лирика Александра Твардовского. — В кн.: Писатель и жизнь. Сборник историко-литературных, теоретических и критических статей. М., 1981, с. 54, 55—56.

остро ощущает живое подрагивание всей временной цепочки. Но поскольку «завтра», как он говорит, существует для сегодняшнего человека лишь «условно», то он особо внимателен ко всем предшествующим звеньям времени. Они — безусловны, поскольку не только уже реально существовали, но и продолжают существовать в сегодняшнем времени как его живая составная часть. Многие его произведения, в особенности поздняя лирика, но также и поэмы («За далью — даль», «Теркин на том свете») не случайно представляют собою своеобразные путешествия памяти.

Память, в понимании Твардовского, это единственное по своей непреложности условие живой связи поколений. «Удел земной», по его убеждению, был бы страшен, да и вряд ли вообще возможен без способности человека к связыванию звеньев жизни, в том числе и своей личной, пусть мгновенной по сравнению с вечностью, жизни в единую неразрывную цепь времени.

По мнению Твардовского, человек становится личностью лишь тогда, когда его память хорошо и полноценно развита, когда она чутка, болезненно ранима, подвижна.

Более того, все подлинно осмысленное в жизни, а значит, и подлинно человеческое начинается с феномена повторности.

Даже восприятие природы, по его убеждению, немислимо без момента припоминания уже виденного.

Он пишет, что «ни одно из самых восхитительных и волнующих явлений природы не усваивается нами, не входит нам в душу с первого раза, покамест не открывается нам повторно, не становится воспоминанием. Если нас трогает нежная игольчатая зелень весенней травки, или впервые в этом году услышанные кукушка и соловей, или тоненькое и печальное кукареку молодых петушков ранней осени; если мы блаженно и растерянно улыбаемся, вдыхая запах черемухи, распутившейся при майском холодке; если отголосок далекой песни в вечернем летнем поле прерывает строй наших привычных забот и размышлений — значит, все это доходит до нас не впервые и вызывает в нашей душе воспоминания, имеющие для нас бесконечную ценность и сладость как бы кратко возвращения в нашу молодость, в годы детства. Собственно, с этой способности к таким мгновенным, но памятным переживаниям начинается человек с его способностью любви к жизни и к людям, к родной земле и самоотверженной готовностью сделать для них что-то нужное и хорошее» (т. 5, с. 85—86).

Твардовский очень внимателен не только к памяти вообще, но и к самому, как он говорил, «механизму» человеческой памяти. Этот бесценный механизм, дарованный человеку природой как бы для закрепления и продолжения человеческого рода, «способен в любую пору года и в любом нашем возрасте» властно вызывать «в нашей душе канувшие в небытие часы и мгновения» и тем самым давать им «новое повторное бытие». Именно память, с ее уникальной властью возрождать упущенные часы к повторной, но новой жизни, позволяет, настойчиво и убежденно говорит Твардовский, «охватить нашу жизнь на земле в ее полноте и цельности, а не ощущать ее только быстрой, бесследной и безвозвратной пробежкой по годам и десятилетиям» (т. 5, с. 86).

Эта убежденность в особой ценности памяти выразительно сказала на всем творчестве Твардовского. Сколько раз вспоминал он в своих стихах детство, Загорье, кузницу отца, ранние школьные годы, каждый раз давая им новое повторное бытие!.. Опыт жизни, тесно сопряженный с историческим опытом народа, его борьбой за лучшую жизнь, его войнам, горем, победами, властно раздвигал рамки личной памяти, вносил в нее историческую глубину. Не только «сладостная память детства», не только радостная память юности, но и горькая, трагическая, кровавая

память войны быстро вошла в его художественный мир, сделалась его неотъемлемой частью. К памяти народа обращены последние строки «Василия Теркина», посвященные солдату-сироте («Так ли, нет — должны мы помнить о его слезе святой. . .»), поэма «Дом у дороги», стихи «Я убил подо Ржевом», «В тот день, когда окончилась война. . .», — впрочем, трудно назвать произведение, в котором так или иначе не запечатлялась бы «повторно», не ложилась бы в живую память та или иная частица общей жизни, ушедшей во вчерашний день. Твардовский возрождает ее не только силой и музыкою памятливого поэтического чувства, но и с помощью массы достоверных реалистических деталей, штрихов и тех обычно быстро забываемых психологических и бытовых нюансов времени, которые сообщают «повторному» бытию достоверность и прочность.

Твардовский всегда очень внимателен к тем неуловимым границам, которые отделяют друг от друга временные звенья. В повседневной жизни они обычно незаметны и требуют особой чуткости всего «механизма памяти», его мгновенной реакции на самый момент расслоения времени. Твардовский стремится быстро и надежно закрепить связь, наладить переправу, перебросить прочные мосты из вчерашнего дня, уже скрывающегося в сумерках небытия, в день сегодняшний. Образ перевозчика из его раннего стихотворения действительно может служить символом его поэзии.

Следует подчеркнуть, что память, в понимании поэта, залог общности людей, именно она способна соединить человека и человечество. Память уводит от одиночества одного к духовной общности многих. Вот почему в стихах Твардовского личная, индивидуальная память является одновременно и памятью народной: она по своему размаху масштабна, а по своей внутренней сути эпична. Эта черта придает особый колорит его лирическим стихам. Будучи сиюминутным закреплением чувства, лирической фиксацией настроения, они в то же время удивительно крупны по своему смыслу.

Поэт народной памяти, Твардовский, однако, никогда не уходил от сегодняшнего дня, его забот, тревожений и нужд. Память помогала ему осмысливать настоящее в широких координатах времени, в контексте эпохи в целом.

В поэме «За далью — даль», целиком посвященной злободневной современности, написанной в результате конкретного путешествия на сибирскую стройку, он именно с помощью памяти сообщает своему «путевому дневнику» масштабность и глубину, придает ему историческую широту и философскую значительность.

Путешествие в пространстве он сочетает с путешествием во времени. Причем и реальное время — десять суток — он трансформирует во время условное, философское.

Есть два разряда путешествий:
Один — пускаться с места вдаль;
Другой — сидеть себе на месте,
Листать обратно календарь.

На этот раз резон особый
Их сочетать позволит мне.
И тот и тот — мне кстати оба,
И путь мой выгоден вдвойне. . .

(т. 3, с. 220—221)

Вся поэма, по сути дела, есть размышление — о себе, своей судьбе, о времени, о народе, об обязанностях художника. Она вобрала в себя едва ли не весь жизненный опыт поэта, сконцентрировала наиболее дорогие для него убеждения. Это — произведение высокого интеллекту-

ального напряжения, душевной сосредоточенности и духовного бесстрашия.

Время — один из главнейших героев поэмы «За далью — даль». Недаром и само пространство, бегущее под колесами транссибирского экспресса с запада на восток, против часовой стрелки, то и дело оборачивается временем. На наших глазах оно становится условно-фантастическим — десять суток превращаются в десять лет, а путешествие души, легко скользящей в своих воспоминаниях по пространству—времени, позволяет оказаться в отцовской кузнице как раз тогда, когда за окном вырисовываются отроги великой кузницы страны — Урала.

Время как полноправный герой произведения появляется в первой же главе поэмы — вместе со словом: «Пора!», означающим одновременно и движение в пространстве. И хотя Твардовский пишет, что вместе с этим словом возникла как бы некая черта, разделившая жизнь на «до» и «после» («И жизнь, что прожита с рожденья, Уже как будто за чертой...»), поэма оказывается зримо разомкнутой — и в пространстве и во времени. Здесь же рождается двуединый образ огромного мира и малого дома. На протяжении поэмы этому двуединству, олицетворяющему единичную человеческую судьбу и мир эпохи, предстоит насыщаться взаимопроникающим философским значением. «Лестница из шпал», как называет автор свою необыкновенную дорогу, ведет читателя от главы к главе, все выше и выше. Впрочем, и в этой вступительной по своему смыслу главке говорится о гулах и грохотах большого мира, о всечеловеческой тревоге, о вспыхивающих войнах, и вот уже наряду с дорогой, бегущей под колесами «малого мира», возникает и дорога памяти. Мысль поэта уходит к годам Великой Отечественной войны, а его внутренний голос обретает звучность и размах:

Что ж, или тот урок забыт,
И вновь, под новым только флагом,
Живой душе война грозит,
Идет на мир знакомым шагом?..

(т. 3, с. 214)

Поэтика поэмы разнопланова, она так же свободна и прихотлива, как и весь строй произведения, представляющего собою непрерываемую цепь размышлений. Тяготение к философской обобщенности выражается во множестве отточенных, афористических строк, нередко, как это свойственно Твардовскому и в других произведениях, покоящихся на формулах народной мудрости, «врубленных» в память едва ли не с детства, но заново возрождающихся под его пером, когда это требуется по ходу мысли. Чаще всего эти «формулы», философски обобщающие те или иные стороны жизни, настолько естественны в его речи, что уже не воспринимаются как цитаты «из фольклора», а кажутся, так сказать, авторскими, только что счастливо пришедшими ему на ум. Это лишний раз говорит о том, что поэтическое мышление Твардовского, обогащенное огромным опытом культуры, отшлифованное современной образованностью, вобравшее в себя богатство литературных традиций, в основе своей тождественно мышлению народному, но не только тому народному мышлению, что сформировано в веках и представляет собою золотой запас непреходящей мудрости, но и современному, совпадающему с биографическим опытом поэта, с его собственной жизнью. Твардовский обращается к народному опыту, подчас не делая никакого различия между ним и своею жизнью, настолько в его сознании они слиты и нераздельны, но нередко и патетически подчеркивает это единство как величайшее счастье своей жизни и своего творчества. Вообще же он редко выходит за временные границы лично пережитого, да и в пространстве его больше привлекает то, где ступала, особенно в детстве и юности, его собственная

пога. Он любит в своей поэме уходить «по зарастающему следу», куда «уводит память давних лет...», и каждый раз именно эти места в поэме наиболее психологически достоверны и внутренне лиричны.

Философская эмблематика в поэме, чаще всего появляющаяся там, где «малый мир» многозначительно и драматично соприкасается с гулким миром эпохи, обычно не кажется у Твардовского абстрактной и никогда не отдает холодком нарочитой философской отвлеченности. Дело, очевидно, в том, что «малый мир», т. е. лирически-сиюминутный мир автора, его теперешние наблюдения и переживания, его теперешние воспоминания, реалистически конкретен, насыщен множеством подробностей, бытовых, психологических, пейзажных, — он абсолютно жизненно достоверен. Эта достоверность, делающая всю поэму подробно-земной, конкретно-плотной, придает и ее «эмблематическим» местам иллюзию полной земной достоверности.

Глава «Две кузницы» чаще всего приводится как пример органического соединения в поэме двух планов: одного, идущего по пространству и времени собственной, «малой» жизни, и другого — крупного, эпохального. Действительно, именно в их неразрывности и заключен внутренний — философско-патетический — смысл этой главы. В известной мере можно сказать, что глава «Две кузницы» является также и духовно-смысловым центром всего произведения, настолько тесно сплелись и выпукло выразились в ней наиболее дорогие для А. Твардовского мысли. И все же лишь в целом, в совокупности всех достаточно свободно перемежающихся частей вырисовывается наиглавнейшая идея поэмы — о народе, «подвижнике и герое», истинном и полноправном творце истории, о личности как активной и разумно действующей частице исторического потока и о памяти, скрепляющей звенья времени, — исторической, большой памяти народа. Память в контексте поэмы А. Твардовского тоже имеет свои дали. Время с его перекатами, трудными переправами, заблуждениями и победами постепенно способно приоткрыть, сделать доступными нынешнему взору и те дали, что, казалось бы, навсегда скрылись в печальной мгле забвения. Глава «Друг детства» написана именно на эту тему.

Время помогает памяти, высвечивает ее, заставляет ее излекать уроки, подводить итоги. Время и память в поэме А. Твардовского неразрывны: время уходит в будущее, опираясь на память, т. е. на весь исторический опыт народа, рассредоточенный в душах современников, подобно живой пульсирующей энергии.

* * *

Поэтическое сознание А. Твардовского чутко отзывалось на все толчки, все новации современности. Правда, он не стремился тотчас откликнуться на то или иное событие, взбудоражившее современников, давая самому себе возможность пристально, или, как сказано у него в одном из стихотворений, «без суеты», взглядеться в существо происшедших перемен. Но были события, которые и у него вызывали едва ли не мгновенный поэтический отклик. Обычно это события действительно крупного, эпохального значения, затрагивавшие жизнь всего народа, или даже всего человечества, например Великая Отечественная война, первый полет человека в космос.

Его стихотворение, посвященное Юрию Гагарину, представляет собою редкий пример такого быстрого отклика. Как и все, поэт был радостно потрясен случившимся: ведь давнишняя мечта человечества сбылась у него на глазах. Впрочем, назвать его стихотворение откликом, наподобие множества приветственно-восторженных стихов, появившихся в те дни, все же трудно — настолько оно неспешно по своей интонации, раздумчиво, настолько широко по своему дыханию и просторно в своих

исторических масштабах. Стихотворение было написано быстро, оперативно, но в нем сконцентрированы давние, выношенные мысли — о пути, пройденном народом прежде, чем свершился подвиг Гагарина, об ответственности человека перед жизнью планеты, а главное, о непосредственных «предшественниках» космонавта — парнях прошедшей войны. Он не мог и в этом праздничном стихотворении не оглянуться на войну — он был поэт воинствующей, вечно живой и совестливой памяти.

Прости меня, разведчик мироздания,
Чьим подвигом в веках отмечен век, —
Там тоже, отправляясь на задание,
В свой космос хлопцы делали разбег.

(т. 3, с. 141)

Оглядываясь в своем стихотворении назад, А. Твардовский выбирает из времен Великой Отечественной войны не победный, не праздничный момент, отмеченный фейерверками и салютами, а тяжкие месяцы летнего отступления — под Ельней, Вязьмой и «самой Москвой»... Он пишет о новобранцах из пополнения, которым впервые дан «старт на вылет боевой». Они — ровесники Гагарина: вот что прежде всего было дорого Твардовскому. Они, как теперь Гагарин, «за ту же вырывались черту» — «за черту земного притяженья», которая была известна каждому солдату перед броском в огонь.

И может быть, не меньшею отгадой
Бывали их сердца наделены,
Хоть ни оркестров, ни цветов, ни флагов
Не стоял подвиг в будний день войны...

(т. 3, с. 141)

Стихотворение Твардовского о космонавте — единственное в своем роде не только по своей раздумчивой, бережной интонации, но и по своей прямой обращенности к памяти. Он в равной мере пишет как о Гагарине, так и о тех парнях, что погибли на своих «фанерных драндулетах» в огне минувшей войны. Поэт видит сходство: «вы — родные братья», «...всей своею статью Ты так похож на тех моих ребят...» (т. 3, с. 142).

Через несколько лет Твардовскому пришлось писать стихотворение памяти Гагарина. На этот раз, вспоминая подвиг, он говорит не только о космонавте, но и о судьбе людей Земли.

В тот день она как будто меньше стала,
Но стала людям, может быть, родней...

(т. 3, с. 196)

Его тревожит будущее.

На маленькой Земле — зачем же войны,
Зачем же все, что терпит род людской?

(т. 3, с. 196)

Он пишет о космонавте, поэтически воссоздавая краткую и при всей своей исключительности понятную и даже обычную жизнь. Гагарин — смоленский, т. е. примерно из тех же мест, что и Твардовский, он — крестьянский сын, из бедняков, вышедших в люди при Советской власти. Все эти черты особо дороги поэту. В биографии «мальчонки» из Гжатска он увидел родственность своей собственной судьбе. Стихотворение «Памяти Гагарина» по своей природе философично: «генеральная дума» Твардовского нашла в нем своеобразное и глубокое выражение, проникнутое одновременно лиризмом и масштабностью исторического мышления.

Твардовского, начиная с ранних стихов, всегда интересовала проблема человеческой судьбы, точнее, простых крестьянских судеб. Оставляют ли они какой-либо след на земле? Что остается от человека, всю жизнь работавшего на земле и навеки уснувшего на безвестном сельском кладбище? Он много раз возвращался к этой мысли — она тревожила, мучила его. То был один из вечных вопросов, пронзавших его скорбью и недоумением. В уже упоминавшемся стихотворении 1927 года «Перевозчик» он писал о старике паромщике:

Как пена сед. Какой же прок?
Когда придет успокоенье?
Всю жизнь он правил поперек
Неустающего течения.

Тогда помянут ли добром,
Не говоря о лучшей славе:
Следа он в жизни не оставил,
Как по руслу реки паром.

(т. 1, с. 38)

В лирике 30-х годов, в «Сельской хронике» он вновь возвращается к этой теме: перед ним начинает брезжить возможность ответа. Все чаще и убежденнее он варьирует мысль о бессмертии человеческого труда. Именно труд оставляет после человека память о нем. Однако судьба бесчисленных «безгласных» поколений, ушедших в небытие, продолжает волновать его воображение. Он предъявляет своеобразный «счет» обществу, человеческой истории, которая на протяжении тысячелетий держала широчайшие народные массы поодаль от культуры, от активной духовной жизни. Лишь при социализме, по его убеждению, сформировавшемуся уже в тридцатые годы, происходит «приобретение широчайших народных масс к культуре и активной духовной жизни».⁵ В стихотворении о Гагарине он не случайно вспоминает «знатных однофамильцев» космонавта. Отныне простой крестьянский парень обретает славу, переходящую в века; история прощически улыбнулась, дав ему «княжескую» фамилию:

Родился он в простой крестьянской хате
И, может, не слышал про тех князей.

(т. 3, с. 197)

Так крестьянский сын взял реванш за безвестность своего родословного древа.

Нет, не бесследны в мире наши дни, —

(т. 3, с. 181)

пишет А. Твардовский в стихотворении, уже не относящемся к Гагарину, но внутренне продолжающем «думу» поэта об истории, народе, личности. Из его высказываний, а главным образом из самого смысла его стихов позднего периода вырисовывается все более утверждавшаяся в его сознании мысль, что бесчетные поколения, канувшие в безвестность, передали, однако, по цепочке дней и столетий память о себе — в виде богатой духовной народной культуры, с ее изустными преданиями, песнями, поговорками, мудрыми речениями, а также и с множеством обрядов, способствовавших прочному духовному укладу. В своей совокупности эти безвестные поколения создали феномен народа — устроителя и певца своей жизни. Социалистическая революция открыла народу доступ к активному духовному бытию. Народ — «подвижник и герой» — отстоял свою свободу в годы Великой Отечественной войны. Он вышел на арену широкой исторической деятельности.

⁵ Твардовский А. Т. Собр. соч. в 5-ти т., т. 5, с. 16—17.

Однако в размышлениях и стихах Твардовского — не только позднего, но и более раннего времени — нельзя не заметить все громче звучащей ноты тревоги и беспокойства. Свидетель научно-технической революции, полностью понимавший ее огромное прогрессивное значение, он вместе с тем с горечью и недоумением вглядывался в те потери и прототипы, которых эта революция не смогла избежать. Ему претил диктат науки, ее самонадеянность, ее стремление регламентировать жизнь в соответствии со своими таблицами. Он был свидетелем нелепого спора о том, что важнее — наука или искусство. Конечно, Твардовский имел в виду «науку» отвлеченно-догматического толка, навязывавшую жизни свои приказы. Об этом он прямо говорит в стихотворении «А вы самих спросите хлеборобов...» Его тревожили, занимали его мысль крупные драматические явления, связанные с научно-технической революцией и непосредственно касавшиеся земли, жизни народа, духовной культуры.

Земля родная, что же случилось? —

(т. 3, с. 153)

восклидал он. Твардовский был одним из первых, кто почувствовал непосредственную и реальную угрозу, нависшую над значительной частью духовной народной культуры, веками накапливавшейся и концентрировавшейся в деревне. Огромный отток народных масс в города — явление неизбежное. Как редактор «Нового мира» Твардовский неоднократно публиковал на страницах журнала статьи ученых, социологов, экономистов, философов, был, как говорится, в курсе всей сложной и противоречивой диалектики этого процесса. Он понимал его общепрогрессивный смысл, но все же и душу и разум его тревожили заметное обеднение, рассасывание этого пласта русской национальной культуры.

В статье об М. Исаковском он писал как о заслуге этого поэта (а отчасти и своей), что в его стихах, начиная с книги «Провода в соломе», изображалась новизна деревенской жизни: радио, торопливые столбы электропередач, читальни, новые школы. Он справедливо полагал, что прежней темной, безграмотной деревне пришел конец, который следует приветствовать, делать достоянием поэзии. С иронией говорил он в этой же статье и о тех, кто в двадцатые годы пытался идеализировать старую деревню — курную избу, лучину и т. д. Он писал, что М. Исаковский первым почувствовал внутреннюю необходимость «досконального сведения счетов с прошлым на пороге нешуточного переворота всего уклада жизни, традиций, вековых привычек и навыков» (т. 5, с. 234). Но характерно, что в этой же статье он говорит, имея в виду скорее уже не М. Исаковского, который, по его словам, стремился «убедиться окончательно», что «позади жалеть нечего и цепляться там не за что», а себя, что «всякое прощание», в том числе и «прощание с отжившим и безрадостным миром старой деревни не может быть легким». «Где-то еще в Библии сказано, — замечал он, — что и пепелище костра, у которого путник провел ночь, он покидает с грустью, но это чувство не может остановить его в намеченном пути» (т. 5, с. 234).

Статья об М. Исаковском имеет две даты: 1949—1969. Вполне возможно, что слова о том, что прощание не может быть легким, появились во второй редакции. В 60-е годы тема прощания с деревней оказалась чрезвычайно распространенной как в поэзии, так и в прозе (вспомним хотя бы «Прощание с Матёрой» В. Распутина). Нередко эта тема инструментовалась в ностальгически-скорбных тонах, в интонациях вины и покаяния. Поэзия А. Твардовского была частью общего поэтического процесса, и она в свою очередь не обошла того, что волновало всю поэзию. Слова: «Но ты-то сам когда там был?..» — свидетельствуют, что эта боль не обошла и его сердца. Однако тема ностальгической тоски не была ему

свойственна. Он мудро полагал, что жизнь есть жизнь. Существуют и проявляют себя общенсторические закономерности, против которых не пойдешь, но которые надо учитывать и по мере сил «дисциплинировать». Его нимало не огорчала общекультурная новизна сельской жизни, но огромная убыль населения, покидавшего дедовские места, по его мнению, не могла не грозить некоторым ценным, непреходящим основам народного мироповедения. Всматриваясь в современную поэзию, он находил в ней, по его словам, «какую-то неполноту освоения... действительности, когда она обходит такие, всякий раз обладающие свежестью и неповторимостью явления мирового кругооборота, в котором проходит жизнь, как смена времен года, многоликий и неисчерпаемо прекрасный мир природы» (т. 5, с. 255). Характерно, кстати сказать, что в своей поздней лирике он как никогда внимателен к пейзажу: большинство его стихов последних лет — это пейзажные произведения.

Словом, Твардовский полагал, что научно-техническая революция, являющаяся свидетельством величайшего торжества человеческого разума, имеет и свою оборотную сторону, на которую незачем закрывать глаза. Многовековая народная духовная культура, включающая в себя непреложные этические и эстетические ценности, временами как бы отступает перед натиском НТР, перед машинизированным мышлением, отчужденным от красоты земли и живой прелести национальной речи, во всяком случае она заметно усредняется, приспособляясь к «нормативам» городской жизни, и обесцвечивается. Задача художника: не впадая в ностальгию, пытаться сохранить, сберечь, донести до потомков богатства народной культуры. Интересно, что теперь, т. е. в свои поздние годы, он и к давней поэме «Страна Муравия» относится как к произведению, где, по его словам, был сделан «упор не так на „материальность“ единоличной жизни, как на ее „поэзию“, традиционную красоту». «Не будь этого, нечего было бы и говорить об этой книге теперь... Вот это основное»,⁶ — твердо заключал он. По его мнению, поэма интересна не столько изображением мелкобуржуазного сознания и его крушения, сколько запечатлением драматизма самой действительности, властно перемалывавшей и частнособственническое сознание и, к сожалению, устоявшийся мир подлинной духовной красоты, неотъемлемой от быта и бытия русского сельского населения. Этот резкий упор, который сделал А. Твардовский, говоря о своей поэме, свидетельствует, насколько драматичной и напряженной была борьба в его собственной душе, в его художественном сознании. Общественно-философская мысль А. Твардовского была нацелена на современность: все, о чем бы он ни писал, все, по его же словам, «оборачивалось современностью». Он радовался успехам советского общества, гордился достижениями человеческого разума, ступившего «за порог Вселенной», но с годами все чаще его стихи, медитативные, пейзажные, пронизывала тревога. После полета Гагарина ему, как и многим, казалось, что мир «стал добрее», что маленькая планета Земля, выславшая своего гонца в «звездные дали», будет освещена духом разума и взаимной доброжелательности народов. Опыт подсказывал ему, что это вряд ли возможно, а современность подтверждала эти опасения. Он пишет:

В зрелости так не тревожат меня
Космоса дальние светы,
Как муравьиная злая возня
Маленькой нашей планеты.

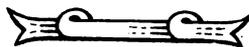
(т. 3, с. 195)

⁶ Цит. по: Кондрагович А. Александр Твардовский. Поэзия и личность. М., 1978, с. 94.

Выступая с речью на Конгрессе Европейского сообщества писателей (1965), А. Твардовский говорил, что человечество нуждается в коммуникативных связях, объединяющих его в созидательное сообщество народов. Искусству, по его мнению, принадлежит здесь не только огромная, но, может быть, и первая роль.

Эта мысль, варьируясь и видоизменяясь, становится сердцевинной его поздней философской лирики. Внешне сосредоточенная на внутренней работе души, медитативная, неспешная, то и дело останавливающаяся на милых сердцу приметах родной природы, она широко раскрыта во все стороны земного пространства и времени. В основе ее основ — народное, выработанное в веках представление о жизни как величайшей ценности, дарованной человеку природой. А. Твардовский опирался в своих воззрениях, в своем творчестве на незыблемый для него, непререкаемый моральный кодекс народа-труженика. Традиции и навыки народного мирознания, отложившиеся в языке и культуре народа, были для поэта неизменно верными ориентирами в художественно-философском постижении сложного, противоречивого XX столетия.

Философские воззрения А. Твардовского, как уже говорилось в начале этой статьи, рассредоточены по всему многообразию его произведений. Он не был ни сторонником создания каких-либо философских концепций (в отличие от Н. Заболоцкого, Л. Мартынова, Б. Пастернака, И. Сельвинского и некоторых других современных ему художников), ни апологетом или приверженцем какой-либо абстрагированной от жизни теории. Философская тенденция в его стихах выявляется обычно как бы непроизвольно, в обличье простой, естественной, полуразговорной речи, не лишенной ни иронии, ни шутки; она почти никогда не «формулируется» в виде сентенции или силлогизма, она растворена в художественном объеме стихотворения, сквозит в его «музыке», в интонации, в развороте фразы, но вместе с тем она вполне определена. Его поэзия в этом смысле, по сравнению, так сказать, с обычным «каноном» философской лирики, резко своеобразна. Не лишено оснований суждение, что А. Твардовский поражает не столько открытием и демонстрацией каких-либо новых, парадоксальных мыслей, а как раз утверждением «старых», вечных, сопровождавших человечество на всем протяжении его развития. В поэтическом мире А. Твардовского эти вечные идеи и вечные темы оказываются тем не менее отмеченными новизной и интеллектуальной заразительностью, так как, будучи художником остросоциального мышления, человеком, всецело погруженным в дела своего дня и века, своего общества, он преломляет их применительно к своему времени. День и вечность в концепции А. Твардовского — понятия разные, но и неожиданно близкие: вечность играет в бликах сегодняшнего дня. А. Твардовский любит ощутить эту непреложную устойчивость жизни, особенно явную в природе, в круговороте ее времен года, в смене закатов и восходов, но заметную и в человеческой жизни, где также есть свое утро и свой закат. Человеческая жизнь держится этими вечными скрепами, а выработанная в веках народная мораль также основывается на них — они сформулированы, сжаты до алмазной крепости в народной поэтической и обиходной речи. А. Твардовский вырубает свой стих именно в этой твердой породе. Он не столько поэт-философ, сколько поэт-мудрец.



ФОЛЬКЛОР И ИСТОРИЯ (дискуссия)

Д. М. Балашов

ЭПОС И ИСТОРИЯ (К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ЭПОСА С ИСТОРИЧЕСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ)

После появления широко известной книги академика Б. А. Рыбакова (Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. М., 1963) вновь получила популярность в фольклористике «историческая школа». Не перечисляя классических представителей этого направления и их труды конца прошлого — начала нынешнего столетий, напомним ее основные положения. Эпос (именно им и, частично, «исторической песней» оперировали творцы этой теории) есть отражение реальной истории. Каждая былина — рассказ о том или ином событии, как правило, зафиксированном летописью (иначе не было бы возможности изучать сюжет). Например, былина «Добрыня и змей» говорит о крещении Руси в Новгороде Великом, свержении змея-Перуна Добрыней с помощью христианской веры (символ ее — колпак земли греческой, т. е. монашеский куколь) и т. д. В дальнейшем рассказ этот хранится в устной памяти, постепенно забываясь и искажаясь. Именно забвением и искажением объясняются все несоответствия с историко-летописным известием.

Логическим продолжением этих взглядов была теория аристократического происхождения эпоса. Эпос-де создан в высшем сословии, а народ, сохраняя его в памяти, естественно, не находясь на высоте культуры и исторических знаний аристократии, огрублял и искажал не вполне понятные ему сюжеты. Умолчим о реальных, очень невеселых последствиях этой теории в 1930-х годах. . .

Процесс исследования при таком подходе превращается в решение своеобразной историко-фольклорной загадки: какой именно летописный факт «скрыт» в данном сюжете? Что само по себе уже напоминает знаменитую игру в бисер Германа Гессе, ибо подобное отгадывание ни для чего более и не нужно, как только для подкрепления исходного априорного тезиса и демонстрации авторской эрудиции. Допустим на минуту, что Ставр былинный — это именно тот новгородский боярин, о коем упомянуто в соответствующем летописном тексте. Ну и что? Какие новые знания получим мы от факта подобного уподобления?

А никаких! Реальности Настасьиных хитростей с переодеванием не признаёт все равно ни один «историк». Сюжет и летописный факт ничем, кроме имени, все равно не связаны. Творческий поиск ученого целиком заменен самоцельным интересом к методике доказательства. Могут возражать, что, мол, так устанавливается время создания сюжета. Ничуть. Сюжет (переодевание и богатство Настасьи) с летописным известием об аресте боярина Ставра не сопоставим. К тому же он явно имеет «бродячий» характер, почему ни места, ни времени его возникновения таким путем установить нельзя.

Нетрудно увидеть, что, по сравнению со школой «мифологов», «историческая школа» явилась шагом назад. Да, мифологи грешны тем, что они выдумывали мифологию наших предков (реально, увы, неизвестную и до сих пор), грешны и тем, что во всем и прежде всего искали остатков глубокой древности. Однако мифологи представляли историческое бытие фольклора не как серию утрат, а как историю постоянного накопления и, что самое главное, воспринимали фольклор как явление искусства — и высокого искусства прежде всего. С этой, последней точки зрения труды Буслаева не только не устарели о сю пору, но у него и по сей час современному исследователю не грех поучиться искусству эстетического анализа памятников народной культуры.

Историческая школа возникла, по существу, на ряде методологических и даже просто логических ошибок, главные из которых следующие.

Допустим, что какая-то былина и отразила реальное событие истории. Но кто может сказать, что это событие обязательно должно было отразиться в летописи? Летопись есть очень строгий и под определенным углом сделанный отбор событий политической истории, а также истории церковной. Даже отразив то же самое событие, эпос должен был представить его под другим углом и с другим подбором фактов. Знаем же мы на примере поздних исторических песен, что так именно и происходило сочинение! Достаточно сравнить летописную (и даже художественно-литера-

турную!) повесть о нашествии Батыя на Рязань с песней-балладой «Авдотья-Рязаночка»; летописное известие о тверском восстании 1327 года с песней о Щелкане Дюдентьевиче; историю взятия Казани с исторической песней «Грозный под Казанью» (с пушкарем). В каждом из этих случаев о событии, ставшем сюжетной основой песни, в исторических хрониках даже не упоминается, и, наоборот, песня едва касается, подчас одним лишь зачином, реальных (летописных) исторических событий. А герои позднейших исторических песен — Платов-атаман, Краснощочков и пр. — насколько они реально значимы в исторических событиях своего времени?

Итак, первое, что должно сказать, это то, что эпос, даже являясь историей, не мог являться историей летописной.

Второе касается утверждения о процессе «забвения» и связанной с ним теории аристократического происхождения эпоса.

Возражения по этому пункту, собственно, вытекают из первого. Не зная, что именно «забывали», нельзя утверждать, что перед нами «забвение», а не что-то другое. Тем паче, что народная память иногда хранит исторические сведения поразительно долго и точно. Из века в век передают генеалогии предков, перечни имен вождей древних племен и пр. (и не ошибаются при этом!). Следовательно, для памяти или забвения должны быть свои, особые причины.

Что касаемо аристократической теории, то спросим: а чем была «аристократия» полторы тысячи лет тому назад? Многим ли она отличалась от народа? Нет ли и здесь вульгарно-социологического опрокидыванья психологии последующих (недавних) времен в древность? Даже в семнадцатом, последнем донетровском столетии, по вкусам, взглядам, привычкам, эстетическим устремлениям служилый помещичий класс почти не отличался от крестьян. Что касается VIII—IX столетий (дохристианской эпохи), то и тем паче. Былинный певец равно обслуживал все классы тогдашнего общества. Так что, прежде чем ставить сам вопрос о том, какой класс сочинял эпос, следовало подумать: а была ли в эпические времена принципиальная разница эстетических вкусов народа и знати? Или ее еще не было, и эпический певец, сочиняя былины, выражал общенародную точку зрения, как оно, скорее всего, и было. Конкретные «славы» тому или иному князю и прочие сочинения на случай — не в счет. Противники «аристократической теории», защищая «народное» начало эпоса, по сути повторяют ошибку своих оппонентов, только с обратным знаком.

Однако самое главное, чем «историческая школа» неприемлема с нашей точки зрения, это то, что в погоне за вышешиваемым историческим фактом ученые этого направления совершенно забыли,

что имеют дело с искусством и что искусство имеет свои законы, и свои правила, и свою логику развития, не менее строгие, чем всякие другие в любой области.

Конечно, похвалить знанием этих правил мы, увы, не можем. Однако в том, что они существуют, нетрудно убедиться, ежели учесть явление *стиля*. Задумаемся над тем, почему это стиль (не индивидуальности, авторский, а более широкий — стиль эпохи) проявляется с такою железною закономерностью во всех отдельных произведениях? Почему, даже не имея искусствоведческой подготовки, вы тотчас определите и отличите, скажем, икону старого письма от позднейшей, китайскую картину от европейской, греческую или римскую статую от средневековой или индусской и так далее? Почему появились готика или барокко? И почему у архитекторов конца XIX — начала XX века решительно не получались, как ни бились они, подражания средневековому русскому зодчеству?

Скажем тут, что законы образования стилей, образования художественных форм, родов и жанров искусства не менее могущественны, чем законы кристаллизации жидкостей при определенных температурах. И исходя из этого положения, обратимся опять к эпосу и спросим себя: что такое былина? Произведение искусства или выписка из хроники? Двух ответов тут быть не может. Да, произведение искусства прежде всего! Но раз так, законы складывания художественных форм должны оказывать на создание былины самое могущественное воздействие, а история, ежели она и отражена в эпосе, свободно трансформироваться по законам искусства (подчеркнем: не забываться, не искажаться, а трансформироваться по законам эпического творчества!).

Но, возражат, быть может, «историки»: в эпических поэмах Гомера столь много реальной исторической правды, что Шлиман, опираясь только на «Илиаду», сумел найти и раскопать историческую Трою! Да, ответим мы. Однако никто не заставит нас поверить в то, что Диомед действительно ранил в бою богиню любви Афродиту, и та удалась, плача и стона, в обитель богов!

Почему сербский эпос, воспевавший поражение на Косовом поле, не заметил победы над турками, одержанной на том же Косовом поле в близкие по времени к тому несчастливому для сербов сражению годы? Почему русский эпос начисто не пожелал заметить (заметить даже!) татарского погрома с полным уничтожением исторического Киева?

Таких «почему» можно поставить множество относительно эпосов всех времен и народов. Верность эпоса истории, ежели она есть, есть особого рода верность, это верность поэтическому духу более, чем грубым фактам бытия.

Киев быллинный никогда не был взят татарами, ибо задолго до Батыева наше-

ствия стал поэтическим городом мечты, городом-сказкой и городом-притчей, идеальным городом идеальной эпической страны. А подобные города грубой воинской силой не берут. Прежде надо убить веру и мечту народную, но и тогда эпос будет попросту забыт, а отнюдь не переработан в «историческом духе».

Оговоримся: приведенная нами схема заострена, возможно, несколько шаржирована — современные исследователи подчас, гораздо глубже знают историю, чем исследователи прошлого века и, что всего отраднее, от изучения отдельных фактов, сопоставимых с тем или иным сюжетом, ощущают переходят к изучению духа эпохи как формообразующей стихии былинного творчества. Подобное направление (по существу, намеченное еще Л. Н. Майковым) нельзя не почесть плодотворным. Нельзя не согласиться с тем, что изучение поздних сюжетов (например, от Смутного времени), возникновение которых можно проследить по источникам, требует именно такого «исторического» подхода. И все же, даже и в этом случае, надобно очень четко ограничивать эпическую песню как художественное явление определенного жанра от факта истории как такового. Жанры существуют во времени отнюдь не беспредельно, а конкретно-историческом, и вряд ли законы их создания были едины во все времена, поскольку и сами жанры менялись. Скажем тут, что, например, эпическая сюжетика русского средневековья создается уже в жанре баллады, а не эпоса.

Исследование эпоса, как представляется нам, должно обнимать два вопроса, взаимосвязанные и требующие в идеале совокупного рассмотрения.

1. Изучение поэтической структуры, ее появления, складывания, развития и угасания. (Этой темы в данной статье мы касаться не будем, напомним только высказанное нами в предыдущих статьях положение: основой эпической формы надобно почесть гиперболу. Широко распространенная вообще в фольклоре, гипербола, однако, именно и только в эпосе является способом типизации, способом создания образа; и с прекращением, с исчезновением гиперболического преувеличения как целостной типизирующей и идеализирующей системы кончается сам эпос. Прибавим еще, что сам этот художественный метод появляется достаточно поздно, эпической гиперболизации нет в фольклоре первобытных народов).

2. Изучение происхождения и развития сюжетной структуры эпоса. Здесь, как мыслится нам, необходимо выявить сперва отдельные «пласты», отдельные периоды эпического творчества, оставившие свой след в сюжетике, и, приступая к исследованию, искать не отдельный факт, а эпоху, время, историческую форму сознания, отраженные эпосом.

Оговариваюсь: я не против факта как основы эпического сюжета вообще. Осада

Трои, Косово поле, битва в Ронсевальском ущелье, нашествие Аттилы (Атли «Нибелунгов») действительно могут быть исследованы в сопоставлении с отразившим их эпосом. Как раз на этих примерах и выяснялось отличие эпического рассказа от исторической хроники. По счастью выразению одного из французских исследователей, например, битва в Ронсевальском ущелье для средневекового певца явилась тем гвоздем, на который художник повесил свою картину.

Однако в значительной части эпосов, в том числе и в русском, такой фундаментальной сюжетной основы установить невозможно. Иногда эпос сливается вместе ряд крупных исторических событий, иногда даже и о таком отражении истории эпосом не приходится говорить. Наш эпос, по-видимому, так давно возник и столь сложного состава при этом, и так поздно записан, что поиски конкретных исторических событий для того или иного сюжета невозможны.

Это, однако, никак не значит, что от поисков связи русского эпоса с исторической действительностью прошлых веков следует отказаться вовсе (и тут, в этом пункте, я не могу согласиться с книгой В. Я. Проппа «Русский героический эпос», во многом замечательной и глубокой).

Но и то, прежде чем говорить о каком бы то ни было отражении истории эпосом, следует уточнить методологические установочные проблемы. «Историей» у фольклористов XIX столетия был набор фактов, отражающих деяния исторических лиц. (Поскольку реальное лицо, даже занимающее высокий пост, становится историческим деятелем лишь после совершения им определенных деяний, такой подход нельзя почесть ни научным, ни даже разумным).

Историей в том сплошном потоке жизнеорождения и отмирания, коим является наше бытие, именуют очень разные явления или разные грани одних и тех же явлений. Есть история политическая, экономическая, религиозная, история искусства и пр. и пр. На смену представлению о «героях и толпе» (а именно эта теория лежала в основе мышления ученых «исторической школы») пришла экономическая теория развития, и очень хорошо, что Маркс, остерегая своих последователей от вульгарного социологизма, не позабыл сказать в предисловии к «Критике политической экономии», что развитие духовной культуры не может быть впрямую наложено на спираль развития экономических формаций. Пытаться наложить эпос на сетку стадияльной смены хозяйственных систем нельзя. С этой точки зрения следует отвергнуть, например, попытку трактовать былинку «Волга и Микула» как столкновение охотничьего и земледельческого (более прогрессивного) типов хозяйств. Столь широкие (в ритмах тысячелетий) обобщения

ния вообще непосильны для художественного, т. е. конкретно-чувственного обобщения, во всяком случае на той стадии развития, на которой находились творцы эпоса. Кроме того, первобытный охотник существовал в определенном ритме с природою, обеспечивая лишь простое (линейное) воспроизводство себя самого. Для решительных перестроек бытия, передвижений и прочих «подвигов» не было еще ни экономической, ни духовно-психологической основы. Эпос, как явствует из всех наблюдений, является уже на стадии позднейших скотоводческой и земледельческой структур. Кроме того, полагать, что все народы равномерно проходят все экономические стадии развития — охотничью, земледельческую и т. д. — вообще неверно, а теперь, после появления исчерпывающего исследования Л. Н. Гумилева «Этногенез и биосфера земли» (деп. рукопись), попросту уже и неграмотно.

По теории Л. Н. Гумилева, каждый народ («этнос») проходит определенный путь согласно «кривой этногенеза», характеризующейся сперва резкой вспышкой, а затем медленным угасанием психической сверхэнергии, названной исследователем «пассионарностью». Эта сверхэнергия и позволяет создавать всё то, что запечатлевается позднее в виде зримых памятников культуры (в камне, слове, звуках, живописи) и исторических деяниях, зафиксированных в хрониках и преданиях народов, т. е. позволяет творить историю. Первая стадия этногенеза — это всегда мощное движение этноса в целом, с идеологией нерасчлененного героического осознания своих задач. (Позднее выделяется личность, противостоящая массе, еще позднее создаются конструкции государственных систем, и т. д.). Весь этот процесс до полного выхода пассионарности занимает приблизительно 1200—1400 лет. Рискую утверждать (пока это только наша гипотеза), что эпос — это явление словесной художественной культуры народов, находящихся на подъеме пассионарности, и его гиперболизм не что иное, как образное отражение этого подъема, своеобразное «богатырское самоощущение» народов. В дальнейшем, в пору создания государственности, эпос превращается в учительное наследие, память славного прошлого, в общенациональные заветы старины. . . Выбор фактов истории эпосом целиком зависит, как кажется нам, именно от указанного фактора.

Добавим, что эпические предания одного народа могут переходить как героическое наследие к другому народу, ежели тот, другой, является родственным старому этносу молодым народом. Так, гомеровский эпос ахейских греков перешел к грекам эллинистическим. Так, эпос **праславян** частично сохранился в русском эпосе, что я пытался показать на анализе образа Святогора (см.: Русский фольклор, т. XX, с. 11—21). Высказан-

ный принцип, разумеется, требует проверки, но, во всяком случае, он уже дает ориентир исследователю и, как кажется, помогает прояснить и понять «капризы памяти» творцов эпоса.

К сказанному следует добавить, впрочем, одну существенную оговорку. Искусство в целом создается скорее на спаде пассионарности (на подъеме люди действуют, добиваясь практического осуществления своих идеалов). Поэтому и эпос складывается в законченную поэтическую картину должен был «спустя время», когда героические события, коим он посвящен, уже ощутимо отодвинулись в прошлое, т. е., отражая «пассионарный подъем» этноса, эпос вместе с тем в значительной мере мог и должен был твориться позднее самих героических событий.

Как происходило само эпическое творчество (складывание поэтической структуры его) здесь не место говорить. Это, повторяю, особая и непростая тема. Был ли в основе эпического повествования некогда «лирический отклик на событие»? Для подобного утверждения пока недостаточно данных. Единственное, что можно утверждать с наибольшей степенью вероятности, это то, что циклизация сюжетов, создание эпических полотен-поэм происходили отнюдь не сразу, а с течением времени (достаточно долго, измеряемого, по-видимому, многими столетиями).

Эпосом столь много и долго занимались, что допустимо уже некоторые положения считать доказанными и исходить из них, как из постулатов. А именно:

Эпос — высокое искусство, торжественная повествовательная песнь о героях (точнее, о героической старине), развертывающая картину учительной, идеальной древности; иначе — представляющая в черед типовой-богатырей идеализированный национальный характер.

Благодаря этому своему свойству эпос «крепок к этносу»: он не переходит свободно от народа к народу, как сказка, да и вообще не переходит, ежели не происходит слияния, переливания друг в друга самих этносов и национальных культур, при каких-то особых условиях к тому же. Простого сосуществования народов, носителей эпоса, рядом или даже чересполосно на одной территории для этого недостаточно. (Примеры переходов шумерского эпоса к ассирийцам, ахейского к классическим грекам, кельтского, в Британии, к саксам и англо-саксам, скандинавского к готам и германцам говорят сами за себя). Русские и карелы в Обонежье, например, за тысячу лет совместного существования так и не обменялись эпической сюжетикой, и подобные примеры бесцелны. Это свойство роднит эпос с мифом, от коего он зачастую и отталкивается, переводя, так сказать, с неба на землю принцип учительности как таковой. Ежели миф —

идеальная модель мироздания, служащая основой земных поступков людей, то эпос — идеальная учительная конструкция национального типа в его героическом варианте. Эпический герой и является, как показали исследования, сперва в облике культурного героя, т. е. младшего божества или полубожества.

В самом бытии эпического сюжета, как опять же установлено многочисленными исследованиями, костяк, схема сюжета, сохраняется наиболее прочно (как и образ героя). Детали, антураж меняются от эпохи к эпохе. Так что, например, по деталям вооружения, одежды, денежным эквивалентам и пр. судить можно лишь о самой последней стадии развития эпоса. Сама же сюжетная конструкция сохраняется чрезвычайно долго и сохраняет в себе иногда в виде уже мертвых рудиментов, внешне не имеющих смысла, память глубочайшей старины, память той поры, когда эпос только еще складывался. Эта особенность эпоса дает в руки исследователя надежный ориентир для святия последовательных пластов, наложенных на сюжет временем.

Наконец, еще Буслаев справедливо указал, что эпос не терпит аллегорий. Аллегория, по-видимому, явление более позднего происхождения, чем эпос. В эпосе все реально, в нем нет символов. (Потому-то, в частности, толкование сюжета борьбы Добрыни со змеем как символического одоления язычества представляется нам неверным и свидетельствует ни о чем ином, как о произвольном внесении в былинный сюжет позднейшей системы образного мышления, свойственной определенным жанрам профессиональной средневековой культуры, но никак не эпосу). В эпосе, скажем, «тяга земная» — это не символ чего-то иного, а именно сама по себе земная тяга, то, что богатырь не может оторвать от земли. Ежели Добрыня «колпаком земли греческой» отшибает змею голову, то это не значит, что он, вздев монашеский куколь, с крестом в руке и Евангелием в другой проповедует слово божие. Это значит, что он чем-то тяжелым (достаточно тяжелым!) увечит змея в рукопашном бою. А установить, что есть сей колпак, шлем или что иное, — уже дело исследователя. Опять же змей в эпосе — это никак не символ (греха, искушения, нечистых страстей и т. д.), а всамделишный живой змей, которого надо (и можно) убить.

Скажем шире. За всяким чудесным или непонятым явлением в эпосе всегда стоит что-то вполне реальное для наших предков, то, во что они свято верили как в живую реальность, данную нам в ощущении (именно таковы были когда-то для наших далеких предков змеи и прочие мифические существа!). Т. е., вскрывая древнейшие пласты эпической сюжетики, исследователь всегда должен искать за ними некую, пусть мифическую, реаль-

ность. Напомним, что миф был высшей реальностью, по которой проверялась и организовывалась предками текущая, окружающая их бытовая реальность.

«Пласты», которые необходимо вскрыть (с учетом сделанных оговорок-постулатов), подсказаны исторической судьбой народа. Самый поздний пласт — это то, что внесено в эпос эпохой его угасания, когда эпос как торжественный реликт сохранялся памятью северного крестьянства. За ним просматривается эпоха Московской Руси, причем ясным рубежом, послужившим для значительной переработки эпоса, явился период татарщины (XIII—XV века). Более глубокий пласт — это эпоха сложения Киевской державы. По-видимому, именно тогда и началась циклизация былин вокруг Киева и идеализированного образа князя Владимира. Однако корни былинных сюжетов ощутимо уходят еще далее вглубь веков, по-видимому к тому времени, когда славяне впервые появились в Поднепровье (зарегистрированы источниками первые века нашей эры, ежели вспомнить антов с их вождем Божем и росомонов — противников готского короля Германариха). Однако и за этой эпохой, еще глубже ее, протягиваются сюжетные аналогии, заставляющие говорить о живом контакте древних праславян со скифской культурой (VIII—IV века до н. э.). По-видимому, именно там, где-то около середины I тысячелетия до н. э., и следует искать самые древние истоки наших былин.

Начать с начала — это значит начать с мифологии. Эпос и миф — вот соотношение, в котором, в идеальном варианте, следует искать истоков эпического творчества по линии его сюжетики. Увы! Мифология наших предков не исследована и до сих пор. Известно, что праславяне относятся к арийской ветви народов; известно, что они были солнцее и огнепоклонниками; известно, что ко времени знакомства с ними византийских историков (VI—VII века) они уже знали о христианстве, имеются сведения о крещении какой-то группы русичей в IX веке, что само по себе говорит уже о кризисе и закате языческой культуры. Всего этого, однако, слишком мало, и даже пресловутой перечень языческих божеств, поставленных Владимиром, скорее затемняет, чем проясняет вопрос о древнеславянском языческом пантеоне. Да и что может дать перечень богов без каких-либо намеков на хотя бы центральную мифологему? И все бы оно еще ничего! Вопрос, однако, невероятно усложняется фактами многочисленных миграций. Славяне-русичи явились на территорию нынешней Руси с двух сторон. С юга (по-видимому, с Карпат в I—II веках н. э. или даже еще в V веке до н. э.) — это все племена с окончанием на «яне»: поляне, древляне, северяне, волыняне и пр. Другая волна — северная. Это те

славяне, которые в начале нашей эры добрались от тех же Карпат до Балтийского побережья, потеснив ругов и вандалов, а оттуда впоследствии мигрировали на восток (племена с окончанием на «ичи»: бодричи, лютичи, кривичи, вятичи, радимичи, дреговичи и пр.). С Балтики они принесли с собою культ Святовита, ставшего на Руси Перуном. (Последнее утверждение — гипотеза). Зарегистрирован у поморских славян культ священного (белого) коня и культ птиц, видимо общий всем славянам.

Что касается славян южных, то их еще в первые века нашей эры коснулась проповедь христианства (легенда о миссии св. Андрея не совсем далека от истины), не минуло южных славян, естественно, и принятие арианского христианства частью готов, передвинувшихся на территорию Болгарии (проповедь Ульфилы, 334 год). Не минуло южных славян и принятие православного никейского исповедания крымскими готами-тетракситами (конец IV—начало V века). Это способствовало раннему разрушению языческой мифологемы. Способствовало такому разрушению и переселение на новые места (известно, насколько все вообще языческие культы связаны с природою своего региона). Могущественное воздействие на славян (при допущении их раннего появления в Поднепровье) могла оказать и скифская, очень разработанная мифология. Во всяком случае, часть божеств у нас, по-видимому, иранского происхождения. (Скифы — народ иранской ветви арийской группы, светловолосые, бородатые, обликом очень схожие с русскими, как явствует из изображений на серебряных вазах, так что азиатами «с раскосыми и жадными очами» их представлять никак нельзя). Сверх того, мы не знаем, насколько и что было воспринято славянами из мифологии угро-финских племен, вошедших в орбиту восточной славянской экспансии VII—VIII столетий. (Напомним, что здесь получился известного рода симбиоз, а это тот случай, когда мифологические структуры способны взаимодействовать). Наконец, по мнению проф. Л. Н. Гумилева (высказанному в частной беседе), к славянам должен был проникнуть в первые века нашей эры культ Митры, с Востока пришедший в Рим и ставший там своеобразным солдатским культом с идеалами чести, верности, мужества, воинского братства и пр. (Возможно, имя великого Хорса в «Слове о полку Игореве» есть именно след этого митраистского культа, попавшего к славянам из Иллирии через римских легионеров).

Разобраться во всем этом, наметить истоки именно славянской мифологии, давшей начало эпосу, невероятно сложно и, видимо, еще не под силу современному исследователю.

И все-таки первый вопрос, который следует поставить, и первый пласт, ко-

торый следует вскрыть, — это пласт мифо-эпический.

Анализируя сюжет былины о Потыке (см.: Русский фольклор, т. XV, с. 26—43), мы уже говорили, что корни сюжета этого уходят к своеобразному спору со скифской родовой легендой. (Сейчас, после выхода книги Д. С. Раевского «Очерки идеологии скифо-сакских племен» (М., 1977), можно говорить о скифской мифологии с достаточной уверенностью). Но это не единственный сюжет такого характера в русском эпосе. Своеобразные «скифские корни» вскрываются и при анализе образа Микулы Селяниновича (см. наш анализ сюжета: Русский фольклор, т. XV, с. 43—54).

Посрамление князя мужиком (толкование В. Я. Проппа) есть лишь самый поздний смысловой пласт этого сюжета. (Напомним, что в эпосе нет «пустых» деталей, и любая «странность» сюжета требует и имеет свое истолкование). Вольга не просто князь, это тоже его последняя ипостась. Он прежде всего волшебник, оборотень. Микула не просто мужик-пахарь. Уже в том, что он вспашет, засеет, соберет урожай, сделает пиво и напоит мужиков — слишком ясно проглядывает древнее обличье культурного героя, подателя или создателя жизненных благ (в частности, создание хмельного напитка есть одно из древнейших общеарийских деяний культурных героев). Когда Вольга не может оценить по достоинству кобылу Микулы, это не значит, что он, как пишет Пропп, плохо разбирается в конях. Князь, воевода той эпохи, когда от коня целиком зависела жизнь конного воина, да еще кудесник, в конях разбираться должен был очень хорошо, во всяком случае, лучше крестьянина! И то, что Вольга ошибается в стоимости коня, намекает на гораздо более глубокие причины. А именно: конь Микулы (его кобыла) не простой конь, а родственник солнечному божеству. (Соловая масть, т. е. золотистая, была священной у ираноязычных кочевников. Сверх того, конь и вообще — знак солнца). Т. е. кобыла Микулы чудесное, божественное существо, и этого не понимает Вольга. Наконец, обратим внимание на то, что весь сюжет как бы сфокусирован вокруг сошки Микулы, с которой не может совладать вся дружина Вольги и которую Микула закидывает за ракитов куст, а в вариантах — на небо. Последняя деталь не могла появиться просто так. Почему на небо? Почему у этой сошки золотой наральник? Почему вся былина по сути посвящена этому одному вроде бы проходному эпизоду и на нем обрывается — как будто весь дальнейший совместный поход за данью уже не имеет существенного значения?

И тут нельзя не вспомнить скифского родового мифа, а именно той части его, где трем братьям, сыновьям Таргитая и змееной богини, с неба падают золотые дары: соха с ярмом, чаша и секира (или

лук и стрелы). Дары солнечные, поскольку при приближении недостойного они вспыхивают огнем. То, что по скифской версии, записанной Геродотом, небесные дары достаются одному младшему, достаточно объясняется трансформацией мифа, призванной объяснить главенство «царских скифов» в скифокиммерийском союзе племен. (Кстати, царским скифам, никогда не занимавшимся земледелием, плуг с ярмом вовсе ни к чему, почему и можно почтеть подобную версию мифа позднейшей). С другой стороны, истолкование имен трех братьев дает понять, что эти три брата в первоначальной ипостаси своей поделили между собою верхний, средний и нижний миры, а в земном (социальном) плане образовали касты жрецов, земледельцев и воинов. Арпоксай, средний брат, «владыка глубин» (и «владыка коней»), дал начало земледельцам. Возможно, кстати, что скифский миф выкристаллизовался из общей иранской мифологии, где занятие земледелием считалось чрезвычайно почетным, сохранив пережиточно идею старшинства (воины пошли по этому мифу от младшего брата), но поиначив и переставив акценты. Допустимо предполагать наличие иной исходной версии мифа, где все братья получают дары, определяющие их предназначение, и, соответственно, Арпоксая вручается золотой плуг.

Не переключается ли наш Микула Селянинович с этим прототипом скифской мифологии? Не потому ли и кобыла его (тоже прародительница!) обладает чудесными свойствами? Во всяком случае, только при таком толковании получает полное объяснение сюжет нашей былины. Золотая соха Микулы, которую он зашвыривает обратно на небо, дает понять, кто он таков (открывает в нем культурного героя — прародителя земледельцев). Когда это обнаружение произошло, сюжет по сути и должен быть закончен.

Возможно, славяне, вытесненные кельтами в V веке до н. э. из Карпат (теория Кубычева), как раз тогда вошли в соприкосновение со скифокиммерийским миром и восприняли скифский миф в его древнейшей форме. (Возможно и другое: что предки славян отпочковались от того же корня, что и скифы, и сохраняли у себя ту же мифологию в ее первоначальном варианте). Кстати, то, что прародины славян являются именно горы, а не болота Полесья, ясно уже из того, что, распространяясь по Восточно-Европейской равнине, селились они всегда на ярах, на высотах, любили высоту, специально насыпали «ярилыны горки» для отправления своего солнечного культа, связанного с плодородием (мерянские волхвы отправляли свой культ в «добрях» — в оврагах, в низинах и провалах земли), а позднее, уже приняв христианство, славяне и церкви ставили на горах, на холмах и высоких берегах рек, на высоте. Именно еще и потому не сори-

лись славяне с аборигенами края, финно-уграми: чудью, весью и пр. Те жили у воды, внизу, занимаясь преимущественно охотой и рыбной ловлей, а потому и не спорили с пришельцами из-за ареалов обитания. Не забудем также, что старинное «гора» означало у наших предков (а на Севере означает о сю пору) и гору, и землю, сушу вообще, в отличие от воды. Так что змей Горыныч, может статья, назван Горынычем в значении «сухопутный».

Со скифским миром связывают славян иранские названия богов Хорса и Сварога. (Заметим: Хорс и Ярило одинаковые по значению солнечные божества. Ярило — славянский, получивший в культуре свои особые функции подателя плодородия).

Уже того, что сказано, достаточно, чтобы поставить вопрос о славяно-скифских связях, невзирая на то, что пока, по данным сегодняшней науки, между исчезновением в Причерноморье скифов (в IV веке до н. э. истребленных сарматами) и фиксированным появлением в Поднепровье славян (II век н. э.) дистанция в пять столетий.

Какова идеологическая сторона скифских связей? По характеру отношения это героический спор. В «Потыке» спор идет со скифским родовым правом. В «Микуле» — спор с той версией скифского мифа, которую записал Геродот и по которой царские скифы господствуют над всеми остальными. Причем отстаивается достоинство пахарей перед воинами. Таким образом, перед нами в обличье героического эпоса явлено рождение народа, его выделение из союза племен, подчиненных скифам и скифской идеологии. Как бы на глазах рождается своя, противопоставленная скифской идеологическая система, еще всеми корнями своими связанная с исходным (но уже враждебным) началом скифо-иранской мифологии. Происходит рождение национального самосознания.

Оговоримся. Целиком разделяя этническую теорию Л. Н. Гумилева, мы далеки от мысли увести в I тысячелетие до н. э. рождение современного нам русского этноса. Этот этнос появился в XIII—XIV столетиях, когда предшествующий ему славянский этнос, создавший Киевскую державу, уже был при своем конце. Тот, киевский, этнос образовался в результате пассонарного толчка I—II веков н. э. Следовательно, речь может идти о еще более древнем этническом образовании, возникшем, по-видимому, где-то около VIII века до н. э. Но поскольку все эти сменяющие друг друга этносы относились к одной языковой группе, то постоянно происходила передача культуры, знаний, накопленных традиций и, в частности, эпических сюжетов. Нам уже случалось говорить в статье о Святогоре, что названная былина, по-видимому, величественный осколок эпоса древних славян того времени, когда они еще

не покинули подкову Карпатских гор. И передача силы умирающего Святогора Илье Муромцу как раз и отражает подобный процесс перехода (с частичными потерями) традиций отжившего этноса к родственному ему юному и еще полному сил народу.

Скифов в причерноморских степях с IV века до н. э. сменяют сарматы — коновные воины с сильными рудиментами матриархальных отношений в быту. В частности, сарматские женщины участвовали в сражениях, являясь отличными стрелками из лука. Тацит сообщает, что сарматы постоянно вступали в брачные отношения с земледельческими племенами окраины степи (как можно полагать, со славянами, хотя Тацит не различает славян от германцев). Нам уже случалось писать, анализируя сюжет былины о Дунае (см.: Русский фольклор, т. XVI, с. 95—114), что трагический конфликт этой былины в исходном варианте своем отражает именно столкновение славян с сарматским миром. В былине сфокусировано все сразу: поединок (военное соперничество), и брачная связь, и последующий идеологический спор, чье семейное право должно восторжествовать в этом союзе? Можно предположить, что «поляницы преудалые» русского эпоса — это в прошлом те самые сарматские женщины-воительницы. Название «поляница» славянское — богатырша, воительница (от слова «поле», разумея под полем место боевых действий; ср. «полеваты» — охотиться). Допустимо, что этнонимы «поляне» и «поляки» означают как раз славянский мужской вариант слова «герой» (богатырь, воин), перешедшего со временем на весь этнос, меж тем как название самого мужчины-героя было вытеснено (заменено) тюркским термином «богатырь» (богатур, боотур).

Очень сложен вопрос анализа сюжетов со змеборчеством. Лукиан Самосатский (II век н. э.) пишет, что у каждой сотни сарматских воинов был значок — летящая змея, укрепленная на копье. Заметим, что Лукиан делает это разъяснение для тех, кто верил в реальных крылатых змеев. Думается, впрочем, что только одним перетолкованным отражением памяти о воинском знаке сарматских дружин обойтись нельзя. Хотя и отрицать подобную связь также невозможно. Змей русских былин всегда враг, похититель, зачастую очень явный кочевник и «горыныч», т. е., возможно, именно сухопутный змей, как уже говорилось выше. Должны, однако, стоять за змеями русских былин и какие-то сугубо мифологические основания. Однако, чтобы их вскрыть, необходимо опять же сперва распутать и восстановить в целостном виде мифологическую систему древних славян. Во всяком случае ясно, что сюжеты змеборчества также зародились задолго до появления позднейшего Киевского государства.

В индийской (арийской) мифологии

асуры, старшие братья богов, змееподобны (змеевидность асуров сохранена в ведах) и, как полагают, воплощают враждебные человеку силы природы. Младшие братья асуров и богов — наги, гигантские змеи, подземные, поскольку они поселились в подземном мире. Они мудры, хранят сокровища, имеют своего царя и города из драгоценных камней и металлов. Живут они также в подземных водах, реках и на дне океана. Змеи на поверхности земли стерегут сокровища и клады. Нагины, девы-змеи, принимая человеческий облик, часто прельщают мужчин. Соответственно змеи-наги в человеческом облике оболещают женщин. Царственные змеи многоглавые (трехглавые, семиглавые и десятиглавые). Они владеют несметными богатствами, могущественны и мудры, снискали милость и дружбу богов.

С разделением на индийскую и иранскую ветви арии как бы поделили богов по принципу противопоставления (асуры стали богам иранской мифологии). Подобное разделение с противопоставлением мифологических образов не отражает ли «земного» разделения древних племен на противоположные брачные группы (поставляющие взаимно мужей и жен) по законам древнего семейного права? Заметим, что многоглавство богов ярко выражена у западной (поморской) ветви славян. Таковы четырехголовый Святovit (Святовит) — главный бог поморских славян, имеющий священного белого коня; Триглав — злой бог, у которого конь черный; Руевит — с семью мечами у пояса и восьмью в руке, у коего семь лиц; Поренут — у которого четыре лица и пятое на груди; Поревит — пятиглавый бог (см.: Иванов В. В., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие семантические системы. М., 1965).

У славян восточных многоглавство богов не наблюдается вовсе. Зато и в преданиях, и в сказках, и в эпосе имеются многоглавые змеи-враги и похитители женщин. Нельзя ли предположить, что как индийские арии отделились от иранских, разменявшись богами по принципу противопоставления, так и западные славяне от восточных (и по той же причине деления брачных групп), причем многоголовые боги (змеи?) у западных славян приобрели человеческий облик, сохранив многоглавство, а у славян восточных они же стали враждебной богам злой силой, сохранив (и усилив) свою змеиную природу?

Уже на эту конструкцию наложилась последующая борьба с кочевниками, причем привычные древние представления приобрели как бы новое звучание (пересмыслились).

Однако, даже принимая эту гипотезу, мы не можем сказать, когда, в какое время мифические образы стали образами эпоса наших предков. Допустимо предположить, что в основном это случилось уже в пору борьбы с кочевым сармат-

ским миром, в конце I тысячелетия до н. э.

Проходила ли в предшествующие создания Киевской державы века циклизация эпоса? Видимо, да. И, по-видимому, именно тогда возникла поэтическая идеальная богатырская община, внутри которой уже по законам поэтики создались свои родственные отношения богатырей. Именно таким образом, через «идеальное родство», отдельные былин-ные сюжеты сочетались друг с другом. Исследователю предстоит разобраться в том, как эта идеальная эпическая картина соотносилась с конструкцией тогдашнего славянского общества.

В эпоху, предшествующую киевской, созданся и образ Ильи Муромца — во все последующие века главного, старейшего героя русского эпоса. (Мы здесь не затрагиваем особого вопроса об именах былинных богатырей. Ясно, что христианские имена появились после принятия христианства, возможно, выгеснив прежние, языческие). Можно предполагать также, что тот, древний Илья был прежде всего метким стрелком из лука, что сближает его с многими героями эпосов арийских народов.

Следующий пласт нашего эпоса относится уже к эпохе складывания раннекиевского каганата и последующего утверждения державы Рюриковичей. Поскольку это время рождения в Поднепровье нового славянского этноса, вся прежняя культура, естественно, была переформлена, многие древние эпические сюжеты переработаны в новом духе или вовсе утрачены. Возможно, именно тогда рождающийся этнос принял на себя имя богатырей — «полян». Что же касается слова «богатырь» для определения былинного героя, то ему мы обязаны почти наверняка гуннам, а не позднейшим татаро-монголам. (Иначе название «богатырь» не стало бы таким повсеместным). Движение гуннов (середина IV — середина V века) как раз совпало с эпохой рождения нового славянского этноса. Кроме того, славяне были союзниками гуннов в борьбе с готами и в значительной мере пополняли войско Аттилы.

С гуннами, а, скорее, еще ранее, с савирами (превратившимися со временем в «северян» Черниговской Руси), могли прийти в русский эпос какие-то черты эпического творчества сибирских тюркоязычных народов.

В конце пятого и в шестом столетиях славяне уже сами совершают походы на земли Византии, складывается киевский каганат, появляется государственность. В эпосе соответственно вместо идеальной богатырской общины появилась тоже идеализированная картина раннегосударственного патриархального объединения, увенчавшаяся образом князя Владимира. Интересно при этом не столько выяснить, с каким именно историческим Владимиром соотнесен былинный образ хлебосольного князя (скорее всего, ко-

нечно, с Владимиром Святославичем, крестителем Русь), сколько рассмотреть этот образ в его сущности (совсем не схожий с историческим Владимиром, тоже предельно собирательный и прошедший долгую эволюцию), тем паче, что ни одно из исторических деяний Владимира Святого не отражено эпосом совершенно. Перед нами опять учительный идеал своего времени, а не фактологическое отражение истории.

Характерно, что народные певцы, вопреки Рыбакову, не заметили (точнее, не пожелали заметить) междукняжеской грызни и начавшегося удельного раздробления Киевской державы. В эпосе происходит упрямая циклизация сюжетов, только вместо «родства» появляется новая связь: богатыри приезжают служить князю Владимиру и становятся членами одного и того же государственного союза. (Сходную картину представляла циклизация сюжетов о рыцарях круглого стола вокруг легендарной фигуры короля Артура). Характерно, что в былинах постоянно повторяются в одном родственном ряду Киев и Чернигов, хотя реально в домонгольской Руси эти города и их князя постоянно находились во вражде.

Вне общей циклизации вокруг князя Владимира остались лишь былины новгородского цикла, на что были глубокие причины как в самой истории Северной вечаевой республики, так и в том, что русичи новгородские частично произошли от балтийской поморской ветви славян (венедов). Возможно, именно туда, в мифологию славян балтийских, уходят истоки былины о Садко. «Василий Буслаев» возник уже в самом Новгороде. Исследователи традиционно считают его «ушкунником», по-видимому, впрочем, из-за слабого знания истории Великого Новгорода. Походы ушкунников обнимают период с 20-х годов XIV до начала XV века. Ни до, ни после их не было. И потом не забудем, что Васья Буслаев не в ушкунный поход ходил, а, подобно своему земляку Добрыне Ядрейковичу, молиться ездил! А хождения паломников в Святую землю как раз характерны для домонгольского периода новгородской истории. В дальнейшем былина вобрала в себя многие черты и позднейшей новгородской действительности, а Василий Буслаев — типичный представитель новгородской боярской элиты (его легендарное имя даже вошло в один из посадничьих списков!) — стал со временем типичным выразителем русского национального характера.

«Летописный» период жизни эпоса дает многие и подчас соблазнительные возможности для сопоставлений эпической сюжетики с историческими фактами. Как раз здесь, по-видимому, открывается возможность проверить многие теоретические аспекты развития эпоса. Однако не надо забывать и про другой ряд возможных сопоставлений, не

мнее плодотворный, на наш взгляд. Сопоставлений не с именами и событиями летописной истории, а с условиями исторической жизни соответствующих эпох. Что означает, например, скамья, оглобля, труп врага, тележная ось и пр. в руках героя? Нелепо было бы искать летописных аналогов этому типичному былинному эпизоду. Больше даст знакомство с «Правдой русской», где в ряду судебных статей есть одна, свидетельствующая, что за удар ослопом платили большую виру, чем за удар мечом. (Наше законодательство несравненно суровее наказывает как раз напротив за применение оружия в драке). Статья эта, однако, очень понятна для своего времени. Меч — оружие воина, благородного мужа; дубина, ослоп — оружие мужика. Правящее сословие охраняло себя законом от возможных ошибок с чернью, поддерживало честь воина, «княжого мужа», которому естественно было в драке со смердом обнажить оружие. Дубина в руках былинного героя, однако, не означает еще, что он представитель народа. Просто расправа с помощью дубины воспринималась в те века как более пренебрежительная, более позорная для противника. Против врага, заслуживающего уважения, былинный богатырь всегда выходит в полном воинском вооружении.

Московский период существования русского эпоса был последним творческим его периодом. Создания нового эпоса (как на Украине) тут не произошло, народ воспользовался имеющимся эпическим наследием, влив в него, одна-

ко, новое содержание. Произошло опять грандиозное переоформление эпической сюжетики. Теперь враги — «злы татарове» или «ляхи», богатырь защищает от поругания церкви божии (новый, христианский символ независимости страны). Вместе с тем эпос уже ощутимо отодвигается, уходит в прошлое. Возникают новые творчески активные жанры эпических песен: баллада, бытовая и историческая (так называемые «исторические песни»). Однако и тут, даже и в самом позднем периоде своем, эпос еще продолжает дорабатываться, возникают ежели не сюжеты, то отдельные образные находки высокого эстетического звучания. Например, сложившийся на Русском Севере образ богатырского «оглядыванья» всей страны, когда герой (Дюк или Илья Муромец) с холма видит всю русскую землю от ледяных гор Ледовитого океана до «Камня» (Уральского хребта) и до далеких «степей хлебородных» и пустынь, по которым разъезжают, охраняя границы, русские богатыри, и до самого былинного Киева с золотыми маковками церквей. . .

Заклучим этот краткий обзор тем, с чего мы и начали: историзм эпоса не в том, что он отражает историю (точнее, конкретные факты летописной истории), а в том, что в нем отразился обобщенный поэтический взгляд народа на свое бытие, выразились исторические идеалы нации. Причем творцы эпоса использовали факты истории только как первичный материал, отталкиваясь от коего художник-народ начинает творить свою мечту.



ПОЛЕМИКА

П. П. Охрименко

О ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ РАМКАХ ЛИТЕРАТУРЫ КИЕВСКОЙ РУСИ

Подготовка и празднование 1500-летия Киева заметно активизировали интерес нашей общественности к истории Киевской Руси, ее богатой материальной и духовной культуре, оригинальному искусству и литературе. В то же время выяснилось, что далеко не все аспекты прошлого восточных славян достаточно научно освещены. В частности, все еще остается спорным вопрос об исторических рамках Киевской Руси — первого государственного объединения древнерусской народности, приобретшего мировое значение. Это в свою очередь затрудняет определение хронологии ее культуры, которая в лучших достижениях имеет непреходящую ценность.

Определение хронологических рамок литературы Киевской Руси является сложной проблемой. Не только начало, но и конец ее развития все еще остаются надлежаче невыясненными, что затемняет и истоки художественной письменности восточных славян, и датировку начальных периодов собственно русской, украинской и белорусской литератур, выросших на общей художественно-письменной основе Киевской Руси.

В нынешней вузовской программе по древней русской литературе для филологических факультетов пединститутов, составленной Н. И. Прокофьевым, литература Киевской Руси ограничивается первой третью XII века («Литература Киевской Руси (XI—первая треть XII века)»)¹ В четырехтомной академической «Истории русской литературы» встречаем примерно то же определение ее хронологических рамок: «Литература Киевской Руси. X—начало XII века»,² хотя из текста явствует, что автор соответствующего раздела (О. В. Творогов) различает литературу Киевской Руси «в широком и узком смысле»: в первом он склонен датировать ее XI—началом XIII века.³ Безо всяких оговорок литература Киевской Руси ограничивается серединой XI—первой третью XII века в учеб-

нике для филологических специальностей университетов «История древнерусской литературы» В. В. Кускова.⁴ В последнем же учебном пособии для студентов педагогических институтов по древнерусской литературе под редакцией Д. С. Лихачева соответствующий раздел (автором которого является О. В. Творогов) датируется XI—началом XIII века.⁵ Словом, разноречивой в хронологии литературы Киевской Руси очевидной.

Установка ныне действующей программы по древнерусской литературе для пединститутов, как, по сути, и некоторых учебников и учебных пособий, не выдерживает критики. Получается, что «Слово о полку Игореве» — вершина литературы Киевской Руси, гордость всех трех восточнославянских народов — бесосновательно выносятся за ее пределы. Так, в упомянутой программе это произведение отнесено к «Литературе периода феодальной раздробленности и объединения Северо-Восточной Руси (XII—начало XVI века)».⁶ Фактически оно «приписывается» автором данной программы только русской литературе: «„Слово“ как величайший памятник русской и мировой средневековой литературы»,⁷ — т. е. даже не упоминается о принадлежности этого гениального памятника всем восточным славянам. А ведь уже в первые годы Советской власти было твердо установлено, что «Слово о полку Игореве», возникшее во времена древнерусской народности — общего предка русских, украинцев и белорусов, — в равной мере принадлежит этим восточнославянским народам, как и вся культура и литература Киевской Руси.

В новом издании академической «Исторії Української РСР» справедливо подчеркивается, что, несмотря на феодально-удельное дробление, «Русь в течение XII—первой половины XIII в. продолжала развиваться по восходящей линии и по уровню экономики и культуры входила в число самых передовых стран

¹ Программы педагогических институтов. Русское устное народное творчество. Древняя русская литература. Зарубежная литература XVII—XVIII веков. М., 1978, с. 38—39.

² История русской литературы в 4-х т., т. I. Древнерусская литература. Литература XVIII века. Л., 1980, с. 19—61.

³ Там же, с. 22.

⁴ Кусков В. В. История древнерусской литературы. Изд. 4-е, М., 1982, с. 42—88.

⁵ История русской литературы X—XVII веков. М., 1980, с. 34—141.

⁶ Программы педагогических институтов, с. 39—40.

⁷ Там же, с. 40.

Европы». ⁸ Таким образом, Киевская Русь успешно развивалась до ордынского нашествия 1237—1240 годов. Киев, как свидетельствуют былины и тогдашние литературные памятники, в сознании древнерусской народности — единой, в крайнем случае, до второй половины XIII века — был ее святыней, неизменно мыслился как «стольный град», столица всей Руси, или *Русьской земли*. До этого же времени — до ордынского нашествия, т. е. до середины XIII века, — развивалась и единая для древнерусской народности литература, литература Киевской Руси. В ней, как и в фольклоре и искусстве этого времени, ярко выражалось единение восточных славян.

Кстати отметим, что еще Иван Франко конечным рубежом литературы Киевской Руси считал середину XIII века, а точнее 1240 год. ⁹ Этой же точки зрения придерживался и Н. К. Гудзий, что зафиксировано во всех изданиях его классического учебника для филологических факультетов университетов и педагогических институтов «История древней русской литературы». Художественная письменность Киевской Руси в пем традиционно называется литературой «киевского периода», который именовался еще (правда, «менее удачно», как отметил Н. К. Гудзий) «периодом домонгольским». ¹⁰

Литература Киевской Руси, как и ее язык, фольклор и особенно искусство, была единой даже в период раздробленности древнерусского государства. В последнее время это блестяще аргументировано Д. С. Лихачевым в «Слове о Кieve». ¹¹ Литература Киевской Руси находилась в числе тех сил, которые помогали «культурному сплочению всех княжеств и областей *Русьской земли*. . . Но самой замечательной особенностью литературы было то сознание национального, политического и культурного единства, которое было свойственно всем произведениям Киевской Руси без исключения. Наиболее знаменитыми памятниками в этом отношении являются „Повесть временных лет“, „Почтение“ Владимира Мономаха, Киево-Печерский патерик и „Слово о полку Игореве“, ¹² — т. е. произведения, которые создавались древнерусской народностью «в хронологических пределах примерно до середины XIII века». ¹³ Это и есть конечный рубеж литературы Киевской Руси.

⁸ Історія Української РСР, т. I, кн. 1. Київ, 1977, с. 331.

⁹ Франко Іван. Нарис історії українсько-русської літератури до 1890 р. Львів, 1910, с. 36.

¹⁰ Гудзий Н. К. История древней русской литературы. Изд. 7-е, М., 1966, с. 10.

¹¹ См.: Лихачев Д. С. Слово о Кieve. — Русская литература, 1982, № 2, с. 3—11.

¹² Там же, с. 4, 5.

¹³ Там же, с. 3.

Если этот рубеж устанавливается сравнительно легко, будучи связанным с падением Киевской Руси под натиском ордынцев, то намного труднее определить начало литературного развития восточных славян (древнерусской народности). Дело в том, что их первые письменные памятники не сохранились до нашего времени из-за стихийных бедствий и особенно гонений в свое время всемогущей христианской церкви, которая последовательно уничтожала языческие «письмена», в том числе литературного характера.

Появление письменной литературы — сложный исторический процесс, продиктованный потребностями господствующих классов, государства и народа в целом. Этот процесс имел место лишь там, где были необходимые условия, высоко развитая духовная культура, в том числе утопическое творчество, и, безусловно, более или менее совершенное письмо. Как свидетельствует история мировой культуры, литература возникла в ранние периоды классового развития общества лишь в передовых государствах, к которым относилась и Киевская Русь.

История литературы восточных славян начинается именно с периода Киевской Руси. Наиболее древними ее памятниками, известными нам, являются «Слово о законе и благодати» Илариона (первая половина XI века), «Сказание» и «Чтение» о Борисе и Глебе, «Хожждение» игумена Даниила, «Повесть временных лет», «Поучение» Владимира Мономаха, возникшее в XI—начале XII века. Все это хорошо известные произведения, большинство из которых занимают видное место в истории мировой литературы средневековья.

Естественно обратить внимание на такой вопрос: возможно ли появление столь совершенных для своего времени произведений в самом начальном периоде литературного развития восточных славян? Конечно, нет. Без подготовительного, причем более или менее длительного, периода развития художественной письменности возникновение таких памятников невозможно. Безусловно, большую роль в их появлении после крещения Руси сыграл процесс «трансплантации» на русскую почву византийской литературы, а также достижений «древнеславянской литературы-посредницы» (в основном древнеболгарской), ¹⁴ однако только этим объяснить данное явление никак нельзя, ибо без учета местных, национальных традиций создание столь оригинальных и своеобразных произведений высокого идейно-художественного уровня остается неразрешимой загадкой. Следовательно, уже гипотетически напрашивается вывод о том, что истоки литературы восточных

¹⁴ См.: Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков. Эпохи и стили. Л., 1973, с. 15—23, 23—39.

славян кроются в более ранних временах. XI век и первые десятилетия XII века — это не начало, а уже один из периодов расцвета литературы Киевской Руси.

Уместно напомнить данные Паннонского жития Кирилла о том, что в середине IX века этот известнейший из «первоучителей» славян «обрете» в Корсуне (в Крыму), где издавна жило немало восточных славян, Евангелие и Псалтырь, «русьскими письменъ» (письменами, буквами) писанные. Здесь же он и «человека обрет», говорившего «тою беседою», на которой были написаны эти корсунские книги, т. е. на древнерусском (древневосточнославянском) языке. Понятно, что перевести на русский (от слова «Русь») язык столь сложные книги, как Евангелие и Псалтырь, невозможно без определенных местных литературных традиций. Если так, то они, оказывается, уже были на Руси в IX веке, — значит, уже тогда были у нас (очевидно, еще немногочисленные) не только переводные, но и оригинальные образцы художественной письменности.

Пусть данные о корсунских книгах (Евангелии и Псалтыри) косвенные (эти книги не сохранились), но снимать их со счетов никак нельзя. (Ведь труды Кирилла и Мефодия тоже не сохранились, что отнюдь не ставит под сомнение важность их дела). Тем более что сведения о корсунских книгах связаны с именами и «деяниями» прославленных славянских просветителей и имеются во всех списках Паннонского жития Кирилла и его брата Мефодия.

Важно учесть то, что в IX—X веках на Руси были известны произведения религиозного характера не только (и не столько) христианского, но и языческого содержания, о чем говорится в некоторых арабских письменных источниках. Так, географ Масуди (умер в 956 году) утверждает в «Золотых дугах», что сам видел в одном из русских языческих храмов (капищ) написанное на камне пророчество.¹⁵ А такие древние произведения, как известно, относятся к художественной письменности.

Как уже отмечалось, языческая литература Руси не сохранилась до нашего времени, главным образом из-за гонений христианской церкви, которая рьяно уничтожала языческие «письмена». Однако отдельные языческие элементы как средства художественной выразительности были восприняты позднейшей литературой, главным образом светской, например «Словом о полку Игореве». Не случайно К. Маркс, говоря об этом гениальном произведении Киевской Руси, отметил: «Вся песнь носит героически-христианский характер, хотя языческие элементы выступают еще весьма замет-

но».¹⁶ Правда, в этом произведении трудно отличить языческие веяния фольклора от языческо-литературных, но наличие их несомненно. Такие произведения, как «Слово», подтверждают определенную преемственную связь литературы Киевской Руси христианского и языческого периодов.

К языческим временам относятся и начала древнерусского летописания. Оно возникло в связи с появлением чувства патриотизма, гордости за свою землю, в связи с желанием знать ее прошлое, чтобы полнее осмыслить и понять настоящее. Вначале появлялись разрозненные записи более или менее видных событий прошлого и настоящего в различных местах Руси. Позднее такие записи стали объединяться в летописные своды, в которых давались сведения о прошлом всей Русской земли.

О. В. Творогов отмечает, что «возникновение письменности позволило зафиксировать устные исторические предания и побудило в дальнейшем в письменном виде регистрировать все важнейшие события своего времени. Так возникло летописание».¹⁷ Конечно, причины его возникновения объясняются не столько возникновением письменности, сколько, как уже сказано, появлением патриотических чувств у русов (русинов, русичей), но то, что в первую очередь были зафиксированы устные исторические предания и другие подобные фольклорные материалы, не вызывает сомнений. Как свидетельствует материал летописных сводов, они были письменно закреплены в измененной форме, но до конца не лишились художественных признаков и достоинств. Таким образом, уже первые летописные записи в ряде случаев имели не только историческое, но и литературное значение. «Именно летописи было суждено на несколько веков, вплоть до XVII в., стать не простой погодной записью текущих событий, а одним из ведущих литературных жанров. . .»¹⁸

Возникновение письменности на Руси еще в дохристианский период (причем задолго до ее официального крещения) позволяет к этому же времени отнести и начало литературного развития восточных славян, проявившееся прежде всего в летописании.¹⁹ О его характере можно судить только по позднейшим записям, так как «летописец или хронист не мог излагать все события по собственным впечатлениям и наблюдениям», а по-

¹⁶ К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве, в 2-х т., т. 1. М., 1976, с. 487.

¹⁷ История русской литературы X—XVII веков, с. 61.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Более подробно об этом см.: *Орхменко П. П. Об истоках письменности и литературы на Руси. — Русский язык и литература в школах УССР, 1981, № 4, с. 58—64.*

¹⁵ История культуры древней Руси. Домонгольский период, т. II. М.—Л., 1951, с. 136.

этому «вынужден был обращаться к существовавшему до него источникам, повествующим о более древних временах».²⁰ Такие источники вошли в летописные своды.

Надо помнить, что наиболее древние летописные своды не сохранились. Древнейшим из дошедших до нас является свод, известный под названием «Повесть временных лет», возникший, как доказано рядом авторитетных исследователей, на основе предыдущих сводов.²¹ В свою очередь самые древние летописные своды слагались из разрозненных записей, по всей вероятности, преимущественно погодных. Это подтверждается материалом «Повести временных лет», в которой, по выражению Д. С. Лихачева, «отложилась работа поколений русских книжников».²²

А. А. Шахматов утверждает, что первый летописный свод — Древнейший Киевский — был составлен в конце 30-х годов XI века. За ним последовало еще несколько сводов, которые и подготовили почву для «Повести временных лет», возникшей в начале XII века. Конечно, эти выводы «в той или иной мере гипотетические».²³ Не исключена возможность существования и более ранних летописных сводов. Так, Б. А. Рыбаков появление первого киевского летописного свода относит к концу X века, а предшествующие погодные записи — к его второй половине. И это вполне правдоподобно, ибо известно, например, что в составе посольства княгини Ольги в Византию (956 год) находился и ее летописец Григорий.

Нельзя не обратить внимания на то, что в «Повести временных лет» запись по годам начинается с середины IX века. До этого идет «сплошной» рассказ о событиях, касающихся мировой истории и Русп. Только с 852 (6360) года более или менее последовательно выдержки-

вается датировка, вплоть до начала XII века.²⁴

Следует подчеркнуть: если бы не было более ранних письменных источников, в том числе записей по годам, то авторы летописных сводов не только XII, но и середины XI и даже конца X века не смогли бы датировать события начиная с середины IX века, ибо нельзя удерживать в памяти и по памяти передать такую массу фактов по годам в течение полутора—двух столетий.

Однако возникает вопрос: какие источники летописного характера предшествовали появлению первых русских сводов, в том числе «Повести временных лет», и были ими использованы — местные или иностранные? В существовании последних сомневаться не приходится — до начала древнерусского летописания довольно широкую известность уже приобрели византийские хроники, излагавшие мировую историю. Разумеется, ими, как и другими источниками иностранного происхождения, в ряде случаев пользовались летописцы Руси, однако, как отмечает О. В. Творогов, «византийские хроники... были использованы русскими книжниками отнюдь не на начальном этапе развития русского летописания».²⁵ Так, под первым указанным в «Повести временных лет» 852 годом излагаются в основном исторические факты местного значения: «А от первого года царствования Михаила до первого года княжения Олега, русского князя, 29 лет, а от первого года княжения Олега, потому что он сел в Киеве, до первого года княжения Игоря 31 год, а от первого года княжения Игоря до первого года Святослава 33 года, а от первого года княжения Святослава до первого года Ярополкова 28 лет; а княжил Ярополк 8 лет, а Владимир княжил 37 лет, а Ярослав 40 лет. Таким образом, от смерти Святослава до смерти Ярослава 85 лет; от смерти же Ярослава до смерти Святополка 60 лет». Ясно, что здесь использованы местные источники, в том числе погодные записи. Ведь столь точных и подробных сведений о князьях Руси в хрониках нет. Они могли быть почерпнуты только из летописных записей, сделанных в Русской земле, причем в свое время, т. е. еще в языческие времена, о чем свидетельствует их точность и достоверность, что возможно только при условии фиксации фактов «по живым следам».

И уж никакого сомнения нет в местном происхождении записей, использованных в «Повести временных лет» (или предшествующих ей летописных сводах) и данных под 859, 862, 883, 884,

²⁰ История русской литературы X—XVII веков, с. 62.

²¹ Шахматов А. А. 1) Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908; 2) Повесть временных лет, т. I. Пгр., 1916; 3) «Повесть временных лет» и ее источники. — ТОДРЛ, т. IV, 1940; *Истрин В. М.* Замечания о начале русского летописания. — ИОРЯС, 1923, т. XXVI, 1924, т. XXVII; *Приселков М. Д.* История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940; *Лихачев Д. С.* Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.—Л., 1947; *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь. Сказания. Былны. Летописи. М., 1963; *Творогов О. В.* «Повесть временных лет» и Начальный свод. (Текстологический комментарий). — ТОДРЛ, т. XXX, 1976.

²² История культуры древней Руси, т. II, с. 187.

²³ *Гудзий Н. К.* Указ. соч., с. 51.

²⁴ Эта датировка в ряде случаев требует уточнений: *Бережков Н. Г.* Хронология русского летописания. М., 1963.

²⁵ История русской литературы X—XVII веков, с. 62.

885 и многими другими позднейшими годами. Под 859 годом в «Повести временных лет» сообщается, что «варяги из заморья взимали дань с чуди, и со славян, и с мери, и со всех кривичей. А хозары брали с полян, и с северян, и с вятичей по серебряной монете и по белке с дыма». Под 862 годом говорится о том, как русы «изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть. . .» Под 883 годом имеется заметка о том, как «начал Олег воевать против древлян и, покоров их, брал дань с них по черной кунице». Под последующими годами сообщается о том, как Олег запретил северянам и радимичам платить дань хозарам, причем записи эти имеют литературную окраску — в них передается прямая речь князя («Послал Олег к радимичам, спрашивая: „Кому даете дань?“ Они же ответили: „Хозарам“. И сказал им Олег: „Не давайте хозарам, но платите мне. . .“»).

Понятно, что подобные записи, появившиеся позднее в летописные своды, возникли на Руси в виде разрозненных письменных сведений, в том числе историко-литературного характера, причем вскоре (если не сразу же) после описываемых событий. А события эти относятся к IX веку, когда на Руси уже была довольно развитая письменность и даже появились переводные произведения. Вполне закономерно напрашивается вывод о том, что в это время у восточных славян имелась уже и оригинальная художественная письменность, причем не только религиозно-языческая, но и светская, в особенности в виде летописных записей. Об их характере свидетельствуют многие рассказы первой части «Повести временных лет».

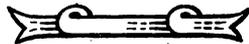
Как известно, древние летописи относятся не только к историческим, но и к литературным памятникам. Первые летописцы не имели в своем распоряжении достаточного количества фактического материала (договоров, грамот и других документальных данных), поэтому они часто обращались к вспомогательным источникам — к фольклору и литературе, заполнявшим многие пробелы. Этот ху-

дожественный материал соответственно обрабатывался и препарировался, в особенности авторами летописных сводов, в большинстве случаев монахами, которые везде пытались уничтожить следы язычества. Поэтому трудно установить, что именно из языческой письменности проникло в древние летописные своды; то же, что обнаруживает ее следы, далеко не всегда поддается точному генетическому определению и обычно огульно причисляется к фольклорным влияниям языческого времени.

Как бы то ни было, ясно одно: на Руси художественная письменность существовала еще в языческие времена. Истоки литературы восточных славян, как свидетельствуют письменные источники и состав «Повести временных лет», а также некоторые косвенные данные, начинаются в крайнем случае с IX века. В это время окончательно сформировавшаяся в мощное государство Киевская Русь находилась в полосе культурного подъема, о чем говорят пусть скудные, но убедительные факты.

Сказанное подтверждается дальнейшим культурным развитием Руси. Уже в XI—начале XIII века ее литература достигла такого развития, что вошла полноправной составной частью в мировой литературный процесс своего времени. Ее лучшие произведения во главе со «Словом о полку Игореве» отличаются идейно-художественной самобытностью и жанровой оригинальностью, что свидетельствует о живучести предшествующих местных литературных традиций, идущих еще от языческих времен, которые в известной мере оплодотворили литературное развитие Руси христианского периода.

Итак, хронологические рамки литературы Киевской Руси, в ряде случаев безосновательно сужаемые в последнее время, следует значительно расширить. Эти рамки охватывают, если учесть истоки нашей художественной письменности, не XI—начало XII века и даже не XI—начало XIII века, а примерно IX—первую половину XIII века.



К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУРЫ КИЕВСКОЙ РУСИ

Литература Киевской Руси — общая литература всех восточных славян. Поэтому ее изучение так важно для понимания истоков и путей развития литературно-наследия — русской, украинской и белорусской. Однако далеко не все проблемы, связанные с начальным периодом истории восточнославянских литератур, разработаны с достаточной глубиной, не по всем из них имеется общая точка зрения. Именно поэтому так важны вопросы, поднятые в статье П. П. Охрименко «О хронологических рамках литературы Киевской Руси», публикуемой в настоящем номере.

Термин «литература Киевской Руси» стал уже традиционным. Думается, что это определение литературы XI—XIII веков наиболее приемлемо. Хотя оно соотносится с исторической периодизацией, но удачно подчеркивает принадлежность литературы единой восточнославянской народности в период существования единого государства — Киевской Руси — и в последующие полтора столетия, когда это государство распалось на ряд независимых княжеств. Последнее обстоятельство привело к тенденции выделять в истории литературы XI—XIII веков два периода. При этом в оценке взаимоотношений этих периодов и в их терминологическом обозначении обнаруживается немало различий.

Так, в «Истории украинской литературы», вышедшей в 1954 году, первая глава называется «Литература древней Руси (до конца XIII в.)», но в главе этой (написанной Н. К. Гудзем) в особый раздел выделена литература XII—XIII веков как литература «периода феодальной раздробленности», хотя автор тут же подчеркивает, что «литература феодально-раздробленной Руси XII—XIII вв. следует рассматривать как продолжение и развитие» «культурных традиций Киевской Руси».¹

В новой академической «Истории украинской литературы» в одной главе «Литература Київської Русі» рассматривается литература от ее возникновения до первой половины XIII века включительно.²

В трехтомной «Истории русской литературы» литература Киевской Руси рассматривается в трех главах: «Литература конца X—первой половины XI века. Появление первых русских и переводных литературных произведений», «Литература второй половины XI—первой четверти XII века. Развитие оригинальных русских жанров, углубление связей литературы с русской действительностью» и «Литература второй четверти XII—первой четверти XIII века. Рост местных литературных центров. Критическое отношение прогрессивной литературы к феодальному дроблению страны и отражение идеи единства Руси».³

Той же периодизации придерживается и В. В. Кусков, предлагая выделять «начальный период формирования древнерусской литературы (X—первая половина XI в.), литературу Киевской Руси (середина XI—первая треть XII столетия), литературу периода феодальной раздробленности (вторая треть XII—первая половина XIII в.)».⁴

В «Истории древней русской литературы» Н. К. Гудзия имеется глава «Литература Киевской Руси» без указания на хронологические рамки. Следующая глава называется «Литература периода феодальной раздробленности XIII—XIV вв.», из чего можно заключить, что границей литературы Киевской Руси Н. К. Гудзий считал XIII век.⁵

В учебном пособии «История русской литературы X—XVII веков» первая глава названа «Литература XI—начала XIII в.», хотя в тексте употребляется и термин «литература Киевской Руси».⁶ В разделе, посвященном периодизации истории древней русской литературы, предлагается различать два периода: «относительного единства литературы» (XI—начало XII века) и «период появившихся новых

³ История русской литературы, т. I. М.—Л., 1958 (далее: История русской литературы).

⁴ Кусков В. В. История древнерусской литературы. Изд. 4-е, испр. и доп. М., 1982, с. 22—24.

⁵ Гудзий Н. К. История древней русской литературы. Изд. 7-е, испр. и доп. М., 1966, с. 49—174.

⁶ История русской литературы X—XVII веков. Под ред. Д. С. Лихачева. М., 1980, с. 59, 61, 107.

¹ История украинской литературы, т. I. Киев, 1954, с. 27.

² История української літератури, т. I. Київ, 1967, с. 15—152.

литературных центров» (середина XII—первая треть XIII века), однако при этом подчеркивается, что «целый ряд общих черт этих двух периодов позволяет нам рассматривать оба периода в их единстве (особенно принимая во внимание сложность датировки некоторых переводных и оригинальных произведений)».⁷

Наконец, в первом томе четырехтомной «Истории русской литературы» мы опять-таки видим главы: «Литература Киевской Руси. X—начало XII века» и «Литература периода феодальной раздробленности XII—первой четверти XIII века».⁸

Итак, налицо разногласия в определении периода начиная с первой четверти (или трети) XII века и до начала монголо-татарского нашествия: рассматривать ли его в рамках литературы Киевской Руси, или выносить за ее пределы, считать особым периодом?

Задумаемся над тем, насколько правомерно разделение литературы XI—XIII веков на два периода.

Процесс феодального дробления начался на Руси по сути дела уже после смерти Ярослава Мудрого (1054 год), когда, согласно завещанию князя, Русь была поделена между его сыновьями. Но иногда страна обретала большую консолидацию, и власть великого князя киевского как бы стягивала к единому центру все княжеские уделы. Так, в начале XII века «при Владимире и его сыне Мстиславе Киев снова стал на некоторое время политическим центром большого феодального государства». Но это положение, пишет далее Б. Д. Греков, длилось очень недолго: «К середине XII века (особенно во второй его половине) процесс укрепления и обособления новых политических центров, с одной стороны, и ослабления Киева — с другой, пошел настолько далеко, что Киев окончательно не только перестал быть стольным городом большого, хотя и непрочного государства, но оказался и не на первом месте среди городов других княжеств».⁹ К периоду с конца XI до середины XII века относят окончательный распад Киевской Руси на независимые уделы и другие историки.¹⁰

Все это верно. Но этот исторический рубеж не стал, думается, столь же четким рубежом в развитии древнерусской литературы: создание новых литературных центров в удельных княжествах, о котором часто говорят в этой связи, было процессом постепенным и самым тесным образом связанным с традициями основных литературных центров предыдущего периода — Киева и Новгорода. Особенно значительна (или, быть может, лучше изучена) роль Киева. Б. Д. Греков вслед за процитированными выше словами об ослаблении Киева пишет: «Но в глазах народа всей Руси он (Киев, — О. Т.) по-прежнему занимал центральное место как символ недавнего величия древнерусского государства».¹¹ «Во второй половине XII века военное могущество Киева пало очень низко, однако духовная, культурная власть его над страной оставалась необыкновенно сильной», — пишет об этом же периоде Д. С. Лихачев. Он подчеркивает, что «самой замечательной особенностью литературы было то сознание национального, политического и культурного единства, которое было свойственно всем произведениям Киевской Руси без исключения».¹²

Литературные памятники Киевской Руси подтверждают этот взгляд. Вспомним «Слово о полку Игореве», в котором киевский князь Святослав предстает перед нами в ореоле великого князя Русской земли, хотя реальный князь Святослав не обладал ни могуществом, ни авторитетом, которые приписывает ему автор «Слова». А о чем говорят призывы, обращенные к удельным князьям — Всеволоду Суздальскому, Давиду Смоленскому, Роману Волыньскому, Ярославу Галицкому, как не о желании видеть всех русских князей в согласии оберегающими «землю Русскую!» Как убедительно показал А. Н. Робинсон, этот термин в конце XII века был отнесен чаще всего именно к южнорусским княжествам.¹³ Звать Всеволода Большое Гнездо на защиту Русской земли через полтора десятилетия после того, как его брат Андрей Боголюбский осаждал Киев и руководил его разгромом, можно было только при условии, что автор «Слова» оценивал эти события как междоусобицу в рамках единого государства, каким бы номинальным ни было это единство. Так воспринимал Русскую землю автор конца XII века.

Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. М., 1982, с. 5, 469).

⁷ Там же, с. 7 (раздел написан Д. С. Лихачевым).

⁸ История русской литературы в 4-х т., т. I. Древнерусская литература. Литература XVIII века. Л., 1980, с. 19—89.

⁹ Греков Б. Д. Киевская Русь. — В кн.: Греков Б. Д. Избр. труды, т. II. М., 1959, с. 403—404.

¹⁰ Так, Л. В. Черепнин датировал начало периода феодальной раздробленности концом XI или началом XII века (см.: Черепнин Л. В. Вопросы методологии исторического исследования. М., 1981, с. 102, 105, 126). Б. А. Рыбаков указывает, что Киевская Русь просуществовала до 1130-х годов (Рыбаков Б. А.

¹¹ Греков Б. Д. Указ. соч., с. 404.

¹² Лихачев Д. С. Слово о Киеве. — Русская литература, 1982, № 2, с. 5.

¹³ Робинсон А. Н. «Русская земля» в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, т. XXXI, 1976. См. также: Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв., с. 56—67.

Но задумаемся над чисто литературной стороной вопроса. Можем ли мы указать на такие принципиальные различия литературных традиций или ориентаций в отдельных областях Руси, которые явились последствием ее расчленения на политически-автономные уделы? Скорее напротив, мы можем приводить многочисленные примеры тесных связей и взаимных влияний разных литературных центров. Д. С. Лихачев выдвинул интересную гипотезу о том, что галицкие книжники, сопровождавшие в поездке митрополита Кирилла II (выходца из Галицкой Руси), познакомили здешних книжников с литературными традициями и приемами своей земли и что не без их влияния создается «Житие Александра Невского». ¹⁴ Разве не с киевского оригинала был переписан в Твери в XIII—XIV веках список «Хроники Георгия Амартола»? Откуда произошли оригиналы рукописей упоминаемой в летописях обширной библиотеки Кирилла Ростовского, ¹⁵ среди которых, как полагают, был знаменитый Успенский сборник XII—XIII веков с древнейшими списками житий Бориса и Глеба и Феодосия Печерского, ¹⁶ Златоструй и другие рукописи? Откуда попал в Ростов греческий текст Жития Нифонта Константинопольского, с которого был сделан в 1219 году его перевод? Примеры подобного рода можно множить и множить.

Поставив вопрос об областных литературах, по каким принципам станем мы «делить» литературное наследие XII—XIII веков? Разве можно «Слово о полку Игореве» считать произведением «киевским», «черниговским», «галицким» в зависимости от того, киевлянином, черниговцем или галичанином посчитает тот или иной исследователь его автора? Было ли местным, туrowsким творчеством Кирилла, ставшего авторитетнейшим писателем всей Русской земли на долгие столетия? Куда — к киевской или владими́ро-суздальской литературе — отнести Киево-Печерский патерик, родившийся из переписки владими́рского епископа Симона с киево-печерским монахом Поликарпом? ¹⁷ Куда отнести читающуюся

в Ипатьевской летописи повесть об убийстве Андрея Боголюбского, авторами которой называли и Кузьмищу Киянина, и попа Миккулу, священнослужителя Владимирского Успенского собора?

Все эти вопросы уже вставали перед исследователями. Д. С. Лихачев, отметив, что в произведения периода феодальной раздробленности «больше и интенсивнее проникают местные черты (языка, стиля, местных интересов и местного патриотизма)», делает, однако, оговорку, что «сильнее всего местные особенности сказываются в летописании». ¹⁸ Достаточно вспомнить хотя бы стремление владими́рских летописцев подчеркнуть «избранность» своего княжества, доказать, что «Владимир — новый центр Русской земли, сменивший древнюю столицу Руси Киев», ¹⁹ ограниченность интересов летописцев юго-западной Руси по преимуществу судьбой Галицко-Волынской земли и сопредельных государств и уделов, подчеркнута «местный» характер новгородского летописания и т. д. Но при этом, продолжает Д. С. Лихачев, «не могут быть отнесены к какой-либо местной, областной литературной школе... произведения двух выдающихся писателей XII века — Кирилла Туровского и Климента Смолятича»; общерусскими произведениями являются «Слово о полку Игореве» и Киево-Печерский патерик. ²⁰ Таким образом, даже будучи принятым, принцип выделения областных литератур неизбежно требует различных ограничений и оговорок.

Обратим внимание еще на одно чрезвычайно важное обстоятельство: памятники литературы XI—XIII веков! объединяет их принадлежность [к единому стилю — стилю монументального историзма. ²¹ И это также настоятельно требует рассматривать весь период истории русской литературы от ее возникновения и до монголо-татарского нашествия как единый, отказаться от основанного на чисто исторической периодизации выделения «литературы периода феодальной раздробленности». Киевская литература оставалась в целом единой до середины XIII века. Лишь Батыево нашествие, уничтожив полностью духовного автори-

¹⁴ Лихачев Д. С. Галицкая литературная традиция в житии Александра Невского. — ТОДРЛ, т. V, 1947.

¹⁵ Первые вопросы об этой библиотеке был поставлен в статье: Соболевский А. И. Остатки библиотеки XIII века. — Библиограф, 1889, № 6—7, с. 144—145.

¹⁶ О месте создания кодекса идут споры. И. В. Ягич указывал на южно-русское его происхождение; А. И. Соболевский то примыкал к этой точке зрения, то высказывался за написание рукописи в Ростове (см.: Успенский сборник XII—XIII вв. Издание подг. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971, с. 25—26).

¹⁷ В. В. Куков рассматривает твор-

чество Кирилла Туровского, Модесты Даниила Заточника и Киево-Печерский патерик в разделе «Областные литературы» (см.: Куков В. В. Указ. соч., с. 113—125).

¹⁸ История русской литературы, с. 89.
¹⁹ Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.—Л., 1947, с. 279.

²⁰ История русской литературы, с. 110, 113, 130.

²¹ См.: Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и эстетические представления его времени. — В кн.: Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978, с. 40—74.

тета Киева, все же настолько подорвало культурное развитие Южной Руси, что там на какой-то период, вероятно, превралась активная литературная деятельность (если не считать Галицко-Волынской Руси, разумеется). Возрождение ее началось уже в новых условиях, и это было началом новой литературы — литературы украинской народности, воскресившей и по-новому продолжившей традиции литературы Киевской Руси.²²

Если бы не устойчивая традиция, которую трудно разрушить, следовало бы называть именно литературу Киевской Руси древнерусской, а затем говорить уже о трех литературах: собственно русской, украинской и белорусской.²³ Но этот вопрос может быть обсужден и решен совместными усилиями ученых, занимающихся историей каждой из названных литератур.

* * *

Обратимся теперь к вопросу о времени возникновения древнерусской литературы, разделив его в свою очередь на три проблемы: письменность и литература, причины и обстоятельства возникновения литературы и рубеж, начиная с которого мы можем изучать конкретные памятники Киевской литературы.

Начнем с первого вопроса: что известно нам о времени возникновения письменности в древней Руси?

За отправную точку, от которой мы двинемся в глубь веков, примем середину XI века. В 1056—1057 годах, как явствует из записи писца, было написано Остромирово евангелие. Ко второй половине XI века относятся и другие датированные рукописи: Изборник Святослава 1073 года, Изборник 1076 года, Архангельское евангелие 1092 года, новгородские служебные минеи 90-х годов XI века. Палеографы и языковеды относят к XI веку также Путятину минею,²⁴

Пандекты Антioxа Черноризца, Синайский патерик, Слова Григория Богослова — все эти обширные фолианты разнообразного содержания и различного назначения (помимо книг богослужебных, мы находим среди них и книги четьи, т. е. предназначенные для домашнего чтения) свидетельствуют о том, что дошедшие до нас рукописи — лишь весьма малая часть обширного книжного фонда, существовавшего в то время на Руси, и о том, что запись писца Остромирова евангелия, древнейшее прямое свидетельство о времени написания древнерусской книги, — лишь показатель того, как мало книг уцелело от первого века существования древнерусской литературы.²⁵

Но косвенные свидетельства, при этом достаточно надежные, позволяют отодвинуть границу распространения письменности на Руси еще на полтора столетия.

Во-первых, принятие христианства в конце X века потребовало наличия и функционирования большого числа богослужебных книг и немалого числа грамотных церковнослужителей: без этого не могло совершаться богослужение. Но христиане были на Руси и до официального принятия новой веры. Христианкой была княгиня Ольга, и во время ее посещения Константинополя ее сопровождал священник Григорий.²⁶ В тексте договора Игоря с Византией, заключенного в 945 году, прямо указано на наличие в княжеском окружении христиан («Мы же, елико насъ хрестилися смы») и на распространение новой веры также в других слоях общества («Аще ли же кто от князя или от людей русских, ли хрестеянъ, или не хрестеянъ, преступитъ се. . .»); упоминалась соборная церковь Ильи в Киеве.²⁷

Однако распространение письменности мы можем связывать не только с распространением христианства. О существовании письменных документов в княжеской канцелярии в самом начале X века говорит нам договор Олега с ви-

²² См. посвященный этой проблематике сборник: Літературна спадщина Київської Русі і українська література XVI—XVIII ст. Київ, 1981.

²³ Д. С. Лихачев в своей статье «Слово о Киеве» специально подчеркивает, что «под словом „древнерусский“ . . . мы имеем в виду принадлежность Руси — общей восточнославянской народности в хронологических пределах примерно до середины XIII века» (с. 3), и употребляет в статье архаичное написание «руський», чтобы показать отличие этого термина от термина «русский» в широком его значении.

²⁴ В этом памятнике обнаружены архаические черты, позволяющие считать его «одной из наиболее ранних рукописей этого века» (Марков В. М. К истории редуцированных гласных в русском языке. Казань, 1964 с. 7).

²⁵ Делались попытки подсчитать примерное количество книг (рукописных кодексов), существовавших в Киевской Руси. Б. В. Сапунов полагает, что «уцелели только доли процента бывшего книжного богатства Руси XI — середины XIII в.»; общее количество книг, по его оценке, определяется в пределах от 31.5 до 130 тысяч томов (Сапунов Б. В. Книга в России в XI—XIII вв. Л., 1978, с. 29, 82).

²⁶ О приеме Ольги в Константинополе рассказано в сочинении византийского императора Константина Багрянородного «О церемониях византийского двора» (см.: Леаченко М. В. Очерки по истории русско-византийских отношений. М., 1956, с. 217—222).

²⁷ Повесть временных лет, ч. I. М.—Л., 1950, с. 38, 39.

зантийскими императорами Львом, Александром и Константином, заключенный в 911 году.²⁸ Прежде всего, он был написан «на двою харью», т. е. составлен на двух языках — греческом и славянском.²⁹ Но важно и другое: в тексте договора упоминается практика составления записей («кому будет писал наследити имѣние его»).³⁰ Иными словами, знакомство с грамотой и наличие грамотных людей на Руси в начале X века не подлежит сомнению.

Что же касается сведений о существовании письменности в более ранний период, то они слишком неопределенны. Часто ссылаются на свидетельства арабских путешественников и географов, но из них не ясен ни характер письма (был ли это связанный текст, или «черты и резы», или пиктографическое письмо), ни этническая принадлежность той народности, с которой имели дело или о которой слышали арабские авторы.³¹ Кроме того, большинство этих свидетельств относится к X—XI векам, к времени, в которое, как мы видели, письменность бесспорно существовала.

Стоит задержаться подробнее еще на одном свидетельстве, которое приводило некоторых исследователей к мысли о существовании у восточных славян «докириллической» письменности. В Житии Константина—Кирилла — создателя славянской письменности — рассказывается, как он посетил Херсонес (в Крыму), научился здесь еврейскому языку, а затем, с божественной помощью, смог прочесть и понять самаритянские книги. После этого, рассказывает далее в «Житии», Константин «нашел... евангелие и псалтирь, написанные русскими пись-

менами, и человека нашел, говорящего на том языке, и беседовал с ним, и понял смысл этой речи, и, сравнив ее со своим языком, различил буквы гласные и согласные, и, творя молитву богу, вскоре начал читать и излагать <их>, и многие удивлялись ему, хваля бога».³²

Нет возможности в данной статье высказывать какую-либо точку зрения на интерпретацию этого загадочного места в «Житии» — ему посвящена обширная научная литература.³³ Некоторые исследователи (П. Я. Черных, В. А. Истрин, Е. Георгиев и др.) увидели в этом фрагменте свидетельство существования докириллической восточнославянской письменности. Но более вероятными представляются другие мнения. Так, А. Вайян, а вслед за ним Р. Якобсон, основываясь на известных случаях написания «руси» вместо «сури» (сирийцы) и подобных, предположили, что в данном тексте первоначально речь шла не о русском, а о сирийском («сурьском») письме.³⁴ Для этой гипотезы есть ряд оснований. Во-первых, все списки «Жития» — поздние (не старше XV века) и в большинстве своем русские по происхождению. Во-вторых, о «русских письменах» говорится после рассказа о том, как Константин освоил восточные языки — еврейский и самаритянский. Упоминание вслед за этим сирийского языка весьма вероятно, тем более что в проложном «Житии» Константина говорится, что он знал сирийский язык. Существенно и следующее: «Константину, чтобы научиться читать „русские“ книги, пришлось усвоить различие письмен, гласная и съгласная, т. е. такой алфавит, который отличался от греческого в передаче гласных и согласных, что и было характерно для древнеарамейских алфавитов».³⁵ Внимание к различию гласных и согласных также убеждает нас в том, что речь идет о какой-то восточной письменности, где гласные обозначались особыми знаками. Все эти соображения привлекли к гипотезе А. Вайяна и Р. Якобсона многих сторонников.

Отметим при этом, что защитники мнения о «докириллическом» восточнославянском письме должны учитывать такой немаловажный факт: речь идет не только о записи «русскими буквами», но

²⁸ Не касаемся вопроса о соотношении договоров 907 и 911 годов и того, был ли текст договора, вошедший в летописную статью 911 года, идентичен в какой-то части договору 907 года. См. об этом: Сахаров А. И. Дипломатия древней Руси. IX—первая половина X в. М., 1980, с. 84—180.

²⁹ Исследователи (Н. А. Лавровский, С. П. Обнорский, Л. П. Якубинский и др.) убедительно доказали, что существовал славянский текст договора. Обзор истории вопроса и ценные суждения о языке договоров см. в кн.: Ларин Б. А. Лекции по истории русского литературного языка (X—середина XVIII в.). М., 1975, с. 24—52.

³⁰ См.: Повесть временных лет, с. 28.

³¹ Из последних работ на эту тему см.: Новосельцев А. П. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI—IX вв. — В кн.: Новосельцев А. П., Пашуто В. Т., Черепнин Л. Б., Шушарин В. П., Шапов Я. Н. Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965; Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв., с. 172—234.

³² Цитирую текст в научном переводе Б. Н. Флора по кн.: Сказания о начале славянской письменности. М., 1981, с. 77—78.

³³ См., например: Можая И. Е. Библиография по Кирилло-Мефодиевской проблематике 1945—1974 гг. М., 1980, с. 14—16.

³⁴ См. подробнее: Иванова Т. А. Еще раз о «русских письменах». (К 1100-летию со дня смерти Константина—Кирилла). — Советское славяноведение, 1969, № 4, с. 74.

³⁵ Там же, с. 75.

о переводе христианских книг с греческого на славянский, что требует высокой филологической культуры в сочетании с богословской подготовкой. Этими качествами обладали Константин, Мефодий и их ученики. Но есть ли основания приписывать не только изобретение алфавита, но и переводы сложных текстов безвестным восточнославянским книжникам IX века? К тому же древнерусская традиция без каких-либо оговорок считает создателями алфавита именно Константина и Мефодия. Наконец, последнее. Давно уже было обращено внимание на такой факт. В том же «Житии» Константина ему приписываются следующие слова (цитирую в переводе Б. Н. Флори): «Мы же знаем многие народы, что владеют искусством письма и воздают хвалу богу каждый на своем языке. Известно, что таковы: армяне, персы, абхазы, грузины, согдийцы, готы, авары, турки, хазары, арабы, египтяне, сирийцы и иные многие».³⁶ Славян в этом перечне нет.

Словом, перед нами загадочный и неясный текст, допускающий различные объяснения. И использовать его как отправной пункт для доказательства наличия на Руси IX века «определенных местных литературных традиций» и того, что «уже тогда были у нас (очевидно, еще немногочисленные) не только переводные, но и оригинальные образцы художественной письменности», как это предлагает П. П. Охрименко (см. с. 115), у нас нет никаких оснований.

Вернемся, однако, к вопросу о древнерусской письменности. Исследователи пытаются составить хотя бы самое приблизительное представление об уровне грамотности в Киевской Руси. Бесценным материалом оказались находки надписей на ремесленных изделиях, граффити на стенах церквей и особенно берестяных грамот. «Первый существенный результат открытия берестяных грамот, — пишет В. Л. Янин, — установление замечательного для истории русской культуры явления: написанное слово в новгородском средневековом обществе вовсе не было диковиной. Оно было привычным средством общения между людьми, распространенным способом беседовать на расстоянии, хорошо осознанной возможностью закреплять в записях то, что не может удержаться в памяти».³⁷ «Уже само количество найденных грамот поразительно и способно навсегда зачеркнуть миф об исключительной редкости грамотных людей в древней Руси».³⁸ — продолжает В. Л. Янин, но задается справедливым вопросом: а не могло ли большинство грамот быть написанным

профессионалами-писцами по просьбе их многочисленных неграмотных клиентов? Однако против этого предположения выступает обилие найденных писем — инструментов для письма. «Таких писем, — указывает исследователь, — на Неревском раскопе (в Новгороде, — О. Т.) найдено свыше семидесяти. Далекий предок современной авторучки... был не редким предметом... И можно думать, что семьдесят писем потеряно на Великой улице профессиональными писцами, приходившими написать или прочесть письмо. Они потеряны людьми, жившими здесь и писавшими свои письма без посторонней помощи».³⁹ В заключение приведем сведения о хронологии грамот: из 394 грамот, обнаруженных на Неревском раскопе, 7 найдено в слоях XI века, 50 — в слоях XII века, 99 — XIII века.⁴⁰

Итак, письменность была известна на Руси по крайней мере с начала X века, а в XI—XII веках грамотных людей (по средневековым нормам, разумеется) было не так уж мало. Однако распространение грамотности отнюдь не свидетельствует о существовании также и литературы.

Нужно решительно подчеркнуть, что между письменностью и литературой — огромная и принципиальная разница, не всегда легко ощущаемая людьми нового времени.

Существование и даже более или менее широкое распространение письменности в античном и средневековом обществе не означало столь же широкого распространения литературы. К письму, как мы видели, могли прибегать в различных ситуациях и с различными целями. Письмо было необходимо как способ составления документов, способ юридического закрепления чьей-либо воли; письмом могли пользоваться в хозяйственной деятельности и т. д.⁴¹ Грамотные люди, как мы только что видели, обменивались краткими посланиями, когда не было надежды на память посылного,⁴² и берестяные грамоты могли существовать еще до распространения и производства книг (кодексов).

³⁹ Там же, с. 44.

⁴⁰ Там же, с. 43.

⁴¹ С этим явлением сталкивались исследователи письменности стран Востока, текстов криpto-микенской культуры, папирусов Рима и Египта: большинство табличек и свитков содержали не литературные тексты, а деловые и зачастую хозяйственные документы (см.: *Дойль Л. Завещанное временем*. М., 1980).

⁴² В быту берестяное «письмо» оказывалось нужнее, чем в сношениях князей, располагавших опытными посланцами, упоминавшими наизусть «речи», которые они произносили от лица своих сюзеренов. См.: *Лизачев Д. С. Возникновение русской литературы*. М.—Л., 1952, с. 96—105.

³⁶ Сказания о начале славянской письменности, с. 89.

³⁷ Янин В. Л. Я послал тебе бересту... Изд. 2-е, испр. и доп. Изд. МГУ, 1975, с. 41.

³⁸ Там же, с. 42.

Литература — явление совершенно особое; оно не вырастает как естественное «продолжение» письменности и вызывается к жизни совершенно иными причинами.

Такой причиной не могло стать желание записать и распространить памятники устной словесности: фольклор продолжал существовать и развиваться наряду с литературой еще долгое время, и записи фольклора — явление позднее и редкое.⁴³ Мало того: фольклор в течение всего периода русского средневековья «передал» в ведение литературы лишь очень немногое из своей жанровой системы. Даже летописание не заменило фольклорных жанров — исторической легенды и эпического сказания. Эпические предания, вошедшие в состав древнейших русских летописей, свидетельствуют о том, что по совершенству своей художественной формы они существенно превосходили скучные и сухие летописные записи.⁴⁴ «Запоминание истории» не было для средневековья обременительной обязанностью, это было миссией почетной и патриотичной. Б. Д. Греков обращает внимание на такой факт: древнегерманские друиды не просто вынуждены были заучивать наизусть обширную сумму различных сведений, они считали «при этом недопустимым пользоваться письмом, потому что не хотят, чтобы их знания стали достоянием масс, и потому, что записанное уже меньше удерживается в памяти».⁴⁵

Словом, рукописная книга на первых порах возникла как способ закрепления чужих и чуждых текстов: богослужебных книг, сочинений византийских богословов, проповедников и агиографов, сведений о неведомой ранее (или плохо знакомой) истории далеких стран и народов.⁴⁶ Когда же новая форма закрепле-

ния памятников словесной культуры — кодекс, книга — была освоена, к ней стали широко обращаться и для записи оригинальных произведений, на первых порах, однако, тех же жанров, с которыми древнерусские книжники познакомились в переводной литературе, и тех памятников, которые по своему характеру требовали многократного и буквального воспроизведения.

При такой постановке вопроса мы поймем, почему литература возникла в период принятия христианства и почему отсутствие литературы ни в коей мере нельзя рассматривать как свидетельство «ущербности», недостаточности культуры восточных славян.

Обратимся теперь к такому вопросу: чем объяснима хронологическая «вилка», почему, говоря о возникновении древнерусской литературы в X веке,⁴⁷ мы тем не менее изучаем ее лишь с середины XI века? На первый взгляд ответ прост: именно к XI веку относятся древнейшие из известных нам оригинальные древнерусские памятники: «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона, сочинения Феодисия Печерского, «Память и похвала князю Владимиру», древнейшие жития, наконец, древнейшие летописные своды. Однако именно летопись дает некоторым исследователям основания заглянуть в более отдаленное время — в первую половину XI или даже конец X века.

Остановимся на этом вопросе подробнее. До нас дошел (да и то в составе поздних летописных сводов — Лаврентьевской летописи 1377 года, Ипатьевского списка Ипатьевской летописи и Радзивилловской летописи XV века и т. д.) текст «Повести временных лет» (далее: ПВЛ) в ее второй и третьей редакциях. Мы реконструируем также Начальный свод (условно датированный 1095 годом), сохранившийся в переработанном виде в составе Новгородской первой летописи (далее: НПЛ).⁴⁸ Обосно-

ванные вне хронологии и вне географических или языковых границ. Речь идет о другом: памятники, входившие в литературу-посредницу, были чужими и чуждыми к моменту первоначального закрепления в восточнославянской письменности, так как не опирались на местную устную традицию, не были известны ранее.

⁴⁷ См.: Дмитриев Л. А., Лихачев Д. С., Творогов О. В. Тысячелетие русской литературы. — Русская литература, 1979, № 1, с. 3—13.

⁴⁸ О Начальном своде см.: Шахматов А. А. Киевский начальный свод 1095 г. — В кн.: Шахматов А. А. Сборник статей и материалов. Под ред. акад. С. П. Обнорского. М.—Л., 1947. См. также: Творогов О. В. «Повесть временных лет» и Начальный свод. (Текстологический комментарий). — ТОДРЛ, т. XXX, 1976, с. 3—26.

⁴³ См.: Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков. Эпохи и стили. Л., 1973, с. 46—47.

⁴⁴ См. об этом: Лихачев Д. С. 1) Человек в литературе Древней Руси. М., 1970 (глава «Черты эпического стиля в литературе XI—XIII вв.»); 2) Истоки русской беллетристики. Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. Л., 1970 (глава «Сюжетное повествование в летописях XI—XIII вв.»).

⁴⁵ Греков Б. Д. Указ. соч., с. 319.

⁴⁶ Правомерность определения «чужих и чуждых» может вызвать сомнение: в средневековых литературах порой неразделимы «свое и чужое», репертуар литературы-посредницы для книжников древней Руси был не столько чужим (формально восходившим к византийским или болгарским оригиналам), сколько своим, ибо не имела, разумеется, никакого значения национальность Ефрема Сирина или Иоанна Златоуста — это были духовные авторитеты, воспринимав-

важность гипотезы о Начальном своде состоит в том, что наши рассуждения опираются на сопоставления конкретных текстов — ПВЛ и НПЛ. Что же касается более древних летописных сводов: Свода Никона (70-х годов XI века), Древнейшего свода (конца 30-х годов),⁴⁹ Свода Десятиной церкви (конца X века)⁵⁰ и других, существование которых предполагали А. А. Шахматов, Л. В. Черепнин, Б. А. Рыбаков, М. Н. Тихомиров и другие ученые, то с ними дело обстоит значительно сложнее. Мы можем строить гипотезы о характере и примерном облике таких сводов, обсуждать вероятные мотивы их создания, но не сможем реконструировать с достаточной уверенностью не только полный текст любого из них, но и отдельные чтения и фрагменты. Это понятно: текст таких сводов и отдельных записей столько раз пересказывался, переиздавался, переписывался, прежде чем войти в состав Начального свода или ПВЛ, что вычленив «первоэлементы» в составе этих поздних сводов практически невозможно: любое построение будет не более чем догадка.

В то же время П. П. Охрименко полагает, что в ПВЛ до нас дошли древнейшие записи, сделанные современниками событий, и мы можем довериться им. «Если бы не было более ранних письменных источников, — пишет он, — в том числе записей по годам, то авторы летописных сводов не только XII, но и середины XI и даже конца X века не смогли бы датировать события начиная с середины IX века, ибо нельзя удерживать в памяти и по памяти передать такую массу фактов по годам в течение полутора—двух столетий» (с. 116).

Проверим сначала правильность некоторых дат и задумаемся над их источниками. Обратимся вслед за П. П. Охрименко к статье 852 года — первой датированной статье ПВЛ. Она начинается сообщением, что в 6360 (852) году начал царствовать византийский император Михаил, при котором Русь напала на Царьград, «якоже пишется в летописаньи гречьстѣмь».⁵¹ Но дата эта не точна: Ми-

хаил воцарился не в 852, а в 842 году, и, как показал А. А. Шахматов, расчет лет был сделан летописцем не на основе «ранних письменных источников», а на основе переведенного с греческого краткого хронографического свода — «Хронографикона» патриарха Никифора.⁵²

Находящийся в той же статье расчет лет П. П. Охрименко воспринимает как след использования «летописных записей, сделанных в Русской земле, причем в свое время, т. е. еще в языческие времена, о чем свидетельствует их точность и достоверность» (с. 116). Но, во-первых, статья 852 возникла лишь при составлении ПВЛ: расчет лет заканчивается указанием на дату смерти Святополка, а он умер в 1113 году. Расчет лет для остальных русских князей сделан, видимо, ретроспективно, исходя из названных в той же ПВЛ дат в соответствующих летописных статьях. Во-вторых, допустив «точность и достоверность» древних летописных записей, как сможем мы объяснить такой факт: два древнейших летописных свода — Начальный свод (отразившийся в НПЛ) и ПВЛ — существенно расходятся не только в датировке, но и в последовательности событий, и в самих фактах?!

В Новгородской летописи первая дата — 6362 (854) год (а не 852-й, как в ПВЛ), к ней также приурочено «начало земли Руской».⁵³ Затем повествуется об основании Киева Кием, Щеком и Хоривом, о том, что в эти же годы был «в Греческой земле» царь Михаил; далее рассказывается о походе Руси на Константинополь, затем следует рассказ о выплате дани хазарам, о приходе в Киев Аскольда и Дира, о «призвании варягов», о походе Олега на Киев и убийстве Аскольда и Дира. В ПВЛ и последовательность событий, и их датировка иная. В недатированной части рассказывается об основании Киева и о дани хазарам, затем под 852 годом — о «начале Русской земли», под 862 годом — о «призвании варягов» и о приходе Аскольда и Дира в Киев, под 866 годом — о походе Аскольда и Дира на Царьград, под 882 годом — о походе Олега и Игоря на

⁴⁹ См.: Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908, с. 398—491. См. также: Приселков М. Д. История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940, с. 24—29; Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение, с. 39—44.

⁵⁰ См.: Черепнин Л. В. Повесть временных лет, ее редакции и предшествующие ей летописные своды. — Исторические записки, 1948, т. 25; Рыбаков Б. А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. М., 1963, с. 173—192. См. также: Насонов А. Н. История русского летописания XI—начала XVIII века. Очерки и исследования. М., 1969, с. 20—21, 32—34.

⁵¹ Повесть временных лет, ч. I, с. 17.

Имеется в виду «Хроника» Георгия Амартола. Отметим, что в ее тексте нет ни даты воцарения Михаила III, ни даты похода Руси (см.: Истрин В. М. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе, т. I. Пгр., 1920, с. 503 и 511).

⁵² Шахматов А. А. «Повесть временных лет» и ее источники. — ТОДРЛ, т. IV, 1940, с. 62—69.

⁵³ Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Под ред. А. Н. Насонова. М.—Л., 1950, с. 104. О происхождении даты см.: Творогов О. В. Повесть временных лет и Хронограф по великому изложению. — ТОДРЛ, т. XXVIII, 1974, с. 103—106.

Киев. Отметим и такие существенные отличия: в НИЛ руководители похода на Царьград не названы, а в ПВЛ — это Аскольд и Дир;⁵⁴ в НИЛ Аскольд и Дир приходят в Киев до «призвания варягов», в ПВЛ — после вокняжения Рюрика; Олег в НИЛ — это воевода Игоря, а в ПВЛ — самостоятельный князь. Все эти различия НИЛ и ПВЛ хорошо известны и обстоятельно рассмотрены в исследованиях, посвященных Начальному своду. Для нас в данном случае важно отметить другое: отличия двух летописных сводов, непосредственно следующих друг за другом, убеждают в том, что летописцы не механически переписывали и объединяли какие-то записи современников событий, а проделывали сложнейшую текстологическую и историографическую работу: сравнивали различные версии, что-то уточняли, что-то пересказывали заново, приводя в соответствие со своими представлениями или со своей историографической концепцией, а что-то и откровенно сочиняли. А. А. Шахматов приводит такой пример. Превращение Аскольда и Диры, правивших, вероятно, не одновременно,⁵⁵ в князей-соправителей произошло, по его мнению, еще в народной легенде. Затем составитель Древнейшего свода «счел удобным устранить обоих названных им раньше князей со сцены, вставив их имена в рассказ о завладении Киева Олегом и предоставив им умереть от дружбы Олеговой».⁵⁶ Составитель

Начального свода, желая подчеркнуть законность акции Олега, убившего киевских князей, объявляет их самозванными (именно ему, по догадке А. А. Шахматова, принадлежит утверждение, что Аскольд и Дир — варяги, объявившие себя князьями). Составитель ПВЛ, заботясь о проведении своей историографической концепции, согласно которой на Руси княжат прямые потомки Рюрика, превращает безвестных варягов уже в Рюриковых бояр: «И бяста у него 2 мужа, не племени его, но боярина, и та испросистася ко Царюграду с родомъ своимъ. И пойдоста по Днѣпру, и идуче мимо и узрѣста на горѣ градок».⁵⁷ При этом летописец особо подчеркивает их хитрость и ослушание: ведь «испросились» они в Царьград (этого мотива еще нет в Начальном своде), а остались в Киеве.

Разумеется, изложенная здесь история сюжета, особенно в ее «долепетной» части, — гипотеза, однако это очень наглядный пример того, что без вдумчивого анализа нельзя принимать на веру ни одного летописного свидетельства. Что же касается летописных дат, то исследователи летописания неоднократно подчеркивали, что годовая сетка была внесена в летопись вторично и, возможно, не ранее 60-х годов XI века (в своде Никона).⁵⁸ При этом НИЛ, сохранившая Начальный свод, дает основания думать, что именно даты событий древнейших — IX—X веков — были проставлены позднее всего, задним числом, при создании под пером летописцев второй половины XI века стройной концепции «начала Русской земли».

Поэтому нельзя согласиться со словами П. П. Охрименко о «местном происхождении записей, использованных в „Повести временных лет“ (или предшествующих ей летописных сводах) и данных под 859, 862, 883, 884, 885 и многими другими позднейшими годами» (с. 116—117).

Однако дело не только в этом. Опираясь на собственную догадку о регулярно ведшихся в IX веке летописных (правильнее бы называть их просто хроникальными, документальными) записях, П. П. Охрименко делает вывод о том, что у восточных славян в это время «имелась уже и оригинальная художественная письменность, причем не только религиозно-языческая, но и светская, в особенности в виде летописных записей. Об их характере свидетельствуют многие рассказы первой части „Повести временных лет“» (с. 117).

древнейших русских летописных сводах, с. 320.

⁵⁷ Повесть временных лет, ч. 1, с. 18.

⁵⁸ См.: Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение, с. 86.

⁵⁴ В «Хронике» Георгия Амартола — в греческом тексте и в первоначальном переводе — этих имен нет. Они появляются, однако, в одной группе списков второй редакции (см.: Творогов О. В. «Повесть временных лет» и Начальный свод, с. 14—15).

⁵⁵ Часто ссылаются на свидетельство арабского географа аль-Масуди, согласно которому в Киеве княжил единолично Дир. Однако вот что говорится у Масуди: «Первый из славянских царей есть царь Диры, он имеет обширные города и многие обитаемые страны; мусульманские купцы прибывают в столицу его государства с разного рода товарам» (Гаркави А. Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских (с половины VII века до конца X века по Р. Х.), СПб., 1870, с. 137). Читатель может судить, насколько соответствует этому описанию Киевское государство IX века. А. Я. Гаркави сам признает, что объяснение главы, из которой приведена цитата, «представляет неодолимые препятствия, которые приводят комментатора в отчаяние» (там же, с. 160). Имя Диры принимали за нарицательное имя киевских князей, видели в нем императора Оттона, саксонского короля Лотара и т. д. (там же, с. 167). Поэтому ссылки на аль-Масуди должны быть чрезвычайно осторожными.

⁵⁶ Шахматов А. А. Разыскания о

Начнем с того, что между записью, констатацией факта и летописным сводом, даже самым непротивительным, — огромная разница. Летописный свод был не механической суммой погодных записей, перечнем исторических фактов, а зачастую тенденциозным (в положительном смысле этого слова) изложением определенной историографической концепции. Летописцы не только собирали факты, но и каждый раз по-своему осмыслили их, придавали им свое истолкование, а в ряде случаев прибегали и к откровенной фальсификации. Наглядный пример — историографическая концепция о роли Рюрика в русской истории, приведенная к ряду существенных натяжек даже в таком безусловном, казалось бы, материале, как генеалогия. «Генеалогия оказалась, — пишет Б. А. Рыбаков, — как это давно доказано, примитивно искусственной: Рюрик — родоначальник династии, Игорь — сын его, а Олег — родич, хотя писатель, ближе всех стоявший по времени к этим деятелям — Иаков Мних, прославивший Ярослава Мудрого, начинал новую династию киевских князей (после Киевичей) с Игоря старого (умер в 945 году), пренебрегая кратковременным узурпатором Олегом и не считая нужным упоминать „находника“ Рюрика, не добравшегося до Киева».⁵⁹ И так, для создания летописного свода необходим определенный и весьма высокий уровень развития исторической мысли, существование глубокой, философски осмысленной историографической концепции. Именно эпоха Ярослава Мудрого могла явиться тем временем и той средой, когда на смену историческим легендам и отдельным фиксациям событий (если таковые имели место) пришли первые летописные своды.

Но у этого вопроса есть и другая сторона. Летописный свод — это историческая концепция, изложенная в форме *сюжетного повествования*, что и позволяет нам рассматривать летопись как памятник литературы. Отсюда следуют два вывода. Во-первых, если даже допустить существование древних хроникальных записей, то из этого не следует, что в IX или X веке была литература. Во-вто-

рых, те рассказы первой части «Повести временных лет», о которых упоминает П. П. Охрименко, по форме своей — устные предания: об этом писалось неоднократно, и этот тезис едва ли может вызывать возражения. Поэтому не следует, думается, искусственно поднимать мифическую «художественную письменность» языческих времен и приписывать тем самым высокие художественные достоинства древнерусского исторического эпоса. Эстетическая ценность исторических преданий о хазарской дань, о походе Олега и посещении Ольгой Царьграда, о мести Ольги, о подвиге юности-кожемяки, о белгородском киселе и многих других рассказов «Повести временных лет», дошедших до нас эти устные предания, неизмеримо выше любой фактографической записи.

Никакими данными о существовании языческой литературы (напомним: речь идет о литературе, а не о существовании письменности в языческие времена) мы не располагаем.⁶⁰

Подведем итоги. В своей статье я попытался, во-первых, подтвердить обоснованность точки зрения на литературу Киевской Руси как общую литературу восточнославянской народности, существовавшую примерно до середины XIII века, и высказал мнение о неправомерности деления ее на литературу Киевской Руси и литературу «периода феодальной раздробленности». Во-вторых, я попытался показать, что мы располагаем сведениями о возникновении литературы на Руси с конца X века; известные нам и доступные для изучения оригинальные литературные памятники относятся ко времени не ранее второй трети XI века.

⁵⁹ Я не касаюсь пресловутой Велесовой книги, являющейся, как это действительно доказали крупнейшие специалисты — филологи и историки, — подделкой нового времени. См.: Жуковская Л. П. Поддельная докириллическая рукопись. (К вопросу о методе определения подделок). — Вопросы языкознания, 1960, № 2; Рыбаков Б. А., Буганов В. И., Жуковская Л. П. Мнимая «Древнейшая летопись». — Вопросы истории, 1977, № 6; Жуковская Л. П., Филин Ф. П. «Влесова книга». . . Почему же не Велесова? (Об одной подделке). — Русская речь, 1980, № 4.

⁵⁹ Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв., с. 312—313.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Г. Н. Моисеева

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ АПОСТОЛА 1307 ГОДА С ЦИТАТОЙ ИЗ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

В 1813 году, после гибели в московском пожаре многих общественных и частных коллекций рукописей и книг, в числе которых было и выдающееся «Собрание российских древностей» А. И. Мусина-Пушкина, перевезенное из Петербурга в Москву в 1798 году, молодой ученый К. Ф. Калайдович начал переписку с владельцем этого «Собрания» с целью пополнения сведений о безвозвратно утраченных древних памятниках, и в первую очередь о «Слове о полку Игореве». В письме к А. И. Мусину-Пушкину в его ярославское имение Илому от 20 ноября 1813 года К. Ф. Калайдович просил сообщить «о всех подробностях несравненной Песни Игоревой, т. е. на чем, как и когда она написана? Где найдена? Кто был участником в издании? Сколько экземпляров напечатано? Также и о первых ее переводчиках, о коих я слышал от А. Ф. Малиновского».¹

Ответы, полученные на некоторые вопросы, явились важнейшими источниками сведений о рукописи, позднее включенных К. Ф. Калайдовичем в 1824 году в «Биографические сведения о жизни, ученых трудах и Собрании российских древностей графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина».²

В следующем письме от 13 декабря 1813 года К. Ф. Калайдович писал А. И. Мусину-Пушкину, убеждая его не обращать внимания на «завистников», которые пытаются опорочить великий памятник древней Руси «Слово о полку Игореве»: «Я сам знаю, сколь язык неблагонамеренный может огорчать каждого из нас; но что значат сии, притупленные невежеством и клеветой стрелы? Кто верит словам завистников, держающих говорить вместе, что Песнь Игорева подделана? Кто мог с такими глубокими познаниями в истории и языке не сделать анахронизмов, живши в 18 веке, и кто опять отказался бы от чести сочинения такого памятника, которому удивляются отличные знатоки в сем роде... Я уве-

рен, что время, от коего зависит скрывать и открывать, явит нам неспоримые доказательства ее достоверности, подобно одному, недавно мной найденному в Апостоле, писанному в малую 4, на пергаменте, в 2 столбца *ъ ѿ ѿ* (1307) года и хранящемуся в Синодальной библиотеке» под № 19 (кд), в котором Зосима, игумен Пантелеймонова (вероятно, Новгородского) монастыря, говоря о вкладе сей книги в свой монастырь и описавши гибельную для отечества войну князей Михаила и Юрия, так заключает: „при сихъ князѣхъ сѣяшется и ростяше оубоицами, гыняше жизнь наша въ князѣхъ которы и вѣди скоротишася челоувѣкомъ“. Вы изволите усмотреть из сравнения, что сие любопытное место столь сходно одно с другим, что кажется игумен Зосима имел пред собою Песнь Игореву, незадолго пред ним сочиненную».³

А. И. Мусин-Пушкин умер 11 января 1817 года, и Общество истории и древностей российских обратилось к К. Ф. Калайдовичу с просьбой написать статью об ее покойном члене. Как теперь очевидно, К. Ф. Калайдович взял в основу автобиографические «Записки» А. И. Мусина-Пушкина, опубликованные в 1813 году в «Вестнике Европы» (ч. LXXI, с. 76—91), и внес ряд уточнений и дополнений. Рукописный вариант — «Исторические сведения о жизни, ученых трудах и Собрании российских древностей графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина» — был отослан К. Ф. Калайдовичем в 1820 году вдове А. И. Мусина-Пушкина.⁴ В 1824 году К. Ф. Калайдович напечатал этот текст во втором томе «Записок и трудов Общества истории и древностей российских», куда включил большие отрывки из писем А. И. Мусина-Пушкина с известиями о рукописи «Слова о полку Игореве», а также несколько измененные сведения о приписке к Апостолу 1307 года. К. Ф. Калайдович писал: «В заключение немаловажным доказательством древности ее (Песни Игоревой, — Г. М.) послужит одно

¹ Бессонов П. А. К. Ф. Калайдович. Биографический очерк. М., 1862, с. 96.

² Записки и труды Общества истории и древностей российских, учрежденного при Московском университете, ч. II. М., 1824, с. 36—38 (2-я pag.).

³ Бессонов П. А. Указ. соч., с. 97—98.

⁴ Государственный архив Ярославской области, № 135 (1027).

место, случайно найденное мною (и сообщенное г. Историографу).⁵ В конце абзаца, посвященного Апостолу 1307 года, приведены текст записи и цитата из

«Слова о полку Игореве» по первому изданию, наглядно свидетельствующая о прямой зависимости приписки от «Слова»:⁶

Апостол 1307 года

При сихъ князехъ... сѣяшется и ростяше оубоицами, гнѣяше жизнь наша въ князѣхъ которы и вѣцы скоротышася челоуѣкомъ.

Пѣснь Игорева, XII вѣка.
М., 1800, с. 16 и 17

Тогда при Олзѣ Гориславичи сѣяшется и растяшеть уубоицами, погнѣяшеть жизнь Даждь-Божа внука, в Княжихъ крамолахъ вѣцы челоуѣкомъ скратышась.

Это была первая публикация текста приписки к Апостолу 1307 года, имеющая исключительно важное значение для доказательства подлинности и древности «Слова о полку Игореве». Но скептики (М. Т. Каченовский и О. И. Сенковский) выразили сомнение в подлинности приписки к Апостолу.⁷

Проф. А. Мазон в своем исследовании «Слова о полку Игореве» высказывал мнение, что сходство концовки Апостола 1307 года с цитатой из «Слова» объясняется «распространенными фразеологическими формулами» («la formule banale»)⁸

С новой гипотезой о взаимосвязи приписки к Апостолу 1307 года с «Словом о полку Игореве» выступил А. А. Зимин, решительно утверждавший, что рукопись этого Апостола была в руках у А. И. Мусина-Пушкина, который использовал эту запись при «редактировании» текста «Слова».⁹

Слабость гипотезы А. А. Зимина была раскрыта в статье В. П. Адриановой-Перетц.¹⁰ Но это не помешало А. А. Зимину выступить на страницах журнала «Русская литература» со статьей, в которой его аргументация была развернута более широко.¹¹

Подлинность записи писца Диоида (Домида) в конце Апостола 1307 года у А. А. Зимина, в отличие от «скептиков» XIX века, не вызывала сомнений.¹² Но А. А. Зимин продолжал утверждать, что

обер-прокурор Синода А. И. Мусин-Пушкин, воспользовавшись указом Екатерины II от 11 августа 1791 года о сборе в Синод из монастырских библиотек рукописей «касательно российской истории», ознакомился с псковским Апостолом 1307 года и извлек именно оттуда запись о княжеских убоицах, происходивших в Новгородских землях в первые годы XIV века. По мысли исследователя, «именно приписка к псковскому Апостолу 1307 года дала А. И. Мусину-Пушкину материал для вставки в „Слово о полку Игореве“».¹³

Обратимся к документальным материалам, которые позволяют в настоящее время внести ряд уточнений в историю пергаменного Апостола 1307 года в XVII—XVIII веках, а также дают ответ на вопрос, знал ли о существовании этого Апостола А. И. Мусин-Пушкин.

В. П. Адрианова-Перетц в своей статье «Было ли известно „Слово о полку Игореве“ в начале XIV века» обращалась к работе А. А. Покровского «Древнее псковско-новгородское письменное наследие» (М., 1916), в которой приведены сведения о поступлении из псковских и новгородских монастырей значительного количества древних рукописей в 1679 году в Москву на Печатный двор в связи с широко задуманной программой исправления богослужебных книг. Именно тогда в Типографскую библиотеку из монастырских собраний были привезены 44 уникальные пергаменные рукописи, которые были отнесены в отдел «Книги раритетные».¹⁴ В числе их — Геннадиевская Библия 1499 года, Стихирарь 1157 года, Евангелие 1144 года, Евангелие 1307 года, Триодь 1311 года, Ирмологий 1344 года, Апостол 1307 года и мн. др. Ирмологий 1344 года и Апостол 1307 года, как установил А. А. Покровский, были псковскими по происхождению, хранившимися в монастыре св. Пантелеймона.¹⁵

⁵ Записки и труды Общества истории и древностей российских... с. 41.

⁶ Там же.

⁷ Барсов Е. В. «Слово о полку Игореве» как художественный памятник Киевской дружинной Руси, т. I. М., 1887, с. 40—41, 128.

⁸ Mazon A. Le Slovo d'Igor. Paris, 1940, p. 132—133.

⁹ Вопросы истории, 1964, № 9, с. 134.

¹⁰ Адрианова-Перетц В. П. Было ли известно «Слово о полку Игореве» в начале XIV века. — Русская литература, 1965, № 2, с. 149—153.

¹¹ Зимин А. А. Приписка к псковскому Апостолу 1307 года и «Слово о полку Игореве». — Русская литература, 1966, № 2, с. 60—74.

¹² Там же, с. 60.

¹³ Там же, с. 66.

¹⁴ Покровский А. А. Древнее псковско-новгородское письменное наследие. М., 1916, с. 238—241.

¹⁵ Там же, с. 173—176.

В 1788 году Екатерина II издала указ о передаче из Типографской библиотеки в Синодальную (Патриаршую) библиотеку «старинных рукописных греческих и славянских книг». В том же году был составлен «Реестр старинных рукописных греческим и славянским книгам, хранящимся в Московской Синодальной Типографской конторе, с отметками остающихся в оной и отданных в Синодальную библиотеку», по которому древнейшие рукописи были переданы в Синодальную (Патриаршую) библиотеку, помещавшуюся в Кремле в церкви Двенадцати апостолов.

Сохранившаяся в собрании Н. П. Румянцева копия «Реестра»¹⁶ позволяет определить, какие именно древние памятники поступили в 1788 году в Синодальную (Патриаршую) библиотеку, так как в этом перечислении рукописей даны краткие определения по векам, отмечены точные хронологические даты, если они были в рукописях, написаны заглавия и концовки. Кроме того, в «Реестре» имеются номера рукописей, под которыми они хранились в Синодальной (Патриаршей) библиотеке в конце XVIII и в начале XIX века — до времени составления первого печатного описания.¹⁷

Как мы убедимся ниже, подобной отдельной описью рукописей, хранившихся до 1788 года в Типографской библиотеке, пользовался чешский славист Йозеф Добровский, когда осенью 1792 года он занимался в Синодальной (Патриаршей) библиотеке, а в 1813 году — К. Ф. Калайдович. Очевидно, что «Реестр» имеет большую научную ценность и позволяет нам получить ряд важных сведений о некоторых древнейших пергаменных рукописях, в данном случае о псковском (а не новгородском, как считал К. Ф. Калайдович) Апостоле 1307 года.

Апостол перечислен под № 24: «Апостоль писанъ на паргаминѣ въ полдестъ августа в 21 день: Сия же Апостола книга вда святому Пантелеіѣмону Зосима игумен сего же монастыря: до здѣ приписано: сего жъ лѣта бысть бой на Руской земли Михаилъ с Юриемъ о княженіи новгородскомъ. 6815—1307».¹⁸

Если мы обратимся к древнейшей Новгородской I летописи, то увидим, что бурные события первых лет XIV века доставляли много волнений псковичам и новгородцам. В 1304 году умер великий князь Андрей Александрович (сын Александра Невского). Летописец сообщает: «...сопростася два князя о великом княжение: Михайло Ярославичъ тферьскій и Юри Даниловичъ московскій, и поидоша въ орду оба, и много бысть замياتи Суждальской земли во всехъ градехъ, а в Новгородъ вослаша

Тфѣричи намѣстники Михайловы силою, и не прияша ихъ, но идоша новгородци в Торжекъ. . . и совкупиша всю землю противу, и ссылаючися послы, розѣхашася докончавше до приѣзда князий».¹⁹ Дядя Михаил Ярославич и племянник Юрий Данилович начали кровопролитную междоусобную войну, достигшую наибольшего накала в 1306—1307 годах. В 1308 году Михаил Ярославич получил в Орде ханскую грамоту на княжение. В Новгородской I летописи кратко сообщено: «В лѣто 6816 (1308 год) сѣде князь великий Михайло Ярославичъ, внукъ великого Ярослава Всеволодича, в Новѣгородѣ на столѣ».²⁰

Именно эти княжеские «каторы» заставили псковского писца Диомида (Диомид), закончившего переписку Апостола в 1307 году, поместить такое горестное сообщение в конце богослужебной книги и привести (скорее всего, по памяти) цитату из древнерусского произведения, в котором ярко раскрылись трагические последствия княжеских междоусобиц: «Сего жъ лѣта бысть бой на Руськой земли, Михайл съ Юриемъ о княжене новгородское. При сихъ князехъ сѣяшется и ростяше усобицами, гынеше жизнь наша в князѣхъ которы, и вѣцы скоротися челоукомъ».²¹ В этой цитате из «Слова о полку Игореве», как уже отмечал Л. П. Якубинский,²² отразился более древний текст «Слова», который знал писец Диомид, чем Ярославский список конца XV—начала XVI века.

Приписка помещена на последнем листе псковского Апостола 1307 года, в правой колонке, внизу. Она написана тем же самым полууставом, что и весь текст Апостола, но из-за недостатка места писец сильно уменьшил буквы, вследствие этого конец приписки стал трудночитаемым. В настоящее время текст приписки в этом пергаменном Апостоле восстановлен.²³

На последнем листе пергаменного Апостола 1307 года в правом нижнем углу отрезана часть текста. Отрез идет прямо по строке, что свидетельствует о том, что ниже записан писца Диомида, его же рукой, был написан текст, который по каким-то причинам оказался неудобным владыкам Пантелеімонова монастыря. Возможно, это был такой же упрек князьям, не радеющим о жизни простых людей, какой содержался несколькими строками выше в перифразе из «Слова о полку Игореве».

¹⁹ Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку. СПб., 1888, с. 309.

²⁰ Там же, с. 310.

²¹ ГИМ, Синод. № 722, л. 180.

²² Якубинский Л. П. История древнерусского языка. М., 1953, с. 323—325.

²³ Об этом мне любезно сообщил заведующий Отделом рукописей Государственного исторического музея И. В. Левочкин.

¹⁶ ГБЛ, ф. 256, № 221, л. 1—21.

¹⁷ Саваа. Указатель для обозрения московской Синодальной (Патриаршей) библиотеки. Изд. 2-е, М., 1858.

¹⁸ ГБЛ, ф. 256, № 221, л. 3.

Для нас важно то, что эта приписка была зафиксирована в «Реестре» рукописей Типографской библиотеки, переданных в Синодальную (Патриаршую) библиотеку в 1788 году, в том самом году, когда А. И. Мусин-Пушкин привез в Петербург из Ярославского Спасо-Преображенского собора большой сборник, в составе которого находилось «Слово о полку Игореве».²⁴ Таким образом, домыслы «скептиков» XIX века о позднем происхождении приписки к псковскому Апостолу 1307 года под влиянием опубликованного в 1800 году «Слова о полку Игореве», как видим, полностью несостоятельны.

Остается теперь рассмотреть гипотезу А. А. Зимина об использовании А. И. Мусин-Пушкиным приписки к Апостолу 1307 года для «редактирования» «Слова о полку Игореве».

А. А. Зимин полагал, что А. И. Мусин-Пушкин «пользовался рукописями Синодальной библиотеки», и, следовательно, в числе их был ему прислан в Петербург и Апостол 1307 года.

В собрании Мусиных-Пушкиных хранится «Реестр имеющимся у господина тайного советника обер-прокурора и кавалера Алексея Ивановича Мусина-Пушкина книгам, относящимся к истории российской». Он составлен во исполнение указа Екатерины II от 11 августа 1791 года о сборе в Синод рукописей исторического содержания. Рукописи начали поступать в Петербург уже в декабре 1791 года.²⁵ На основании этого «Реестра» известно, что из московской «Синодальной конторы» было прислано 25 рукописей с указанием их номеров по описи Синодальной (Патриаршей) библиотеки:

« 71. История Ветхого Завета с лѣтосчислениемъ.

78. Географія.

82. Кормчая харатейная: Правила софейския старья.

89. Повѣсть въ лицахъ с лѣтописаниемъ о великихъ князьяхъ.

174. Степенная о родословии российскихъ царей.

188. Синодикъ.

224. Хронографъ.

236. Лексиконъ, в немъ толкованія иностранныхъ речей.

273. Другая такая же инымъ расположениемъ.

263. Бесѣда о учении грамотѣ.

270. Сочинение на нерадение учителей и пр.

303. Сказаніе недовѣдомымъ рѣчамъ.

341. История скифійская.

403. Книга, глаголемая Мѣрпю праведное.

404. Другая такая же.

406. Книга о девяти музахъ и художествахъ.

46. Лѣтописецъ с лицами от 11-го вѣка.

67. Хронографъ.

73. Отъ сотворенія мѣра лѣтописецъ.

74. Вторый лѣтописецъ от рождества Христова.

77. Описаніе лѣтъ, мѣсяцовъ и патриарховъ.

78. Описная книга, что въ которомъ монастырѣ какихъ книгъ есть.

79. Ратного строя.

2. Лѣтописецъ Сергіева монастыря.

3. Другой такой же, оба изъ книгъ словенскихъ».²⁶

Как видим, в числе книг, присланных в Петербург из Синодальной (Патриаршей) библиотеки, не имеется ни одной рукописи Апостола, хотя в этом собрании в конце XVIII века хранилось 8 списков Апостола, причем один из них пергаменный 1220 года.²⁷

В ноябре-декабре 1792 года некоторые рукописи, посланные в Петербург, были возвращены в Синодальную (Патриаршую) библиотеку. Об этом свидетельствуют записи чешского слависта Йозефа Добровского на составленном им 3 ноября 1792 года описании Синодального (Патриаршего) собрания рукописей: «Catalogus librorum slavicozum et russicorum qui servantur in Bibliotheca Patriarchali Moscvae. 3 Novembris 1792 describi coeptus a J. Dobrovsky».

Латинский текст

82. Alia Kormčaja membran. cum subscripto in asserculo primo: Prawila sofenska staria (est is Codex quam vidi apud Mussin-Puskin).²⁸

403. Liber d. Merilo prawednoe, i wes istinnij swět uma, oko slovu, zercalo so-

Русский перевод

82. Другая Кормчая пергаменная с записью на первой обложке: Правила Софейския старья (это есть Кодекс, который я видел ранее у Мусина-Пушкина).

403. Книга Мерило праведное и весь истинный свет ума, око слову, зеркало

²⁶ ЦГАДА, ф. 1270, оп. 1, ч. 1, № 45, л. 2—2 об.

²⁷ ГИМ, Синод. № 7.

²⁸ Knihovna Narodního Musea v Praze. IX. E. 37, p. 35v. Речь идет об известной Клементовской кормчей 1282 года (ГИМ, Синод. № 132).

²⁴ Моисеева Г. Н. Спасо-Ярославский хронограф и «Слово о полку Игореве». Л., 1976, с. 53—59.

²⁵ ЦГИА СССР, ф. 796, оп. 72, д. 280, л. 20—27.

vesti, tmě světilo slepotě etc. Niconis Patriarchae (est uti vidi apud Mussin-Pusskin, Kormčaja).²⁹

совести, тьме светило и т. д. Никона патриарха. (Это Кормчая, которую видел ранее у Мусина-Пушкина).

Остальные рукописи Синодального (Патриаршего) собрания также вернулись в Москву в 1792 году. В настоящее время все они хранятся в Отделе рукописей Государственного исторического музея.

Пергаменный Апостол 1307 года никогда не был в Петербурге. В ноябре-декабре 1792 года его изучал Йозеф Добровский, когда занимался в Москве в Синодальной (Патриаршей) библиотеке, причем пользовался он отдельной описью, сохранившей нумерацию рукописей по прежнему месту хранения — Типографской библиотеке. На отдельном листке, сохранившемся в архиве И. Добровского, колонкой выписаны древнеславянские названия месяцев из Апостола 1307 года в сравнении с Евангелием 1144 года, также поступившим из Типографской библиотеки в 1788 году.

В 1796 году И. Добровский подготовил для издания Грисбаха «Catalogus Codicum slavonicorum benevole communicatus nobis a doctissimo Dobrowski», где впервые сослался на пергаменный московский Апостол 1307 года.³⁰

В письме к П. И. Кеппену от 11 апреля 1823 года И. Добровский, вспоминая о своей работе в Москве в 1792 году, высказывает сожаление о том, что в издании Грисбаха «по небрежности или из-за опечатки» в известиях об Апостоле «стоит 1370 вместо 1307 года».³¹

В «Institutiones linguae slavicae dialecti veteris» И. Добровский, говоря о «великолепном пергаменном Апостоле» 1220 года, хранящемся в Патриаршей библиотеке в Москве, упоминает (под № 24) Апостол 1307 года, из которого приводит несколько цитат.³²

В доказательство того, что обер-прокурор Синода в начале 90-х годов XVIII века изучал в Москве рукописи Синодального (Патриаршего) собрания, где с 1788 года находился и Апостол

1307 года, А. А. Зимин пишет: «В своих произведениях А. И. Мусин-Пушкин ссылается на рукопись Евангелия 1144 года из Синодального собрания».³³ При этом А. А. Зимин имеет в виду опубликованный К. Ф. Калайдовичем после смерти А. И. Мусина-Пушкина в приложении к биографии его труд «Примечания на древние славянские месяцословы».³⁴ Здесь действительно под № 4 содержится ссылка на «Евангелие, в Синодальной библиотеке хранящееся, писанное в 1144 году».³⁵ Но в собрании киевского митрополита Евгения (Болховитинова), большого знатока «российских древностей», автора «Словаря российских писателей», хранится рукопись этого труда А. И. Мусина-Пушкина, написанного им в 1812 году. Сочинение озаглавлено (как и в публикации К. Ф. Калайдовича): «Примечание графа Мусина-Пушкина на древние месяцословы 1812 года». Перечислены те же самые источники этого сочинения. Под № 4 написано: «Евангелие в Синодальной библиотеке хранящееся, писанное в 1144 году, из коего выписку сообщил мне господин историограф Николай Михайлович Карамзин».³⁶

Хорошо известны личные контакты Н. М. Карамзина с А. И. Мусин-Пушкиным во время его работы над «Историей государства российского», и нет ничего удивительного в том, что историк, серьезно изучавший рукописи Синодального (Патриаршего) собрания в Москве, сделал выписку из знаменитого Галицкого Евангелия 1144 года для владельца ценнейшего «Собрания российских древностей», которым он широко пользовался.

Таким образом, и этот аргумент А. А. Зимина, свидетельствующий, с его точки зрения, о том, что А. И. Мусин-Пушкин использовал приписку к нековскому Апостолу 1307 года как «материал для вставки в „Слово о полку Игореве“»,³⁷ не имеет никакой фактической основы.

Новые документальные материалы полностью опровергают как домыслы «скептиков» XIX—XX веков, так и гипотезу А. А. Зимина.

²⁹ Knihovna Narodního Musea v Praze. IX. E. 37, p. 45. Рукопись Мерила праведного XV—XVI веков (ГИМ, Снод. № 525).

³⁰ Novum Testamentum graece. D. Jo. Jac. Griesbach. Vol. I. Halaе Saxonum, 1796, p. CXXIX—CXXX.

³¹ Письма Добровского и Копитара в повременном порядке. Труд И. В. Ягича. — В кн.: Сб. ОРЯС, т. XXXIX. СПб., 1885, с. 663.

³² Dobrowsky Josephi. Institutiones linguae slavicae dialecti veteris. Vindobonae, 1822, с. 677—678.

³³ Зимин А. А. Указ. соч., с. 65.

³⁴ Записки и труды Общества истории и древностей российских... с. 49—58.

³⁵ Там же, с. 58.

³⁶ ЦНБ АН УССР, Собр. Софийское, № 293 (594), л. 226 об.

³⁷ Зимин А. А. Указ. соч., с. 66.

В. Г. Березина

ДОПОЛНЕНИЕ К СТАТЬЕ «ИЗ ЦЕНЗУРНОЙ ИСТОРИИ ЖУРНАЛА
„МОСКОВСКИЙ ТЕЛЕГРАФ“»

В разделе нашей статьи «Из цензурной истории журнала „Московский телеграф“», озаглавленном «К рецензии Н. А. Полевого на пьесу Н. В. Кукольника „Рука всевышнего отечество спасла“» (см.: Русская литература, 1982, № 4, с. 172—173), речь шла о двух вариантах третьего номера «Московского телеграфа» за 1834 год (т. е. с указанной рецензией и без нее) и цитировалось решение Московского цензурного комитета от 16 марта 1834 года, требующее запросить (через московского обер-полицейстера) от содержателя типографии Августа Семена, в которой печатался «Московский телеграф», объяснение, почему в части тиража третьего номера журнала отсутствует рецензия на пьесу Кукольника, в то время как цензурное разрешение было дано на номер с рецензией. «Какие объяснения представил Август Семен, неизвестно», — писали мы тогда (с. 173).

Однако, когда наша работа уже находилась в печати, нам удалось обнаружить объяснение Августа Ивановича Семена от 6 апреля 1834 года, адресованное в Московскую управу благочиния,¹ и отношение Канцелярии московского обер-полицейстера от 12 апреля 1834 года, адресованное в Московский цензурный комитет.²

Приведем текст первого документа, написанного четким писарским почерком.

«Ведомство Московской управы благочиния.

В Тверскую часть.

От содержателя типографии титулярного советника Августа Семена.

Сведение

На сообщенное мне от оной Части Отношение Московского Цензурного Комитета от 23 марта, за № 156 при предписании его превосходительства г-на исправляющего должность московского обер-полицейстера от 29 марта сим честь имею известить:

1) Что статья, напечатанная в № 3 „Московского телеграфа“ о драме „Рука Всевышнего Отечество спасла“, была цензурована в корректурных листах г-м цензором Лазаревым.

2) Когда уже несколько экземпляров сей статьи были отпечатаны, то г-н издатель „Московского телеграфа“ Николай

Алексеевич Полевой, не зная, по какой причине, велел вынуть оную.

3) Перепечатав лист, в котором находилась сия статья, я отправил весь № 3 „Московского телеграфа“ к переплетчику, который, вместо того, чтобы выкинуть во всех экземплярах рецензию о помянутой драме и вставить перепечатанный лист, ошибкою оставил в некоторых экземплярах помянутую рецензию.

4) Статья же о драме „Рука Всевышнего Отечество спасла“ находится во всех экземплярах, представленных мною в Московский Цензурный Комитет, и я имею от оного Комитета Билет от 23 февраля за № 61 на выпуск в свет № 3 „Московского телеграфа“³ с помянутой рецензией о драме „Рука Всевышнего Отечество спасла“.

Москва. Апреля 6-го дня 1834-го года».

Далее идет запись почерком А. Семена: «К сему сведению содержатель типографии титулярный советник Август Семен руку приложил». И, наконец, запись третьим почерком, свидетельствующая, что сведение от А. Семена «отбирал квартальный поручик [подпись]».

Данный документ был отослан в Московский цензурный комитет в сопровождении следующего отношения Канцелярии исправляющего должность московского обер-полицейстера № 5002 от 12 апреля 1834 года:

«В Московский Цензурный Комитет.

Вследствие отношения оного Комитета от 23-го марта требуемое от содержателя типографии Семена сведение относительно напечатанных им экземпляров „Московского телеграфа“ № 3, оказавшихся несходными с представленным в цензуру экземпляром, отобрано. О чем оный Комитет, с приложением того сведения, уведомить честь имею. Генерал-майор Цынский».

Судя по всему, объяснение А. Семена Московский цензурный комитет рассмотреть не успел, так как уже 13 апреля 1834 года на заседании комитета было объявлено о запрещении издания «Московского телеграфа» по высочайшему повелению.⁴

³ В «Книге для записывания отпечатанных сочинений и выдачи билетов 1833—1837 г.» значится, что позволенный билет № 61 на выпуск в свет № 3 «Московского телеграфа» за 1834 год выдан 24 февраля 1834 года (там же, оп. 5, д. 89, л. 51).

⁴ Об этом заседании Московского цензурного комитета см. в нашей статье (Русская литература, 1982, № 4, с. 166).

¹ ЦГИА г. Москвы, ф. 31 (Московский цензурный комитет), оп. 1, ед. хр. 130, л. 2.

² Там же, л. 1.

Что касается самого «Сведения» Августа Семена, то оно требует некоторого комментария. Не исключено, что это «Сведение» давалось А. Семеном после предварительного обсуждения и согласования с Н. А. и К. А. Полевыми.

Так, во втором пункте своего объяснения А. Семен сознательно сослался на официального издателя «Московского телеграфа» Н. А. Полевого, хотя правильное было бы сослаться на его брата Ксенофонта Полевого. Дело в том, что позволительный билет на выпуск в свет номера «Московского телеграфа» с рецензией на «Руку всевышнего» был получен в отсутствие Н. А. Полевого, который приехал в Петербург между 20-м и 22-м февраля 1834 года⁵ и пробыл там до начала марта. В это время всеми делами по журналу занимался Ксенофонт Полевой. Именно он, выполняя просьбу брата, находившегося в Петербурге, дал распоряжение А. Семену вынуть из номера рецензию на пьесу Кукольника. Но Ксенофонт Полевой, не будучи официальным издателем журнала, не имел права давать столь ответственные распоряжения. И если бы в цензуре об этом узнали, у официального издателя журнала Н. А. Полевого могли возникнуть крупные неприятности. Следовательно, А. Семен проявил нужную осторожность, не назвав Ксенофонта Полевого.

Нуждается в уточнении и заявление А. Семена, что он будто бы не знал, «по какой причине» ему было велено изъять рецензию на «Руку всевышнего» из уже отпечатанного номера. Сомнительно, чтобы братья Полевые, находившиеся в близких дружеских отношениях с содержанием типографии,⁶ скрыли от него существо дела. Напротив, прекрасно понимая, на какой риск идет А. Семен, выпуская в свет номер журнала, «не сходный» с утвержденным в цензуре, они посоветовали ему сказать то, что зафиксировано во втором пункте «Сведения».

Из третьего пункта объяснения А. Семена следует, что злополучная рецензия осталась «в некоторых экземплярах» по вине переплетчика. Так ли это — проверить, конечно, трудно. Но поскольку указанная рецензия имеется во многих сохранившихся экземплярах третьего номера «Московского телеграфа» за 1834 год, можно допустить, что Н. А. Полевой,

узнав по возвращении в Москву, что Ксенофонт Полевой уже успел принять меры по изъятию крамольной рецензии из части тиража журнала, решил сохранить рецензию в остальных экземплярах: он понимал, что уже ничто не может отвести грозившей опасности. И не ошибся: по распоряжению А. Х. Бенкендорфа, переданному через московского генерал-губернатора В. Д. Голицына, он под надзором жандармского унтер-офицера выехал из Москвы в Петербург 25 марта 1834 года для объяснения по поводу рецензии на «Руку всевышнего» и вообще по поводу направления «Московского телеграфа».

Кроме того, в третьем пункте «Сведения» А. Семен намеренно упростил работу, которую пришлось провести по перепечатке и проверке текста в третьем номере журнала в связи с исключением рецензии на пьесу Кукольника. По словам Семена, получается, что потребовалось всего лишь перепечатать один лист и заменить им прежний. А это не так. Рецензия, напечатанная на страницах 498—506, захватывала два листа: 31-й и 32-й. Лист 31-й начинался со страницы 489 и включал девять страниц статьи «Тасс и век его» и семь страниц рецензии на «Руку всевышнего», окончание которой (полторы страницы) переходило на лист 32-й (он начинался на странице 505). Поэтому работа переплетчика оказалась куда более сложной, чем простая замена одного листа другим.

В другом разделе — «Неизвестный номер „Московского телеграфа“ за 1833 год» (см.: Русская литература, 1982, № 4, с. 164—172) говорилось об обнаруженном нами в делах Московского цензурного комитета 20-м номере журнала, запрещенном к выпуску в свет решением этого комитета от 13 апреля 1834 года.

Обычно считалось, что издание «Московского телеграфа» за 1833 год закончилось на 19-м номере. Но еще в 1976 году из архива С. Д. Полторацкого, сотрудника «Московского телеграфа» и большого друга братьев Полевых (он хранится в ГБЛ), нам стало известно, что в его библиотеке имелся отпечатанный, но «не выпущенный в публику» 20-й номер журнала за 1833 год. Наши попытки разыскать этот номер не увенчались успехом; его не оказалось и в ГБЛ, где «Московский телеграф» из библиотеки Полторацкого значится под шифром Е 2/13.⁷ Описанный нами 20-й номер —

⁵ См.: Санкт-петербургские ведомости, 1834, 25 февр., Прибавления, с. 381.

⁶ Ксенофонт Полевой писал о Н. А. Полевом (цитируемое свидетельство может быть отнесено и к нему самому): «Он был в самых приятельских отношениях с г. Семэном, искусным типографщиком и образованным французским книгопродавцем, у которого несколько лет печатался „Московский телеграф“» (*Полевой К. А. Записки о жизни и сочинениях Николая Алексеевича Полевого*. СПб., 1888, с. 350).

⁷ Полный комплект номеров «Московского телеграфа» за все годы издания из библиотеки Полторацкого поступил в Московский Публичный музей (ныне Библиотека им. В. И. Ленина) в начале 1860-х годов (см. Отчет по Московскому Публичному музею от времени основания его до 1-го января 1864 года. СПб., 1865, с. 72).

это задержанный в цензуре экземпляр и к экземпляру Полторацкого отношения не имеет.⁸

После опубликования нашей статьи нам стало известно (благодаря любезному сообщению московского исследователя А. Н. Николукина), что в Москве, в Государственной публичной исторической библиотеке РСФСР, в которую мы в наших поисках не обращались, имеется 20-й номер «Московского телеграфа» за 1833 год. Естественно было бы предположить, что нашелся, наконец, экземпляр, принадлежащий Полторацкому. Однако проведенное нами разыскание не позволяет сделать подобного вывода.

Полторацкий характеризовал имеющийся у него 20-й номер как «редкость», прекрасно понимал его исключительную ценность. По записям Полторацкого видно, с какой тщательностью он обдумывал вопрос о сохранности и переплете этого номера. Хотя 20-й номер был отпечатан «не на веленовой» бумаге, а у Полторацкого, помимо двух комплектов номеров «Московского телеграфа» за 1833 год, напечатанных «на лучшей веленовой бумаге, № 1-го»,⁹ имелось еще несколько (причем многие номера за 1833 год были представлены в двух вариантах: отпечатанном и корректурном),¹⁰ он считал необходимым свою «редкость» присоединить к одному из веленовых экземпляров и с ним переплести.

Осенью 1838 года, перед очередной поездкой за границу, Полторацкий готовил к переплету годовые комплекты «Московского телеграфа», хранящиеся в его библиотеке в Авчурино, и составил памятку для переплетчика относительно переплета двух веленовых экземпляров, в частности номеров за 1833 год. Что касается 20-го номера за 1833 год, то в записях Полторацкого от 9 сентября 1838 года читаем: «переплету его с одним веленовым», «не переплести ли его с 2-м экземпляром веленовым *belle reliûre*».¹¹ Однако тогда веленовые экземпляры «Московского телеграфа» переплетены не были, и Полторацкий вновь за-

нялся этим вопросом в 1856 году, по возвращении из-за границы. 6 марта 1856 года, просматривая свои записи от 9 сентября 1838 года, он внес коррективы в отношении переплета 20-го номера за 1833 год. Теперь он решил включить его не во второй, а в первый веленовый экземпляр.¹² Судьба этих экземпляров пока неизвестна.

Теперь обратимся к 20-му номеру «Московского телеграфа» за 1833 год, находящемуся в Государственной публичной исторической библиотеке РСФСР. В этой библиотеке имеется пять экземпляров (комплектов) «Московского телеграфа» за 1833 год; номер 20 входит в первый экземпляр. Ни в каталоге, ни на самом номере не имеется никаких помет, свидетельствующих, что это уникальный, редкостный номер.

Номер переплетен не в составе 53-й части, а отдельно. Переплет сравнительно новый, стандартный (синевато-фиолетовые обложки, корешок зеленый) — так переплетены номера многих журналов уже после поступления в Публичную историческую библиотеку. Судя по дырочкам на внутренних краях страниц, номер уже раньше переплетался или к чему-то подшивался.

И переплет, и цифровые отметки спином карандашом на начальной странице номера (т. е. на 419-й странице 53-й части) сделаны в самой Публичной исторической библиотеке. В нижнем левом углу начальной страницы отпечатан кружок с буквой Р внутри; подобный знак встречается и на других журналах, ранее принадлежавших разным владельцам, причем как в старинных (с кожаными корешками) переплетах, так и в стандартных.

Этот номер не отличается от задержанного в цензуре; в нем нет только двух иллюстраций. Текст совершенно чистый, без каких-либо помет. Уже одно это не в пользу принадлежности данного экземпляра Полторацкому: странно, чтобы Полторацкий, с почти педантической точностью описывавший номера «Московского телеграфа», справедливо считавший 20-й номер за 1833 год величайшей редкостью, не оставил на нем никаких записей и помет. Но и помимо этого довода существует важная деталь, позволяющая определить, откуда поступил в Публичную историческую библиотеку 20-й номер «Московского телеграфа».

В левом нижнем углу серой (титульной) обложки имеется небольшая прямоугольной формы бумажная наклейка серебристого цвета, на которой напечатана цифра: 0409. Это означает, что экземпляр поступил из богатейшей библиотеки князя А. И. Барятинского (1815—1879), известного военного и государственного деятеля (в 1850-е годы он был командующим отдельным Кавказским кор-

⁸ Сначала он хранился вместе с другими рукописями (задержанными или пропущенными), оставленными при Московском цензурном комитете (ЦГИА г. Москвы, ф. 31, оп. 4, ед. хр. 63), а позже был выделен и присоединен к протоколу заседания комитета от 13 апреля 1834 года, отделенному от других протоколов этого года (см. там же, оп. 5, ед. хр. 94).

⁹ Именно на такой бумаге печатались номера журнала, предназначенные для Полторацкого и его жены (см.: ГБЛ, ф. 233, карт. 11, ед. хр. 9).

¹⁰ См.: там же, карт. 69, ед. хр. 17, л. 40.

¹¹ Там же, л. 38 об., 43; *belle reliûre* (фр.) — красивый переплет.

¹² См. там же, л. 42.

пусом, а после победы над Шамилем в 1859 году произведен в генерал-фельдмаршалы). Исторический музей приобрел библиотеку Бярятинского в 1882 году.

Для лучшей ориентации в огромной массе книг и журналов библиотекарь Бярятинского применил систему цветных бумажных наклеек с отпечатанными инвентарными номерами на корешках или, если корешки были тонкими, на обложках книг и номеров журналов. Цвет наклейки означал определенный отдел библиотеки Бярятинского: синий — историю, зеленый — юридические науки, розовый — художественную литературу, серебряный — периодические издания и т. д.¹³ Подобные серебряные наклейки с инвентарными номерами можно видеть на многих частях и номерах журналов из библиотеки Бярятинского, находя-

щихся ныне в Публичной исторической библиотеке. Встречаются они и на корешках частей «Московского телеграфа». Например, приклеены серебряные бумажные прямоугольники на корешках частей 50, 51, 52 (1833 год) с номерами 9115, 9116 и 9117.

Поскольку на 20-м номере за 1833 год, заключающем собою 53-ю часть, имеется наклейка с небольшим инвентарным номером (0409), можно предполагать, что библиотекарь Бярятинского и сам владелец библиотеки знали ценность этого номера и держали его на особом хранении (в противном случае на наклейке следовало бы напечатать цифру 9118, так как на корешке предыдущей 52-й части значилась цифра 9117).

В заключение заметим, что в настоящее время с экземпляра 20-го номера «Московского телеграфа» за 1833 год, находящегося в Государственной публичной исторической библиотеке РСФСР, снимается микрофильм для Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. Этот номер вполне заслуживает того, чтобы с него были сделаны микрофильмы и для других библиотек страны, имеющих комплекты «Московского телеграфа».

¹³ См.: *Розанов И. Н.* Как создавалась Государственная библиотека при Историческом музее. Исторический очерк. М., 1937 (машинопись, гл. III); Государственная публичная историческая библиотека РСФСР, шифр: Б 186-54.

Н. Ф. Веленгурин

ЕЩЕ О КУБАНСКИХ МАРШРУТАХ ЛЕРМОНТОВА

Михаил Юрьевич Лермонтов не раз бывал на Северном Кавказе и запечатлел его в своих поэтических произведениях и романе «Герой нашего времени». Особое место в его жизни и творчестве занимают поездки на Кубань. В недолгие по времени, но очень насыщенные впечатлениями поездки вдоль правобережья Кубани он познакомился с жизнью кубанских казаков и мирных черкесов, видел этот край и чудесной теплой позолоченной осенью и в заснеженные слякотные декабрьские дни. Перед его глазами открывались и степные бескрайние дали, и густые леса, и волнующееся море. Неотразимые впечатления, приобретенные поэтом, воплотились в чарующей прозе, в жемчужине русской литературы — его бессмертной повести «Тамань».

В связи с этим исследователи жизни и творчества поэта не раз обращались к его поездкам по Кубани. Но скудость документальных материалов не дает возможности и сейчас еще с достаточной полнотой воспроизвести его кубанские маршруты. В свое время Л. П. Семенов, И. К. Еняколопов, А. В. Попов и другие в описаниях поездок поэта по Кубани следовали во многом данным формулярного списка М. Ю. Лермонтова, воспроизведе-

нным Д. В. Раковичем и К. П. Белевичем, согласно которым Михаил Юрьевич якобы участвовал в военных походах в районе Геленджика с апреля до конца сентября 1837 года. Выявленные позже документальные материалы позволили отклонить этот документ как недоверный. Однако за последнее время появились публикации, в которых их авторы снова обратились к формулярному списку М. Ю. Лермонтова 1840 года как якобы бесспорному источнику биографических сведений о нем. Это статьи М. Савченко «Кубанские маршруты Лермонтова» («Советская Кубань» (г. Краснодар), 1979, 27 окт.) и «Создатель бессмертной „Тамани“» (альманах «Кубань», 1981, № 7, с. 87—92) и статья Д. Романова «Об опасностях хотел умождать. Исследуя формулярный список М. Ю. Лермонтова» («Советская Россия», 1982, 31 янв.).

Статья Д. Романова уже получила соответствующую оценку, высказанную В. А. Мануйловым и С. Б. Латышевым на страницах «Литературной газеты» (1982, 23 июня). Поскольку ранее напечатанные работы М. Савченко содержат аналогичные ошибочные высказывания о кубанском маршруте М. Ю. Лермон-

това 1837 года, то критика В. А. Мануйловым и С. Б. Латышевым статьи Д. Романова может быть адресована и М. Савченко.

М. Ю. Лермонтов не мог участвовать в экспедициях отряда А. А. Вельяминова с апреля до сентября 1837 года на Черноморском побережье, в районе Геленджика, как об этом свидетельствуют данные формулярного списка 1840 года, по той простой причине, что он в это время находился на лечении в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, а в сентябре этого года совершил поездку из Кавказских Минеральных вод вдоль правобережья Кубани до Тамани. Данным формулярного списка 1840 года об участии Лермонтова в военных походах по Черноморскому побережью противоречат такие известные материалы, как письма писателя С. А. Раевскому и М. А. Лопухиной. С. Раевскому в том же году он писал, что на воды, т. е. в Пятигорск, он приехал «весь в ревматизмах» и его «на руках вынесли люди из повозки». Стало бытъ, не может быть и речи о том, что он в это время совершал военный поход по побережью Черного моря. В письме от 31 мая 1837 года поэт сообщал М. А. Лопухиной, что живет в Пятигорске и лечится. Это подтверждает и рапорт М. Ю. Лермонтова от 13 мая того же года, и свидетельство о его болезни. Сохранились три сделанных поэтом рисунка с видами Ставрополя, на одном из них стоит дата «21 мая». И они доказывают, что поэт в это время не участвовал в походе отряда А. А. Вельяминова. Об этом же свидетельствуют записи о важных билетах, выданных М. Лермонтову в Пятигорске с 4 июня до 9 августа 1837 года, и другие материалы.

Чтобы как-то объяснить такое странное расхождение данных о лечении Лермонтова на Кавминводах с данными формулярного списка об участии поэта в это же время в сражениях и походах в западной части Кавказа, в Причерноморье, М. Савченко приводит слова историка о том, что «офицерам не запрещалось отлучаться с постов не только в ближайшие казачьи поселки, но даже на минеральные воды. . .», не понимая при этом, что речь идет об офицерах, служивших на кордонах (постах), расположенных недалеко от казачьих станиц и Минвод, а не об офицерах, участвующих в военном походе и боях, действующих за Кавказским хребтом, за многие сотни верст от Пятигорска.

Опираясь на данные формулярного списка, М. Савченко, хотел он этого или нет, в сущности исключает поездку Лермонтова в сентябре 1837 года в Тамань (ибо, находясь в отряде А. А. Вельяминова в районе Геленджика, Лермонтов не мог в это же время быть и в Тамани), и, следовательно, документальность тех впечатлений, которые пронизывают всю его повесть о Тамани.

Если неправомочность обращения

Д. Романова и М. Савченко к такому недостоверному документу, каким является формулярный список Лермонтова 1840 года, убедительно доказана В. А. Мануйловым и С. Б. Латышевым, то высказывания М. Савченко в его статьях о поездках М. Лермонтова на Кубань в 1840 году не получили оценки и не встретили возражений в печати.

Надо сказать, что автор статьи «Создатель бессмертной „Тамани“» проф. М. Савченко проявил явную неосведомленность в важнейших событиях жизни поэта. Он, например, утверждает: «Возвратившись с Кавказа, Лермонтов более двух лет служит в лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, который дислоцировался в Новгородской губернии. . .» Между тем общеизвестно, что М. Ю. Лермонтов фактически в этом полку был лишь с 26 февраля 1838 года по апрель того же года. 9 апреля 1838 года последовал высочайший приказ о переводе его в лейб-гвардию Гусарский полк. И в конце этого месяца он уже был в Петербурге, а 14 мая 1838 года прибыл в лейб-гвардию Гусарский полк, размещавшийся под Царским Селом. В нем он находился около двух лет, до апреля 1840 года, когда за участие в дуэли с сыном французского посла Эрнестом де Барантом был переведен в Тенгинский пехотный полк.

По мнению М. Савченко, Лермонтов в 1840 году совершил две поездки на Кубань. Одну летом 1840 года, вторую — в декабре того же года. И обе в Тенгинский полк, куда был переведен по приказу царя. В статье «Создатель бессмертной „Тамани“» он повторяет соображения, ранее высказанные в работе «Кубанские маршруты Лермонтова»: «С 10 июня 1840 года поэт снова в Ставрополе, откуда. . . он отправился в Тенгинский полк, входивший в состав Первой бригады 20-й дивизии. Как мы уже отметили, в это время Тенгинский полк находился в станице Ивановской. Следовательно, именно сюда прибыл Лермонтов» (с. 91). А вот что на это счет говорит сам М. Ю. Лермонтов в письме А. А. Лопухину: «Я здесь, в Ставрополе, уже с неделю и живу вместе с графом Ламбертом. . .» И в том же письме, которое в собрании сочинений поэта датируется 17 июня 1840 года: «Завтра я еду в действующий отряд, на левый фланг, в Чечню брать пророка Шамиля, которого, надеюсь, не возьму, а если возьму, то постараюсь прислать к тебе по пересылке. . .» И в этом же письме сообщение о том, что дорогой в Ставрополь он заезжал в Черкасск к генералу Хомутову и прожил у него три дня. Установленная дата отправки письма вполне согласуется с его содержанием. По словам поэта, «завтра», т. е. 18 июня, он едет в действующий отряд на левом фланге.

Потом командир Тенгинского полка будет дважды запрашивать Штаб войск Кавказской линии и в Черномории о том, где находится пропавший поручик.

И Штаб войск Кавказской линии и в Черномории ответит, что Лермонтов прибыл в Ставрополь 11 июня и 18 числа того же месяца был командирован на левый фланг Кавказской линии. Документы эти были обнародованы Л. П. Семеновым в «Горской мысли» (кн. 3, с. 42—43) еще в 1922 году. Но М. Савченко делает вид, что таких документов не существует.

В статье «Кубанские маршруты Лермонтова» М. Савченко сделал вывод, что встреча поэта с декабристом Н. И. Лорером в Фанагории произошла летом 1840 года. По его словам, отправившись в июне из Ставрополя не на левый фланг, а в Черноморию, в Тенгинский полк, Лермонтов «затем проехал в Фанагорийскую крепость, где и встретился с декабристом Лорером». То же самое он повторил и в статье «Создатель бессмертной „Тамани“»: «Представившись о своем прибытии к месту службы, М. Ю. Лермонтов совершает кратковременную поездку в Фанагорийскую крепость, находившуюся недалеко от Тамани. Здесь в июне 1840 года он встретился с декабристом Лорером. . .»

Другую точку зрения высказал В. Захаров.¹ «Можно утверждать, что 29 декабря 1840 года Лермонтов был проездом в Тамани. . .», где, по словам автора статьи, встретился с декабристом Н. И. Лорером. И отсюда направился в штабквартиру Тенгинского пехотного полка в крепость Анапу, куда приехал, подчеркивает В. Захаров, 31 декабря 1840 года. Приведенные исследователем даты проезда Лермонтова через Тамань и прибытия его в Анапу тоже документально не подкрепляются — они выведены, по видимому, на основании приказа по Тенгинскому полку от 31 декабря 1840 года о том, что поручик Лермонтов в полку «налицо».

А вот что пишет в своих «Записках» сам Н. И. Лорер, снимавший в то время домик в Фанагории, рядом с Таманью: «Мрачный ноябрь наступил. . . Через месяц (т. е. в декабре, — *Н. В.*). . . в одно утро явился ко мне молодой человек в сюртуке нашего Тенгинского полка, рекомендовался поручиком Лермонтовым. . .» И он же уточняет: «Приближались праздники Рождества Христова».² Следовательно, по словам Н. И. Лорера, М. Ю. Лермонтов побывал у него еще накануне Рождества Христова, которое в России, как известно, отмечалось ежегодно 25 декабря по старому стилю. Стало быть, Лермонтов побывал у декабриста Н. И. Лорера в Фанагории до Рождества Христова, т. е. до 25 декабря.

Итак, не в июне 1840 года и не 29 декабря того же года произошла встреча

Лермонтова с Лорером в Фанагории, а незадолго до 25 декабря 1840 года.

До сих пор исследователи не обращали внимания на эту важную, упоминаемую декабристом деталь. А она дает возможность сориентироваться и определить если не дату, то более или менее точное время их встречи — в дни, предшествующие 25 декабря 1840 года. Значит, и в Анапу М. Ю. Лермонтов прибыл не 31 декабря 1840 года, а раньше.

И еще. Н. И. Лорер пишет о Лермонтове: «. . . он ехал в штаб полка явиться начальству». Следовательно, и к нему, к Лореру, поэт явился не после того, как представился «к месту службы» своего полка (так утверждает М. Савченко), а до этого. Хотя, на первый взгляд, кажется логичным предположение, что прибывший на Юг поручик должен был бы прежде всего явиться в свой полк (в данном случае — Тенгинский) и представиться начальству. Но нужно иметь в виду, что и в период своей первой ссылки Лермонтов не сразу явился в Нижегородский драгунский полк, хотя и приехал в Ставрополь весной 1837 года, а попал в него только в ноябре, да и то уже после того, как последовал приказ о переводе его в Гродненский полк. И в 1840 году, пользуясь благосклонным отношением к нему начальника войск Кавказской линии и в Черномории, решил отправиться на левый фланг, где начались военные действия и представилась возможность отличиться. И получил он командировку в отряд Галафеева непосредственно от Штаба войск Кавказской линии и в Черномории, что было сделать намного легче, находясь в Ставрополе, где размещался этот штаб, чем из Тенгинского полка, отдаленного большим расстоянием от Ставрополя.

Это тоже логично и вполне согласуется с реальными фактами. Однако автор статьи «Создатель бессмертной „Тамани“», ссылаясь на формулярный список («как явствует из формулярного списка»), не указывая, впрочем, точных данных об этом списке, пишет, что после приезда в Ставрополь в июне 1840 года Лермонтов отправляется в Тенгинский полк в станцию Ивановскую, из Ивановской — в Фанагорию и после встречи с Лорером возвращается в Ивановскую, в свой полк. И уже отсюда он якобы уезжает в Чеченский отряд. В декабре же 1840 года возвращается в Тенгинский полк.

На этот раз исследователь обращается к работе К. Белевича «Несколько картин из Кавказской войны и нравов горцев», в которой указывается, что именно сюда, в Тенгинский полк, последовало распоряжение штаба командующего войсками «о прикомандировании его к Чеченскому отряду» и «он (Лермонтов, — *Н. В.*) вскоре туда и отправился».

В связи с этим естественно возникает вопрос. Если такое распоряжение поступило в Тенгинский полк в июне 1840 года, то его командир должен был бы знать,

¹ Захаров В. А. Вторая поездка на Кубань. — Советская Кубань (г. Краснодар), 1979, 16 января.

² Лорер Н. И. Записки декабриста. М., 1931, с. 241.

где находится состоящий в его полку поручик Лермонтов. Но факты свидетельствуют о другом. Поэтому и запрашивает он 17 сентября и 30 октября 1840 года Штаб войск Кавказской линии и в Черномории о том, где находится переведенный в его полк Лермонтов. И этот штаб 11 ноября 1840 года (а затем и 30 ноября 1840 года) отправляет отношение командиру Тенгинского полка с разъяснением, что прибывший в Ставрополь Лермонтов 18 июня командирован на левый фланг Кавказской линии. Но автор статьи «Создатель бессмертной „Тамани“» делает вид, что и таких документов в природе нет. И чтобы как-то объяснить якобы имевшее место пребывание Лермонтова в Ивановской в июне 1840 года, он отодвигает события, связанные с появлением поэта на левом фланге, на июль 1840 года. «С 11 июля по 17 ноября 1840 года, — пишет он, — Лермонтов провел в Чечне, в отряде Галафеева» (с. 91). Иными словами, участие Лермонтова начинается прямо с боя на реке Валерик, проходившего 11 июля 1840 года. Но до этого боя Лермонтов совершил поход в лагерь при крепости Грозной, затем в аулы Большая Чечня, Чах-Гере, Гехи. И только после выступления из лагеря при ауле Гехи 11 июля Лермонтов вместе с другими направляется к реке Валерик. В отряде Га-

лафеева он принимает участие в боях с июня по ноябрь 1840 года.

В сентябре 1840 года из Пятигорска, где он лечился, Лермонтов отправляет письмо А. А. Лопухину, в котором сообщает: «Я здесь (т. е. в отряде, — *И. В.*) проведу до конца ноября, а потом не знаю, куда отправлюсь — в Ставрополь, на Черное море или в Тифлис». «На Черное море» — в Анапу, где в то время находился штаб Тенгинского полка.

Только после завершения осенней экспедиции в отряде Галафеева Лермонтов возвращается в Ставрополь и уже отсюда направляется в свой Тенгинский полк. Таким образом, в 1840 году М. Ю. Лермонтов по делам службы побывал на Кубани не дважды, как утверждает М. Савченко, а один раз. В конце декабря 1840 года Лермонтов прибыл в Анапу. После недолгого пребывания в Тенгинском полку, в Анапе, Лермонтов в январе 1841 года возвращается в Ставрополь. А 14 января 1841 года получает отпускной билет № 384 на два месяца и выезжает в Петербург.

Используя данные формуляра Лермонтова 1840 года, М. Савченко пытается доказать недоказуемое. Игнорируя открытия и выводы новейшего лермонтоведения, он допускает множество противоречий и нереальных домыслов.

В. А. Захаров

ДВЕ ПОЕЗДКИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА НА КУБАНЬ

Пребывание М. Ю. Лермонтова на Кубани до сих пор малоизученный раздел лермонтоведения, несмотря на существование ряда статей, специально посвященных этому вопросу.¹ О поездках поэта по кубанской земле, а точнее о его посещении Таманя в 1837 году, содержатся сведения в более чем сотне газетных ста-

тей, которые, за небольшим исключением по сути повторяют друг друга. Появление каждой новой публикации встречается учеными и специалистами с большим вниманием. Однако напечатанная в альманахе «Кубань» в 1981 году статья профессора Кубанского университета М. М. Савченко² поражает огромным количеством фактических ошибок, неточностей, вольным толкованием основных сведений о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова 1837—1840 годов.

Что же представляли собой поездки М. Ю. Лермонтова на Кубань в 1837 и 1840 годах?

В феврале 1837 года за стихи, написанные на смерть А. С. Пушкина, корнет лейб-гвардии Гусарского полка Михаил

¹ *Соколов В. В.* Лермонтов в Тамани. — Изв. Таврического общества истории, археологии и этнографии, т. 2. Симферополь, 1928, с. 127—129; *Михельсон В.* Лермонтов на Кубани. — Кубань, 1946, № 2, с. 260—273; *Прокопенко Л.* Тамань при Лермонтове. — Кубань, 1969, № 5—6, с. 207—212; *Веленгурин Н. Ф.* 1) Поручик Тенгинского полка. — Кубань, 1976, № 9, с. 102—111; 2) На Кубанской земле. — В кн.: *Веленгурин Н. Ф.* Дорога к лукоморью. От Пушкина до Горького. Краснодар, 1976, с. 152—193; 3) По следам Печорина. — В мире книг, 1977, № 6, с. 80—82.

² *Савченко М.* Создатель бессмертной «Тамани». — Кубань, 1981, № 7, с. 87—92. Ошибки автора были отмечены в статье: *Захаров В., Малахова В. М.* Ю. Лермонтов на Кубани. — Таманец (г. Темрюк), 1981, 6, 13, 15 окт.

Лермонтов был сослан на Кавказ в Нижегородский драгунский полк.

19 марта он покинул Петербург, 10 апреля выехал из Москвы.³ Его путь лежал в Ставрополь — административный и военный центр Кавказской линии и Черномории. Отсюда шла дорога в Закавказье, на Кубань и в Дагестан. Дорога от Москвы до Ставрополя в те годы занимала около двух недель, что видно из известных нам дат поездов М. Ю. Лермонтова в предыдущие и последующие годы. Оказаться в Ставрополе поэт мог не ранее 24 апреля.⁴ 13 мая М. Ю. Лермонтов «подал в Штаб войск на Кавказской линии и в Черномории рапорт „... об освидетельствовании болезни его“». ⁵ Помещенный в ставропольский военный госпиталь, он вскоре переводится в пятигорский, для лечения минеральными водами. 31 мая датировано письмо поэта к М. А. Лопухиной из Пятигорска. Хронология апреля—мая 1837 года довольно ясна и каких-либо исправлений не требует.

Но вот что пишет в своей статье М. М. Савченко: «Лермонтов прибыл в Геленджик около 21 апреля и поступил в распоряжение начальника первого отделения Черноморской береговой линии артиллерийского генерал-майора Штейбена. Под начальством этого лица Лермонтов впервые познакомился с боевой жизнью и услышал свист вражеских пуль среди постоянных перестрелок при конвоировании транспортов с разными запасами из Ольгинского тет-де-пона в Абинское укрепление. Тут отряд Штейбена присоединился к войскам генерала Вельяминова. Таким образом, — заключает М. М. Савченко, — Лермонтов на Черноморское побережье отправился сразу же по прибытии в Ставрополь в 1837 году».⁶

Но всем этим данным противоречат, например, сведения, содержащиеся в дневнике офицера — участника экспедиции 1837 года. М. Ю. Лермонтов на страницах дневника не фигурирует не потому, что автор не знал о его существовании. Встретившись с поэтом 14 декабря в крепости Прохладной, он сразу же оставил сооб-

щение об этом факте.⁷ То, что М. Ю. Лермонтов не был в экспедиции, известно и по архивным документам. 28 июля 1837 года командир Нижегородского драгунского полка препроводил аттестат «об окончательной даче провианта денщику прапорщика Лермонтова». 28 сентября был получен ответ, «что прапорщика Лермонтова в действующем отряде не находится».⁸

Поэт действительно не был в отряде ни в апреле, ни в мае 1837 года, потому что еще не существовало приказа о его прикомандировании. М. Ю. Лермонтов писал С. А. Раевскому сущую правду в своем письме: «Простудившись дорогой, я приехал на воды весь в ревматизмах; меня на руках вынесли люди из повозки, я не мог ходить».

На водах у поэта изменился маршрут дальнейшего следования. В Тифлисе, где стоял Нижегородский полк, он не едет; 18 июля отправляет из Пятигорска бабушке письмо: «Эскадрон нашего полка, к которому барон Розен велел меня причислить, будет находиться в Анапе, на берегу Черного моря, при встрече государя, тут же, где отряд Вельяминова, и, следовательно, я с вод не поеду в Грузию».

Почему поэт оказался в экспедиционном отряде, а не в предписанном царем Нижегородском полку? До сих пор этот вопрос не совсем выяснен. Что же происходило летом 1837 года?

Нижегородский полк стоял почти без действий. Самым же ответственным военным событием 1837 года была экспедиция за Кубань, которую возглавил сам Командующий Кавказской линией и Черноморией генерал-лейтенант А. А. Вельяминов. Дядя поэта генерал П. И. Петров — начальник штаба у А. А. Вельяминова — прекрасно понимал, что во время военных действий показать себя в бою, отличиться будет проще. А это как раз и давало повод для прощения.

Но вот как отправить М. Ю. Лермонтова в экспедицию? Перевести поэта — означало нарушить волю царя, решиться на такое было весьма рискованно.

К этому делу привлекли флигель-адъютанта великого князя А. И. Философова, женатого на кузине М. Ю. Лермонтова, который 7 мая написал в Тифлис письмом к своему старому приятелю В. Д. Вольховскому — начальнику Штаба Кавказского корпуса.

«Письмо твое, любезнейший и почтеннейший Алексей Илларионович, — отвечал Вольховский Философову, — от 7/19 мая получил я только в начале июля в Пятигорске и вместе с ним нашел там

⁷ ГПБ, ф. 777, № 326, тетрадь 3, л. 14.

⁸ Яковкина Е. И. О маршруте путешествия М. Ю. Лермонтова по Кавказу в 1837 году. — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Временник Гос. музея «Домик Лермонтова». Пятигорск, 1947, с. 63.

³ Мануйлов В. Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова. М.—Л., 1964, с. 78, 79.

⁴ С точкой зрения А. В. Попова (см.: Попов А. В. Лермонтов на Кавказе. Ставрополь, 1954, с. 28), которую повторил В. Г. Гниловской (см.: Гниловской В. Г. Ставропольские рисунки Лермонтова. — В кн.: Русская литература и Кавказ. Ставрополь, 1974, с. 43), никак нельзя согласиться. 15 апреля 1837 года М. Ю. Лермонтов не мог быть в Ставрополе.

⁵ Мануйлов В. Указ. соч., с. 80.

⁶ Савченко М. Указ. соч., с. 89. Автор ссылается на сведения П. А. Висковатого, считая, что он приводит достоверные факты, но вывод делает сам.

молодого родственника твоего Лермонтова. Не нужно тебе говорить, что я готов и рад содействовать добрым твоим намерениям на щет его: кто не был молод и неопытен? На первый случай скажу, что он, по желанию ген. Петрова, тоже родственника своего, командирован за Кубань, в отряд ген. Вельяминова: два, три месяца экспедиции против горцев могут быть ему небесполезны. . . По возвращении Лермонтова из экспедиции постараюсь действовать на щет его в твоём смысле».⁹

Но пока письмо нашло В. Д. Вольховского в Пятигорске, куда он приехал для лечения, в Ставрополь, в Штаб войск пришел рапорт, подписанный все тем же Вольховским, датированный 10 июля, об отправлении в действующий за Кубань отряд Нижегородского драгунского полка прапорщика Лермонтова. Павел Иванович Петров, воспользовавшись присутствием В. Д. Вольховского в Пятигорске, просил его отдать соответствующий приказ. Ведь именно об этом пишет В. Д. Вольховский в письме к А. И. Философову.

Друзья рассчитывали, что прощение поэта может произойти в ближайшее время. А. И. Философов, находясь в свите великого князя Михаила Павловича на маневрах, пишет жене в Петербург 1 сентября 1837 года: «Тетушке Елизавете Алексеевне (бабушке М. Ю. Лермонтова, — В. З.) скажи, что граф <А. Ф.> Орлов сказал мне, что Михайло Юрьевич будет наверно прощен в бытность государя в Анапе, что граф Бенкендорф два раза об этом к нему писал и во второй раз просил доложить государю, что прощение этого молодого человека он примет за личную себе награду; после этого, кажется, нельзя сомневаться, что последует милостивая резолюция».¹⁰

М. Ю. Лермонтов каким-то образом был, конечно, извещен об этих переговорах, вот почему ему надо было непременно попасть в отряд Вельяминова.

21 апреля 1837 года при Ольгинском тет-де-поне часть войск перешла на левый берег Кубани и сразу же выступила для поправки устроивших прежде плотин через болото к Абинскому укреплению. К вечеру того же дня переправились остальные войска, назначенные для экспедиции: 7 батальонов 20-й дивизии 20-й артиллерийской бригады, 10 легких орудий, 10 горных единорогов, 10 мортир, 25 конно-черноморских казаков при одном уряднике. 5 мая в лагерь прибыли А. А. Вельяминов.¹¹

Уже по дороге к Абинскому укреплению наблюдались военные столкновения отряда с горцами. Чем дальше продвигались войска, тем чаще приходилось

хорошить убитых нижних чинов и офицеров.

«Если бы можно было в этой прелестной стороне гулять, где хочешь, то тогда не было бы так скучно, и можно было сколько-нибудь себя развлечь. Сколько прелестных рощ вблизи не более 300 шагов за цепью, прелестные долины, но цепь граничит там, и ты между гор, морем и цепью сидишь, как в клетке, и ходишь лишь за цепь на фуражировки, где некогда насладиться прелестями природы», — отмечал один из участников экспедиции.¹²

Обстановка на Кубани осложнялась еще и национальной враждой, раздуваемой, с одной стороны, царским правительством и Ираном и Турцией — с другой. До 1829 года правительство не предпринимало больших наступательных операций на Западном Кавказе, но уже в 1830 году на Черноморском побережье от Анапы до Сухуми была учреждена Черноморская береговая линия, на которой соорудили 17 военных укреплений. Эта линия должна была отрезать горцев от морских сношений с Турцией. Но это, одно из самых нелепых предприятий И. Ф. Паскевича и Николая I обернулось бедой — укрепления вскоре сами оказались блокированы.

«Укрепления береговой линии были отрезаны от всего мира и сношения их даже между собою сухим путем были не мыслимы, вследствие отсутствия дорог и постоянных нападений горцев. Даже из-за стен укреплений нельзя было показаться, не рискуя вызвать пулю: добывание дров, пастьба скота, кошение сена, возделывание огородов и рытье могил — все оплачивалось кровью», — замечал историк Кавказской войны Н. Ф. Дубровин.¹³

Главные усилия 1837 года были обращены на овладение черноморским берегом и на сооружение в важнейших местах укреплений. Николай I собирался лично их осмотреть во время своей инспекторской поездки. Вот почему все силы были брошены на закубанскую экспедицию, которой руководил А. А. Вельяминов.

Только в сентябре 1837 года М. Ю. Лермонтов выезжает из Пятигорска в отряд Вельяминова.¹⁴ В нашем распоряжении имеется журнал поездки нового Командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории генерал-адъютанта П. Х. Граббе из Ставрополя в Тамань на встречу командира Кавказского корпуса генерала от инфантерии Е. А. Голловина в 1838 году. Теперь есть возможность проследить и путь М. Ю. Лермонтова.

⁹ Там же, л. 2 об.—3.

⁹ Мануйлов В. Указ. соч., с. 82—83. Курсив мой, — В. З.

¹⁰ Там же, с. 83.

¹¹ ГПБ, ф. 777, № 326, тетрадь 1, л. 12.

¹³ Дубровин Н. Ф. Кавказская война в царствовании императоров Николая I и Александра II (1825—1864). СПб., 1896, с. 132.

¹⁴ Мануйлов В. Указ. соч., с. 83.

Рано утром выезжали из Ставрополя, далее через станции при укреплениях Рождественской, Каменобродской, подстанции на Горькой речке к обеду приезжали в Прочный Окоп, проделав 80 верст. Затем следовали 68 верст через Григориполисскую и Темнжбекскую. Ночевали в Кавказской. Утром следующего дня выезжали через Казанскую, Тифлисскую и Ладжскую — обед в Усть-Лабинском укреплении. За это время проезжали 72 версты. Далее через Карасунский курень въезжали в город Екатеринодар, проделав 60 верст. На следующий день после обеда отправлялись в путь до Ольгинского редута, где ночевали, проезжая следующие 60 верст через Копанскую и Мышастовскую. Самым утомительным был четвертый день. Оставшиеся 167 верст ехали почти без отдыха через Каракубанскую, Копыльскую, Калаускую, Курчанскую, Темрюк, Пересыпь, а затем, повернув влево, по берегу Таманского залива, через Сенную дорога шла на Тамань. В город прибывали поздно вечером.¹⁵

Где-то после 9 часов пополудни 26 сентября 1837 года поэт прибыл в маленький приморский городок с «подорожной по казенной надобности».

В Тамани М. Ю. Лермонтов задержался на несколько дней, видимо, причины были те же, которые задержали в Тамани и героя повести «Тамань»:

«... Я отправился в крепость Фанагорию, чтоб узнать от коменданта о часе моего отъезда в Геленджик.

Но увы, комендант ничего не мог сказать мне решительного. Суда, стоящие в пристани, были все или сторожевые, или купеческие, которые еще даже не начинали нагружаться. „Может быть, дни через три, четыре придет почтовое судно, — сказал комендант, — и тогда мы увидим“». — писал М. Ю. Лермонтов в своей повести.

Встретившись в Фанагорийской крепости с вопиющим начальником майором П. Я. Посыпкинским,¹⁶ М. Ю. Лермонтов узнал, что ехать в район Геленджика, где должен был находиться экспедиционный отряд, не следует. Только что, на прибывшем транспорте «Буг», пришло сообщение о приказе Николая I раслуцить полки на зимние квартиры, и уже 25 сентября экспедиционный отряд выступил к Ольгинскому укреплению. П. Я. Посыпкин, вероятно, распорядился отметить подорожную и направил Нижегородского драгунского полка прапорщика Лермонтова в укрепление Ольгинское, в походный штаб Вельяминова, для получения дальнейших распоряжений.

«Итак, в 1837 году Лермонтов, при-

быв в Ставрополь, непродолжительное время находится на лечении в Пятигорске, а затем, с конца апреля по конец мая, — в отряде Вельяминова, действовавшем в районе от крепости Геленджик до устья реки Вулан. Затем, судя по отчетам Нижегородского драгунского полка, он находится в Пятигорском военном округе, в отряде генерала Галафеева в районе Чечни, а затем в Черномории, у нас на Кубани. При этом надо заметить, что при удобном случае поэт стремился побывать в Ставрополе и Пятигорске», — заключает М. М. Савченко.¹⁷

Но ничего подобного с поэтом в 1837 году не происходит. В Геленджик М. Ю. Лермонтов так и не попал, не было его и в отряде Галафеева в Чечне, поскольку никаких военных действий в Дагестане в 1837 году не происходило. Утверждения М. М. Савченко и Д. М. Романова,¹⁸ основанные на данных послужного списка поэта, не подтверждаются ни одним документальным свидетельством.¹⁹ Больше того, архивные документы говорят о совершенно противоположном. В журнале исходящих бумаг Штаба войск на Кавказской линии и в Черномории была сде-

¹⁷ Савченко М. Указ. соч., с. 91.

¹⁸ Романов Д. Об опасностях хотел умолчать. — Сов. Россия, 1982, 31 янв., № 26, с. 4. Критику положений статьи Д. М. Романова см.: Мануйлов В., Латышев С. Осторожно: сенсация. — Лит. газ., 1982, 23 июля, с. 3; Захаров В. Был ли М. Ю. Лермонтов в Геленджике? (По поводу одной публикации). — Таманец (г. Темрюк), 1982, 7 сент., № 108, с. 4.

¹⁹ Послужный список поручика М. Ю. Лермонтова, известный еще П. А. Висковатому и им же опубликованный (см.: Висковатый П. А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. — В кн.: Лермонтов М. Ю. Соч., т. VI. М., 1891, с. 261—262), был вновь обнаружен Д. М. Романовым и объявлен им как до сих пор не известный. Кроме первого биографа сведения из этого послужного списка повторялись Н. И. Буковским, А. Ивденским, Э. Дюноном и др. Только в 1913 году Д. И. Абрамович справедливо указал, что на самом деле Нижегородский драгунский полк летом 1837 года не принимал никакого участия в экспедиции Вельяминова (ср.: Юров А. Три года на Кавказе. 1837—1839. — Кавказский сборник, т. VIII. Тифлис, 1884, с. 134). Нижегородцы всю весну и лето простояли в Караагаче, лишь два пеших эскадрона занимались рекогносцировкой Главного Кавказского хребта и лезгинской линии (см.: Потто В. История 44-го Драгунского Нижегородского полка, т. IV. СПб., 1894, с. 73—78). «Сведения послужного списка, — заключил Д. И. Абрамович, — несколько не соответствуют действительности». (См.: Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч., т. 5. СПб., 1913, с. LXXVI).

¹⁵ Гос. архив Краснодарского края (далее: ГАРК), ф. 249, оп. 1, д. 1544, л. 14—14 об.

¹⁶ Там же, д. 1509, л. 5.

лана следующая запись: «Октября 22, № 4636. Предписание в комиссию Ставропольского комиссариатского депо от начальника штаба. Просить об отпуске прогонных денег Нижегородского драгунского полка прапорщику Лермонтову от Пятигорска до Тамани и обратно до Ставрополя».²⁰

Нам хочется еще раз подчеркнуть, что в дорожной стояли отметки конечных населенных пунктов: Пятигорск—Тамань—Ставрополь.

Что же произошло в те дни в отряде А. А. Вельяминова? События на берегу геленджикской бухты развивались следующим образом. 20 сентября 1837 года в 11 часов утра Николай I съехал с парохода на берег и прибыл в лагерь.²¹ Полки были построены к смотру. Но неожиданно все смешалось. В крепости Геленджик начался пожар. Поднявшийся сильный ветер еще больше раздувал пламя, которое перекинулось на провиантские магазины. Запасы сена и муки сгорели, убыток составил огромную по тем временам сумму — свыше 200 тысяч рублей.²² Николай I остался ночевать в крепости. Ветер не утихал и весь следующий день и был таким сильным, что опрокинулась палатка А. А. Вельяминова. Только к вечеру 22 сентября Николай I смог вернуться на пароход, где и остался ночевать. 23-го, в четыре часа пополудни, пароход снялся с якоря и, не поднимая флага, отплыл в Керчь.²³ 25 сентября, пересев на пароход «Полярная звезда», он направился в Редут кале.²⁴ Перед отходом из Геленджика Николай I отдал приказ об отмене экспедиции — другого выхода не было. Всем было ясно, что оставить войска на зиму означало бы обресть людей на голодную смерть.

Нам хочется привести выписку из журнала военных действий закубанского отряда. До сих пор этот документ никогда не цитировался.

«Сентября 25-го отряд выступил по дороге к Ольгинскому тет-де-пону, и, прошед перевал Нако, остановился для

ночлега. В ничтожной перестрелке с неприятелем мы потери не имели.

Сентября 26-го отряд выступил на рассвете и к 4 часам пополудни расположился для ночлега в 2-х верстах от укрепления Николаевского.

Сентября 27-го отряд выступил на рассвете и к 2 часам пополудни прибыл к укреплению Абинскому, где и расположился для ночлега.

Сентября 28-го отряд выступил на рассвете. Неприятель виден был по сторонам и против артиллерии, с которым вел перестрелку, усилившуюся при проходе войск мимо леса, находящегося в 3-х верстах от укрепления Абинского. Здесь с нашей стороны ранено рядовых 3. На речке Кунине отряд расположился для ночлега, исключая 1-го батальона Навагинского пехотного, 4-го батальона Кабардинского егерского полков и 3-х легких орудий, которые отправились с Командующим войсками на Кавказской линии генерал-лейтенантом Вельяминовым, прямо в Ольгинский тет-де-пон.

Сентября 29-го остальные войска отряда, под начальством генерал-майора Гостомплова, прибыли к Ольгинскому тет-де-пону. Весь отряд расположился лагерем на берегу Кубани».²⁵

«Солдаты в восхищении, что их пускают по квартирам, ибо второго периода не будет», — записал в своем дневнике участник экспедиции.²⁶

Тем временем М. Ю. Лермонтов утром 28 сентября 1837 года выехал из Тамани. Переночевав, вероятно, в Ивановской, он выехал на Мышастовскую, откуда шла дорога в Ольгинское. Это небольшое отдельное, самостоятельное укрепление кордонного участка Кавказской линии играло роль тет-де-пона, то есть предместного укрепления на левом берегу Кубани.

Укрепление было построено в 1831 году из крепости Благовещенской, возведенной А. В. Суворовым в 1778 году. В 1837 году здесь находился временный походный штаб закубанской экспедиции, к которой был прикомандирован М. Ю. Лермонтов. В октябре 1855 года пост Ольгинский был упразднен, а находившиеся там жители (37 человек) переселены в станицу Новомышастовскую.²⁷ Д. М. Романов направил поэта в современный поселок Ольгинское, расположенный под Туапсе²⁸ и появившийся сравнительно недавно.

В Ольгинском тет-де-поне прапорщику М. Ю. Лермонтову 29 сентября вручили предписание за № 1156: «Во внимание, что ваше благородие прибыли

²⁰ См.: Мануйлов В. Указ. соч., с. 86.

²¹ ГПБ, ф. 777, № 326, тетрадь 3, л. 9—9 об.

²² Там же, л. 10.

²³ Там же. В Государственном Русском музее имеется рисунок князя Г. Г. Гагарина «Поездка государя на Кавказ» (ГРМ, инв. № Р. 19529), изображающий Николая I с небольшой свитой на палубе парохода. На обороте этого рисунка помещена акварель «Керчь. Вид с моря». Рисунки датированы 1837 годом.

²⁴ Берже А. П. Император Николай на Кавказе в 1837 году. — Русская старина, 1884, август, с. 379. Ср.: Веселовский А. И. Военно-исторический очерк города Анапы. Пг., 1914, с. 67.

²⁵ ИРЛИ, ф. 524, оп. 3, № 29, л. 20—20 об.

²⁶ ГПБ, ф. 777, № 326, тетрадь 3, л. 12.

²⁷ ГАКК, ф. 249, оп. 1, дело 2136, лл. 23—24.

²⁸ См.: Романов Д. Указ. соч.

к действующему отряду по окончании первого периода экспедиции, а второй период государь император высочайше повелеть соизволил отменить, я предписываю вам отправиться в свой полк; на проезд же ваш от укрепления Ольгинского до города Тифлиса препровождаю при сем подорожную № 21-й, а прогонные деньги извольте требовать по команде с прибиением вашим в полк».²⁹

«Здесь, кроме войны, службы нету; я приехал в отряд слишком поздно, ибо государь нынче не велел делать вторую экспедицию, и я слышал только два, три выстрела. . .» — сообщил М. Ю. Лермонтов С. А. Раевскому.

29—30 сентября поэт встретился с Н. С. Мартыновым, участвовавшим в экспедиции, которому с М. Ю. Лермонтовым был отправлен пакет с письмами от родителей из Пятигорска.

5 октября 1837 года Н. С. Мартынов написал отцу из Екатеринодара:

«Не могу сделать вам лучшего подарка для дня вашего рождения, милый папенька, как объявить вам, что экспедиция наша кончена. Второго периода не будет и, может быть, на днях мы будем отправляться обратно в полки. Все это решил приезд государя. . . 300 руб., которые вы мне послали через Лермонтова, получил, но писем никаких, потому что его обокрали в дороге и деньги эти, вложенные в письмо, так же пропали, но он само собой разумеется отдал мне свои! Если вы помните содержание вашего письма, сделайте одолжение повторите. . . Деньги я уже все промотал, приехав в Екатеринодар, я как душой набросился на все увеселения, случай удобный, у нас теперь ярманка».³⁰

Из Ольгинского в первых числах октября прапорщик М. Ю. Лермонтов через Екатеринодар, Прочный Окоп прибыл в Ставрополь. Из рассказа генерала барона Е. И. фон Майделя (в пересказе П. К. Мартыанова) известно, что «. . . поэт приехал в Ставрополь совсем без вещей, которые у него дорогой были украдены, и поэтому явился к начальству не тотчас по приезде в город, а когда мундир и другие вещи были приготовлены, за что он получил выговор, так как в штабе нашли, что он должен был явиться в чем приехал».³¹

Деньги на пошив мундира и на приобретение украденных вещей дал взаймы П. И. Петров. 1 февраля 1838 года поэт писал в Ставрополь: «Любезный дядюшка Павел Иванович. . . С искреннейшею благодарностию за все ваши пощения о моем ветренном существе имею честь прикладывать к сему письму 1050 рублей, которые вы мне одолжили».

В Ставрополе М. Ю. Лермонтов пробыл до 22 октября 1837 года, а затем выехал в свой полк. Он не знал, что еще 11 октября в Тифлисе был отдан высочайший приказ по кавалерии о переводе «прапорщика Лермантова лейб-гвардии в Гродненский гусарский полк корнетом».³²

Но вот М. М. Савченко пишет: «Важно отметить, что в Нижегородский драгунский полк Лермонтов вместе с А. Одоевским выехал из Ставрополя в конце октября. . .».³³ Не касаясь вопроса о встрече М. Ю. Лермонтова и А. И. Одоевского, заметим, что декабрист прибыл в Ставрополь 8 октября вместе с Н. И. Лорером, М. М. Нарышкиным, М. А. Назимовым и А. И. Черкасовым. Их немедленно, как сказано в рапорте, отправили по назначению,³⁴ а А. И. Одоевский не был исключением. До проезда Николая I через город никого из декабристов, кроме В. Н. Лихарева, в Ставрополе уже не было.³⁵

А. И. Одоевский в сопровождении тобольского казака Тверинова выехал к месту назначения в полк 8—9 октября. Для М. Ю. Лермонтова это были лишь первые дни пребывания в Ставрополе, да и охрана у декабристов была строга. Даже отец А. И. Одоевского, старший князь, с трудом добился разрешения на встречу с сыном по дороге из Симбирска.

22 октября 1837 года прапорщик Лермонтов получил прогонные деньги «от Пятигорска до Тамани и обратно до Ставрополя»³⁶ и выехал в Закавказье, куда прибыл в начале ноября, одновременно с сыльным декабристом. Но уже 25 ноября он исключается из списков полка. Поэт возвращается в Петербург. 3 января 1838 года «пополудни в 6 часов из Тифлиса л«ейб»-г«вардии» Гродненского полка» корнет Лермонтов при-

²⁹ Мануйлов В. Указ. соч., с. 83—84.

³⁰ Письмо цитировано по автографу, хранящемуся в ИРЛИ (ф. 524, оп. 2, № 54, л. 1—2). Публикуя его в «Русском архиве», П. Бартенов, как всегда, внес свою корректуру. О екатеринодарской ярмарке пишет в дневнике участник экспедиции: «Теперь здесь ярманки, расположенные около самого городу, но ярманки не очень знатные». (ГПБ, ф. 777, № 326, тетрадь 3, л. 13.).

³¹ Мартыанов П. К. Дела и люди века, т. 2. СПб., 1893, с. 147.

³² Мануйлов В. Указ. соч., с. 85.

³³ Савченко М. Указ. соч., с. 89. Курсив наш.

³⁴ Гиреев Д. А., Недумов С. И. К истории знакомства Лермонтова с декабристами А. И. Одоевским, Н. И. Лорером, М. А. Назимовым, В. М. Голицыным и др. в Ставрополе в 1837 году. — Лит. наследство, т. 60, кн. I, 1956, с. 508.

³⁵ Недумов С. И. Лермонтовский Пятигорск. Ставрополь, 1974, с. 113.

³⁶ Мануйлов В. Указ. соч., с. 86. За версту платили полторы копейки серебром. См.: ГАКК, ф. 321, оп. 1, № 42, л. 9.

был в Москву».³⁷ Первая ссылка закончилась.

О дальнейшей военной службе поэта М. М. Савченко пишет: «Возвратившись с Кавказа, Лермонтов *более двух лет* служит в лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, который дислоцировался в Новгородской губернии. Будучи офицером этого полка, поэт периодически бывает в столице. В один из таких приездов, находясь на балу у графини Лаваль, он поссорился с сыном французского посланника Эрнестом де Барантом, вызвавшим Лермонтова на дуэль».³⁸

На самом же деле, в середине февраля 1837 года поэт отъезжает из Петербурга в Новгородскую губернию, в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, где числился с 26 февраля по 20 (21) апреля. Из них: в отпуску 16 дней, болел 3-4 дня, дежурил по половине полка 6 дней.³⁹

9 апреля 1838 года был опубликован приказ о переводе М. Ю. Лермонтова в лейб-гвардии Гусарский полк⁴⁰ и 14 мая поэт прибыл в Софию, под Царское Село, к новому месту службы. 6 декабря 1839 года он был произведен в поручики.⁴¹

* * *

Вопрос о второй поездке М. Ю. Лермонтова на Кубань уже поднимался. Впервые об этом сообщил в 1954 году А. В. Попов.⁴² В 1976 году Н. Ф. Веленгурин в своей книге «Дорога к лукоморью» более подробно остановился на этом вопросе, используя воспоминания Н. И. Лорера и К. Белевича. Однако сроки пребывания поэта на Кубани были указаны неверно, да и о самом посещении, о его причинах никто из исследователей не сказал ни слова.

В 1978 году нами было сделано сообщение на Всесоюзной Лермонтовской научной конференции в Пятигорске о посещении М. Ю. Лермонтовым крепости Анапы в 1840 году.⁴³ На следующей конференции (в 1980 году) доклад был посвящен двум поездкам поэта на Кубань в 1837 и 1840 годах.⁴⁴

³⁷ Там же, с. 89.

³⁸ Савченко М. Указ. соч., с. 91. Курсив мой, — В. З.

³⁹ См.: Малков С. Н. Гродненский гусар. Рукопись, л. 51. Архив Дома-музея М. Ю. Лермонтова в Тамани.

⁴⁰ Мануйлов В. Указ. соч., с. 92.

⁴¹ Там же, с. 110.

⁴² Попов А. В. Указ. соч., с. 100.

⁴³ Частично сообщение было опубликовано в статьях: Захаров В. 1) Лермонтов в Анапе. — Советское Черноморье (г. Анапа), 1978, 11 ноября; 2) Вторая поездка на Кубань. — Советская Кубань (г. Краснодар), 1979, 16 янв.; 3) «Рекомендовался поручиком Лермонтовым...» — Советская культура, 1979, 17 июля.

⁴⁴ Приведенные в докладе сведения, уточняющие дату встречи поэта и де-

О втором посещении Тамани написал в своей статье и М. М. Савченко, но и здесь он напутал. Исследователь пишет, что после 10 июня 1840 года, т. е. после приезда в Ставрополь, М. Ю. Лермонтов «...отправился в Тенгинский полк, входивший в состав первой бригады 20-й дивизии. Как мы уже отметили, — пишет далее М. М. Савченко, в это время Тенгинский полк находился в станции Ивановской. Следовательно, именно сюда прибыл Лермонтов. Представившись о своем прибытии к месту службы, М. Ю. Лермонтов совершает кратковременную поездку в Фанагорийскую крепость, находившуюся недалеко от Тамани. Здесь в июне 1840 года он встретился с декабристом Лорером... В эту поездку в Тамань в 1840 году Лермонтов отправился, выполняя поручение своей знакомой, племянницы Лорера А. О. Смирновой. Впоследствии об этой поездке Лермонтова в Тамань Лорер расскажет в своих воспоминаниях о поэте.

После встречи с Лорером в Фанагории М. Ю. Лермонтов вновь возвращается в станцию Ивановскую, в свой полк. Однако находится здесь недолго... Летнюю кампанию с 11 июля по 17 ноября 1840 года Лермонтов провел в Чечне, в отряде генерала Галафеева... 17 ноября 1840 года он смог, возвратившись в Ставрополь, отправиться вновь в Тенгинский полк».⁴⁵

В своей статье М. М. Савченко постоянно пишет о «научной несостоятельности» предположений своих предшественников, подчеркивает, что «научная истина... должна выступать главным и решающим критерием в подходе к освящению исторической действительности».⁴⁶ Но при первой же проверке положений статьи самого М. М. Савченко видна его полная «научная несостоятельность». Мало того, он внес огромную путаницу в хронологию пребывания М. Ю. Лермонтова на Кавказе вообще. Не осталось без его внимания и творчество поэта. Именно на Кубани, как полагает М. М. Савченко, М. Ю. Лермонтов создал «Тамань».⁴⁷

Учитывая эти факторы, приходится восстанавливать хронологию пребывания поэта на Кубани по сути заново.

Сосланный в Тенгинский пехотный полк за участие в дуэли с Э. де Баран-

кабриста Н. И. Лорера, а также сообщение о том, что поэт привез в Фанагорийскую крепость декабристу книгу Фомы Кемпийского «О подражании Христу», были использованы В. А. Мануйловым при составлении хронологической канвы жизни и творчества М. Ю. Лермонтова. См.: Лермонтов М. Ю. Собр. соч. в 4-х т., т. 4. Л., 1981, с. 556; Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 652.

⁴⁵ Савченко М. Указ. соч., с. 91.

⁴⁶ Там же.

⁴⁷ Там же, с. 92.

том, М. Ю. Лермонтов 10 июня 1840 года приезжает в Ставрополь⁴⁸ и из города никуда не выезжает. Это подтверждается письмом поэта к А. А. Лопухину от 17 июня: «Я здесь, в Ставрополе, уже с неделю и живу вместе с графом Ламбертом. . .»

В рукописном отделе ИРЛИ АН СССР нами обнаружен рапорт командира Тенгинского пехотного полка подполковника Выласкова в Штаб отдельного Кавказского корпуса, из которого видно, что М. Ю. Лермонтов ни в июне, ни в июле на Кубани в своем полку не был. Лишь 30 октября 1840 года Выласков узнал, где находится поручик его полка. Вот текст этого интересного документа:

«30 октября 1840 г.

№ 3795

из кр. Анапы.

В Штаб отдельного Кавказского корпуса от командующего Тенгинским пехотным полком подполковника Выласкова

Рапорт.

В следствии отношения ко мне начальника Штаба войск Кавказской линии флигель-адъютанта полковника Траскина от 14-го октября № 176-й честь имею представить при сем в оный штаб формулярный список о службе командуемого мною полка поручика Лермонтова; присовокупляю, при том, что офицер этот по переводу к полку не прибыл в ал, из отъезда только господина полковника Траскина узнал я, что он находится в отряде господина генерал-лейтенанта, а по сему и не приписано в графе время прибытия к полку».⁴⁹

И это, как мы увидим ниже, не единственный документ, свидетельствующий против точки зрения М. М. Савченко.

Приехав в Ставрополь, М. Ю. Лермонтов 18 июня выезжает в экспедиционный отряд генерал-лейтенанта А. В. Галафеева в Малую Чечню. В течение всего лета и осени; вплоть до 20 ноября, поручик находился в экспедиции, лишь на незначительное время приезжая в Ставрополь и Пятигорск.

Служба на левом фланге оказалась для М. Ю. Лермонтова удачной. «Расторопность, верность взгляда и пылкое мужество» молодого офицера обратили на себя внимание начальства. А. В. Галафеев обратился к командиру Тенгинского полка с просьбой выслать ему формулярный список «о службе поручика Лермонтова». 4 декабря из штаб-квартиры полка необходимые документы были отправлены, а 9 декабря А. В. Галафеев подал рапорт «с приложением награжденного списка и просьбы перевести

поэта „в гвардию тем же чином с отданием старшинства“».⁵⁰

С 20 ноября 1840 года по 14 января 1841 года поэт, как считали до недавнего времени исследователи, был в Ставрополе. Работы Б. С. и В. Б. Виноградовых свидетельствуют, что 20 ноября М. Ю. Лермонтов вместе с отрядом был еще в крепости Грозной, откуда выехал в Ставрополь только в начале декабря.⁵¹

Историк Тенгинского полка Д. В. Ракович в своей книге «Тенгинский полк на Кавказе» сообщил, что Лермонтов 31 декабря 1840 года «приказом по полку за № 365 был зачислен налицо».⁵² Иными словами, поручик должен был обязательно приехать в полк, в противном случае он бы числился «заочно», как это и было в течение всего 1840 года.

Сохранился еще один интересный документ — отношение командира Тенгинского полка в Штаб войск на Кавказской линии и в Черномории, которое позволяет датировать прибытие М. Ю. Лермонтова в полк. В письме на имя А. С. Траскина подполковник Выласков спрашивал о судьбе «пропавшего» поручика. 14 октября ему сообщили, что М. Ю. Лермонтов находится на левом фланге в отряде А. В. Галафеева. 29 октября 1840 года в приказе по полку за № 303 предписывалось М. Ю. Лермонтова «. . . полагать по отчетам в сей командировке с 11-го июня сего года».⁵³ А в отношении от 11 ноября подполковнику Выласкову сообщили, что «. . . по окончании же экспедиции он (Лермонтов, — В. З.) будет отправлен к командуемому Вами полку».⁵⁴

Мы теперь с уверенностью можем сказать, что в декабре 1840 года М. Ю. Лермонтов второй раз пересек Кубань, отправляясь в штаб-квартиру Тенгинского пехотного полка.

В альбоме А. А. Капнист, хранящемся в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина и исписанном рукою Н. И. Лорера, имеется запись под следующим заглавием: «Мое первое знакомство с Лермонтовым». Она интересна для нас тем, что имеет некоторые отличия от опубликованного текста записок декабриста. Итак, Н. И. Лорер пишет: «Я жил тогда в Фанагорийской крепости в Черномории. В одно утро явился ко мне молодой человек, в сюртуке нашего Тенгинского полка и рекомендовался поручиком Лермонтовым, переведенным из лейб-гусарского полка, — он

⁵⁰ Мануйлов В. Указ. соч., с. 143.

⁵¹ Виноградов Б. С., Виноградов В. Б. По лермонтовским местам Чечено-Ингушетии. Грозный, 1975, с. 14.

⁵² Ракович Д. В. Тенгинский полк на Кавказе. 1819—1846. Тифлис, 1900, с. 251.

⁵³ ИРЛИ, ф. 524, оп. 3, № 92, л. 1.

⁵⁴ Семенов Л. П. Новые документы о Лермонтове. — Горская мысль, 1922, кн. 3, с. 42—43.

⁴⁸ Мануйлов В. Указ. соч., с. 132.

⁴⁹ ИРЛИ, ф. 524, оп. 3, № 93. Подчеркнуто нами, — В. З.

привез мне из Петербурга от племянницы моей Александры Осиповны Смирновой письмо и книгу. . .»⁵⁵

Прежде всего, в этом отрывке имеется указание декабриста на конкретное место встречи — Фанагорийская крепость, которая стояла в двух верстах перед Таманью.

Письмо от племянницы, о котором сообщает Лорер, было действительно передано М. Ю. Лермонтову А. О. Смирновой-Россет в апреле 1840 года в доме Карамзиных.⁵⁶ Лишь недавно нам удалось установить, какую именно книгу получил поэт для передачи декабристу. Это оказалось очень популярное в то время сочинение средневекового каноника-августинца Фомы Кемпийского «О подражании Христу», переведенное почти на все европейские языки. В декабре 1840 года М. Ю. Лермонтов, встретившись с Н. И. Лорером в той самой хате, которую поэт совершенно случайно зарисовал в 1837 году во время посещения крепости Фанагории, передал декабристу письмо и книгу.

Таким образом, приведенное свидетельство декабриста указывает на второе присутствие М. Ю. Лермонтова на Кубани, и в частности, в Тамани.

Но куда же ехал М. Ю. Лермонтов и почему он оказался в Тамани? До недавнего времени все исследователи единодушно считали, что поэт держал путь в станцию Ивановскую, где находилась штаб-квартира Тенгинского полка. И уже оттуда М. Ю. Лермонтов приехал в Тамань для встречи с Н. И. Лорером.

В 1978 году автору этих строк, а затем саратовскому лермонтоведо Л. И. Прокопенко удалось установить, что поэт ехал в крепость Анапу.⁵⁷

Историк 77-го пехотного Тенгинского полка Д. В. Ракович в одной из глав своей книги писал: «К концу июля

месяца (1840 года, — В. З.) в станцию Ивановскую прибыли маршевые батальоны 6-го пехотного корпуса на укомплектование нашего полка. Подполковник Выласков. . . вместе с остальными людьми, всею полковой штаб-квартирой и 4-м батальоном выступили в крепость Анапу. . . По прибытии укомплектованных в Тамань, люди были посажены 24-го августа на суда и перевезены в места расположения батальонов».⁵⁸

Итак, штаб-квартира Тенгинского полка с августа 1840 года временно переместилась в крепость Анапу. В Ивановской остались лишь нестроевая и инвалидная роты, часть полковых подъемных лошадей, обоз, цейхгаузы. Все остальные роты Тенгинского полка были в течение нескольких лет разбросаны по укреплениям восточного берега Черного моря.

10 ноября 1840 года в командование полком вступил полковник Семен Ильич Хлюпин, хотя приказ о назначении был подписан еще 2 октября. До этого С. И. Хлюпин командовал тремя батальонами, действовавшими на берегу Черного моря.⁵⁹

В течение зимы 1840—1841 годов роты Тенгинского полка по-прежнему были разбросаны по укреплениям восточного берега Черного моря и в продолжение целой зимы «. . . усилению трудились над приведением их в оборонительное положение, — как отмечает Д. В. Ракович, — . . . Только Анапа, полковая наша штаб-квартира, производила впечатление города с довольно удобными домиками».⁶⁰

Рассказывая об обстановке, существовавшей в полку в 1840—1841 годах, Д. В. Ракович пишет, что когда весной 1840 года почти все роты полка форсированным маршем выступили из станции Ивановской, то почти никто из офицеров и нижних чинов не захватил с собой запасных вещей, «. . . взято было лишь самое необходимое. Высшее же начальство со дня на день обнадеживало скорым возвращением на старые квартиры, и полковой командир вследствие этого задерживал отправление по укреплениям мундирных, амуниционных, годовых вещей и даже жалованья. . .». Наконец, сам командир полка даже не знал, где именно находится в данную минуту та или другая рота, так как многие из них беспрепятственно передвигались с места на место.

«Все мои распоряжения, — доносил полковник С. И. Хлюпин, — основываются на одной переписке, которая так медленна в настоящее время, что на мои приказания, по частям полка отдаваемые, я получаю ответ месяца через два и более». Пребывание полкового штаба в Анапе, как оказалось, несколько не облегчило сношений с батальонами; бумаги и все

⁵⁵ ГБЛ, 59.16, л. 40. Первую публикацию этого текста см.: *Захаров В.* «Рекомендовался поручиком Лермонтовым. . .». Публикация материалов альбома, И. С. Чистова отметила, что это о первом знакомстве Лорера с Лермонтовым, известный по опубликованным «Запискам» декабриста, имеет столь незначительные различия, «что нет необходимости специально на них останавливаться». См.: *Чистова И. С.* О кавказском окружении Лермонтова (по материалам альбома А. А. Капниста) — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. М., 1979, с. 189.

⁵⁶ *Майский Ф. Ф.* М. Ю. Лермонтов и Карамзины. — В кн.: Михаил Юрьевич Лермонтов. Сб. статей и материалов. Ставрополь, 1960, с. 136—138.

⁵⁷ См.: *Захаров В.* 1) Лермонтов в Анапе; 2) «Рекомендовался поручиком Лермонтовым. . .»; *Прокопенко Л.* Где встретил Лермонтов роковой год? — *Лит. Россия*, 1979, 15 июня, с. 24.

⁵⁸ *Ракович Д. В.* Указ. соч., с. 231..

⁵⁹ Там же, с. 234.

⁶⁰ Там же, с. 253—254.

распоряжения отправлялись из канцелярии через Тамань в Керчь, в дежурство Черноморской береговой линии, а оттуда при случае, который бывал очень редко, рассылались уже по укреплениям; в зимнее же время, до открытия навигации, сношение частей полка между собой совершенно прекращалось.

Получив в начале 1841 года известие от начальника Черноморской береговой линии генерала Н. Н. Раевского, что Тенгинский полк к ноябрю месяцу будет возвращен в Черноморию, С. И. Хлюпин «... просил теперь же вернуться с полковым штабом обратно из Анапы в станицу Ивановскую... В силу необходимости приходилось в Анапе иметь значительную часть полковых лошадей для заготовления дров на отопление лазарета, канцелярии, музыкантской команды и на доставку из цейхаузов наиболее необходимых вещей. Содержание этих лошадей требовало больших издержек, принимая во внимание, что в Анапе сено стоило очень дорого и значительную часть его приходилось доставлять из станицы Ивановской, слишком за 200 верст по отвратительному пути».⁶¹

Доводы С. И. Хлюпина были достаточно убедительными, и Н. Н. Раевский в конце концов разрешил перевести в первых числах марта штаб полка обратно в станицу Ивановскую.⁶² Это было его последнее распоряжение. Через несколько дней состоялся высочайший приказ о его увольнении и о назначении на его место генерал-майора Арепа.

В ночь на 8 ноября 1841 года палатки в лагере были сняты, засека подожжена и войска посажены на суда эскадры, которая наутро снялась с якоря. 14 ноября тенгинцы высадились около Тамани на Тузле, и батальоны, после семнадцатимесячного пребывания на восточном берегу Черного моря, разошлись на места прежнего своего квартирования.

Итак, путь М. Ю. Лермонтова лежал в крепость Анапу, проехать куда можно было только через Тамань. Вторая дорога, через Абнское укрепление, практически еще не существовала. Встретившись в декабре в Тамани с Н. И. Лорером, М. Ю. Лермонтов отправился дальше, как отметил декабрист: «Он ехал в штаб полка, явиться начальству».⁶³ Прибыв в Тамань перед Рождеством (24 декабря 1840 года Н. И. Лорер выехал из Тамани в Керчь), М. Ю. Лермонтов выехал в Анапу и провел в штаб-квартире чуть больше недели. Во всяком случае, 31 декабря 1840 года он еще был в крепости «налидо».

«Анапа имеет вид богатой малороссийской деревни, дома большею частью мазанки, покрыты камышом, улиц почти нет, и жилья разбросаны по азиатскому

образцу, там и сям. Дом турецкого коменданта сильно пострадал от нашего флота во время осады и теперь пуст. Жители отправляются с конвоем брать воду в речке Анапе, в расстоянии двух верст от крепости. Крепостные лошади пасутся за крепостью под прикрытием пушки, — писал в те годы один из путешественников».⁶⁴

К. Белевич в своих воспоминаниях заметил, что в конце 1840 года М. Ю. Лермонтов был в штаб-квартире полка, указывая лишь ошибочно станицу Ивановскую, что и ввело всех исследователей в заблуждение. «Тенгинцы сказывали мне... что он знакомился с офицерами, что был обласкан командиром полка».⁶⁵

Интересные сведения о пребывании М. Ю. Лермонтова в Анапе сохранились в воспоминаниях генерал-лейтенанта, барона Е. И. фон Манделя, записанных П. К. Мартьяновым.⁶⁶

Занимаясь в конце 80-х годов прошлого века в Московском архиве главного штаба, П. К. Мартьянов обнаружил документы, позволившие уточнить и исправить ряд неточностей, вкравшихся в биографию поэта, написанную П. А. Висковатым и опубликованную в 1891 году.

Так, например, по месячным отчетам Тенгинского полка за 1840 и 1841 годы, «... поручик Лермонтов показан: с 11-го июня по ноябрь 1840 г. в прикомандировании к отряду генерал-лейтенанта Галафеева, откуда и получил разрешение на командировку в Пятигорск и Ставрополь — в августе-сентябре... За декабрь 1840 и январь 1841 года он показан состоящим при полку налидо, в крепости Анапе, с февраля по июнь — в домашнем отпуску, а за июнь по день смерти — за болезнью в Пятигорском военном госпитале».⁶⁷ Сведениям П. К. Мартьянова вполне можно доверять — они полностью подтверждаются найденными уже в наши дни архивными документами Тенгинского полка.⁶⁸

Но пребывание поэта в Анапе было кратковременным. 11 декабря 1840 года военный министр А. И. Чернышов отношением за № 10415 сообщил командиру Отдельного кавказского корпуса о том, что «... государь император, по всеподданнейшей просьбе г-жи Арсеньевой, бабки поручика Тенгинского пехотного полка Лермонтова, высочайше повелеть

⁶⁴ Сафонов С. В. Поездка к восточным берегам Черного моря на корвете «Ифигения» в 1836 году. Одесса, 1837, с. 5—6.

⁶⁵ Белевич К. Несколько картин из Кавказской войны и нравов горцев. СПб., 1910, с. 190.

⁶⁶ Мартьянов П. К. Дела и люди века, т. 2, с. 152—154.

⁶⁷ Там же, с. 155.

⁶⁸ См. приказы по Тенгинскому полку. ИРЛИ, ф. 524, оп. 3, №№ 92, 100, 104, 105 и др.

⁶¹ Там же, с. 256.

⁶² Там же.

⁶³ ГБЛ, 59. 16, л. 40 об.

союзволил: офицера сего, ежели он по службе усерден и в нравственности одобрителен, уволить к ней в отпуск в С.-Петербург сроком на два месяца».⁶⁹

Каким-то образом М. Ю. Лермонтову дали знать о содержании этого документа, и он выезжает в Ставрополь. Надо отметить, что случаи отъезда офицеров до появления приказа об их отчислении или переводе имели место. Например, неизвестный офицер, дневник которого мы не раз цитировали, записал под датой 25 ноября: «Выехал из Екатеринодара не дождавшись назначения в полк».⁷⁰

Лишь 1 февраля 1841 года приказом по Тенгинскому полку № 32, на основании отношения полковника А. С. Траскина от 20 января, М. Ю. Лермонтова с «14 числа того же (т. е. января, — В. З.) месяца показывать по отчетам в сем отпуску».⁷¹

К 6 января 1841 года поэт был уже в Ставрополе. Утверждение М. М. Савченко, что «14 января 1841 года Лермонтов приехал из Прочного Оюпа в Ставрополь»,⁷² неверно. Из воспоминаний А. И. Дельвига известно, что с М. Ю. Лермонтовым он впервые увиделся в Ставрополе 6 января 1841 года на обеде у П. Х. Граббе.⁷³ Дорога от Анапы до Ставрополя в те времена занимала около 4—5 дней, значит можно предположить, что не позднее 2 января 1841 года поэт выехал из Анапы в Ставрополь.

14 января поэту уже выдали отпускной билет за № 384 сроком на два месяца,⁷⁴ и, вероятно, в тот же день он покинул Ставрополь. Через две недели поэт прибыл в Москву.⁷⁵

9 мая, спустя четыре месяца, М. Ю. Лермонтов возвращается на Кавказ. Но поручик Тенгинского полка не спешил на Кубань в свой полк. В июне—июле 1841 года он не раз встречался с Н. И. Лорером в Пятигорске, где декабрист принимал ванны,⁷⁶ и, конечно, никто не ожидал роковой развязки.

13 июня М. Ю. Лермонтов отправил командиру Тенгинского пехотного полка полковнику С. И. Хлюпину рапорт о том, что он, «отправляясь в отряд командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории генерал-адъютанта П. Х. Граббе, заболел по дороге лихорадкой и получил от пятигорского коменданта позволение остаться в Пятигорске впредь до излечения».⁷⁷

7 июля это было подтверждено отношением Штаба войск на Кавказской линии и в Черномории командиру Тенгинского полка.⁷⁸

23 апреля 1841 года приказом по Тенгинскому полку М. Ю. Лермонтов был назначен в батальон К. К. Данзаса, покинув 12 мушкетерскую роту.⁷⁹ 24 мая был подписан приказ по полку о продолжении отпуска М. Ю. Лермонтову.⁸⁰ Но побывать на Кубани поэту больше не пришлось.

Утром 16 июля 1841 года от декабриста А. И. Вигелина Н. И. Лорер узнал о трагической гибели поэта. «Ежели бы гром упал к моим ногам, я бы и тогда, думаю, был менее поражен, чем на этот раз. . . На другой день были похороны при стечении всего Пятигорска. Представители всех полков, в которых Лермонтов волею и неволею служил в продолжение своей короткой жизни, нашлись, чтоб почтить последнюю почестью поэта и товарища. Полковник Безобразов был представителем от Нижегородского драгунского полка, я — от Тенгинского пехотного, Тиран — от лейб-гусарского и А. Арнольди — от Гродненского гусарского».⁸¹

Последний раз имя поэта упоминается в документах Тенгинского полка в приказе № 302 от 1 ноября 1841 года. Под шестым параграфом значится: «Высочайшим приказом в 12 день прошлого сентября сего года выключен умершим поручик Лермонтов, о чем, по полку объявляя, предписываю его из списочного состояния исключить».⁸²

30 июня 1843 года в № 142 «Русского инвалида» было опубликовано «Казенное объявление»:

«От командира Тенгинского пехотного полка полковника Хлюпина, в третий и последний раз объявляется, что после умерших и убитых офицеров вверенного мне полка, остались деньги, вырученные

в оный полк». — См.: ЦГВИА, ф. 2691, оп. 1, д. 538, л. 98. 13 мая Н. И. Лорер отбыл для «пользования Кавказскими минеральными водами». — Там же, л. 116—117 об.

⁷⁷ Мануйлов В. Указ. соч., с. 161.

⁷⁸ Там же, с. 163.

⁷⁹ ИРЛИ, ф. 524, оп. 3, № 103, лл. 1—2.

⁸⁰ Там же, № 105, л. 1.

⁸¹ Лорер Н. И. Записки декабриста. М., 1931, с. 261.

⁸² ИРЛИ, ф. 524, оп. 3, № 111, л. 1.

⁶⁹ Мануйлов В. Указ. соч., с. 143—144. Распоряжение могло быть отправлено 12 декабря. В Ставрополь фельдъегерь из Петербурга прибывал на седьмой день (см.: ЦГВИА, ф. 62, оп. 1, д. 25, л. 121, 123—123 об.). Следовательно, в Штабе Кавказской линии о содержании письма Чернышова знали уже 19 декабря 1840 года.

⁷⁰ ГПБ, ф. 777, № 326, тетрадь 3, л. 13.

⁷¹ ИРЛИ, ф. 524, оп. 3, № 100, л. 1.

⁷² Савченко М. Указ. соч., с. 92.

⁷³ Дельвиг А. И. Полвека русской жизни, т. I. М.—Л., 1930, с. 304—305.

⁷⁴ Мануйлов В. Указ. соч., с. 145.

⁷⁵ Там же, с. 146.

⁷⁶ 24 марта 1841 года «находившийся за болезнью в Фанагорийском военном госпитале Тенгинского пехотного полка прапорщик Николай Лорер по выздоровлении и выписке из госпиталя по желанию отправился к месту служения своего

за проданные их вещи и жалование, — именно: . . . поручик Лермонтов 210 р. 27 коп. серебром. . . Почему родственники и наследники означенных офицеров могут явиться для получения сами или прислать законные доказательства в г. Екатеринодар, что в Черноморье, непременно к 1 числу декабря сего года, в противном случае деньги эти поступят в полковую офицерскую сумму и частью в церковную».

Наследники М. Ю. Лермонтова не объявились. Вероятнее всего, деньги пошли в полковую казну.

* * *

В заключение мне хотелось остановиться на выяснении вопроса: где же жил Лермонтов в Тамани?

Еще первый биограф Лермонтова П. А. Висковатый сообщал, что во время своего пребывания в Тамани в 1837 году «. . . поэт испытал странного рода столкновение с казачкою Царипхой, принявшей его за тайного соглашения, желавшего накрыть контрабандистов, с которыми она имела сношения. Эпизод этот послужил поэту темою для повести „Тамань“. В 1879 году описываемая в этой повести хата еще была цела».⁸³

Висковатый основывался на сведениях, которые ему сообщил известный исследователь Кубани Е. Д. Фелицын, побывавший в 1879 году в Тамани и зарисовавший хату, в которой останавливался поэт.⁸⁴

Сообщение первого биографа использовали все комментаторы романа «Герой нашего времени». Однако поиски дома, в котором останавливался Лермонтов, предпринятые краеведом В. В. Соколовым в предреволюционные годы, привели к совершенно иным фактам.

В конце XIX—начале XX века таманские старожилы называли «домиком Лермонтова» дом наследников Савельевых, стоявший у самого обрыва. У них-то В. В. Соколов обнаружил кучую, в которой сообщалось, что в 1828 году «. . . сентября 24 дня Елизавета Лебедева продала дом свой с двором за 100 рублей войска Черноморского казаку Федору Мыснику».⁸⁵

Воспоминания М. И. Цейдлера, прибывшего на Кубань в 1838 году и совершенно случайно остановившегося в том же самом доме, где за год до этого жил поэт, помогли представить внешний облик подворья Мысника.⁸⁶

Дом представлял собой типичную для Тамани постройку: прямоугольный в плане, состоящий по сути из одной комнаты, разделенной на две половины печью. Слева к хате примыкала маленькая пристройка — сени, — которую М. И. Цейдлер назвал «крылечком». Задняя, глухая стена хаты была обращена к востоку. В таком виде подворье Ф. Мысника существовало до осени 1855 года, когда 11 сентября в Тамани высадился англо-французский десант. «Жители при внезапном вступлении едва успели что захватить, а большею частью весь хлеб и имущество осталось и сожжено неприятелем».⁸⁷ Жилые постройки были разрушены частично или совсем. Только к 1858 году они были отстроены и «. . . находились почти в прежнем состоянии».⁸⁸

Был разрушен и дом Мысника. Это хорошо видно на рисунке Е. Д. Фелицына, сделанном в 1879 году. Восстанавливая его, сын Мысника Семен, по-видимому, перегородил хату на две половины, в каждой из которых стояло по печи. Дверь пробил посередине, сенцы убрал, на месте прежней двери, которая вела из хаты в сенцы, поставил окно большего, чем остальные окна, размера.

К тому времени самого Федора Мысника в живых не было. В начале 1856 года в Тамани проживало 1087 жителей обоего пола. В сохранившемся поименном списке фигурирует сын Мысника Семен Федорович — 43 лет от рождения, его жена Анна — 30 лет, детп: Алексей — 6 лет, Евгения — 15 лет, Евдокия — 13 лет, Дарья — 11 лет, Ксения — 9 лет, Агриппина — 5 лет, Пелагея — 3 года.⁸⁹

Разыскания В. В. Соколова продолжил в 30-е годы директор Таманского археологического музея А. Г. Остроумов, тоже местный житель. В своей статье «Лермонтов в Тамани» он писал: «Этими баркасами за плату широко пользовались контрабандисты — татары, притон которых был тут же, под кручей, на берегу моря, где впоследствии торговец Барабан построил коммерческую гостиницу (ныне здание Морского агентства).

Обширная территория под этой кручей — дворы гражданина Левичкого и бывших наследников Савельевых (ныне двор гражданки Бобрылевой) — составляла в то время один двор и принадле-

марта 1838 года, Цейдлер 21 июля прибыл в лагерь при реке Туапсе и был зачислен к двум ротам Кавказского Саперного батальона. (ЦГВИА, ф. 90, оп. 1, д. 109, л. 74 об.). В Тамани Цейдлер был в июне—июле.

⁸⁷ ГАКК, ф. 252, оп. 1, д. 1984, л. 2—2 об.

⁸⁸ Там же, оп. 2, д. 162, л. 206.

⁸⁹ См.: ГАКК, ф. 252, оп. 1, д. 1984, л. 5 об.

⁸³ Висковатый П. А. Указ. соч., с. 252.

⁸⁴ Там же.

⁸⁵ Соколов В. В. Указ. соч., с. 127—129.

⁸⁶ Цейдлер М. И. На Кавказе в 30-х годах: В кн.: М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1972, с. 205—209. Выхав на Кавказ в начале

жала во второй четверти прошлого столетия казаку Федору Мыснику».⁹⁰

В связи с предстоящими в 1939 и 1941 годах юбилейными датами — 125-летием со дня рождения и 100-летием со дня смерти М. Ю. Лермонтова на хате Бо-

⁹⁰ *Остроумов А. Г.* Лермонтов в Тамани. — *Большевик* (г. Краснодар), 1939, 15 окт., с. 3.

брылевой предполагалось установить мемориальную доску, но этому помешала война. Во время немецкой оккупации Тамани этот двор со всеми надворными постройками был уничтожен. В 1948 году пустующая территория была передана решением Темрюкского райисполкома в ведение Таманского морского порта. Существующий с 1976 года Дом-музей М. Ю. Лермонтова в Тамани воссоздан в 200 метрах от прежнего места.

Г. А. Тиме

О НОВЫХ МАТЕРИАЛАХ ВТОРОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО СОБРАНИЯ ПИСЕМ И. С. ТУРГЕНЕВА

Работа над издаваемым Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР новым Полным собранием сочинений и писем И. С. Тургенева еще далека до завершения. Однако не далек тот день, когда увидят свет последний, двенадцатый том Сочинений, а также первые тома Писем писателя, тексты которых подготавливаются к печати параллельно с текстами художественных и публицистических произведений. И говоря о *новых* тургеневских материалах, предлагаемых вторым академическим Собранием, мы имеем в виду не только расширение и обогащение комментариев, введение отсутствовавшего прежде раздела «Dubia», предназначенного для двенадцатого тома Сочинений и т. п., но, особенно, многочисленные публикации писем писателя. В связи с большим объемом новых эпистолярных текстов в коротком обзоре мы имеем возможность охарактеризовать или просто упомянуть лишь наиболее значительные из них, органично вписавшиеся в общий контекст тургеневского эпистолярия и содержащие важные сведения и дополнения к творческой биографии писателя.

Как известно, за годы, прошедшие со времени выхода в свет первого академического Собрания, знаковой пауке тургеневский эпистолярный существенно обогатился благодаря разысканиям как советских, так и зарубежных ученых. Здесь заметен вклад новозеландского профессора П. Вадингтона, выступавшего с публикациями тургеневских писем в ряде западных периодических изданий,¹ и, особенно, французских исследователей А. Гранжара и Л. Звигильского, взявших на себя труд издать и прокомментировать

более трехсот тургеневских эпистолярных текстов, обнаруженных, главным образом, в личных архивах и Национальной библиотеке Франции, куда они были переданы потомками П. Виардо, с семейством которой русского писателя связывала многолетняя тесная дружба. Публикации Гранжара и Звигильского составили четыре тома.² Эти книги уже были положительно оценены советской критикой.³ Они же послужили источником первых выборочных публикаций данных писем Тургенева на русском языке в советских научных и популярных изданиях.⁴ Появляются тургеневские эпистолярные ма-

² *Tourguénev Ivan. Lettres inédites à Pauline Viardot et sa famille. Edition établie par H. Granjard et Alexandre Zviguilsky. Préface de H. Granjard. Lausanne, «L'âge d'homme», 1972, 350 p.; Tourguénev Ivan. Nouvelle correspondance inédite. Textes recueillis, annotés et précédés d'un introduction par A. Zviguilsky, t. I. P., 1971, 400 p.; t. II, 1972, 167 p.; Quelques lettres d'Ivan Tourguénev à Pauline Viardot. Texte intégral d'après les originaux de la collection Maupoil de 29 lettres de l'édition Halperine-Kaminski avec en appendice 8 lettres inédites en France d'Ivan Tourguénev à Pauline Viardot. Textes établis, introduits et annotés par Henri Granjard. P., 1974.*

³ См., например: *Голованова Т. П., Назарова Л. Н.* Новые работы французских славистов о Тургеневе. — *Русская литература*, 1973, № 3, с. 221—229.

⁴ Первая большая публикация еще до выхода французских книг появилась в СССР: *Гранжар А.* Неизвестные письма Тургенева (Из архива семьи Виардо). Предисловие переводчика В. Лакшина. — *Иностранная литература*, 1974, № 1, с. 170—204. (Рец. см.: *Русская ли-*

¹ См. об этом: *Зильберштейн И.* Тургенев, находки последних лет. — *Лит. газ.*, 1972, № 17, с. 6.

териалы и на страницах выпускаемых А. Звигильским бюллетеней Общества друзей Ивана Тургенева, Полины Виардо и Марии Малибран.⁵ Особенно обогатили эти публикации картину отношений Тургенева с деятелями французской литературы и культуры. Так, благодаря третьему номеру бюллетеня, посвященному памяти Ж. Санд, мы впервые получили возможность познакомиться с двумя тургеневскими письмами к писательнице начала 1870-х годов (здесь же воспроизводятся и семь писем Ж. Санд к Тургеневу), а также к французскому литератору Э. Плюжу. В четвертом номере находим опубликованное А. Звигильским письмо русского писателя к журналисту М. Гиймо. Эпистолярные материалы Cahiers сразу обратили на себя внимание наших ученых и были взяты на вооружение тургеноведами.⁶

Ошутимые результаты принесла и работа во французских архивах профессора И. Зильберштейна. Ученый обратился и к изучению западных каталогов антикварных магазинов и аукционов автографов, проводимых в разные годы, в разных странах,⁷ что позволило обнаружить следы неизвестных тургеневских писем,

тература, 1971, № 3, с. 234—237). Далее см.: *Заборов П. Р.* Из новонайденных писем Тургенева к французским корреспондентам. — В кн.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 5—23; *Волкова Т. Н.* Неизвестные письма И. С. Тургенева. — Лит. Россия, 1972, 4 авг., № 32, с. 10—11; У всего этого есть будущее. — Неделя, 1972, 4—10 сент., № 36, с. 12; И. С. Тургенев — Полине Виардо. Публ. А. Розанова и С. Краюхина. — Там же, 1978, 25 сент.—1 окт., № 39, с. 10—11; *Ланский Л.* Иван Тургенев и Шарль Гуно. Поиски и находки. — Лит. Россия, 1979, 23 февр., № 8, с. 22. (Заметим, что письмо от 10 апреля 1850 года о смерти брата Гуно уже печаталось в указанной публикации «Неделя»); *Силина Г.* Неизвестный Тургенев. — Лит. газета, 1980, 29 окт., с. 6; *Никитина Н. С., Генералова И. П.* «Ваш И. Тургенев..» Из писем И. С. Тургенева к Полине Виардо. — Лит. Россия, 1982, 15 янв., № 3, с. 16—17.

⁵ Cahiers Ivan Tourguénev, Pauline Viardot, Maria Malibran, № 1, oct. 1977; № 2, oct. 1978; № 3, oct. 1979; № 4, oct. 1980.

⁶ См., например: *Назарова Л. Н.* Неизвестные автографы И. С. Тургенева. — Русская литература, 1979, № 4, с. 211—312; *Долотова Л.* Новое о Тургеневе во французском бюллетене. — Вопросы литературы, 1981, № 2, с. 305—311; *Балыжова Л. А.* Новое во французском тургеноведении. — Русская литература, 1982, № 3, с. 215—220.

⁷ См. указанную публикацию И. Зильберштейна.

воспользоваться приводимыми в каталогах обширными цитатами.⁸ Работа одного давно стала достоянием широкого читателя.⁹

Заслуживают специального упоминания и находки З. Потаповой,¹⁰ Н. Чернова,¹¹ Л. Ланского,¹² Н. Мостовской,¹³ М. Эльзона¹⁴ и других советских исследователей. Участие упомянутых советских и зарубежных ученых в новом тургеневском издании может оказать и уже оказывает ему неоценимую помощь. Так, для первых томов эпистолярия основополагающим явилось содействие А. Звигильского, любезно снабжающего издание копиями эпистолярных текстов Тургенева, еще не печатавшихся у нас либо дополняющих письма, вошедшие в первое академическое Собрание. Редколлегия нового Собрания надеется и на дальнейшее упорочение и расширение подобных контактов, в том числе и с отечественными тургеноведами, в частности с И. Зильберштейном.

Особенное значение эпистолярного наследия И. С. Тургенева очевидно. Любые тексты, написанные рукой писателя такого масштаба, уже сами по себе пред-

⁸ Такого рода разыскания оказались успешными и для немецкого ученого Р. Клостермана, обнаружившего новое письмо Тургенева Ю. Шмидту от 22 февраля 1871 года. — См.: *Klostermann R.-A.* Zum Briefwechsel Ivan Turgenevs mit Julian Schmidt. — Die Welt der Slawen, 1970, N. 2, S. 187—190.

⁹ Кроме указанной публикации см. более ранние: *Зильберштейн И.* 1) Парижские находки. — Огонек, 1967, № 48, с. 27—30; № 49, с. 25—27; 2) «Родному художеству радоваться я буду первый». — Там же, 1968, № 46, с. 12—15; 3) Разыскания о Тургеневе. М., 1970; 4) Триумф русской музыки (Тургенев о Мусоргском и Чайковском). — Огонек, 1973, № 2, с. 27—29; № 3, с. 22—23 и др.

¹⁰ *Потапова З.* Неизвестные письма И. С. Тургенева итальянским литераторам. — Вопросы литературы, 1968, № 41, с. 84—95. См. также: *Потапова З. М.* Русско-итальянские литературные связи. Вторая половина XIX века. М., 1973, с. 102—110; 125—131.

¹¹ *Чернов Н.* Проверьте свои архивы. (Неизвестное письмо Тургенева). — Огонек, 1972, № 43, с. 25.

¹² Неизвестные письма Тургенева. Публикация Л. Р. Ланского. — Известия АН СССР, серия литературы и языка, 1968, т. 27, вып. 1, с. 47—50.

¹³ *Мостовская Н. Н.* Тургенев и петербургское Общество взаимного вспоможения русских артистов (по неопубликованным материалам). — Русская литература, 1973, № 1, с. 98—102.

¹⁴ Новые материалы о Герцене и Тургеневе. Публикация М. Д. Эльзона. — Русская литература, 1979, № 3, с. 184—193.

ставляют интерес. Однако в данном случае мы имеем дело с литератором, эпистолярный которого не только превышает по объему его художественное и публицистическое творчество (публикации писем составят 18 томов), но и является своеобразной подробной летописью его творческой и личной жизни, даже дневником, к которому автор обращался почти ежедневно. Письма Тургенева как документ эпохи и одновременно органическую составную часть его творческой жизни прерасно охарактеризовал академик М. П. Алексеев в статье, предпосланной публикации тургеневского эпистолярного в первом академическом Собрании. Новое Собрание воспроизводит дополненный вариант этого обширного предисловия.

Все сказанное позволяет понять истинное значение публикации доселе неизвестных писем писателя, которые, будучи собраны воедино и хронологически организованы, предстанут перед читателем второго академического издания писем. Они дают возможность внести новые, более конкретные штрихи, определяющие творческий и человеческий облик большого русского писателя, выступавшего в середине XIX столетия в качестве своеобразного «посредника» между русской и европейскими литературами, выражающего свои мысли с почти одинаковой легкостью и изяществом как на родном, так и на французском, немецком и английском языках.

О том, насколько значительны и разнообразны сведения, которые читатель сможет почерпнуть из вновь найденных тургеневских эпистолярных текстов, свидетельствуют уже их первые отдельные публикации. Так, например, они не только существенно расширяют хронологические рамки известной нам прежде переписки русского писателя с семьей Виардо (от 3 (15) августа 1871 года до 11 (23) августа 1882 года),¹⁵ что позволяет дополнить представления о последних годах его жизни — физическом и душевном состоянии, отношениях с близкими и друзьями,¹⁶ но и выявляют новых адресатов Тургенева. Среди них дочь четы Виардо — Клоди, которую Иван

Сергеевич выделял среди других детей этой семьи. Повзрослев, Клоди стала получать от него почти столь же искренние и полные восхищения письма, как и ее мать. В качестве человеческих документов, свидетельствующих о душевной доброте и участии в судьбах окружающих людей, привлекают внимание письма Тургенева к еще двум, не значащимся в списке адресатов писателя первого академического Собрания лицам. Речь идет о письме к Шарlotte Валентин, ученице и другу семьи П. Виардо (от 10 января 1875 года) с заверениями в дружбе от собственного имени и от всего французского семейства (Шарлотта тосковала в разлуке со ставшими для нее близкими людьми),¹⁷ а также Сергею Николаевичу Тютчеву, брату Николая Николаевича, по поводу смерти которого Тургенев выразил дружеские соболезнования в письме от 2 (14) января 1879 года.¹⁸

Письмо Тургенева еще одному, ранее неизвестному нам адресату — Й. Энгелю восполняет немаловажный пробел, открывая новую страницу в истории зарубежных контактов русского писателя. В данном случае речь идет о Венгрии. Признанный в этой стране «королем русской прозы», почти все произведения которого уже в 80-х годах прошлого века были переведены на венгерский язык, оказавший заметное влияние на многих венгерских писателей, Тургенев, как считалось, не имел личных контактов с венгерской интеллигенцией. Однако письмо от 21 июля 1873 года, которым писатель ответил жителю города Печ Й. Энгелю на его восторженный отзыв о романе «Отцы и дети», свидетельствует об обратном. Энгель, предприниматель, путешественник и литератор, был одним из образованнейших людей своего времени, другом Листа, Вагнера, Рубинштейна. Как видно из письма, Тургенев пригласил Энгеля к себе. Они встретились в Карлсбаде в конце июля того же года. Беседа продолжалась около двух часов и коснулась многих вопросов, в том числе и литературных. Этот факт приобретает особый смысл, если учесть, что Энгель был единственным представителем Венгрии, обстоятельно беседовавшим с Тургеневым и оставившим о нем воспоминания. Тургеневское письмо, позволившее восстановить столь интересный момент его биографии, уже увидело свет на русском и немецком языках.¹⁹

¹⁵ Имеются в виду материалы, собранные в четырех книгах А. Гранжаром и А. Звигильским, высоко оцененные в указанной рецензии Л. Н. Назаровой и Т. П. Головановой.

¹⁶ Письма, сообщаящие подобные сведения, собраны и в публикации: *Montreynaud F. Les derniers années de Tourguénev en France. Dix-neuf lettres de Tourguénev à des amis français.* — Cahiers du Monde russe et soviétique, 1972, v. XIII, № 1, p. 40—56. Рец.: *Заборов П. Р.* Русская классическая литература в журнале «Cahiers du Monde russe et soviétique». — Русская литература, 1978, № 2, с. 230—237.

¹⁷ *Zviguilsky A. Ein unveröffentlicher Brief Turgenévs an Charlotte Valentin.* — Zeitschrift für Slavische Philologie, 1975, V. 38, N. 1, S. 155—156.

¹⁸ *Черных В. А.* Новые письма И. С. Тургенева. — В кн.: Встречи с прошлым, вып. 2. М., 1976, с. 152—155.

¹⁹ *Хайзер Л.* Венгерская провинциальная газета о русских писателях. — Русская литература, 1971, № 3, с. 155—

По всей видимости, оно же имеется в виду в запоздавшем сообщении о находке венгерского ученого Л. Хайзера, появившемся совсем недавно в журнале «Иностранная литература» вслед за объявлением в газете «Мадьяр Немезет».²⁰

Чрезвычайно важными являются не только публикации, открывающие новые имена в биографии Тургенева, но и те, что позволяют составить более полное представление о той или иной ее грани. Таковы вновь обнаруженные письма писателя к уже известным его адресатам — С. и А. де Губернатисам, активно занимавшимся популяризацией русской литературы в Италии.

З. Потапова, опубликовавшая эти письма, обнаружила их в архиве Флорентийской Национальной библиотеки. Три из них датированы 1877 годом, три — без даты и три — копии с тургеневских посланий. Одна из них доносит до нас содержание неизвестного прежде письма Тургенева, где речь идет о переводах его произведений на итальянский язык, чем и занималась Софья де Губернатис (урожд. Безобразова).²¹ Писатель боится за выбранные им для перевода «Вешние воды», вызвавшие в России противоречивые отзывы, и советует предпочесть им «Дворянское гнездо». Две другие копии сняты с писем, опубликованных в первом академическом Собрании по книге И. Гальперина-Каминского. Однако мнение публикатора, что вновь найденные варианты этих писем, оригиналы которых утеряны, более вероятны, не представляется в полной мере доказанным.

Вместе с тем публикация З. Потановой содержит много интересных сведений, существенно дополняющих наши знания о судьбах творчества Тургенева в Италии. В частности, мы узнаем, что именно здесь роман «Новь» был признан даже раньше, чем на родине писателя. Немаловажна и поправка к комментарию первого Собрания, где утверждалось, что этот роман Губернатисы впервые прочли по отпискам, посланным Тургеньевым. Оказывается, для них был доступен и напечатанный «Новь» журнал «Вестник Европы», который с 1869 года стал поступать в Италию в обмен на журнал «La Rivista Europea» (его временным редактором и был А. де Губернатис).

157; *Hajzer L. Eine Begegnung I. S. Turgenews mit dem ungarischen Industriellen Josef Engel. — Zeitschrift für Slawistik, 1972, V. XVII, N. 2, S. 260—262.*

²⁰ Неизвестное письмо Тургенева. — *Иностранная литература, 1982, № 6, с. 250.*

²¹ О контактах Тургенева с Безобразовыми свидетельствует и одна из последних публикаций: *Кийко Е. И., Понятовский А. И. И. С. Тургенев и В. П. Безобразов. (Из неизданной переписки). — В кн.: И. С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества. Л., 1982, с. 5—8.*

Существенно и ставшее известным обстоятельство, что А. де Губернатис готовился прочесть публичную лекцию о Тургеневе и обратился к нему с просьбой прислать автобиографию. Русский писатель, поблагодарив за оказанную честь и адресовав к своим «Литературно-житейским воспоминаниям», присовокупил, однако, очень важную автохарактеристику: «Мне кажется, что направление моего литературного пути определилось той средой крепостничества, в которой я провел всю свою юность и которая вызвала во мне сильнейшую ненависть».²² Как видно, это обстоятельство Тургенев считал наиболее значительным и при знакомстве итальянской публики с его творчеством.

Подобные материалы позволяют заключить, что такой серьезный вопрос, как судьбы тургеневского творчества в странах Западной Европы, получил благодаря новым эпистолярным находкам дополнительное освещение. Здесь примечательны тургеневские письма, которые касаются переводов его произведений на разные языки. Обращает на себя внимание письмо Тургенева французскому литератору, другу Г. Флобера М. Дюкану от 16 марта 1868 года,²³ в котором содержится просьба зайти в редакцию журнала «Revue des deux Mondes» и узнать о судьбе перевода «Истории лейтенанта Ергунова», выполненного самим автором с помощью Л. Виардо. Тургенев, обеспокоенный тем, что в связи с отъездом не сможет лично проверить корректуру (оказалось, что впоследствии он все-таки получил ее в Бадене), просил Дюкана просмотреть ее. Русский писатель относился к иноязычным переводам своих произведений с чрезвычайной серьезностью и хорошей творческой дотошностью. Так, в письме к главному редактору того же журнала В. Э. де Мару, написанном еще осенью 1861 года, рассматривая переводы пьесы «Где тонко, там и рвется» и повести «Дневник лишнего человека», Тургенев вносит ряд мелких, но очень существенных и любопытных поправок и уточнений, благодаря которым средствами французского языка художественное своеобразие оригинального текста воссоздается с наименьшими потерями.

Письмо, о котором мы говорим, было впервые опубликовано в Новой Зеландии в 1975 году, а в 1979-м появилось в русском переводе.²⁴ Оно приобретает для нас особое значение в связи с тем, что в нем упомянуто новое лицо, доселе неизвестное в летописи переводов тургеневских произведений. Писатель сетует на

²² См. указ. публикацию З. Потановой, с. 90.

²³ См. указ. публикацию Л. Р. Лавского в «Известиях АН СССР».

²⁴ SEER, 1965, v. 11, № 133; *Иностранная литература, 1979, № 12, с. 265.*

то, что редакция журнала перед публикацией перевода «Дневника лишнего человека» исключила фразу: «Переведено на французский В. Деложем». Приведенный факт свидетельствует не только о подчеркнутым уважении Тургенева к труду переводчика, которому он отводил роль своеобразного «соавтора» (здесь же писатель беспокоился и о соответствующей и скорой оплате труда последнего), но и позволяет узнать имя переводчика, не значащееся в списке первого академического Собрания. К стати, фамилия В. Делож (V. Desloges) отсутствует и в библиографии иностранных переводов произведений Тургенева, составленной В. Бутчиком.²⁵ Это маленькое, но важное открытие создает известную перспективу в изучении данного вопроса тургеневской биографии и уже сегодня дает возможность сделать некоторые уточнения. Так, «Дневник лишнего человека», действительно появившийся во французском журнале без указания имени переводчика,²⁶ предположительно считался, судя по комментариям первого академического Собрания, принадлежавшим перу самого писателя в содружестве с Л. Виардо,²⁷ в комментариях же второго Собрания этот факт утверждается с полной определенностью.²⁸ Но, как видно из вновь найденного письма самого Тургенева, он не соответствует действительности.

Новые эпистолярные публикации позволяют сделать и некоторые текстологические уточнения в первом Собрании писем, предложить читателю второго их издания более достоверные и полные тексты.

В 1970 году в Государственную библиотеку им. В. И. Ленина было передано пятнадцать автографов писем Тургенева к Н. Я. Макарову — служащему Министерства финансов и литератору, который часто выступал в качестве посредника между Тургеневым и М. А. Маркович (М. Вовчок).²⁹ Восемь из них еще не печатались вовсе, а тексты остальных, хотя и включенных в первое академическое Собрание писем, дают возможность внести уточнения и поправки в сделанные публикации. Найденные эпистолярные документы свидетельствуют о тесных связях Тургенева с группой украинских писателей, собиравшихся в петер-

бургском доме В. Я. Карташевской — сестры Макарова.

Тексты, позволяющие дополнить уже известные письма русского писателя, а также представляющие собой цитаты из еще неизвестных, получены благодаря разысканиям М. Д. Эльзона,³⁰ который внимательно изучил архив буржуазно-либерального деятеля второй половины XIX века А. В. Головина (Центральный государственный архив Военно-Морского Флота). А. В. Головин, сын славного флотоводца, секретарь великого князя, а с 1861 года — член Государственного Совета, был знаком с Тургеневым еще со времен службы в Министерстве внутренних дел (1843—1845 годы). Это знакомство, продолжавшееся почти сорок лет, интересно для нас как при обращении к социально-политическим аспектам творчества Тургенева (в письмах, относящихся к концу 1870-х годов, писатель, в частности, выражает свое мнение по поводу мира с Турцией, войны с Англией и т. п.), так и при изучении восприятия тургеневского творчества официальными кругами России второй половины XIX столетия. Головин, чья «меценатская» деятельность часто имела противоречивый, а порой и прямо антидемократический характер (как, например, развернутая им антигерценовская кампания), был склонен подчеркивать аполитичность общественных воззрений Тургенева, которого считал «добрым впечатлительным художником, но вовсе не политическим деятелем».³¹ Это нашло выражение в опубликованных Эльзоном фрагментах из переписки Головина с великим князем Константином Николаевичем. Благодаря научным комментариям публикатора история отношений и контактов Головина и Тургенева предстает достаточно ясно, несмотря на то что объем их переписки полностью не установлен и в будущем, во всей видимости, еще могут быть обнаружены эпистолярные материалы, содержащие дополнительные сведения.

Таковы наиболее общие замечания по поводу материалов, уточняющих и обогащающих уже известные нам по первому академическому Собранию. Если же попытаться коротко охарактеризовать содержание вновь публикуемых писем Тургенева, то нельзя не отметить, что, о чем бы ни шла в них речь, кому бы они ни были написаны — русским или зарубежным адресатам, — неизменно в той или иной форме здесь возникает тема Родины, будь то размышления о ее судьбах или просто отношение к определенным явлениям, событиям, людям. И наряду с новыми сведениями, обогащающими наши знания о взаимосвязях русской и зарубежных литератур, сближении Востока и Запада, чему, как видим, немало способствовала деятельность Тур-

²⁵ См.: *Boutchik V. Bibliographie des oeuvres littéraires russes traduites en français. Tourguénev, Dostoevski, Leon Tolstoj. P., 1949, p. 105.*

²⁶ См.: *Revue des deux Mondes, 1861, t. 36, p. 655—699.*

²⁷ Т. V. М.—Л., 1963, с. 586.

²⁸ Т. IV. М., 1980, с. 594.

²⁹ Письма И. С. Тургенева. Публикация Ю. П. Благородиной. — Записки отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, 1973, вып. 34, с. 195—206.

³⁰ См. указ. публикацию М. Эльзона.

³¹ Там же, с. 191.

генева, мы узнаем о новых фактах, иначе освещающих необъятную тему «Тургенев и Россия».

Писатель, вынужденный долго жить вдали от Родины, интересовался мельчайшими подробностями ее жизни, дорожил каждой вестью о ней. И, конечно, с особым пристрастием относился Тургенев к литературным известиям: радовался литературным успехам, сопереживал неудачам и бедам. Так, в письме от 4 марта 1852 года, адресованном Полине Виардо, находим скорбный отклик на смерть Гоголя и на известие о сожжении им рукописей. Тургенев, в полной мере понимавший масштаб ушедшего из жизни писателя, считал эту утрату невосполнимой для русской литературы.³² Именно ее интересы Иван Сергеевич ставил превыше всего, часто невзирая на те непростые отношения, которые порой возникали в процессе его личных контактов с отечественными литераторами.

В подробностях известна история дружбы-вражды Тургенева и Л. Толстого, которая закончилась было полным прекращением каких-либо общений между двумя большими писателями. Но уже совсем обессиленный болезнью, находясь на смертном одре, Тургенев снова обратился к Толстому — «великому писателю земли русской», заклиная его вернуться к литературному творчеству в трудную для Толстого пору философских исканий. Благодаря вновь опубликованному письму Тургенева А. Франсу от 15 января 1880 года³³ известная нам картина сложных взаимоотношений обогащается еще одним ярким штрихом. Мы узнаем о том, как старался Тургенев еще в пору обоюдной размолвки сделать все возможное, чтобы французский читатель узнал и по достоинству оценил роман «Война и мир». Здесь Тургенев рассчитывал на авторитет А. Франса, заверяя его, что «роман близок к шедевр; это — самое замечательное произведение, которое дала русская литература».³⁴

Как известно, непростые отношения сложились у Тургенева и с другим его знаменитым современником — И. А. Гончаровым. Следствием этого было уничтожение Гончаровым почти всех тургеневских писем, из которых были сделаны только выписки. Но сохранилось двенадцать писем Гончарова Тургеневу.

И вот в начале 1970-х годов из Японии было получено ответное, шестое по счету и первое подлинное письмо Тургенева, входившее в коллекцию П. И. Капниста.³⁵ Оно написано 2 (14) января 1868 года и доносит до нас факты, свидетельствующие о душевном расположении писателей друг к другу в этот период. Тургенев просил Гончарова воспрепятствовать пересылке немецким издателем Штуром части тиража романа «Дым» в Россию, где Ф. И. Салаевым также был предпринят выпуск этого произведения. И несмотря на то что Гончаров незадолго до этого вышел в отставку из Совета по книгопечатанию, он живо откликнулся на просьбу. Письмо Тургенева с сопроводительной запиской было переслано Гончаровым начальнику Главного управления по делам печати М. Н. Похвисневу и, вероятно, благодаря этому обстоятельству сохранилось.

Вновь опубликованные письма рассказывают не только о контактах Тургенева с представителями русской литературы, но и других областей творческой жизни России. Так, тургеневское письмо А. Ф. Писемскому от 14 (26) февраля 1871 года отражает период, когда Тургенев позировал живописцу В. Г. Перову.³⁶ Созданным им портретом писатель остался более доволен, нежели работами Н. И. Ге и К. Е. Маковского, писавших его портреты приблизительно в то же время.

И. С. Тургенев, несмотря на длительные зарубежные отлучки, всегда находился в гуще русской творческой жизни. Он являлся членом Петербургского Общества художников, Московского Артистического кружка, одним из устроителей Литфонда.

Письмо Тургенева А. Ф. Федотову от 26 сентября 1876 года, обнаруженное Н. Н. Мостовской,³⁷ открывает новую страницу тургеневской биографии в этом отношении. Оказывается, Иван Сергеевич участвовал и в филантропическом Петербургском Обществе вспомоществования русских артистов, в списке учредительного собрания которого, относящемся к 4 июня 1876 года, сохранился его автограф. В упомянутом письме Тургенев в связи с очередной поездкой за границу уполномочил Федотова быть его представителем на собрании Общества. Появившаяся совсем недавно публикация Л. Н. Назар-

³² См.: *Зильберштейн И.* Тургенев, находки последних лет. — Лит. газ., 1972, № 17, с. 6.

³³ См.: *Зильберштейн И.* Парижские находки, Иван Тургенев, Лев Толстой, Анатолий Франс. — Огонек, 1967, № 48, с. 28.

³⁴ Там же. Письмо Тургенева было напечатано также вместе с ответом на него А. Франса в *Cahiers*, № 1, 1977, с. 22; затем в статье: *Назарова Л. Н.* Тургенев — популяризатор Толстого. — Звезда, 1978, № 8, с. 169—171.

³⁵ Письмо Тургенева к И. А. Гончарову. (Сообщение О. В. Якимовой). — Лит. наследство, т. 87, 1977, с. 605—607. См. также: *Якимова О.* Неизвестное письмо Тургенева. — Вечерняя Москва, 1975, 17 мая.

³⁶ *Кузьмина Л. И.* Неизвестное письмо Тургенева (из истории портретов писателя). — Русская литература, 1972, № 4, с. 123—125.

³⁷ См. указ. публикацию Н. Н. Мостовской.

ровой³⁸ доносит до нас новые сведения о членстве Тургенева в пушкинских Кружке и Собрании Петербурга, существовавших в начале 1880-х годов. Эти сведения снова базируются на ставших известными письмах писателя, в которых содержалась благодарность за избрание в почетные члены вновь организованных обществ. Отрывок из одного письма, адресованного А. Н. Плещеву, воспроизводится в статье. История взаимоотношений писателя с пушкинскими обществами, последовательно освещенная публикатором, позволяет предположить существование еще одного, доселе неизвестного эпистолярного текста Тургенева.

Деятельность Тургенева — писательская и общественная — привлекала внимание прогрессивных русских людей, особенно студенческой молодежи. Известно, что, приехав в Россию в начале 1879 года, писатель был восторженно встречен демократически настроенными молодыми людьми. Одно из новых документальных свидетельств этого — вновь обнаруженное письмо Тургенева студенту Е. Ф. Шнейдеру (в будущем преподавателю иностранных языков в Орле) от 21 апреля 1879 года.³⁹ Оно написано в ответ на приветственное письмо самого Шнейдера с горячей благодарностью писателю за то, что он пробуждает в юных сердцах стремление «посвятить жизнь правде». Тургенев, растроганный признанием студента, ответил ему теплым письмом и даже послал свою фотографию с автографом. Но в общем писатель был несколько смущен столь бурным приемом, оказанным ему русской интеллигенцией, и был склонен объяснять это обстоятельство не только собственными заслугами, но и сложившейся в России социально-политической обстановкой, которая способствовала «брожению умов». В текстах новых писем находим такое признание: «... накануне реформы, вечно обещаемых и вечно откладываемых, накануне приобщения к политической жизни, вся эта молодежь заряжена электричеством... Я же при этом как бы представляю собой машину, содействующую разрядке. Мои либеральные воззрения — первопричина всего этого, по крайней мере столько же, сколько мои литературные заслуги».⁴⁰

Привлекают внимание и письма, раскрывающие новые грани в отношениях Тургенева с его русскими друзьями и близкими. Здесь любопытно письмо к Т. Н. Грановскому о смерти Станкевича (1840 год; его публикации предшествует вступительная статья, однако отсутствует

комментарий, дающий сведения о фигурирующих в тексте лицах),⁴¹ а также письма Полине Виардо от 1850 года, из которых мы подробнее узнаем о домашних делах Тургенева — женитьбе брата, отношениях с матерью и т. п.⁴²

Как видно, новые эпистолярные документы, которые будут в совокупности представлены во втором академическом Собрании писем, дополнительно освещают тему «Тургенев и Россия» с самых разных точек зрения. Постоянная внутренняя причастность и любовь к Родине — одно из самых глубоких чувств писателя, оторванного от нее силой обстоятельств. Особенно волнующе звучит тургеневское признание из вновь опубликованного письма к Полине Виардо от 6 ноября 1849 года. «... В родном воздухе есть нечто неуловимое, что вас трогает и хватает за сердце, — писал Иван Сергеевич и добавлял: — это невольное и тайное тяготение тела к той земле, где оно родилось».⁴³ Именно непреодолимое тяготение ума и души к России позволило писателю, проведшему добрую половину жизни за границей, оставаться истинно русским и понимать тончайшие нюансы русской жизни, творчески откликаясь на все ее беды и радости.

Рассмотренные выше материалы дают возможность утверждать, что второе академическое издание тургеневских писем ознаменует собой новый этап в изучении наследия писателя не только благодаря увеличению количества вновь публикуемых текстов (а их около пятиста, включая и еще не появлявшиеся в печати, что составляет, по сути дела, два дополнительных объемах тома по сравнению с первым Собранием), но и в силу заметного обогащения тургеневедения новыми существенными подробностями и фактами.

Такова вкратце характеристика особенно интересных эпистолярных материалов, которые органически войдут в новое Собрание писем И. С. Тургенева, заполнив пропуски, по тем или иным причинам существовавшие в первом академическом Собрании, и давая возможность читателю не только получить самое полное на сегодняшний день представление о тургеневском эпистолярном, но и словно заново увидеть образ большого русского писателя, черты которого проступают более отчетливо, чем прежде, в строках вновь найденных писем.

⁴¹ См. указ. публикацию Л. Р. Ланского. Это письмо, помещенное в дополнительный том первого Собрания, опубликовано по хронологическому принципу в 1-м томе нового издания.

⁴² И. С. Тургенев — Полина Виардо. Публ. А. Розанова и С. Краюхина. — Неделя, 1978, 25 сент. — 1 окт., № 39, с. 10—11.

⁴³ Силина Г. Неизвестный Тургенев. — Лит. газ., 1980, 29 окт., с. 6.

³⁸ Назарова Л. Н. Тургенев и Пушкинский кружок в Петербурге. — Русская литература, 1982, № 3, с. 175—179.

³⁹ См. указ. публикацию Н. Чернова.

⁴⁰ См. продолжение публикации И. Зильберштейна в «Литературной газете», 1972, № 25, с. 7.

Н. С. Травушкин

БУРЕВЕСТИК ДО И ПОСЛЕ ГОРЬКОГО

(СИМВОЛ, МЕТАФОРА, СЛОВО-СИГНАЛ)

Замечено, что в русской поэзии, да и не только в русской, наличествуют устойчивые тематические ряды ключевых слов, вносящих в текст иносказательность, художественную символику. Сделаны попытки изучения таких рядов, их учета и толкования.¹

В то же время сама теория символа и художественной символики как системы еще недостаточно разработана. Автор специальной статьи пишет: «... бросается в глаза неопределенность такого понятия, как символ»; по его мнению, это «результат сложности и многообразия самого предмета».² «Живой опыт поэзии и литературной науки», конкретные исследования возникновения и своеобразия отдельных символов, их функционирования и развития — путь к уяснению предмета. «Поэтический символ — явление многомерное и для правильного своего понимания требует от исследователя соотношения с идейно-композиционной структурой данного отдельного произведения, с культурно-исторической традицией, с индивидуальной поэтической системой в целом...».³

Обширное поле для наблюдений такого рода — традиция использования символика моря и бури. Читатель с давних пор в должном идейном ключе воспринимал в качестве иносказательных картины бушующего моря в заключительных строфах «Паломничества Чайльд-Гарольда» Байрона, в обращении Пушкина «К морю», в его «Арионе», в «Пловце» Н. М. Языкова («Нелюдимо наше море...»), в «Парусе» Лермонтова и т. д. Б. Н. Двинянинов выделил в поэзии П. Ф. Якубовича обширную «ключевую

лексическую группу», озаглавленную им «Символика борьбы» (69 символов). В ней значительное место занимают слова: море, буря, гроза, ураган, вихрь, гром, молния, пучина, волны, борьба, битва, мятежный, грозный, гордый, призывный, смелый, отважный, победа.⁴ А в одном из стихотворений («Оборван у музы цветущий венек...», 1896) П. Якубович «приблизился вплотную к образу *буревестника*»⁵ — здесь ожидание смелой и честной песни, которая

Как птица в предчувствии бури,
Очнется внезапно, ударит крылом —
И гордо взвоется к лазури!

Но само слово «буревестник» в иносказательном значении входило в литературу медленно, оно существовало в русском языке лишь как орнитологический термин. В словаре Даля (изд. 1880 года): «Бурная-птица, буревестники, близкие чайкам, *Procellariae*, держатся в открытом море». В «Немецко-русском словаре» И. Я. Павловского (1888): *Sturmvogel* — «буревестник, погодовестник, бурная птица, глупыш, старик». В «Полном англо-русском словаре» А. Александрова того же времени: *petrel* — «бурная птица, глупыш». Всюду ясно ощущается орнитологическое понимание слова-термина.

В очерке «Человек в серых очках» И. С. Тургенева (1880) напрашивается слово «буревестник», но автор называет его по-английски: «Есть такие морские птицы, которые появляются только во время бури. Англичане называют их *Stormy petrels*. Они носятся низко в тусклом воздухе, над самыми гребнями разъяренных волн, и исчезают, как только настанет ясная погода».⁶

Образ этот у Тургенева связывается с революцией 1848 года, и, надо думать, не случайно. Именно на Западе буревестник воспринимался как метафора, приуроченная к большому общественным событиям, к живописанию борьбы.

В составе развернутой метафоры мы встречаем буревестника в откликах моло-

¹ См., например: *Двинянинов Б. Н.* Устойчивая символика в структуре поэтической речи П. Якубовича и Н. Некрасова. — В кн.: *Вопросы теории и истории литературы.* Тамбов, 1975; *Духовный Т. Т.* Образ коваля в европейских литературах. (Друга половина XIX — початок XX ст.). — *Радянське літературознавство*, 1973, № 1; *Іванов В. В., Панькин В. М., Филиппов А. В., Шанский Н. М.* 1) Краткий словарь традиционных символов русской поэзии. — *Русский язык в школе*, 1977, № 4, 5; 2) Еще раз о традиционной поэтической символике. — *Русский язык в школе*, 1978, № 3.

² *Бутырин К. М.* Проблема поэтического символа в русском литературоведении (XIX—XX вв.). — В кн.: *Исследования по поэтике и стилистике.* Л., 1972, с. 248.

³ Там же, с. 260.

⁴ *Вопросы теории и истории литературы.* Тамбов, 1975, с. 56—57.

⁵ *Двинянинов Б. Н.* Меч и лира. Очерк жизни и творчества П. Ф. Якубовича. М., 1969, с. 152.

⁶ *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т., Соч. в 15-ти т., т. XIV. М.—Л., 1967, с. 135. Цитата приводилась в статье: *Перльмуттер Л.* Язык и стиль «Песни о Соколе» и «Песни о Буревестнике» М. Горького. — *Литературная учеба*, 1937, № 6, с. 113.

дого Ф. Лассалья на восстание силезских ткачей. В письме родным 12 июня 1844 года он весьма пронзительно и образно размышлял: «Слышите ли вы, как сильно гремит гром на горизонте. . . не замечаете, что все это означает? Все это многообразные знамения времени — чайки, чайки, говорю я вам, буревестники, возвещающие о приближении бури нового духа. . . это начало той войны бедных против богатых, которая уже так ужасно близка. Это первые проявления и содержания коммунизма».⁷

Буревестником ощущал себя Г. Ибсен, когда в сезон 1857—1858 годов в Христиании боролся за утверждение нового, национального, истинно норвежского театра. Тогда написал он своего «Буревестника» («Stormsvalen»), скрытый смысл которого превращает его в образ-символ:

Живет буревестник на гребне утеса, —
Я это от старого слышал матроса.

Он в пене сверкает крылами и стонет,
Скользит над волнами и в море

не тонет,

Качается мерно на зыбкой лазури,
При штиле молчит и кричит перед
бурей.

/
То реет под тучей, то с гребнями
рядом,
Как наши мечты между небом и адом.

Тяжел он для воздуха, легок для моря.
Вот, птица-поэт, в чем и радость
и горе.

И хуже всего, что ученый с опаской
Рассказ моряка счел бы сущю сказкой.⁸

Ф. Шпильгаген в романе «Один в поле не воин» (1866) описывает крестьянские волнения и деятельность агитатора Туски, которого характеризует словом «буревестник». Другой персонаж — Лео (отдаленным прототипом его был, как известно, Лассаль) — сам называет себя буревестником.⁹

⁷ Цит. по: Кан С. Б. Два восстания силезских ткачей: 1793—1844. М.—Л., 1948, с. 331; оригинал: Lassalle F. Nachgelassene Briefe und Schriften, Bd. I. Berlin, 1921, S. 101—102.

⁸ Ибсен Г. Собр. соч., т. 4. М., 1958, с. 524 (перевод Вс. Рождественского); см. также: Ибсен Г. Избр. стихотв. Катиллина. Перевод А. и П. Ганзен. М., 1907, с. 406. Более ранних публикаций «Буревестника» на русском языке найти не удалось.

⁹ На это впервые указал А. В. Расказов в автореф. канд. дис. «Роман Ф. Шпильгагена „Один в поле не воин“ в оценке русской демократической критики последней трети XIX—начала XX века» (Горький, 1976, с. 5—6).

Не исключено, что именно под влиянием западноевропейской традиции буревестник в иносказательном его значении появляется в статье «Признаки времени», напечатанной в 1878 году в нелегальном листке «Земля и воля» (№ 2). Речь здесь идет о росте революционных настроений в России: «Натуры чуткие, сильные, восприимчивые раньше других ощущают жгучие дыханные приближающегося урагана. Море спокойно, только свежий ветерок весело надувает паруса, но над кораблем уже с зловещим криком носятся чайки-буревестники, и моряк знает, что будет буря, хотя и не чувствует ее».¹⁰

Появляется буревестник, казалось бы даже неожиданно, в скорбной поэзии Надсона. В трудную пору «безвременья» восьмидесятых годов у него нередко звучат энергичные ноты, появляются лексика и образность, характерные для революционной поэзии: «грядущая гроза», «народный гнев», «решительный бой», «тишина перед грозой».¹¹ И вот он — маленький шедевр 1884 года:

Чу, кричит буревестник! . . Крепи
паруса!

И грозна, и окутана мглою,
Буря гневным челом уперлась в небеса
И на волны ступила пятою.

В ризе туч, озаренная беглым огнем
Ярких молний, обвитых вокруг стана,
Мощно сыплет она свой рокошущий гром
На свинцовый простор океана.
Как прекрасен и грозен немой ее лик!
Как сильны ее черные крылья!
Будь же, путник, как враг твой,
бесстрашно велик. . .¹²

Стихи Надсона ежегодно переиздавались «Обществом для пособия нуждающимся литераторам и ученым». Горький, несомненно, их читал. В очерке «Время Короленко» он вспоминал: «. . . молодежь восхищалась Надсоном».¹³ Хорошо знал Горький и роман Шпильгагена,¹⁴ читал и осмысливал его еще в кружке Деренкова в Казани. Но в русских переводах романа слово «буревестник» опускалось (как чуждое тогда литературному языку!). Трудно предположить, что с первого раза или при повторном чтении бросился в глаза и жил в па-

¹⁰ Цит. по: Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. М., 1966, с. 65.

¹¹ См.: Бялый Г. А. С. Я. Надсон. — В кн.: Надсон С. Я. Стихотворения. Л., 1957, с. 27.

¹² Надсон С. Я. Стихотворения. Изд. 17-е, СПб., 1899, с. 259.

¹³ Горький М. Собр. соч., в 30-ти т., т. 15. М., 1951, с. 17.

¹⁴ См.: Травушкин Н. С. Как читали в России роман Шпильгагена «Один в поле не воин». — Учен. зап. Казанского пед. ин-та, вып. 138. Казань, 1974, с. 67.

мяти писателя даже такой пассаж, близкий образному строю будущего горьковского произведения: «Подобно тому, как бурная птица погружается в море, я не должен иметь другой родины, кроме шатких волн жизни. Свивайте себе гнездышко на безопасном скалистом утесе, а мне оставьте океан. . .»¹⁵

По-видимому, представление об экзотической птице сложилось у Горького по многочисленным легендам и рассказам, вошедшим в книги морских путешественников. Обширный материал на эту тему подобран в брошюре В. П. Владимирцева «Народно-поэтические основы „Песни о Буревестнике“» (Казань, 1968). К сожалению, автор не указал, какие именно сочинения, содержащие легенды о буревестнике, читал Горький.

Легенды о птице бурь нередко подчеркивают зловещий, демонический ее характер. Сравнение с демоном в «Песне о Буревестнике» встречается трижды, оно достаточно весомо и не пропадает в общей картине. И в этом случае богатая литературная традиция внесла в создание Горького ноту гордого протеста, мятежа против высших сил — именно в этом ореоле предстает Демон у Лермонтова, Люцифер у Байрона, Сатана у Мильтона и т. д.

В этом тайна необыкновенного воздействия горьковского Буревестника. Он гармонировал с лучшими созданиями мировой поэзии, с признанной поколениями читателей символикой бури, символикой мятежа. Можно заметить, что выделенная Б. Н. Двиняниновым у П. Якубовича традиционная лексика моря, бури, борьбы органично вливается в «Песню о Буревестнике». «И при всем том, — верно замечает Б. Бялик. — „Песня о Буревестнике“ никого и ничего не повторила, явившись произведением ярко оригинальным по форме и воинственно актуальным по содержанию».¹⁶

Аллегорическая «фантазия» Горького «Весенние мелодии», финальной частью которой является песня чижика о буревестнике, была живым откликом писателя на злобу дня. Эти «птичьи разговоры» газете «Курьер» печатать не позволили. Но публикации в журнале «Жизнь» боевой «Песни о Буревестнике» цензура не воспрепятствовала. В отличие от аллегории, которая внешними по отношению к сущности предмета образами лишь чуть-чуть маскирует инносказательное свое содержание, символ, как целостная картина жизни, — многозначен, прямое его содержание отличается глубиной и естественностью, переносное же скрыто и по сути дела не улавливается параграфами цензурного устава; потребовалось более тщательное рассмотрение, чтобы

стало очевидным «крамольное» содержание «Песни о Буревестнике».

Понимание символа требует от читателя внутренней душевной работы, знания и учета традиции, сложившейся в мировой поэзии.

Долгое время (а в практике преподавания нередко и до сих пор) значение и силу воздействия «Песни о Буревестнике» усматривали в прямом отражении Горьким революционного подъема начала 1900-х годов. При этом не всегда точно определяют природу образа, называют созданную Горьким картину бури аллегорией, а не символом. В школьном учебнике тридцатых годов читаем: «В нескольких аллегорических образах из жизни природы Горький характеризует расстановку классовых сил. Приближается буря — революция. . . Бушует море — поднимаются к борьбе эксплуатируемые массы. . . победу предвещаетносящийся над гневом ревущим морем Буревестник. . . олицетворяющий революционные силы рабочего класса. . .»¹⁷ В этом же направлении идут рекомендации в более поздних учебниках и пособиях для учителя.¹⁸ Со временем такая односторонность начинает несколько смущать методистов, поиски социологического эквивалента сопровождаются оговорками, требованиями учитывать «большую широту художественного образа, «большую емкость» созданного Горьким символа».¹⁹

Задача художественного создания Горького заключалась в том, чтобы эмоционально интерпретировать ситуацию, дать ей возвышающую оценку, воодушевить читателей поэтическими средствами, эстетически обогатить представление о переломном, остром, решающем моменте общественного движения и о месте отдельной личности в «битве жизни». Целостность и широта символа разрушаются, если за составляющими общую картину образами видеть только конкретные явления конкретной ситуации: тучи — российский реакция, буревестник — революционер начала 1900-х годов и т. д.

Да, «Песня о Буревестнике» — прославление революции и революционеров, но отнюдь не прямолинейное. Перевод символа в логический ряд мало помогает уяснению удивительности этого произведения. В нем самым важным является переживание образа, которое В. Г. Бе-

¹⁵ Флоринский С., Трифонов Н. Литература XIX—XX веков. Учебник для 6-го и 7-го классов средней школы. Изд. 3-е, М., 1935, с. 223.

¹⁶ Гердзей-Калица Н. М. 1) Литературный кружок в X классе, посвященный изучению А. М. Горького. Л., 1948, с. 81; 2) Горький в школе. Изд. 3-е, Л., 1956, с. 112; и др.

¹⁹ Трифонов Н. А. Изучение «Песни о Соколе» и «Песни о Буревестнике». — В кн.: Горький в школе. М., 1960, с. 511.

¹⁵ Шпильгаген Ф. Один в поле не воин, т. I. Изд. 6-е, СПб., 1895, с. 219.

¹⁶ Бялик Б. Судьба Максима Горького. М., 1968, с. 133.

линский, говоря о «живых созданиях» искусства, называл пафосом. Искусство «допускает только идеи поэтические; а поэтическая идея — это не силлогизм, не догмат, не правило, это — живая страсть, это — пафос».²⁰

Именно благодаря целостной природе символа, обобщающему его содержанию, благодаря пафосу стала возможной жизнь «Песни о Буревестнике» не только в период общественного подъема и первой русской революции, но и за пределами того исторического момента, порождением которого она была.

После публикации произведения Горького слово «буревестник» прочно вошло в литературный язык. Можно проследить пути постепенного расширения области его применения.

Первоначально буревестник и весь пейзажный антураж песни (где-то слышанной) чижиком, издали занесенной в сад «Весенних мелодий») воспринимались, надо полагать, как нечто литературно-экзотическое. Малоизвестным был и противопоставленный буревестнику пингвин — птица южного полушария. Характерное свидетельство этого — описка в одном из гектографированных с рукописного текста изданий «Весенних мелодий» — «пиктвинг».²¹

Со временем образы «Песни о Буревестнике» становятся настолько общеизвестными, что пафос ее восстанавливался даже при цитировании каких-то строк стихотворения Горького. Широко пользовались этими возможностями партийная публицистика. Так, минская газета «Северо-Западный край», принявшая в 1905 году под влиянием большевиков боевое направление, откликнулась на подъем народной революции строками из горьковской «Песни»:

..не скроют тучи солнца!
Нет, не скроют!

И далее в том же образном ключе говорится о пронесшемся уже буревестнике, о пучине всколыхнувшегося народного моря и т. д.²²

В написанной для газеты «Пролетарий» передовице «Перед бурей» В. И. Ленин при характеристике политического момента обращается не только к героическому пафосу «Песни о Буревестнике», но напоминает читателям и о «глухих пингвинах».²³

Время от времени буревестник продолжает появляться и в поэзии. Но после

Горького образ этот представляется уже не самостоятельным художественным открытием, а «подсказанным», вторичным. У П. Якубовича в стихотворении 1905 года «седой буревестник кричит», и крик этот сливается с призывами к буре, с ожиданием рассвета и свободы. Исследователь творчества П. Якубовича, цитируя это стихотворение, замечает, что возникло оно, «возможно, уже под влиянием песни Горького».²⁴ В 1905 году в Нижнем Новгороде вышел сборник поэтов-нижегородцев «Зеленый шум»; в нем напечатано стихотворение А. Белозерова, некоторые строки которого прямо повторяют Горького:

Будешь, как буревестник, могучим
Гордо пену седую срывать.²⁵ крылом

Ясно, что на этом пути повторения или варьирования горьковских находок нельзя ждать поэтических достижений. Можно, однако, привести пример плодотворного обращения к образу Буревестника — в латышской поэзии. На латышском языке «Песня о Буревестнике» появилась впервые в январе 1902 года, затем, в период революционного подъема, неоднократно помещалась в демократической печати.²⁶ Август Арайс-Берце, пролетарий, профессиональный революционер, вел партийную работу в Елгаве, Риге, Баку, подвергался арестам, тюремному заключению, бежал из сибирской ссылки. В 1921 году его, как члена подпольного ЦК Компартии Латвии, буржуазные власти бросили в тюрьму, а затем расстреляли. Среди оставшихся после него стихотворений особенно выделяется «Мы — буревестники». Личный опыт рабочего-революционера, драматичность судеб участников борьбы пролетариата, вера в торжество великого дела — вот пафос стихотворения А. Арайс-Берце.

Да, мы — буревестники! Краток
наш путь, —
Вот мы появились, чтоб в тучах
мелькнуть
И выше, к сияющим далям лететь.
А завтра — над нами трава зеленеть.

Наш звонкоголосый вожак впереди.
А завтра — умрет его сердце в груди.
Сегодня нас сотни кидаются в бой —
Нас тысячи завтра поспорят с судьбой.

²⁰ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 7. М., 1955, с. 311.

²¹ Архив А. М. Горького, ХПГ 40—8—13, л. 13 об.

²² См.: Северо-Западный край, 1905, 30 окт.

²³ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 13, с. 337—338.

²⁴ Двинянинов Б. Н. Меч и лира, с. 153.

²⁵ Цит. по: Фарбер Л. М. А. М. Горький в Нижнем Новгороде. Горький, 1957, с. 126.

²⁶ Lūkina V., Saldone O. Maksims Gorkijs Latvijā un latviešu presē. Bibliografija. 1899—1967. Rīgā, 1968.

им статье начало о буревестнике и дал ей мало связанное с основным содержанием статьи броское заглавие.³⁶ Так или иначе, Горького стали называть «буревестником» не потому, что слово это появилось в «Русском обозрении», не сумевшем занять сколько-нибудь заметное место в журналистике. Дело в самой «Песне о Буревестнике», которая воспринималась как характернейшее создание Горького, как емкое определение его общественной позиции. Г. В. Плеханов пишет о Горьком (в 1909-м или 1910 году): «Наш поэтический „Буревестник“».³⁷ Р. Роллан в 1932 году писал: «Всем сердцем присоединяюсь к миллионам, приветствующим сегодня Максима Горького, — старого Буревестника, воспевającego бури, которые потрясают и обновляют человечество».³⁸

Но слово «буревестник» прилагают не только к Горькому. В. Хлебников в присущей ему ассоциативно-метафорической манере в статье «О современной поэзии» (1920) характеризует А. Гастева — «соборного художника труда»: «Ум его — буревестник, срывающий ноту на высочайших волнах бури».³⁹

Есть и «американский буревестник» — так называет А. М. Любарская поэта-революционера Гораса Тробела.⁴⁰

Дальнейший путь слова-сигнала — в общественный быт. «Буревестником» называлось в 1905—1906 годах издательство в Одессе, выпускавшее социал-демократическую литературу. В 1906 году в Петербурге выходил журнал «Буревестник» — он был прекращен судебным приговором «навсегда».⁴¹ Название «Буревестник» носили большевистские газеты, издававшиеся в 1917 году в Минске, в 1918 году — в Батуме.⁴² Краснодарское книжное издательство в 1922—1938 годах функционировало под маркой «Буревестник».⁴³

³⁶ Владимирцев В. П. Кто и когда назвал Горького Буревестником? — В кн.: М. Горький и вопросы литературных жанров. Горький, 1978.

³⁷ Литературное наследие Г. В. Плеханова, сб. VIII. М., 1939, с. 96.

³⁸ «Правда» о Горьком. М., 1932, с. 122.

³⁹ Хлебников Велимир. Собр. произв., т. V. Л., [1933], с. 224. На использование Хлебниковым слова «буревестник» нам любезно указал А. Е. Парнис.

⁴⁰ Любарская Алла. Американский буревестник (Горас Тробел и революционная Россия. Неизвестные и забытые страницы демократической литературы США). — Иностранная литература, 1977, № 11, с. 213—219.

⁴¹ Книжная летопись, 1908, № 29.

⁴² Большевистская периодическая печать (декабрь 1900—октябрь 1917). Библиографический указатель. М., 1964, с. 147—148.

⁴³ Книговедение. Энциклопедический словарь. М., 1982, с. 291.

Горьковское слово вдохновляло советских людей в суровую годину Великой Отечественной войны. В белорусских лесах одним из успешно действовавших партизанских соединений была бригада «Буревестник», которой командовал Герой Советского Союза М. Г. Мормулев. Военный корреспондент В. В. Саблин написал тогда песню:

Отряд «Буревестник»
Под Минском стоит,
Отряд «Буревестник»
Фашистов громит.
Мы — вестники бури
И вести святой,
И водит нас в бой
Мормулев удалой.

Песня вошла в небольшой сборник стихотворений, который удалось напечатать в походной типографии. «Среди партизан, — рассказывает В. В. Саблин, — особой популярностью пользовалась песня „Мы — вестники бури“. Ее обычно пели на походе...»⁴⁴

Героический пафос «Песни о Буревестнике», широта и динамичность ее образного содержания, разумеется, главная причина способности символа сохранять свою действенность в различных ситуациях общественной жизни и борьбы. Но, вероятно, немалое значение имеет и сама внутренняя форма слова. История литературы знает и другие образы-символы, которые удачно выражали в свое время общественные устремления («Порог» И. С. Тургенева, «Огоньки» В. Г. Короленко). Но наиболее счастливая судьба выпала на долю горьковского вестника бури, вестника борьбы.

«Песня о Буревестнике» и ее заглавный образ вошли в общественное сознание, в поэзию, в художественный язык не только в России, но и за рубежом. Достаточно взглянуть в несколько русско-иноязычных словарей. К слову «буревестник» в них нередко приводится, со специальной стилистической пометой, переносное значение: «буревестник революции». Там, где внутренняя форма иноязычного слова не совпадает с русской (в английском и французском языках *petrel* — птица св. Петра, в польском *pirzecz* — то есть «ныряльщик»), для переносного значения возникли кальки: *oiseau d'orage*, *annonciateur de la tempête* (фр.), *annunziatore della tempesta* (ит.), *zwiadun burzy* (польск.).

Горьковское происхождение таких переносных значений и калек подтверждается богатой историей бытования «Песни

⁴⁴ Воспоминания В. В. Саблина хранятся вместе с экземпляром его сборника в Отделе редких книг ГБЛ. См. также: Толстяков Г. Называется сборник «Мстители»... — Книжное обозрение, 1978, № 20, с. 16.

о Буревестнике» во многих странах мира.⁴⁵ «Буревестник» и в других языках служит в качестве слова-сигнала. Так, в болгарском городе Плевене издавалась литературно-критическая библиотека «Буревестник», в 1907 году в ней выходили работы Г. В. Плеханова.⁴⁶

Но еще важнее, когда мы убеждаемся, что «Песня о Буревестнике» на протяжении десятилетий живет как целое, как вдохновляющий образ-символ, пафос которого много говорит нашим зарубежным друзьям.

⁴⁵ См.: Произведения А. М. Горького в переводах на иностранные языки. Отдельные зарубежные издания. 1900—1955. Библиографический указатель. М., 1958; *Каракостов С.* Максим Горки и българската литература. Влияние и връзки. София, 1947 (библиографические списки в тексте); *Idzikowski I., Schwarz G.* Maxim Gorki in Deutschland. Bibliographie 1899 bis 1965. Berlin, 1968; *Perus J.* Gorki en France. Bibliographie des oeuvres de Gorki traduites en français, des études et articles sur Gorki publiés en France, en français de 1899 à 1939. Paris, 1968; *Kjetsaa G.* Maxim Gorkij i Norge. Oslo, 1975, bibliografi, p. 36—60 (1899—1975). В горьковедческой литературе немало сведений о бытовании «Весенних мелодий» и «Песни о Буревестнике» в других странах.

⁴⁶ См. опись библиотеки Г. В. Плеханова в Доме Плеханова.

С 1981 года в социалистической Болгарии издается журнал «Факел», призванный знакомить читателей с советской литературой. Заглавие и девиз-эпиграф нового издания — из стихотворения Хр. Смирненского «Красные эскадроны»: «... с факела на нова вера». А для обобщенно-образной и эмоциональной характеристики советской литературы как огромного общественного явления редакция посчитала нужным дать не слово-сигнал, а «Песню о Буревестнике» целиком. Первый номер журнала открывается факсимильным воспроизведением самого раннего перевода «Песни» на болгарский язык, появившегося в 1901 году, затем напечатаны «Песня о Буревестнике» по-русски и пять ее переводов, выполненных Х. Радевским, Б. Божилковым, О. Орлиновым, И. Теофиловым, К. Кадийским. В заключающей эту публикацию заметке даны сведения о других переводах «Песни» и знаменательный вывод: «Литература, которая располагает более чем десятью переводами одного и того же произведения, — это богатая литература».⁴⁷

В формирование горьковского образа Буревестника известную долю, как мы видели в начале, внесла зарубежная литературная традиция. Этот образ-символ сразу же, обогащенный революционным духом русского народа, вернулся на Запад, приобрел мировое значение.

⁴⁷ Факел. Двумесечник за съветска литература, 1981, № 1, с. 16.

В. В. Ефимов

ДВЕ СТАТЬИ А. В. ЛУНАЧАРСКОГО О ЛЬВЕ ТОЛСТОМ

Пожалуй, никому из русских классиков за все 35 лет своей литературно-критической деятельности не уделял А. В. Луначарский такого пристального внимания, как Льву Толстому. Но, к сожалению, и поныне далеко не все из этой весомой части большого и ценного наследия критика-марксиста достаточно хорошо известно даже исследователям творчества А. В. Луначарского и Л. Н. Толстого.

В давно изданный сборник произведений критика «О Толстом» (1928) не вошли дореволюционные статьи его о писателе, нет их и в Собрании сочинений А. В. Луначарского (1963—1967). Единственная изданная и то сильно сокращенная ранняя работа Луначарского

«Смерть Толстого и молодая Европа»¹ оказалась настолько забытой исследователями, что Н. А. Глаголев в 1963 году утверждал, что будто «именно эта дореволюционная статья, правда, в значительно переработанном виде, легла в основу статьи „Толстой и Маркс“».² В действительности же статья «Толстой и Маркс» никакого отношения к ранней работе критика не имеет, поскольку является обработанной стенограммой

¹ См.: *Луначарский А. В.* Литературные силуэты. М., 1923, с. 87—96; М.—Л., 1925, с. 89—97.

² См.: *Луначарский А. В.* Собр. соч. в 8-ми т., т. 1. М., 1963, с. 534.

лекции, прочитанной Анатолием Васильевичем в феврале 1924 года в Москве в Экспериментальном театре.³

Не потому ли в большинстве исследований проблемы «А. В. Луначарский о Л. Н. Толстом» либо вообще отсутствует развернутый анализ дореволюционных произведений критика о Толстом,⁴ либо рассматриваются наиболее известные из них,⁵ а в содержательной, богатой новыми фактами статье Г. М. Лифшица «Политическая борьба вокруг смерти Толстого»⁶ имя Луначарского даже не упоминается.

Лишь недавно, благодаря И. П. Кохно, в научный оборот вошла одна из интереснейших дооктябрьских работ критика — «О Толстом».⁷ Опубликованная в третьем выпуске сборника «Вперед» (Париж, май, 1911), статья эта потом ни разу не переиздавалась. Исследователи как-то обходили ее молчанием. Возможно, не последнюю роль здесь сыграло то обстоятельство, что появилась она впервые на страницах печатного органа фракционного издания группы «Вперед», к которой в то время принадлежал и Луначарский. Но как справедливо отмечает И. П. Кохно, статья «О Толстом», подписанная «известным псевдонимом Луначарского Воинов, выделяется среди прочих материалов и по содержанию никак не похожа на писания „впередовцев“».⁸ Трудно вместе с тем согласиться с утверждением И. П. Кохно, будто работа эта написана Луначарским ранее другой его статьи, появившейся в печати в том же 1911 году, — «Смерть Толстого и молодая Европа».⁹

И ряд фактов, содержащихся в данной работе, и более поздние комментарии самого Луначарского¹⁰ говорят о том,

что «Смерть Толстого и молодая Европа» на самом деле создавалась еще в ноябре 1910 года, оперативно отражая реакцию западноевропейской общественности на смерть русского писателя. Это был первый отклик находившегося в эмиграции в Италии критика, лишенного пока возможности оперировать необходимыми сведениями и фактами из жизни далекой России.

В декабре 1910 года в Петербурге вышел первый номер «большого беспартийного» журнала «Новая жизнь». Здесь помещена была статья «Памяти Толстого» небезызвестного сотрудника меньшевистского журнала «Наша заря» М. Неведомского, «начала пражнословия» которого так ярко вскрыты в ленинской работе «Герои „оговорочки“».¹¹ И весьма знаменательно, что опубликованная во втором номере «Новой жизни» в январе 1911 года статья Луначарского «Смерть Толстого и молодая Европа» не только резко контрастировала с подобного рода «беспринципностью в оценке Льва Толстого»,¹² но и содержала некоторые важные вопросы, довольно близкие и даже идентичные тем, какие тогда ставились и решались В. И. Лениным в его работах о Толстом.

В стремлении либералов свести все к разговорам о «Толстом — „великой новости“» Ленин видел явный «обход тех конкретных вопросов демократии и социализма, которые Толстым поставлены».¹³ Заслуга Луначарского в том и состояла, что он по существу первым в марксистской критике вскрыл причины, побудившие идейных выразителей пролетариата и его передовые круги в разных странах Европы к проявлению столь «чуткого и любовного отношения социалистического мира к покойному великому соотечественнику нашему».¹⁴ Сознывая, что Толстой «не весь целиком союзник авангарда человечества, но и далеко не весь целиком враг ему»,¹⁵ Луначарский стремится выявить то наиболее характерное, что сближало Толстого с социалистическим учением.

«В самом деле, — пишет критик, — научный социализм исходит из положения о мучительных противоречиях внешнего строя. Эти мучительные противоречия гениально отметил и заклеил и Лев Толстой. Научный социализм ищет разрешения этих противоречий в гармоническом общественном строе, покаяющемся с делением человечества на классы и нации, строе, по преимуществу, трудовом. Лев Толстой также ищет гармонического строя, также точно рисует перспективы трудового согласия людей,

³ См.: Луначарский А. В. Почему нельзя верить в бога? М., 1965, с. 428.

⁴ См.: Шифман А. И. Л. Н. Толстой в работах А. В. Луначарского. — В кн.: Яснополянский сборник. Статьи, материалы, публикации. Тула, 1968, с. 159—172.

⁵ См.: Шербина В. А. В. Луначарский о Льве Толстом. — Учен. зап. Московск. обл. пед. ин-та им. Крупской, т. 122, вып. 8, 1963, с. 149—168.

⁶ Лит. наследство, т. 69, кн. 2, 1961, с. 321—329.

⁷ Кохно И. П. А. В. Луначарский и формирование марксистской литературной критики. Минск, 1979. В разделе «Лики Толстого» даны небольшие фрагменты из статьи Луначарского «О Толстом».

⁸ Там же, с. 138.

⁹ Там же, с. 141.

¹⁰ В примечании к публикации этой работы в 1925 году Луначарский писал: «Статья эта написана за границей непосредственно после смерти великого писателя» (Луначарский А. В. Литературные силуэты. М.—Л., 1925, с. 89).

¹¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 94.

¹² Там же, с. 90.

¹³ Там же, с. 23.

¹⁴ Новая жизнь, 1911, № 2, стлб. 216.

¹⁵ Там же.

также точно отвергает классы, также точно глубоко дружен общественным низам и враждебен верхам — не лицам, конечно, а самому принципу плутократии и аристократии.

Научный социализм считает индивидуализм порождением общественной анархии, основанной на частной собственности. Он отвергает его, предсказывая торжество коллективизма, симпатических чувств, широкого, героического мироощущения над узким лавочническим. Лев Толстой, представлявший сам из себя богатейшую и напряженнейшую индивидуальность, бывший страдальцем индивидуализма, всю свою жизнь посвятил на борьбу с ним.

Научный социализм смотрит на государство как на естественную организацию общества разрозненных эгоистов и классовых противоречий; Толстой так же смотрел на государство и предвидел, что при иных условиях оно станет совершенно излишним.

Вот главнейшие сходства между обоими идейными зданиями.

Конечно, радикальны и различия.¹⁶

Здесь прежде всего следует подчеркнуть близость позиций Ленина и Луначарского в их общей оценке реакционной сущности толстовства.¹⁷ Что же касается Плеханова, то значительно позднее, в 1929 году, Луначарский в работе «Г. В. Плеханов как литературный критик» писал: «Надо сказать, что в статьях Плеханова о Толстом толстовское отрицательное изучено с гораздо большей обстоятельностью и силой, чем толстовское положительное».¹⁸

У обзора Луначарским оценок Толстого в Европе было еще одно отличительное достоинство, за отсутствие которого Ленин так резко осуждал тогдашнюю русскую либеральную прессу, пытавшуюся отделаться «пустыми, казенно-либеральными, избыточно-профессорскими фразами о „голосе цивилизованного

человечества“, о „единодушном отклике мира“...»¹⁹

В своем «маленьком смотре армии» молодой Европы «в момент ее церемониального марша мимо могилы Толстого»²⁰ Луначарский отмечает как раз отсутствие такого «единодушия» в «голосе цивилизованного человечества». «По суждению о Толстом, — пишет критик, — часто можно судить о самом судящем».²¹ Для него же самого совершенно бесспорно, что «Лев Толстой ближе всех сердцу передовых людей, передового класса европейского общества».²² Вместе с тем Луначарский убедительно показывает, как «то немногое разумное и доброе, что было сказано» идеологами хорошо знакомой ему католической, консервативно-буржуазной Италии, «совершенно тонет в банальных панегириках».²³ Он не оставляет без внимания и «пустое фразерство», которое с такой наглядностью в эти дни продемонстрировал «итальянский официальный, господствующий социализм».²⁴ «Из этого лагеря, — убежденно заявляет критик, — не раздалось ни одного живого слова о Л. Толстом».²⁵

Следующая статья Луначарского — «О Толстом», опубликованная в мае 1911 года, в основе своей опиралась на источники и факты из русской политической жизни совсем недавнего прошлого. Здесь своеобразно продолжены, развиты, уточнены некоторые принципиально важные позиции и взгляды Луначарского, выраженные им прежде, и, кстати, не только в его предыдущем обзоре отношений западноевропейской мысли к событиям по поводу смерти Толстого.

Так, еще при жизни великого писателя, в 1908 году, когда создавался второй том книги «Религия и социализм», Луначарский высказал ряд любопытных суждений о Толстом — выразителе интересов «богоищущего крестьянства», общинной жизни и натурального хозяйства, сопротивляющегося росту капитала. «Это, — по словам Луначарского, — часто дает ему возможность блистательно критиковать ложь и стыд современной цивилизации, но это же отдаёт его в жертву утопизму, какого-то притом черного и безрадостного характера, утопизму, идеализирующему сермяжное царство Иванушек-Дурачков».²⁶

¹⁶ Там же, стлб. 217.

¹⁷ «... В наши дни, — замечает Ленин в январе 1911 года, — всякая попытка идеализации учения Толстого, оправдания или смягчения его „непротивленства“, его апелляция к „Духу“, его призывы к „нравственному самоусовершенствованию“, его доктрины „совести“ и всеобщей „любви“, его проповеди аскетизма и квиетизма и т. п. приносят самый непосредственный и самый глубокий вред» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 104). Учение Толстого, замечает Луначарский, будучи построенным на «простой правде натуральных хозяйственных отношений», в условиях переживаемого момента отнюдь не было «пассивным, как думают некоторые: оно активно, но идеалистически активно» (Новая жизнь, 1911, А 2, стлб. 218).

¹⁸ Луначарский А. В. Собр. соч. в 8-ми т., т. 8, с. 294.

¹⁹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 22.

²⁰ Новая жизнь, 1911, № 2, стлб. 225.

²¹ Там же, стлб. 224.

²² Там же, стлб. 220.

²³ Там же, стлб. 225.

²⁴ Там же.

²⁵ Там же.

²⁶ Луначарский А. В. Религия и социализм, т. II. СПб., 1911, с. 173. Примечательно, что в 1910 году, когда «новый ратник потресовской рати» В. Базаров, на меньшевистский манер толковавший сказку об «Иване Дураке», выступил

Как тут не вспомнить ленинских слов из статьи «Лев Толстой и его эпоха» (январь, 1911): «Учение Толстого безусловно утопично и, по своему содержанию, реакционно в самом точном и в самом глубоком значении этого слова».²⁷ Но отсюда, подчеркивал Ленин, отнюдь не следует того, «чтобы в нем не было критических элементов, способных доставлять ценный материал для просвещения передовых классов».²⁸

«Несомненно, — замечал в этой связи Луначарский в 1908 году, — что отрицательная часть учения Толстого, т. е. его критика, полезна. . . У него исполнительный дар с необыкновенною простотою смотреть на явления нашей безобразной социальной жизни и убогой официальной религиозности. Его критика ядовита и убийственна своею ясной простотою».²⁹

Особое возражение Луначарского вызывает в толстовском учении абстрактно-отвлеченное представление о любви к человеку. «Любовь принцип великий. Ему суждено когда-нибудь сиять над примитивным человечеством, — говорит критик. — Но у Толстого нет никакого понимания путей любви. Он не видит, несмотря на тысячелетия опыта, что сама по себе, как таковая, любовь не является общественной силой, что она разбивается о железную необходимость общественного хозяйственного развития. Толстому чуждо понимание все еще великого рабства человека перед силами природы и абсолютной необходимости новых технических побед и новой организации сотрудничества для достижения объективной возможности любовного сожительства людей на земле».³⁰

Винной тому, указывает Луначарский, непонимание Толстым сущности классовой борьбы. «. . . Толстой же не видит классов, — замечает он, — близоруко усматривает всюду лишь хороших и дурных людей, а борьбу отрицает как противоречащую любви, ибо любовь понимает отвлеченно как абсолютное требование и руководящую заповедь, а не как цель, пока только желаемую. Ложное абстрактное понимание привело Толстого к вред-

ной проповеди непротивления, совершенно равнозначающего попущению злу. . .»³¹

С новой силой интерес Луначарского к Толстому — мыслителю, проповеднику, общественному деятелю — проявляется сразу же, как только «в воздухе начинает пахнуть политической весной».³² Статья «О Толстом» вобрала в себя сложившиеся ранее в работах Луначарского объективно-трезвые оценки Толстого, художника и мыслителя, и одновременно отражала его замечательную способность тактически верно определить в момент наметившегося политического подъема роль и место Толстого в предстоящей революционной борьбе пролетариата за свое освобождение. В отличие от либеральной и либерально-народнической критики, оказавшейся неспособной «высказать прямо и ясно своей оценки взглядов Толстого на государство, на церковь, на частную поземельную собственность, на капитализм», Луначарский здесь прежде всего обращается к выяснению этих «самых больных, самых проклятых вопросов»³³ русской действительности. Причем рассматривает их, не упрощая всей многосложной противоречивости воззрений Толстого. В этих глубоких и серьезных суждениях критика, в большинстве своем не утративших значения и поныне, для нас наиболее интересна его оценка религиозных взглядов Толстого, особенно если учесть, что высказана она, так сказать, в апогее «богостроительских» увлечений самого Луначарского.

Здесь он, безусловно, далек от апологии или оправдания попыток Толстого «на место опрокинутой им полной суеврий и коварства религии. . . поставить другую».³⁴ И хотя сама аргументация точки зрения у Луначарского в данном случае не столь определенно категорична,³⁵ как у Ленина, выступавшего с критикой этого «нового, очищенного, уточненного яда для угнетенных масс»,³⁶ однако уже факт, что он вскрывает пагубность влияния религиозного учения

³¹ Луначарский А. В. Религия и социализм, т. II, с. 174.

³² Вперед, 1911, № 3, стлб. 21.

³³ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 22, 23.

³⁴ Вперед, 1911, № 3, стлб. 19. «Он, — замечает критик, — признавал христианство как простое моральное учение, он признавал бога как мировую душу, с которой может блаженно слиться человек путем отказа от своего эгоизма, путем высшей любви ко всему существу» (там же).

³⁵ «Пролетариат справедливо может опасаться, — говорит Луначарский, — что и такая религия способна подтачивать человеческую активность, единственное святое и полное надежд, что он знает в мире» (там же).

³⁶ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 24.

в «Нашей заре» (№ 10, с. 49) против «резкой критики» «со стороны радикальных элементов» толстовской проповеди непротивления злу, Ленин в своих комментариях счел нужным лишь «добавить три слова: это — чистейшая веховщина» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 93).

²⁷ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 103.

²⁸ Там же.

²⁹ Луначарский А. В. Религия и социализм, т. II, с. 173.

³⁰ Там же. Нельзя не заметить сходство взглядов в данном вопросе Луначарского и Плеханова, высказанных им в статьях «Толстой и природа» (1908) и «Смешение представлений. (Учение Л. Н. Толстого)» (1910).

Толстого на пролетариат, весьма знаменатель.

Не менее своеобразно интерпретирует критик путь, которым «пришел Толстой к своему оригинальному мирозерцанию». ³⁷ Внимательно прослеживает он объективные социально-экономические предпосылки, приведшие к тому, что «сильный критикой и художественным гением великий моралист оказался утопистом в своем положительном учении». ³⁸ Стержневым при этом оказывается взгляд на Толстого как выразителя и защитника идеала «чисто крестьянского „евангельского“ общежития», который осуждал новый буржуазный уклад и вместе с тем «не смог также понять стремлений пролетариата, идущего к социализму». ³⁹

Подобно Ленину, четко разграничивавшему в толстовском наследии то, что безоговорочно отошло в прошлое, и то, «что принадлежит будущему», ⁴⁰ критик-марксист на первый план выдвигает «Толстого-борца, честного и мощного отрицателя всех устоев современного строя». ⁴¹ По мнению Луначарского, наивная толстовская утопия естественно «отпадает, она никого не может прельстить, она слишком явно идет вразрез со всем духом нынешнего прогресса, зато *толстовская* критика остается могучим орудием разрушения собственности». ⁴²

Следует обратить внимание еще на одну характерную параллель в оценках Лениным и Луначарским Толстого и его учения. Неустанно разоблачая ложь о Толстом как «учителе жизни», которую умышленно распространяли либералы, а за ними повторяли «и некоторые бывшие социал-демократы», Ленин в статье «Толстой и пролетарская борьба» подчеркивал: «Только тогда добьется русский народ освобождения, когда поймет, что не у Толстого надо ему учиться добиваться лучшей жизни, а у того класса, значения которого не понимал Толстой и который единственно способен разрушить ненавистный Толстому старый мир, — у пролетариата». ⁴³

Статья Луначарского завершается фразой, близкой по смыслу ленинской: «Толстой и смертью своей служит русскому народу хорошую службу. Этот народ не пойдет туда и той дорогой, куда звал его он, но он революционным делом разрушит под руководством пролетариата то, что с таким дивным красноречием, с таким священным негодованием словом своим осуждал и отвергал Толстой». ⁴⁴

³⁷ Вперед, 1911, № 3, стлб. 20.

³⁸ Там же, стлб. 21.

³⁹ Там же, стлб. 20—21.

⁴⁰ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 23.

⁴¹ Вперед, 1911, № 3, стлб. 21.

⁴² Там же, стлб. 18.

⁴³ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 71.

⁴⁴ Вперед, 1911, № 3, стлб. 21—22.

Одна из первоочередных насущных задач социал-демократии, по словам Ленина, состояла в том, чтобы помочь народу разобраться в учении Толстого, и это необходимо «понять, чтобы идти вперед». ⁴⁵ Преодолевая фракционные разногласия, Луначарский-критик своими работами о Толстом активно включился в практическое решение такой задачи и в яркой публицистической форме на деле доказал глубокую закономерность ленинского вывода о том, что «правильная оценка Толстого... возможна только с точки зрения социал-демократического пролетариата». ⁴⁶

Рассматриваемые здесь материалы дают все основания утверждать: А. В. Луначарский принимал самое непосредственное живое участие в развернувшейся вокруг смерти Толстого политической борьбе. И, что принципиально важно, зачастую позиции его были созвучны или довольно близки к позициям и взглядам Ленина по данному вопросу. Этот факт следует выделить особо, сознавая, как все еще нередко однозначно-упрощенно, порой безоговорочно-негативно оценивается деятельность А. В. Луначарского (критические работы в том числе) «впередовского» периода.

А между тем, как видно из рассматриваемой стороны его творчества, в 1908—1911 годах наряду с несомненно вредными «богостроительскими ересями», ошибочными, узко фракционными «впередовскими» установками в эстетике Луначарского складываются и развиваются взгляды и принципы совсем иного характера. Поэтому в наши дни, исследуя отношение А. В. Луначарского к Л. Н. Толстому в целом, на всех этапах деятельности критика-марксиста, не учитывать этой сложности явлений никак нельзя, если, конечно, мы стремимся к объективной истине и непредвзятой оценке.

Учитывая значительный интерес статьи Луначарского «О Толстом», а также то обстоятельство, что с момента первой публикации в 1911 году работа эта ни разу не переиздавалась, помещаем полный текст ее.

О ТОЛСТОМ

Умер Толстой, и по лицу земли русской широкой волной прокатились разнообразные демонстрации. Кого чествовали? Художника, бесспорно великого по своему дарованию, всеми давно признанного? — Этого хотелось бы правительству, с этим и оно охотно примирилось бы. Ведь даже Николай Романов написал что-то невразумительное о литературных заслугах Толстого. ⁴⁷

⁴⁵ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 71.

⁴⁶ Там же, с. 22.

⁴⁷ 9 ноября 1910 года в печати опубликована была резолюция Николая II на

Но нет, эти тысячи, десятки тысяч телеграмм от различных представителей русского общества упорно выдвигали на первый план *мыслителя, проповедника, общественного деятеля*.

Разве Толстой бесспорен как проповедник? Разве сколько-нибудь заметное число последователей принимало его общественную программу, шло на деле за его отрицанием, осуществляло его идеал? — Конечно, нет. В чем же дело? Почему даже рабочие не прошли мимо гроба Толстого, отдав лишь дань уважения его таланту? ⁴⁸ Почему социал-демократическая фракция приветствовала *Толстого-борца* от имени русского и всемирного пролетариата? Почему рабочая нелегальная пресса посвятила Толстому передовые статьи? Почему вожди и массы западного рабочего движения так тепло отзывались о почившем? Почему русские рабочие такими компактными массами поддержали выражение глубокой общественной симпатии к яснополянскому мудрецу?

Все это потому, что Толстой, проклятый церковью, запрещенный цензурой, Толстой был величайшим критиком и отрицателем существующего не только русско-самодержавного, но и европейского либерально-капиталистического общества.

В *государстве*, всяком, хотя бы самом конституционном, Толстой видел организацию насилия и энергично, немолчно,

докладе министра внутренних дел о смерти Толстого; «Душевно сожалею о кончине великого писателя, воплотившего во времена расцвета своего дарования в творениях своих родные образы одной из славнейших годин русской жизни. Господь Бог да будет ему милостивым судьей» (Речь, 1910, 9 (22) ноября).

⁴⁸ В статье «Смерть Толстого и молодая Европа» Луначарский писал: «Конечно, пролетариат не может относиться равнодушно к несомненным эстетическим ценностям, в искусстве какого бы класса, времени и общества он не находил их. Но в многочисленных телеграммах русских рабочих говорилось не только и даже не столько о Толстом-художнике, как о Толстом — общественном деятеле. Таков же смысл телеграммы русской с.-д. фракции в Государственной думе» (Новая жизнь, 1911, № 2, стлб. 215). В телеграмме депутатов от фракции РСДРП в Государственной думе, направленной В. Г. Черткову, говорилось: «Социал-демократическая фракция Государственной думы, выражая чувства российского и всего международного пролетариата, глубоко скорбит об утрате гениального художника, непримиримого, непобежденного борца с официальной церковностью, врага произвола и порабощения, громко возвысившего свой голос против смертной казни, друга гонимых» (Речь, 1910, 8 (21) ноября).

недвусмысленно звал к разрушению всего государственного механизма. Кто-то писал: «Толстой не был революционером». ⁴⁹ Это, конечно, неправда: он был им! Он призывал, поскольку у него хватало голоса, ко всеобщей антигосударственной стачке, к отказу в платеже податей, в отбывании воинской, судебной и всяких других повинностей. Пролетариат может не соглашаться с *этой* тактикой, может считать невозможным какой бы то ни было реальный успех на *таком* пути, но революционная вражда к государству, революционное стремление опрокинуть его раз навсегда здесь вне всякого сомнения налицо.

Частная собственность, по мнению Толстого, главный источник эгоизма и всевозможных зол, обезображивающих лицо человеческое. Это она бросает миллионы людей в объятия нищеты, невежества, болезни, морального отупения, это она, с другой стороны, создает чванную, развратную, ленивую, роскошествующую толпу нарядных паразитов. В своей критике частной собственности Толстой ни на волос не ниже Руссо, Прудона и Генри Джорджа. ⁵⁰ Но переходя к положительному идеалу нового общества, Толстой рисовал его в экономически реакционном духе: это будет, по его мнению, мир безбедных мужиков, не считающих своей надел за собственность, а лишь за источник трудового пропитания, ведущих простой образ жизни, но богатых внутренним содержанием и любовью к собратьям-людям всего земного шара. С нашей точки зрения, это наивная утопия, но она легко отпадает, она никого не может прельстить, она слишком явно идет вразрез со всем духом нынешнего прогресса, зато *толстовская* критика остается могучим орудием разрушения собственности.

Толстой отрицал *мещанскую семью*. Он считал ее источником жестокого эгоизма, духовного порабощения, всяческой лжи и пошлости и с беспощадной правдивостью разоблачал пресловутую святость брака. Но опять-таки, он не смог найти решения поставленному им с такой силой огромному вопросу, он не разрешил, а разрубил его, он стал проповедовать на старости лет прямой отказ от любви и деторождения. Вывод нелепый, ни для кого не убедительный, поэтому безвредный. Зато как полезна суровая, саркастическая толстовская критика отвергаемого

⁴⁹ Очевидно, речь идет об анонимной брошюре «Граф Лев Николаевич Толстой и русская революция» (СПб., 1905), автор которой, грубо искажая взгляды Толстого, представлял его чуть ли не защитником существующего строя.

⁵⁰ Генри Джордж (1839—1897) — американский буржуазный экономист, проповедовавший единый прогрессивный налог на землю как средство ее национализации. Пропаганда Толстым решения земельного вопроса по Г. Джорджу отражала иллюзии мелкого крестьянства.

и нами душного мещанского домашнего очага.

Семья и собственность цепкими когтями впились в старого графа. Его ближние, как естественно в этой среде, представляли из себя грязное гнездо эксплуататоров; философ не мог не видеть этого, но муж, отец, человек неистощимой сердечной нежности был все же крепко привязан к этим ближайшим и по-своему любящим его человеческим существам. Много драм пережил старик, много укорозных сыпалось на его седую голову. И наконец, он рванулся, наконец, он и в личной своей жизни нанес решительный удар прямо в лицо семье и собственности. Он не только бросил свое дворянское гнездо со всеми его хищными птенцами, он распорядился своим единственным настоящим имуществом, тем, которое было плодом его мозга и его рук, таким образом, чтобы вырвать родовую землю у ее собственников и отдать ее крестьянам, а затем передать все несметное сокровище, созданное его гением, во владение всему человечеству.

Толстой отрицал существующую христианскую религию. Ничем не исцеляется те рубцы, которые проведены на теле наглой господствующей церкви бичем его сатиры. Он неподражаем, когда раскрывает колдовской, надувательский характер всяких трев и обрядов, когда показывает комизм всех этих формул и движений при ясном свете здравого смысла. В своей критике догматов православной церкви он буквально не оставил камня на камне во всем богословии. Наконец, он так громко и внушительно крикнул миру о пороках церкви, подслушивающей к сильным мира сего, опоре войн, казни, узаконенного грабежа, что после Толстого нет больше возможности для искреннего, честного человека оставаться еще в тумане и терпеть хоть какую-либо связь между собою и этой позорной церковью. Но Толстой на место опрокинутой им, полной суеверий и коварства религии хотел поставить другую. Он признавал христианство как простое моральное учение, он признавал бога как мировую душу, с которой может блаженно слиться человек путем отказа от своего эгоизма, путем высшей любви ко всему существу. Пролетариат справедливо может опасаться, что и такая религия способна подтачивать человеческую активность, единственное святое и полное надежд, что он знает в мире. Однако из-за ошибок учителя, которые с ним разделяют многие великие мудрецы, он не забудет, какие страшные удары нанес он одному из самых ненавистных врагов пролетариата — духовенству.

Духовенство, как и государство, прекрасно понимало, какого сильного врага имеют они в Толстом.

Синод попытался уничтожить авторитет великого писателя, предав его анафеме, но этим он сделал себя смешным в глазах образованного общества в Рос-

сии и за границей. Простонародье встретило выходку синода равнодушно, и весь результат свелся к нескольким ругательным письмам, посланным великану черносотенными хулиганами. На прямое насилие над всемирно знаменитым старцем правительство и синод не решились. Его гений очертил вокруг него как бы магический круг, за который не смела просунуть свою косматую хищную лапу никакая полицейски-поповская нечисть.

И когда беспощадный враг раззолоченных жрецов продажной церкви умирал в станционном домике среди снежной пустыни, синод пришел в ужас. Столыпин категорически приказал помириться с Толстым. Но как это сделать? Когда у власти был Победоносцев, он, ожидая смерти Толстого, предписал, чтобы в комнату умирающего непременно вошел священник и, выйдя оттуда, заявил, что закоренелый грешник раскаялся.⁵¹ И почему знать: благочестивая аристократическая семья Толстого могла пойти на такое соглашение. Разве жена его не заявила печатно, что, несмотря на проклятие синода, найдет за деньги какого-нибудь священника для отправления у трупа мужа осмеянных им колдовских трев?⁵² Но философ бежал незадолго до смерти и умирал на

⁵¹ В 1910 году в Лондоне вышла вторая часть биографии Л. Толстого под редакцией Э. Мода, в которой приводится такой факт: «Когда в 1901 году, в год отлучения Л. Н. Толстого от церкви, Л. Н. опасно заболел, Победоносцев тайно призвал к себе какого-то священника, дав ему поручение: как только граф умрет, священник должен был войти к нему в дом и, выйдя обратно, распространить, что Л. Н. Толстой перед смертью покаялся ему в своих грехах и причастился» (цит. по: Дни нашей скорби. Сборник статей и известий о последних днях Льва Николаевича Толстого. М., 1914, с. 133).

⁵² 26 февраля 1901 года С. А. Толстая в письме к митрополиту Антонию писала по поводу решения синода об отлучении от церкви Л. Толстого: «Не могу не упомянуть еще о горе, испытанном мною от той бессмыслицы, о которой я слышала раньше, а именно: о секретном распоряжении синода священникам не отпевать в церкви Льва Николаевича в случае его смерти. Кого же хотят наказывать? — умершего, не чувствующего уже ничего человека, или окружающих его, верующих и близких ему людей? Если это угроза, то кому и чему? Неужели для того, чтобы отпевать моего мужа и молиться за него в церкви, я не найду — или такого порядочного священника, который не побоится людей перед настоящим Богом любви, или не порядочного, которого я подкупию большими деньгами этой цели?» (Письмо графини С. А. Толстой к митрополиту Антонию. Ответ митрополита Антония. СПб., 1901, без нумерации страниц).

руках своих настоящих друзей. И вокруг домика, где великая душа прощалась с жизнью, все время, как коршуны, летали всякие епископы и старцы, готовые какой-нибудь хитростью, словно демоны в христианских легендах, похитить или хотя бы запятнать эту в самой смерти грозную душу «еретика».⁵³

Не удалось! Русское общество справилось по Толстом гражданские похороны, и мужики, расходясь из Ясной Поляны, говорили между собой: «Вот и без поща хоронили, а хорошо, всякому можно пожелать».

Каким образом пришел Толстой к своему оригинальному миросозерцанию? По происхождению и в значительной мере по психологии он был старым баринем, типичным представителем докапиталистической дворянско-мужицкой России. Слившись с нею, он не мог не отнестись с крайней ненавистью к наступавшему капиталу, не мог не усмотреть своими зоркими глазами художника всех безобразий навигавшейся новой городской и промышленной эпохи. Но если бы дело ограничилось этим, то из Толстого получился бы лишь упрямый консерватор, видящий одни достоинства в старине и одно зло во всем новом. Нельзя забывать, что Толстой развивался в такое время, когда и среди аристократии жил вольнолюбивый дух декабристов, когда лучшие из ее элементы были глубоко захвачены влиянием западноевропейской культуры. Эта аристократия уже дала и Радищева, и Пушкина, и Лермонтова, декабристов с Пестелем и Рылевым, и давала рядом с Толстым Герцена, Бакунина и др. Острая самокритика, беспощадное осуждение крепостных условий при свете учения Руссо и других западных апостолов справедливости были присущи Толстому так же, как Тургеневу, Герцену и другим великим его современникам. Это было самоотрицание дворянства в лице его обуржуазившихся выходцев во имя культурных идеалов, в котором сказывался факт несовместимости самодержавно-крепостного строя и потребностей здорового развития буржуазной культуры. Толстой глубже и мучительнее других переживал это идеологическое крушение старо-барского мира. Но он не пришел к замене его частью-буржуазными идеями и не смог также понять стремлений пролетариата, идущего к социализму. Постепенно в огне

напряженной критики он очистил для себя старую Россию, и она предстала перед ним как идеал чисто крестьянского «евангельского» общежития, в котором не будет места ни старым, ни новым формам хищничества и эксплуатации. Ему казалось, что мужицкий уклад жизни выдержал испытание огнем, в то время как барский элемент был испепелен им. Зато еще жесточе обрушилась его критика на новый городской уклад, и здесь уже, казалось ему, все разрушилось в зареве его бунтарской совести. А между тем как раз здесь-то нетронутым осталось чистое золото истинных культурных приобретений, залог грядущего социализма. Но для этих лучей глаза старого кающегося графа были слепы. Так и случилось, что сильный критикой и художественным гением великий моралист оказался утопистом в своем положительном учении.

Тем не менее, чья Толстого-борца, честного и мощного отрицателя всех устоев современного строя, передовые элементы русского общества были правы. Но мы говорим о действительно передовых элементах, а не о либералах.

Смешно и глупо чествование Толстого либералами, и вполне справедливо говорил в Государственной думе черносотенец Замысловский, бросая в лицо кадетам упрек:

«Разве вы не защитники государства, собственности, семьи? А разве Толстой не разрушитель, не отрицатель всего этого?»⁵⁴

Толстой шел настолько дальше либерализма, что чествование ими этого громадного анархиста заслуживает лишь усмешку.

Другое дело русское студенчество, лучшие элементы которого всегда были прекрасным барометром, отражавшим настроение новой России. Правда, студенты не сумели найти наилучшего исхода для того бурного протеста, того хорошего энтузиазма, который волновал их молодые груди в дни похорон Толстого: они взяли за наиболее всех объединяющий, за наиболее частный лозунг Толстого — его отрицание смертной казни. Здесь была сделана несознательная, быть может, попытка объединить под одним лозунгом возможно более широкие круги населе-

⁵³ В. И. Ленин в статье «Л. Н. Толстой» также возмущался тем, что «святейшие отцы... продавали особенно гнусную мерзость, подсылая попов к умирающему, чтобы надуть народ и сказать, что Толстой „раскался“» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 22). Свообразно развита эта тема в оставшемся совершенно неизвестным исследователям предисловии Луначарского к брошюре «Л. Н. Толстой в Астапове и царская власть», текст которого публикуется ниже.

⁵⁴ На «торжественно-траурном заседании Государственной думы 8 ноября 1910 года в ответ на предложение председателя думы А. И. Гучкова «почтить память его [Л. Толстого] вставанием» крайне правый депутат Г. Г. Замысловский возразил: «... Толстой отрицал за последнее время церковь, государство, семью, собственность, т. е. все те учреждения, которые Гос. дума должна поддерживать и охранять. Деятельность Толстого за последние годы была разрушительной, а наша деятельность должна быть созидательной...» (Речь, 1910, 9 (22) ноября).

ния. Не уступая этому требованию, ставшему чуть не всеобщим в России, правительство и думское большинство изолируют себя и скопляют над головой своей тучу всеобщей ненависти. Первая же уступка натиску общественного мнения означала бы собой робость реакционного лагеря. С этой точки зрения студенческая агитация могла бы сыграть известную роль. Отчасти к ней примкнули рабочие, не из согласия с либеральными лозунгами, а из желания поддержать после долгого периода общественной спячки всякое живое оппозиционное движение.⁵⁵ Точно таким образом рабочие поддержали студенческие беспорядки 1901 г.

Так над могилой человека, призывавшего к миру, произошли первые схватки проснувшейся передовой России с самодержавным Кащеем. Все заставляет думать, что это именно первая схватка. Гнусные насилия, совершенные царскими тюремщиками, вызвали новый взрыв активного негодования. В воздухе начинает пахнуть политической весной. Зима еще сильна, но солнце уже повернуло на лето.⁵⁶ Толстой и смертью своей служит русскому народу хорошую службу. Этот народ не пойдет туда и той дорогой, куда звал его он, но он революционным делом разрушит под руководством пролетариата то, что с таким дивным красноречием, с таким священным негодованием словом своим осуждал и отвергал Толстой.

Воинов.

В личной библиотеке И. А. Луначарской⁵⁷ хранится экземпляр брошюры «Л. Н. Толстой в Астапове и царская власть. Неопубликованные материалы секретной переписки Рязанского губернатора» (Рязань, 1929) с предисловием А. В. Луначарского и вступительной статьей И. И. Проходцева. Брошюра была издана Рязанским губоно и Обществом исследователей Рязанского края тиражом 500 экз. Предисловие Луначарского позже нигде не переиздавалось и не учтено ни в одном указателе литературы о Луначарском и Толстом.⁵⁸

⁵⁵ Луначарский имеет в виду студенческие и рабочие выступления в России осенью 1910 года, ставшие откликом на смерть Л. Толстого.

⁵⁶ О новом подъеме революционного движения в России в это время пишет В. И. Ленин в статье «Не начало ли поворота?» (*Ленин В. И. Полн. собр. соч.*, т. 20, с. 1—3).

⁵⁷ Выражаю глубокую благодарность И. А. Луначарской за представленную возможность ознакомиться с этой работой и опубликовать ее.

⁵⁸ В Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина хранится экземпляр, очевидно, другого варианта данной брошюры о Толстом, где И. И. Проходцев

Приводим полный текст предисловия Луначарского.

В настоящей брошюре печатается архивный материал, касающийся пребывания Л. Н. Толстого в Астапове в последние дни его жизни. Этот материал до сих пор нигде не опубликован. Он характерно анализирует отношение к Толстому светских и духовных властей.

Смерть мирового гения, бывшего при всей шаткости и раздвоенности своей революционной позиции открытым врагом государства и церкви, привела в величайшее замешательство всю клику мундированных и рясофорных вельможей. Мы знаем из описания самого бегства Толстого <...>, как суетились всякие шпики вдоль всего пути Толстого и как нервно перекликались по телеграфу и телефону всевозможные инстанции, следя за тем, куда же, в конце концов, затеется этот беспокойный человек, вдруг сорвавшийся с насиженного гнезда в Ясной Поляне. Документы характеризуют дальнейшую картину этой нелепой правительственной свистопляски. Особенно характерна в этом отношении переписка Рязанского губернатора Оболенского с начальником жандармского управления жел. дорог о немедленном отправлении больного Толстого в лечебное заведение или на постоянное местожительство. Вспокоились решительно все власти, начиная от директора департамента полиции наверху и исправника — внизу. Все они готовились быть во всеоружии на случай противоправительственных или противорелигиозных демонстраций. Припасены были отряды конной и пешей полиции, которые могли бы оказать отпор толпе. Рязанский губернатор предписывает исправнику г. Давкова возвращать всех едущих в Астапово при помощи стражников. В то же время губернатор через своего вице дает архиепископу совет не разрешать никаких молебствий о здравии Толстого. Архидиакон делает распоряжение, в котором заявляет, что было бы непристойно служить молебны за здравие богоотступника.

Материалы, несомненно, имеют значительный интерес для биографии Толстого и не пройдут незамеченными не только для поклонников Толстого, но и для того широчайшего круга читателей, которые интересуются им как многозначительным общественным явлением и ищут документов, ярко определяющих всю некультурность старого режима.

А. Луначарский.

выступает уже в качестве ее автора, а предисловие Луначарского вообще отсутствует. Именно второй вариант настоящего издания учтен (№ 920) в кн.: Библиография литературы о Л. Н. Толстом. 1917—1958. М., 1960, с. 129—130.

Л. В. Короткина

ПИСЬМА Н. К. РЕРИХА В. Я. БРЮСОВУ

Советской наукой в последние годы пристально изучается проблема взаимодействия литературного процесса с развитием изобразительного искусства. В этой связи представляют несомненный интерес два письма Рериха Брюсову, хранящихся в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина (ГБЛ, ф. 396, 100, 20).

Первое письмо относится к 1904 году, когда Брюсов приступил к изданию журнала «Весы» и пригласил Рериха сотрудничать в нем. Это не было случайностью: Рериха — художника, поэта, художественного критика — сближала с писателями и поэтами его многогранная деятельность, широкий круг волновавших его проблем.

Специальные исследования посвящены творческим взаимоотношениям Рериха с Горьким.¹ Но более всего художник был связан с поэтами — Блоком, Брюсовым, А. Белым.² Их объединяло многое, и прежде всего поиски духовного в искусстве, мечта о преобразовании мира красотой.³ В литературных кругах ценили знания Рериха в области восточного искусства, так как проблема взаимосвязи культур России и Востока находилась в центре внимания ученых и писателей рубежа веков. Когда А. Белый задумал издавать новый журнал, он предложил — в письме (недатированном) Э. К. Метнеру — ввести Рериха в состав художественного отдела: «Возможна по живописи статья Рериха — живопись Востока, восточный орнамент».⁴

Но особенно много сходного обнаруживается у Рериха с Брюсовым. Художника роднит с поэтом широта интересов, особенно в области истории, общие во многом художественные задачи. В исследованиях справедливо отмечается близость поэта и художника в понимании символики цвета, в выборе экспрессивных, напряженных цветовых сочетаний во имя большей выразительности и силы впечатления.⁵ В системе образов у поэта и художника также наблюдается много общего: герои восточных легенд, скифы, викинги — излюбленные персонажи как Брюсова, так и Рериха.

Совместная работа в журнале «Весы» и глубокая взаимная симпатия способствовали сближению поэта и художника. «Я хорошо знаю Рериха и очень его люблю»,⁶ — писал Брюсов Эмилю Верхарну 12 (25) февраля 1909 года.

Рерих работал в «Весах» в 1904—1905 годах. Вместе с ним для оформления журнала были приглашены художники Л. Бакст, К. Сомов, Н. Сапунов, М. Волошин, Н. Фефилактов, А. Якимченко. В двух номерах журнала за 1904 год Рерих поместил статьи, касающиеся вопросов современного искусства. Одна из этих статей посвящена художественным мастерским Талашкина — села в Смоленской губернии (мастерские были созданы кн. М. К. Тенишевой, художницей). Рерих говорит о большом общественном значении талашкинских мастерских, о необходимости приобщения народа к искусству, творчеству: «Крепкою основой ложится красота в жизни земли, освещает убогую жизнь деревни и передает живое зерно многим поколениям».⁷

В первом из публикуемых писем Рериха к Брюсову идет речь о другой статье, посвященной художественным выставкам. В статье «Выставки» Рерих пишет о высоком призвании художника, об ответственности его перед обществом.⁸

В 1905 году художник полностью оформил августовский номер журнала (№ 8),

дом. Возможно, что проектировавшийся тогда журнал — «Труды и дни» (редактор Э. К. Метнер), который выходил в 1912—1916 годах.

⁵ Соколова Н. И. Автор «Листов дневника». — В кн.: Н. К. Рерих. Жизнь и творчество. М., 1978, с. 32; Князева В. П. Рерих. Л.—М., 1963, с. 63—64; Полякова Е. И. Указ. соч., с. 135.

⁶ Лит. наследство, т. 85, 1976, с. 586.

⁷ Рерих Н. К. Записные листки художника. Талашкино. — Весы, 1904, № 9, с. 36—37.

⁸ Рерих Н. К. Записные листки художника. Выставки. — Весы, 1904, № 11, с. 40—42.

¹ Беликов П. Ф. Рерих и Горький. — В кн.: Труды по русской и славянской филологии, XIII. Горьковский сборник. Тарту, 1968, с. 251—265 (Учен. зап. Тартуск. ун-та, вып. 217).

² Полякова Е. И. Н. Рерих. М., 1973, с. 131—132. О встречах с Блоком вспоминал и сам художник (см. в кн.: Н. К. Рерих. Из литературного наследия. Листы дневника. Избр. статьи. Письма. Под ред. М. Т. Кузьминой. М., 1974, с. 105). Сохранилась дружеская записка А. Белого Рериху с обращением к нему на «ты» (ГТГ, ф. 44, д. 598).

³ Об этой стороне мировоззрения, общей для многих поэтов и художников начала XX века, говорится в целом ряде исследований: Кириченко Е. И. Москва на рубеже столетий. М., 1977, с. 70; Стернин Г. Ю. Художественная жизнь России на рубеже XIX—XX веков. М., 1970, с. 149; Сарабьянов Д. В. К определению стиля модерн. — В кн.: Советское искусствознание-78, вып. 2. М., 1979, с. 206—225.

⁴ ГБЛ, ф. 167, II, № 4. По содержанию письмо можно датировать 1909 го-

создав обложку «Царь», заставку «После грозы» и концовки. В этом же номере были помещены сказка Рериха на индийскую тему «Девассари Абунту», иллюстрации к ней⁹ и две иллюстрации к пьесе М. Метерлинка «Принцесса Мален» для готовившегося к изданию собрания сочинений писателя.¹⁰ Публикация в «Весах» сказки на индийскую тему знаменательна. Это было первое активное проявление интереса художника к индийской культуре, изучение которой займет в дальнейшем такое важное место в его творчестве.

Второе письмо написано в 1908 году и отражает другие события в жизни художника. Рерих готовил в это время к печати книгу своих статей по вопросам искусства, ранее печатавшихся в различных журналах, и сказки. Он обратился к Брюсову с просьбой написать предисловие к этой книге. Однако, по неизвестным причинам, издание осуществлено не было. Первый том произведений Рериха вышел в Москве в 1914 году, в издательстве И. Д. Сытина. Статьям было предпослано небольшое редакционное вступление.

1

Многоуважаемый Валерий Яковлевич. Если мой листок «Выставки» будет напечатан в «Весах», то нельзя ли мне получить корректуру. Кое-что хотелось бы в ней поправить и добавить. За Ваше содействие в этом буду очень благодарен. Искренне Вам преданный Н. Рерих.

23 сентября 1904. Морская, 38.¹¹

⁹ На основе иллюстраций к сказке «Девассари Абунту с птицами» и «Девассари Абунту превращается в камень» Рерих создал в 1906 году картины (*Эрнст С. Р. Рерих*. Пгр., 1918, с. 116). Местонахождение картин в настоящее время неизвестно.

¹⁰ *Метерлинка М.* Собр. соч. в 3-х т. Пер. Л. Вилькиной, рис. Н. К. Рериха, предисловие Н. Минского, З. Венгеровой и В. Розанова. СПб., Изд-во М. В. Пирожкова, 1906—1907.

¹¹ «Морская, 38» — ныне ул. Герцена, 38 — Ленинградское отделение Союза со-

2

Многоуважаемый Валерий Яковлевич. Очень жалею, что не удалось мне повидать Вас лично в Москве. Дело в том: помню я всегда Ваше хорошее отношение к моим вещам, бывшим в «Весах», и это дает мне возможность обратиться к Вам со следующей просьбой:

Будущей осенью «Шиповник» издает первую книгу моих статей и листовок. Это мое первое выступление литературное отдельною книгою. Мне очень хотелось бы, не введете ли Вы меня на эту дорогу вступлением Вашим. Вам не нужны мои «комплименты», но должен сказать, что «Огненный ангел» Ваш прямо потряс меня своею глубиною истинной проникновенности.¹² Согласитесь ли ввести в народ книгу мою? Могу ли на это надеяться? Адрес мой: Бологое. Князю Павлу Арсеньевичу Путятину¹³ для Рериха. Еще раз жалею, что не удалось лично Вас видеть. Искренне преданный Вам Н. Рерих.

5 июня 908.

ветских художников. До Великой Октябрьской социалистической революции в этом здании помещалось Общество поощрения художеств, и Рерих с 1901 по 1906 год занимал пост секретаря Общества, а с 1906 по 1917 год был директором художественной школы при нем. В письме Рерих называет Брюсову свой служебный адрес — в 1904 году он жил на Галерной, 44 (ныне Красная ул., 44).

¹² Роман Брюсова «Огненный ангел» впервые был опубликован в журнале «Весы» (1907, №№ 1—3, 5—12; №№ 2, 3, 5—8). В 1908 году «Скорпион» выпустил роман отдельным изданием.

¹³ Павел Арсеньевич Путятин — археолог. Рерих, занимавшийся с юных лет археологией, был членом Всероссийского Археологического общества и написал ряд книг о результатах производившихся им раскопок. Художник почти ежегодно проводил часть лета в Бологом у князя П. А. Путятина, с которым его связывали общие интересы и родственные узы (кн. Путятин приходился дядей жене художника Е. И. Рерих).

Э. И. Халипра

ОБ ОДНОЙ ГРУППЕ ГРОТЕСКНЫХ СЛОВ У МАЯКОВСКОГО

Гротескными, как известно, могут быть не только образ, сюжет, художественная ситуация, композиция, но и слово. В языке гротеска нет, он есть лишь в речи (в художественной и, реже, в обычной). Гротескное на уровне слова создают окказиональные слова и некоторые другие виды окказионализмов.¹

Среди сотен гротескных окказионализмов, созданных Маяковским, есть немногочисленная группа слов, связанная общностью словообразовательной модели — контаминацией. Как сделаны эти слова и каковы их значения? В чем гротескность этих окказионализмов? Как она соотносится с гротескностью художественного образа, сюжета, контекста? Попробуем выяснить это.

Начнем с наиболее интересного случая. В книге А. В. Калинина «Лексика русского языка» читаем: «В программах телевидения одно время можно было встретить слово *телендарь*, в газетах промелькнуло существительное *таистопляска*, у Горького отмечено словечко *хилософия*, поэтесса М. Цветаева сделала прилагательное *спортсмедный* («спортсмедный лоб»). Хорошо умел ловить случайные возможности для создания неологизмов... Маяковский. Юноша, „срывающий цветы удовольствия“, назван у него *молодым стрекозлом* («Это же слово *стрекозел* приводит как образец детского словотворчества К. И. Чуковский», — *примечание А. В. Калинина*); поэтов, сочиняющих унылые дидактические вирши, Маяковский окрестил *однаобразным пейзажем*».²

Заглянем в стихотворение Маяковского «Любовь» (1926): «То лезут к любой, // была бы с ногами. // Пять баб // переменит // в течение суток. // У нас, мол, // свобода, // а не моногамия. // Долой мечанство // и предрассудок! //

С цветка на цветок // молодым стрекозлом // Порхает, // летает // и мечется...»³ Персонаж сластолюбив, как козел: соединяется («поговорочный») образ козла («Пусти козла в огород») и мифологический образ сатира. И легкомыслен, беззаботен, как стрекоза (хрестоматийный басенный образ). Такое представление о персонаже и такие ассоциации вызывает слово *стрекозел*, помещенное в этот стихотворный контекст.

Что же такое *стрекозел* у Маяковского и как оно образовано? Допустимы два предположения. Первое: *стрекозел* — это шутовское название мужской особи, образованное от *стрекоза*. Ср. у Маяковского в стихотворении «Товарищу машинистке»: «— Ну, скажите, // как не злиться? . . // Мы, // в ком кроются шенья, // мы // для юмора — // козлицы // отпушенья» (т. 8, с. 92). Рядом с нейтральными языковыми *козой* и *козлом отпушенья* появляется экспрессивное речевое *козлицы отпушенья*. Здесь двойной источник экспрессии: окказиональное слово (образованное по аналогии с *орлица*, *ослица*) и окказиональный вариант фразеологизма.

Если *стрекозел* — это название самца, тогда оно только напоминает о *козле*: *козел* в нем только явственно прослушивается, это лукавая омонимия части слова с другим словом.⁴ И такой *стрекозел* не выходит из образа существа, беззаботно и бездумно порхающего с цветка на цветок. Второе предположение: *стрекозел* — название существа, совмещающего в себе признаки стрекозы и козла (гротескный образ).

В первом случае перед нами слово, созданное с помощью суффикса. Во втором — произведенное контаминацией, скрещением двух слов — *стрекоза* и *козел*. Именно так образованы *телендарь* (*телевидение* + *календарь*), *спортсмедный* (*спортсмен* + *медный*), *хилософия* (*хилая* +

¹ Об окказиональном слове, т. е. индивидуально-речевом новообразовании, см.: *Фельдман Н. И.* Окказиональные слова и лексикография. — Вопросы языковедения, 1957, № 4; *Халипра Э. Р.* Об окказиональном слове и окказиональном словообразовании. — В кн.: Развитие словообразования современного русского языка. М., 1966; *Лыков А. Г.* 1) Окказиональное слово как лексическая единица речи. — Филологические науки, 1971, № 5; 2) Можно ли окказиональное слово называть неологизмом? — Русский язык в школе, 1972, № 2. О видах окказионализмов см.: *Халипра Э. Р.* Окказиональные элементы в современной речи. — В кн.: Стилистические исследования. М., 1972.

² *Калинин А. В.* Лексика русского языка. М., 1971, с. 118.

³ *Маяковский Владимир.* Полн. собр. соч., т. 7. М., 1957, с. 146. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте.

⁴ В данном случае либо Маяковский шел в создании этого слова тем же путем, каким шли дети, либо прямо заимствовал это слово из детской речи. Впрочем, определенный свет проливает написанное Маяковским в 1923 году: «Сколько сатириков отшибла от смеха свора бывших классовых наставников, бия линейкой по лапам за невинное пускание бумажных „стрекозлов“ в бороду какому-нибудь зудителю закона божьего!» (т. 12, с. 53). Не исключено, что это слово взято Маяковским из школьного арго.

философия). Ср. детские слова *блистенький* (*блестящий+чистенький*), *волосетка* (*волосы+сетка*), *безумительно* (*безумно+изумительно*), *переводинки* (*переводные+картинки*), *жукашечка* (*жук+букашечка*) и т. д.⁵

Подобные слова называют и словами-слитками, и телескопическими, и гибридными словами. Единого термина еще нет.

Между гибридными словами, созданными контаминацией, существует функциональное различие: *философия*, *спортсмедный* и т. д. функционируют именно как словесные кентавры, как обозначение чего-то чудовищного, или загадочного, или одиозного, а *мелкоскоп*, *клеветон* и под. имитируют «народную этимологию», «объясняют» неизвестные персонажу слова, «раскрывают» их внутреннюю форму.⁶

Такие слова созданы по одной из моделей аббревиации.⁷ Модель, к сожалению, не описана ни в академических грамматиках, ни в опубликованных вузовских курсах. Возможно, это объясняется тем, что русских слов, созданных по этой модели аббревиации, нет в языке (существуют только в речи), либо есть, но в результате исторического процесса опроценения морфемного состава они уже не осознаются как возникающие путем словообразовательной контаминации.

Интересно отметить, что в отличие от обычных моделей аббревиации контаминационная аббревиация производит не только существительные, но и прилагательные, наречия, глаголы. Например, *спортсмедный*, детские *блистенький*, *безумительно*.

⁵ См.: *Чуковский К.* От двух до пяти. М., 1962, с. 43—45. Н. А. Янко-Триницкая пишет: «Широко повторяется окказионализм В. Маяковского *стрекозел* (*стрекоз(а)+козел → стрекозел*); от него даже образовано уменьшительное — *стрекозлик*» (*Янко-Триницкая Н. А.* Между-словное наложение. — В кн.: Развитие современного русского языка. 1972. М., 1975, с. 256).

⁶ О близости контаминации к «народной этимологии» см.: *Иордан И.* Романское языковедение. М., 1971, с. 257—259. На связь между «народной этимологией» и контаминацией указывали Г. Пауль, Э. Клейн, О. Ф. Эмерсон, К. Нироп и ряд других языковедов.

⁷ См. статью С. В. Воронина «Пограничные явления словообразования и фонетики» («Филологические науки», 1968, № 1). См. также: *Берман И. М.* О «вставочном» типе словообразования. — Вопросы языковедения, 1959, № 2; *Чаадаевская Е. И.* О «вставочном» словообразовании. — Там же, 1961, № 4; *Костюков В. М.* Гибридное слово как стилистическая единица. Автореф. канд. дис. Алма-Ата, 1967. Ср., однако, трактовку словообразовательной природы подобных лексических окказионализмов в упомянутой выше статье Н. А. Янко-Триницкой.

По-видимому, один из обязательных параметров этой модели аббревиации — частичное наложение морфем (когда какой-либо звуковой компонент в слове одновременно заключает в себе две разные морфемы, хотя бы одна из которых непременно представлена только своей частью: например, *спортсмедный*, где на усеченную морфему *смен-* накладывается морфема *мед-*).

Вернемся к *стрекозлу*. Как детское слово, оно не может иметь двух толкований. К. И. Чуковский пишет: «Было приятно узнавать от детей, что у лысого голова босиком, что от мятных лепешек во рту сквознячок, что муж стрекозы — *стрекозел*.⁸ Ребенок не может совместить стрекозу и козла. Он просто знает, что есть *коза* и есть *козел*, стало быть, рядом со *стрекозой* должен быть *стрекозел*.⁹ Значит, если у Маяковского *стрекозел* — гибридное слово, то отмеченное Чуковским детское *стрекозел* — омонимично этому слову. *Стрекозел* у Маяковского и «стрекозиный самец» (так скажут, мужской вариант басенной стрекозы) и «существо, совмещающее признаки стрекозы и козла». Два разных слова, представленные одним. Перед нами наложение омонимов.

Гротескный образ в стихотворении «Любовь» возникает с помощью гротеска в слове. Это в равной мере относится к слову *стрекозел* (стрекозиный самец), созданному по непродуктивной словообразовательной модели, и к омониму, образованному контаминацией. Гротескно, наконец, их наложение, совмещение в одном слове.

Стрекозел, образованное контаминацией слов *стрекоза* и *козел*, ассоциативно связано с *овцебыком*, *зубробизоном* (а в сознании нынешнего читателя, возможно, и с *козлотуром*). Слова, составляющие эту часть ассоциативного поля *стрекозла* (в другой находим козла из поговорки, сатира и басенную стрекозу), созданы иным видом словообразования, чем оно. К нему их притягивает смысловая близость: сема «гибрид». Но если эта сема у них отражает действительную гибридность действительных реалий, то у *стрекозла* она — отражение фантастической гибридности фантастической реалии. Сближение фантастического с реальным, фантастическое на фоне реального усиливает гротескность и сатиричность образа, созданного с помощью гротескного слова.

В стихотворении «Кому и на кой ляд целовальный обряд» читаем: «И пока // выпячивал губищи грязные, // с губищ // на образ // вползла бацилина — // заразная, // посидела малость // и заразмножалась» (т. 5, с. 221).

⁸ *Чуковский К.* От двух до пяти. Изд. 13-е, М., 1958, с. 11.

⁹ Действующий при этом механизм аналогии можно изобразить так: *коза* : *козел* = *стрекоза* : *x*; *x* = *стрекозел*.

Заразмножалась — префиксальное образование от *размножалась*, за- указывает на начало действия (ср. *завдвигалась*, *затдергалась*). Бациллина не просто размножает себя, Маяковский подчеркивает, что, размножая себя, она «тиражирует» заразу (*зараза + размножаться*). Стало быть, произведено наложение омонимов: образованного с помощью приставки потенциального слова *заразмножалась* и созданного контаминацией окказионального *заразмножалась*.¹⁰

В тексте под рисунком сказано: «Нельзя ли какова премьер-министра?! // С доставкой в яму // разбивно и на вынос?» (т. 3, с. 58).

Как хорошо известно, Маяковский отдал много сил делу, так сказать, социальной гигиены в нашем обществе: он воевал с «совбюрократами», перерожденцами, волкитчиками, взяточниками, «совмещанским партером», подхалимами, перестраховщиками. В «Бане» поэт заставляет двух бюрократов и перерожденцев «проговариваться» гротескными словами:

«П о б е д о н о с и к о в: А кого вы нам противопоставляете? Изобретателя? А что он изобрел? Тормоз Вестингауза он изобрел? Самопишущую ручку он выдумал? Трамвай без него ходит? Рациолярию он канцеляризировал? Р е ж и с с е р: Как? П о б е д о н о с и к о в: Я говорю, канцелярию он рационализировал? Нет! Тогда об чем толк? . . . И в а н И в а н о в и ч: Да, да! Сделайте нам красиво! В Большом театре нам постоянно делают красиво. Вы были на „Красном маке“? Ах, я был на „Красном маке“. Удивительно интересно! Везде с цветами порхают, поют, танцуют разные эльфы и . . . сифилиды. Р е ж и с с е р: Сифлиды, вы хотели сказать? И в а н И в а н о в и ч: Да, да, да! Это вы хорошо заметили — сифлиды. Надо открыть широкую кампанию. Да, да, да, летают разные эльфы. . . и цвельфы. . . Удивительно интересно!» (т. 11, с. 309, 310).

Рациолярия и *канцеляризировал* — окказиональные слова, но они образованы иначе, чем остальные (*сифилиды*, *цвельфы*). *Рациолярия* создано подобно аббревиатурам *эсминец*, *наркомат*: *рациональная* (или *рационализированная*) *канцелярия* → *рациолярия*. *Канцеляризировал* образовано соединением усеченной основы слова *канцелярия* с глагольным суффиксом слова *рационализировать*. Возникает ситуация гротескной избыточности: рационализируется уже рационализированная (рациональная) канцелярия.

Демагог Победоносиков делает вид, что он сторонник нового стиля работы канцелярий, перестройки их деятельности на рациональных началах. *Сифилиды* и *цвельфы* (*цветы + эльфы*) руководящего Ивана Ивановича с головой выдают его

эрудицию и художественные вкусы. Напомню, кстати, что *сильфиды* двузначны: в мифологии ряда европейских народов — это духи воздуха, а в зоологии — мертвоеды, жуки, питающиеся трупами. Любовь Ивана Ивановича к *сильфидам* как бы символизирует его любовь к тому, что Маяковский считал эстетической мертвечиной, «эстетическим старем» (т. 12, с. 117) и эстетическим гробокопательством. Иван Иванович и сам, по существу, мертв. Верно замечает В. Перцов: «. . . этот чиновник давно перестал быть человеком и превратился в звучащую, восклицательную и гроыхающую куклу».¹¹

В стихотворении «Зевс-опровержец» читаем: «Как вверх // из Везувия // в смердени и жжении // лава // извергается в грозе — // так же точно // огнедышащие опровержения // лавятся // на поля газет. // Опровергатель // всегда // подыщет повод. . .» (т. 9, с. 351). Человек, занимающийся опровержением, может быть назван *опроверженцем* (ср. *порученец*, *пораженец*) либо, как в самом стихотворении, *опровергателем* (ср. *хулитель*, *укротитель* и т. д.). Это потенциальные слова. Маяковский берет в заглавие *опровержец*. Как сделано это слово? Думаю, что оно возникло путем контаминации (*опровержение + громовец*) и означает «мечущий громовые опровержения и разящий ими, как молниями». Конечно, ни *Зевс-опроверженец*, ни *Зевс-опровергатель* не дали бы такого эффекта, как смыслового, так звукового и эмоционального. В этом случае Зевс имел бы «сниженный» эпитет, юмористически противопоставленный наиболее распространенному из «высоких» эпитетов, закрепленным за «непереносным», «подлинным» Зевсом античной традицией, т. е. мы получили бы Зевсасклочника, юмористический персонаж, а не сатирический образ. Для такого Зевса вряд ли было бы уместно вулканическое сравнение: Везувий, лава.

В современной семасиологии, как известно, различают предметную отнесенность (денотативное значение) названия и его смысл (смыслы). *Зевс*, *царь* и *отец богов и людей*, *громовец*, *верховное божество*, *сын Крона* — все эти названия имеют одну и ту же предметную отнесенность, но разные смыслы. В *опровержеце* содержится один из них, чего совсем нет в *опроверженце* и *опровергателе*.

В стихотворении «Наш паровоз, стрелой лети. . .» Маяковский говорит о волоките, о разбухающей ведомственной отчетности: «Несут гроссбух, // приличный том, // весом // почти // в двухэтажный дом. . . // Пыхтит вокзал, // как самовар на кухне: // — Эй, отчетность, гроссбухнем! // Волокитушка сама пойдет! // Понишем, // подишем, // гроссбухнем! . . .» (т. 7, с. 253—254).

О гроссбухнем В. В. Тренин заметил: «Здесь как бы накладываются друг на

¹⁰ О различии между потенциальным словом и окказиональным см. в указанных выше моих статьях.

¹¹ Перцов В. Маяковский. Жизнь и творчество (1925—1930). М., 1972, с. 277.

друга четыре плана: 1) „ухнем“ (по ассоциации с песней «Дубинушка»), 2) „бухнем“, 3) „разбухнем“, 4) собственно — „гроссбухнем“ (активизация значения «гроссбух»)¹². То, что В. В. Тренин называет «активизацией значения» *гроссбух*, есть образование отыменного окказионального глагола. Его внутренняя форма: «произвести, породить гроссбух» (ср. *грохнуть, капнуть, рыкнуть*, ср. у Маяковского: «Стенгазнул // первый — зажим тугой!» (т. 10, с. 39)). *Гроссбухнем* воспринимается читателем и слушателем и как контаминация: *гроссбух+бухнем* и *гроссбух+ухнем*. Здесь три омонима, вложенных друг в друга. *Разбухнем* притягивается к ним неполным звуковым тождеством и смысловой связью: разбухшая отчетность.

Гротескные слова и образы создавались Маяковским и в полемике на внутрилитературные темы. В конце 10-х и в самом начале 20-х годов на некоторых поэтических вечерах выбирали «короля поэтов». В поэме «Про это» читаем: «Глядит // в удивленьи небесная звезда — // затрубадурила Большая Медведица. // Зачем? // В королевы поэтов пролезть?» (т. 4, с. 177). В. В. Тренин писал об этом слове: «Маяковский сам подчеркивает каламбурное значение неологизма, ставя значок удара над „и“. Глагол, производный от целостного иноязычного слова, разлагывается на две (мнимых) составных части, комически снижающих основное значение»¹³.

Затрубадурила — это «затрубадурила, дурия» или «задурила, трубадурия». Слово воспринимается как результат контаминации *затрубадуричь* с *дуричь*¹⁴.

В стихотворении «Юбилейное» поэт говорит: «От зевоты // скулы // разворачивает аж! // Дорогойченко, // Герасимов, // Кириллов, // Родов — // какой // однаробразный пейзаж!» (т. 6, с. 52). В. Н. Фаворин назвал это «шуточной этимологией». Он писал: «... „однаробразный“ составлено по типу „однообразный“, но от „отдел народного образования“»¹⁵. Г. О. Винокур отнес *однаробразный* к «вывороченным» словам, таким, «как *лимардами* вм. *миллиардами*, по аналогии с *милон* — в знач. *миллон* в эпоху напа, *сорокнацать*. . .»¹⁶ При этом Г. О. Винокур по-

лагал, что эти слова «надо сопоставить» с «каламбурными соединениями» у Маяковского: «от *лип* сюда *влипают*», «чтоб природами хилыми не *сквернили скверы*», «мне сия *Силезия* влезла в *селезенки*», «на *Перу* *наперли* судьи», «пора эту *сволочь* *сволбчь*» и др.

Уже упоминалось о близости ряда гибридных слов к словам, созданным «народной этимологией», о гибридных словах, имитирующих ее. Среди рассмотренных в этой статье до сих пор слов тоже есть такие. Поэтому можно принять мысль В. Н. Фаворина о «шуточной этимологии»: «этимологизируется» *однообразный*. Оно оказывается в «родстве» с *наробразом*. Это «поэтическая этимология». Соотнося *однаробразный* с примерами «каламбурных соединений», приведенными Г. О. Винокуром, следует, видимо, учитывать, что среди «каламбурных соединений» есть не только случаи «поэтической этимологии» («на *Перу* *наперли* судьи», «*сквернили скверы*»), но и случаи воскрешения внутренней формы («от *лип* сюда *влипают*», «*сволочь* *сволбчь*»). Это во-первых. Во-вторых, среди этих примеров нет ни одного окказионального слова, а *однаробразный* — окказионализм. Наконец, что касается слов *лимардами*, *сорокнацать*, то их вряд ли можно сближать с *однаробразным* (*сорокнацать* явно не сложносокращенное слово, а в *лимарде* нет наложения).

Как сделано *однаробразный*? Часть слова *однообразный* (*одн-*) соединяется с основой *наробраз* (при этом *-н-* из сегмента первой основы накладывается на *-н-* начала второй основы), а затем после отрезка *-аро-* вновь следует наложение, которое заканчивается на *-з-*, далее следует суффикс и флексия слова *однообразный*. Это «вставочная» разновидность гибридных слов (когда одна из соединяемых основ полностью входит внутрь другой, ср. иные слова этой разновидности, образованные не с двумя наложениями, как *однаробразный*, а с одним: пушкинское *огончароан*, современное *кибергнетика*). Наверное, это имел в виду Г. О. Винокур, когда говорил о «вывернутости» (точнее, кажется, назвать это «разорванностью», «разъемностью», «раздвинутостью»). *Однаробразным* гротескно подчеркнуто прилежное школярство и школярная прилежность иных из «современников». Ср. в статье «Как делать стихи?»: «... 4000 строк Дорошина поражают однообразием 16 тысяч раз виденного словесного и рифменного пейзажа» (т. 12, с. 109).

Маяковский создал контаминацией и гротескные фамилии: *Декабряхов* и *Октябряхов* (в сценарии «Декабряхов и Октябряхов»). Эти слова интересны тем, что при их образовании контаминация сочеталась с суффиксацией (*декабрь+брюхо+ов*).

В стихотворении «Стиннес», которое вошло в «Маяковскую галерею», где были «выставлены» портреты зарубежных мра-

¹² Тренин В. В. В «мастерской стиха» Маяковского. М., 1937, с. 166.

¹³ Там же, с. 165.

¹⁴ Ср., однако, *раз-трубо-дураки* («На что жалуетесь?» — т. 10, с. 143), *трубодураки* (выступление на собрании читателей «Комсомольской правды» — т. 12, с. 415). Это окказиональные слова, но они созданы не контаминацией.

¹⁵ Фаворин В. Н. Заметки о языковом новаторстве Маяковского. — Известия Иркутского пединститута, 1937, вып. III, с. 110.

¹⁶ Винокур Г. О. Маяковский — новатор языка. М., 1943, с. 130.

кобесов и антисоветчиков, Маяковский писал: «На Стиннесе // все держится: // сила! // Это // даже // не громовержец — // громоверзила» (т. 5, с. 130). Можно предположить образование гротескного *громоверзила* контаминацией *громовержца* с *верзилой*. Тогда это слово заключает в себе образ вульгарного существа, превосходящего своими истребительными возможностями старого Зевса.

О ренегате Морисе Лапорте, бывшем некогда одним из основателей французского комсомола, Маяковский писал в «Стихотворении о проданной телятине»: «Комсомальчик // ручку // протягивает с опаской. // Чего задумался? // Хочется? // Кати // колбаской!» (т. 9, с. 374). *Комсомальчик* создано из *комсомол*+*мальчик*. В образе гротескно подчеркнут, выделен политический инфантилизм ренегата (ср. здесь же: «вас // укупили, // милый теленок», «ласковый теленок // двух маток сосет», «По карточке // сосуночек // первый сорт»). «Проданная телятина» — гротескный образ политического теленка, совращенного и купленного «золотым тельцом» (ср. образ «его препохабья» капитала в поэме «Владимир Ильич Ленин»: «золотого // до быка // dorosшего тельца» (т. 6, с. 253)).

Стихотворение «Монте-Карло» заканчивается так: «. . . на грандиозье Монте-Карло // поганенькие монтекарлики» (т. 10, с. 49). *Монтекарлики* — это монстры из Монте-Карло. В одном слове указание их духовной сути и территории обитания.

На этом закончу рассмотрение одной группы гротескных слов, связанных общностью словообразовательной модели. Маяковский, как мы видели, создавал эти гибридные гротескные слова как средство иронии, сатиры, полемики, агитации. Образовывал он их и в живом общении, в разговоре. Писатель И. Рахилло вспоминает, как поэт Джек Алтаузен сказал о лошадях на московских улицах: «Последние могики». Маяковский уточнил: «Могикини».¹⁷

¹⁷ См.: Рахилло И. Московские встречи. М., 1961, с. 20—21.

В стихотворении «Мелкая философия на глубоких местах» Маяковский писал о тогдашнем редакторе «Известий» Ю. М. Стеклове: «А у Стеклова // вода // не сходила с пера. . .» (т. 7, с. 18). В редакционном примечании к этой строке говорится: «Его (Стеклова. — Э. Х.) длинные статьи-передовицы Маяковский иронически называл „стекловицами“» (т. 7, с. 472). «Цитируя образчики стихов из „Перевала“, он их называл не образчиками, а „дикобразчиками“. Критика Роскина, одно время что-то делавшего в Наркомпроме, он перекрестил в Наркомпроскина».¹⁸

Н. Асеев вспоминает: «Маяковский называл. . . сторонников индустриализации без социализма — „индустрияловцами“».¹⁹ *Индустрияловцы* — это *индустриализация*+*устрияловцы* (единомышленники одного из идеологов сменовеховства — Н. В. Устрялова, мечтавшего о «тихой контрреволюции», о постепенном перерождении социалистического строя в нашей стране). На конференции МАПП 8 февраля 1930 года Маяковский говорил: «Коренная ошибка конструктивизма состоит в том, что он вместо индустриализма преподносит индустрияловщину, что он берет технику вне классовой установки» (т. 12, с. 408). *Индустрияловщина* = *индустриализм*+*устрияловщина* и означает «индустриализм по-устрияловски, индустриализм согласно устряловщине». Через тринадцать дней Маяковский сказал на общемосковском собрании читателей «Комсомольской правды», что конструктивисты не являются «индустриалистами, т. е. пролетариями, старающимися в порядке проведения пятилетнего плана, в порядке осуществления социализма расширить индустриализацию Советской страны, а они являются индустрияловцами, они хотят провести индустриализацию, как устряловцы. . .» (т. 12, с. 414).

¹⁸ Незнамов П. В. Маяковский в двадцатых годах. — В кн.: В. Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963, с. 375.

¹⁹ Асеев Н. Н. Собр. соч. в 5-ти т., т. 5. М., 1964, с. 388—389.

СТРАНИЦА ИЗ НАУЧНОЙ БИОГРАФИИ УЧЕНОГО

(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. Е. ЕВГЕНЬЕВА-МАКСИМОВА)

Выдающийся филолог советской эпохи В. Е. Евгеньев-Максимов (6 (18).IX.1883—I.I.1955) вошел в историю науки о литературе прежде всего как автор многочисленных капитальных трудов о Н. А. Некрасове. В 1908 году была опубликована написанная еще на студенческой скамье в Петербургском университете его работа «Литературные дебюты Н. А. Некрасова», и с тех пор биография и творчество великого русского поэта-демократа на всю жизнь становятся в центре научных интересов исследователя. Его многолетние разыскания получают завершение в монографии «Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова» (т. 1—3, 1947—1952) и итоговой книге «Творческий путь Н. А. Некрасова» (1953). В. Е. Евгеньев-Максимов заложил основы изучения поэтического, прозаического, драматургического и эпистолярного наследия Некрасова. Проницательное, любовное прочтение каждой оставленной им строки, широта социального фона, обилие документального и архивного материала, фактическая достоверность — все это придает трудам В. Е. Евгеньева-Максимова о Некрасове энциклопедический характер.

С той же тщательностью и на новой методологической основе были написаны книги и брошюры Евгеньева-Максимова о М. Е. Салтыкове-Щедрине, Н. Г. Чернышевском, Н. А. Добролюбове, И. А. Гончарове, Д. И. Писареве, В. Г. Короленко, Н. А. Полевом, многие из которых также явились первым свежим словом об этих писателях в советском литературоведении. Ему же принадлежат такие, например, работы обобщающего плана, как «Очерки по истории русской литературы 40-х—60-х годов. Натуральная школа» (1912) или один из первых учебников по русской литературе XX века «Очерк истории новейшей русской литературы» (1925).

Другая область научных занятий исследователя — история русской журналистики. В книгах «Очерки по истории социалистической журналистики в России XIX века» (1927), «Из прошлого русской журналистики» (1930) даются подробные систематические обзоры отечественной периодической печати за отдельные периоды XIX столетия. Роль Некрасова как энергичного и дальновидного редактора передовых демократических журнальных органов воссоздается в трудах «„Современник“ в 40—50 гг. От Белинского до Чернышевского» (1934), «„Современник“ при Чернышевском и Добролюбове» (1936), «Последние годы „Современника“. 1863—1866» (1939).

Большой вклад В. Е. Евгеньев-Ма-

ксимов внес в текстологическую подготовку и научное комментирование некрасовских произведений. Совместно с К. И. Чуковским он был организатором и редактором целого ряда изданий и первого Полного собрания сочинений Некрасова в 12-ти томах (1948—1953).

Начиная с 20-х годов исследовательская и научно-организаторская деятельность Евгеньева-Максимова была связана с крупнейшим научным центром страны — Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, старшим научным сотрудником и членом Ученого совета которого он становится после Великой Отечественной войны, в 1946 году. При активном участии В. Е. Евгеньева-Максимова были выпущены три некрасовских тома «Литературного наследия» (т. 49—50, 51—52, 53—54, 1946—1949); по его инициативе Пушкинским Домом в 1950 году было принято решение о проведении ежегодных Всесоюзных Некрасовских конференций, подводящих итоги и намечающих перспективы развития некрасоведения в научно-исследовательских учреждениях и высших учебных заведениях страны; на основе материалов этих конференций под редакцией Евгеньева-Максимова и др. с 1951 начали выходить «Некрасовские сборники».

Научную работу В. Е. Евгеньев-Максимов сочетал с интенсивной педагогической и пропагандистской деятельностью,¹ сначала в средних учебных заведениях Царского Села (ныне г. Пушкин) и Петербурга, дореволюционных народных университетах, а в советские годы в рабочем университете культуры, Домах просвещения, 221-й средней школе г. Ленинграда, которая, по словам автора некролога об В. Е. Евгеньеве-Максимове П. Н. Беркова, «служила центром новаторства в школьном преподавании литературы». С 1920 года В. Е. Евгеньев-Максимов состоял профессором Ленинградского университета. На его лекциях, в проводимых из года в год семинарах — студенческих в университете, аспирантских в Пушкинском Доме — было воспитано не одно поколение молодых исследователей, продолживших традиции своего учителя, самоотверженно отдававшего всего себя ученикам.

¹ Общий список книг, статей и брошюр В. Е. Евгеньева-Максимова содержит 361 название (кроме 49 изданий, вышедших под его редакцией). См. «Хронологический список» его работ, составленный М. М. Гином: Уч. зап. ЛГУ, № 229, вып. 30, 1957, с. 18—44.

Неустанным заботам В. Е. Евгеньева-Максимова во многом обязаны своим открытием и успешной работой Мемориальный музей-квартира Некрасова в Ленинграде (Литейный, 36) и музеи и памятные уголки в Карабихе, Грешневе, Абакумцеве, Чудове и других местах.

После этого общего слова, посвященного памятной дате — отмечавшемуся 18 сентября 1983 года столетнему юбилею ученого, — остановимся на одной из конкретных тем его исследований — взаимоотношениях Некрасова, круга «Современника» и Достоевского в публикациях и освещении В. Е. Евгеньева-Максимова.

В. Е. Евгеньев-Максимов был инициатором изучения взаимоотношений Некрасова с выдающимися деятелями литературы его времени. На основании собранного им и впервые введенного в сферу историко-литературного рассмотрения богатого материала ученый ставил перед собой задачу охарактеризовать личные, творческие и журнальные контакты Некрасова 40—70-х годов, определить общественно-психологические и идеологические истоки его сближений и расхождений. В одной из ранних, еще дореволюционных своих работ «Н. Некрасов и люди 40-х годов» («Голос минувшего», 1916, №№ 4, 5—6, 9, 10) В. Е. Евгеньев-Максимов писал: «Вопрос о взаимоотношениях Некрасова и людей 40-х годов принадлежит, как мне кажется, к вопросам, имеющим общий интерес. Не только для биографов, Некрасова ли, Тургенева ли или кого-либо из других представителей блестящей плеяды 40-х годов, но и для всякого, не безразлично относящегося к истории русской общественности читателя важно в нем разобраться, в частности дать себе отчет в тех причинах, которые заставили Некрасова в происшедшей в начале 60-х годов знаменательной расправе „отцов“, и „детей“ решительно стать на сторону последних, несмотря на то, что и по возрасту и по характеру личных отношений он скорее принадлежал к первым. Без серьезного и внимательного разъяснения этих причин самая расправа может быть истолковываема и представляема односторонне и тенденциозно...»² Поставленный вопрос решается в статье на основе выявления биографических предпосылок тяготения Некрасова к «органическому восприятию разночинцев», анализа отражения этих мотивов в его поэзии, а также публикации и комментирование писем к нему И. С. Тургенева и В. П. Боткина в период их дружбы и накануне размежевания между либеральным и революционно-демократическим крылом «Современника».

Влиянию на становление Некрасова «социальной среды», взаимодействию поэта с его «литературным окружением» посвящены и два более поздних итоговых труда В. Е. Евгеньева-Максимова: «Некрасов и его современники» (М., 1930) и «Некрасов в кругу современников» (Л., 1938). В первой книге повествуется о связях Некрасова с Ф. А. Кони, Белинским, Тургеневым, Чернышевским, Добролюбовым, Салтыковым-Щедриным, Елисеевым, Михайловским, во второй расскаывается об отношениях его с Л. Толстым, Герценом, Гончаровым и их спорах, о сотрудничестве и союзе его с Добролюбовым, Гл. Успенским, знакомствах в революционной среде, «последних адресатах» в дни предсмертной болезни. Работы эти знакомы как литературоведам, так и широкому читателю. Моментам общения Некрасова и его соратников по «Современнику» с Достоевским в них не уделено особого места. Однако тема эта также интересовала исследователя. Обратимся к этой менее известной странице его научных разысканий.

В архиве ГБЛ сохранилось письмо В. Е. Евгеньева-Максимова от 20 марта 1916 года к вдове покойного автора «Братьев Карамазовых», с аннотацией А. Г. Достоевской на обложке: «Максимов (псевдоним В. Евгеньев) Владислав Евгеньевич, писатель, педагог». Воспроизводим текст этого письма:

20 марта Петроград,
1916 г. Вас. Ост., 8-ая линия,
д. 59, кв. 12

Милостивая государыня
Анна Григорьевна,

не имея чести знать Вас лично, я тем не менее решаюсь обратиться к Вам с покорнейшей просьбой.

Она заключается в следующем.

Уже несколько лет работаю я над изучением жизни и творчества Н. А. Некрасова (книжки мои и статьи в толстых журналах, подписанные псевдонимом В. Евгеньев, вы, вероятно, видели). Мне было бы чрезвычайно интересно и важно выяснить историю его отношений с самым великим из его современников, каковым не я один, а все русское просвещенное общество считает Вашего покойного супруга Ф. М. Достоевского.

Помогите мне в этом деле, Анна Григорьевна. Быть может, у Вас сохранились личные воспоминания о Некрасове, или имеются его письма к Фед. Мих. Все это для меня представляет огромный интерес.

Был бы очень Вам обязан, если бы Вы разрешили мне лично побеседовать с Вами, для чего я охотно приеду в Сестрорецк в один из ближайших праздничных дней, когда Вам угодно будет принять меня. Если даже для Вас не окажется возможным помочь мне в моих работах о Некрасове, то я все-таки прошу Вас

² Голос минувшего, 1916, № 4, с. 113.

о разрешении посетить Вас, так как имею к Вам и другое дело. У меня находятся несколько неизданных писем Федора Михайловича, которые я хотел бы опубликовать, но не хочу этого делать, не показывая их предварительно Вам.

С почтением и преданностью

Владислав Евгеньевич
Максимов.³

Встреча молодого тогда Некрасоведа с А. Г. Достоевской состоялась. Об этом свидетельствует примечание к последовавшей в скором времени после нее публикации в газете «День» под названием «Эпизод из жизни Достоевского (По неизданным материалам)», в которой Евгеньев-Максимов выражал «глубокую признательность» А. Г. Достоевской «за разрешение... использовать для настоящей публикации» письма ее мужа.⁴

Воспроизведенный в статье «эпизод» не был непосредственно связан с Некрасовым, но касался Литературного фонда, в деятельности которого и Достоевский и Некрасов принимали самое активное участие с момента его основания (в ноябре 1859 года). Оба они были членами Комитета Литературного фонда, первый в течение трех сроков — со 2 февраля 1863 года по середину мая 1865 года, второй — в общей сложности семь лет, причем два года из них в пору описываемых событий.⁵ Благодаря заботам того и другого, их ходатайствам была оказана помощь многим попавшим в тиски бедности или пострадавшим из-за своей оппозиционности и имеющим заслуги перед отечественной культурой и литературой деятелям.⁶

В статье Евгеньева-Максимова были помещены письма Достоевского к председателю Комитета Общества Е. П. Ковалевскому от 20-го и 23 июля 1863 года, 9 мая и 6 июня 1865 года, в которых раскрывалось собственное крайне затруднительное материальное положение Достоевского в эти годы. Предварив сообщение об этих документах замечанием о «вековом разладе между прогрессивными стремлениями лучшей части нашего интеллигентного общества, из рядов которого преимущественно выдвигались

и выдвигаются представители пишущей братии, и охранительным настроением правящих сфер», а также сведениями о «непрочности и шаткости писательского бытия» с красноречивыми примерами из жизни талантливых писателей, в том числе и Достоевского, Евгеньев-Максимов подчеркнул тем большую значимость новых дополнительных свидетельств такого рода, что речь идет о биографии «одного из величайших не только русских, но и мировых писателей».

Публикуемые обращения Достоевского к Е. П. Ковалевскому содержали просьбы о денежных ссудах и о снятии звания члена Комитета Литфонда, по уставу которого он как член не имел права ими пользоваться. В пояснениях к письмам был охарактеризован пережитый Достоевским тяжелый период материальной необеспеченности, сначала вследствие внезапного запрещения начавшего было приносить доходы журнала «Время» (за «благонадежнейшую», но заподозренную в «крамоле» статью Н. Н. Стрхова о польском вопросе) и нужды в средствах для поездки за границу в целях отдыха от цензурных передряг и поправки и без того слабого здоровья, затем в связи с болезнью и смертью жены, смертью брата, банкротством «Эпохи» и необходимостью погашения долгов. На основании «Летописи общества»⁷ и полемического ответа Н. К. Михайловского В. П. Мещерскому⁸ в статье освещался инцидент, происшедший из-за промедления с выведением Достоевского из Комитета Литфонда, — выступление 17 апреля 1865 года одного из членов ревизионной комиссии (П. Л. Лаврова) о превышении Комитетом своей власти при решении вопроса о ссуде, особенно повторной, «лицу», входящему в его состав; общее собрание, однако, выразило большинством голосов «довере» Комитету.

Несмотря на этот инцидент, который Достоевскому, как сказано в публикации, «дался не легко», писатель и Общество выполнили по отношению друг к другу свои обязательства: ссуды были выданы Достоевскому трижды, в 1863 и 1864 годах и в 1865 году (уже после его выхода из членов Комитета), он же аккуратно вернул соответствующие суммы, первую ранее, другие две точно к указанному сроку. В гарантиях, им оговоренных, например о поступлении «в случае» смерти или неуплаты долга издания его сочинений в «вечное» владение Общества (в письме от 23 июля 1863 года), и в данных им точных сведениях о состоянии его творческой работы и планах на буду-

³ ГБЛ, ф. 93 П 6.52 (машинопись с подписанием-автографом и собственноручными поправками в тексте).

⁴ День, 1916, 10 апр., № 99.

⁵ См. «Список членов Комитета со времени основания общества» в кн.: Юбилейный сборник Литературного фонда. 1859—1909. СПб., 1909, с. 73—75.

⁶ См.: Заборова Р. Б. Ф. М. Достоевский и Литературный фонд (по архивным документам). — Русская литература, 1975, № 3, с. 158—170; Сажин В. Н. Братство писателей. Н. А. Некрасов в Литфонде. — Звезда, 1971, № 10, с. 187—191. О статье самого Евгеньева-Максимова на эту тему см. ниже.

⁷ См.: XXV лет. 1859—1884. Сборник Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. СПб., 1884, с. 50—54.

⁸ См.: Последние сочинения Н. К. Михайловского, т. II. СПб., 1905, с. 438—442.

щее (в письме от 6 июня 1865 года) проявилась, по словам В. Е. Евгеньева-Максимова, такая «высокая черта» личности Достоевского, как «крайняя щепетильность» в подобных вопросах, коренившаяся в «прямоте и честности его благородной натуры». Что касается Некрасова, то он как член Комитета Литфонда общался с Достоевским в 1864—1865 годах и, пройдя сам в юности школу «петербургских мытарств», безусловно, с полным пониманием и сочувствием отнесся к испытаниям, выпавшим на долю его брата.

Подтверждением этого служит следующая публикация Евгеньева-Максимова, специально посвященная деятельности Некрасова в Обществе для пособия нуждающимся литераторам и помещенная в первом «Некрасовском сборнике», подготовленном В. Е. Евгеньевым-Максимовым совместно с Н. К. Пиксановым сразу же после революции. В его статье «Н. А. Некрасов и „братья-писатели“ (По неизданным архивным материалам Литературного фонда)» наряду с другими документами и свидетельствами, говорящими об участии Некрасова в самом учреждении Фонда, о щедрых добровольных взносах его в кассу Общества, о ходатайствах и поручительствах его за многих «литературных пролетариев», приводится докладная записка его от 27 декабря 1865 года в Комитет по поводу обследования им положения семьи покойного М. М. Достоевского. Дав подробные сведения о возрасте, учебе и обстоятельствах жизни двух сыновей, и двух дочерей «вдовы журналиста» Э. Ф. Достоевской, Некрасов сделал вывод о необходимости назначения ей «временного пенсионера — на два или на три года — в размере от 180 до 300 руб. сер. в год», до того как она сможет «получать поддержку» от своих детей. «Нужно ли говорить, — заключает Евгеньев-Максимов, — что ходатайство Достоевской, поддержанное Некрасовым, было удовлетворено Комитетом (журнал заседания 27-го декабря)?»⁹

В статье также рассказывается об участии Некрасова и Достоевского в организации лекционных и художественно-литературных чтений в пользу Общества и фигурируют данные, извлеченные из «бумаг Фонда» и не учтенные даже в более поздней летописи «Жизни и трудов Ф. М. Достоевского» Л. П. Гроссмана (Л., 1935).¹⁰ Речь идет о заседании 7 декабря 1864 года, где после сообщения обоих писателей о согласии драматурга Н. А. Чаева и артиста П. В. Васильева уча-

ствовать в таком чтении было решено просить Достоевского и Некрасова «представить свои предложения для чтения и принять на себя его устройство».¹¹

В этом же сборнике Евгеньев-Максимов положил начало систематическому изданию переписки Некрасова, подготовив к печати его письма к Ф. А. Кони, И. А. Панаеву, Г. В. Дружинину, И. А. Кушечскому, А. М. Скабичевскому и письма к нему И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Д. В. Григоровича и Гаврилы Яковлева. В редакционной преамбуле ко второй группе писем подчеркивалось значение «для постижения духовной сущности того или иного деятеля, в особенности литературного» не только его собственного эпистолярного наследия, но и переписки с ним его корреспондентов. Необходимо также отметить, что опубликованные в сборнике письма Достоевского к Некрасову и Плещеву 1874—1875 годов, периода публикации в «Отечественных записках» романа Достоевского «Подросток», входили в состав некрасовского, так называемого «петербургского архива», перешедшего от сестры поэта А. А. Буткевич к А. Ф. Кони, который в конце 1910-х годов передал Евгеньеву-Максимову некоторые имеющиеся у него материалы, главным образом большую часть писем, адресованных Некрасову. Позднее, в 1938 году, это собрание автографов, частично пополнившее самим ученым (всего 283 письма, а также договоры Некрасова с А. А. Краевским — рукою Некрасова и Салтыкова-Щедрина — и говорарные ведомости «Отечественных записок» 1871 года), было сдано Евгеньевым-Максимовым в рукописное отделение Института русской литературы.

На основании этого собрания под руководством В. Е. Евгеньева-Максимова была начата в 1939 году работа над подготовкой к печати обширной подборки писем к Некрасову его корреспондентов. Однако в период Отечественной войны рукопись подготовленной публикации значительно пострадала. После окончания войны над ней вновь была продолжена работа, и в 51—52-м томе «Литературного наследия» (т. II. М., 1949) было издано 415 писем 146 корреспондентов. Активное участие принимал Евгеньев-Максимов и в издании писем самого поэта, в том числе и писем его к Достоевскому: в 1930 году под его редакцией и с его вступительной статьей письма Некрасова были впервые объединены в отдельном томе (т. V шеститомного собрания сочинений Некрасова этих лет); в 1949 году в упомянутом выше II томе некрасовского «Литературного наследия» ряд ученых, в том числе и Евгеньев-Максимов, пополнили прежде, изданное им собрание писем Некра-

⁹ Некрасовский сборник. Пгр., 1918, с. 78—79.

¹⁰ В «Летописи жизни и творчества Н. А. Некрасова», составленной Н. С. Ашукиным (М.—Л., 1935), этот факт приведен со ссылкой на разыскания В. Е. Евгеньева-Максимова (см. с. 301—302).

¹¹ Некрасовский сборник. Пгр., 1918, с. 57.

сова (700 писем к 114 адресатам) новыми, ранее неизвестными письмами (726 писем к 38 разным лицам); и, наконец, в 1952 году в 11-м и 12-м томах двенадцатитомного издания собрания сочинений Некрасова под общей редакцией В. Е. Евгеньева-Максимова и К. И. Чуковского выходят все известные к этому времени письма Некрасова, тексты которых вновь проверены и комментарии к которым обновлены.

В 1928 году в одной из своих ранних монографических работ «Некрасов как человек, журналист и поэт» Евгеньев-Максимов останавливается на проницательных суждениях Достоевского о личности Некрасова. Замкнутый и сдержанный с людьми, ему недостаточно близкими, Некрасов, по словам Достоевского, преобразался среди тех, кому доверял, с кем был откровенен. «Об одной такой беседе-излиянии, относящейся к половине 40-х годов, — отмечал Евгеньев-Максимов, — рассказал в своем „Дневнике писателя“ (1877 г., № 12) Ф. М. Достоевский. Утверждая, что Некрасов обрисовался тогда перед ним „самой существенной и самой затаенной стороной своего духа“, Достоевский пишет: „Он говорил мне со слезами о своем детстве, о безобразной жизни, которая измучила его в родительском доме, о своей матери. . . и та сила умиления, с которой он вспоминал о ней, рождала и тогда предчувствие, что если будет что-нибудь святое в его жизни, но такое, что могло бы спасти его, и послужить ему маяком, путевой звездой даже в самые темные и роковые мгновения судьбы его, то уж, конечно, лишь одно это первоначальное детское впечатление детских слез, детских рыданий вместе, обнявшись где-нибудь украдкой, чтобы не выдался (как рассказывал он мне) с мученицею матерью, с существом, столь любившим его“ (см. указ. кн., с. 34).

В этой же книге Евгеньев-Максимов останавливается на фактах соприкосновения с Достоевским Некрасова как журнального деятеля: на публикации в «Петербургском сборнике» «шедевра» Достоевского «Бедные люди» и на отклонении им «Села Степанчикова», причем последнюю «ошибку» Некрасова исследователь объясняет переходным характером произведений Достоевского этой поры, перед созданием другого его «шедевра» — «Записок из Мертвого дома» (см. там же, с. 86 и 176).

Характеризуя Некрасова как поэта, Евгеньев-Максимов особо выделяет «петербургские песни» Некрасова, сближая его в этом плане с Достоевским и цитируя глубокое замечание В. Брюсова, назвавшего Некрасова и Достоевского «первыми у нас поэтами города, не побоявшимися и сумевшими обратиться в художественные создания то, что предшествующему поколению романтиков казалось „непоэтичным“» (там же, с. 255). Эта же мысль развивается и конкретизируется

в более поздней книге Евгеньева-Максимова «Некрасов и Петербург» (Л., 1947, с. 146).

В своем труде «Некрасов и его современники» (М., 1930) Евгеньев-Максимов в главе о Белинском, присоединяясь к П. Ф. Якубовичу и К. И. Чуковскому в вопросе о прототипе образа Крота в поэме «Несчастные», допуская мысль о том, что Некрасов мог «думать» о ссыльном авторе «Бедных людей», вместе с тем доказывает, что основные черты образа Крота и его портрета восходят к умирающему Белинскому (см. с. 96—98).

В статье «Все еще неразысканная повесть Н. А. Некрасова „Как я велик!“» найденный отрывок из этого, скорее всего незавершенного, памфлета рассматривается Евгеньевым-Максимовым как свидетельство не частной вражды, а внутреннего идеологического расхождения Некрасова уже в первой половине 50-х годов как с Достоевским, так и с дворянскими либералами (см.: Вестник Ленингр. ун-та, 1949, № 8, с. 63—74).

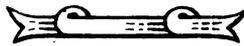
Эволюция взаимоотношений Некрасова и Достоевского получает конкретное отражение в трудах В. Е. Евгеньева-Максимова «„Современник“ в 40—50 гг.» (Л., 1934) и «Последние годы „Современника“. 1863—1866» (Л., 1939); причем констатируются моменты как взаимного тяготения писателей, так и их отталкиваний, тоже объясняемых идеологическими причинами. В первой книге на основании переписки Достоевского с братом освещаются обстоятельства перехода «Современника» в руки Н. А. Некрасова и И. И. Панаева (с. 34—35), история задуманного Белинским и распавшегося альманаха «Левифан», часть материалов которого перешли в «Современник» (с. 45), отмечаются факты публикаций ранних произведений Достоевского в некрасовских изданиях (кроме «Бедных людей», рассказов «Роман в девяти письмах» и «Ползунков», а также коллективного — Достоевского, Григоровича и Некрасова — фарса «Как опасно предаваться честолюбивым снам») и в то же время констатируется наличие уже в эту раннюю пору выпадов на страницах «Современника» «Нового поэта» (И. И. Панаева) против Достоевского (см. например, с. 154—155).

В книге о «Последних годах „Современника“» рассматривается история журнальной борьбы «Современника» и журналов братьев Достоевских «Время» и «Эпоха» с привлечением эпистолярного материала. Так, например, приводится письмо Некрасова к Достоевскому от 3 ноября 1862 года, в котором поэт искренне объясняет свой отказ прислать в ближайший номер «Времени» свои стихотворения оскорбившими его «службами» об отступничестве его в период ареста Чернышевского и приостановки журнала от прежних мнений и сотрудников. Когда же «Современник» вновь

начал выходить, Некрасов считал для себя возможным поместить в № 1 «Времени» за 1863 год отрывок из своей поэмы «Мороз, Красный нос» «Смерть Прокла» (см. указ. кн., с. 33 и 277). История полемики «Современника» и журналов «Время» и «Эпоха», с одной стороны, и «Русского слова», с другой, воспроизведена Евгеньевым-Максимовым со всеми ее многочисленными деталями (см. там же, с. 276—310 и др.). Картина эта может быть дополнена подробными комментариями Г. Тизенгаузена к статьям сыгравшего немаловажную роль в этой полемике М. А. Антоновича «О почве», «Стрижам», «К какой литературе при-

надлежат стрижи, к петербургской или московской», помещенных в книге М. А. Антоновича «Избранные статьи. Философия, критика, полемика» (Л., 1938), которая была подготовлена и отредактирована В. Е. Евгеньевым-Максимовым при участии Г. Ф. Тизенгаузена и Д. Е. Максимова.

Таким образом, в трудах В. Е. Евгеньева-Максимова были расставлены как бы первые важнейшие вехи в изучении темы «Достоевский и Некрасов», которая позднее станет предметом исследования ряда современных литературоведов (В. А. Туниманова, М. М. Гина и других).



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Э. Ковальски, А. Хирше (ГДР)

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ ПО РУССКОЙ И РУССКОЙ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В ГДР (1970—1980-е ГОДЫ)

Достижения науки об истории русской, а также русской советской литературы в ГДР, обнаружившиеся в 70-е годы и служащие предметом рассмотрения в данной статье,¹ не были случайными. Они основывались на предпосылках, созданных в течение десятилетий. Первые шаги славистики ГДР сделаны молодой интеллигенцией, получившей образование в условиях социализма; они относятся к 50-м годам. В 1956 году был создан специальный печатный орган — журнал «Zeitschrift für Slawistik», а еще раньше, с 1951 года, стали выходить в свет исследования серии «Публикации Института славистики Академии наук ГДР»; на смену им в 70-е годы пришло новое серийное издание «Славистические исследования и тексты». Молодые слависты ГДР, те из них, что посвятили себя изучению русской литературы, первоначально работали в четырех основных направлениях: восприятие русской и советской литературы в Германии от истоков до наших дней, немецко-русские и немецко-советские литературные и культурные связи; разработка основных научных трудов и учебного материала для высшей школы; участие в издании произведений русской и советской литературы; борьба с фальсификацией русской и советской литературы в ФРГ.

Первая и последняя задачи явились отражением особой ситуации в стране. С одной стороны, Германия, по крайней мере, с конца XVIII века имела с Россией самые тесные культурные и литературные связи; с другой стороны, идеологам капиталистического — прежде всего фашистского — государства временами удавалось изгладить этот факт в народном сознании. Славистика взяла на себя партийную задачу — возродить в памяти людей забытые или намеренно

затушеванные культурные и исторические события, чтобы не только преодолеть ложь с помощью неоспоримых фактов, но и продемонстрировать со всей очевидностью, что начавшие развиваться братские отношения в духе пролетарского интернационализма имеют надежный исторический фундамент. Слависты ГДР исполнили долг интернационалистов. Так, например, им удалось впервые в полном объеме разработать проблему взаимосвязей русских писателей-просветителей с Германией; здесь прежде всего следует назвать работы Х. Грасхоффа и У. Лемана о Кантемире, Ломоносове и Карамзине. Пять сборников статей о русской литературе XVIII века,² изданные Х. Грасхоффом и У. Леманом, заметно подняли престиж славистики ГДР. Из множества монографий о восприятии русской и советской литературы в Германии мы назовем книги о Пушкине (Г. Рааб),³ Тургеневе (Г. Цигенгайст),⁴ исследования М. Вегнера и Х. Шмидта о роли русской классики в немецком рабочем движении (1900—1933);⁵ работы Э. Вайса «Иоганнес Р. Бехер и развитие советской литературы» и Г. Дювель «Фридрих Вольф и Всеволод Вишневский».⁶ В известной мере наивысшим итогом достижением в этом направлении явилось создание совместного немецко-

² Studien zur Geschichte der russischen Literatur des 18. Jahrhunderts. Berlin, 1963 (1), 1968 (2, 3), 1970 (4); Humanistische Traditionen der russischen Aufklärung. Berlin, 1973, 1974; Grasshoff H. Russische Literatur in Deutschland im Zeitalter der Aufklärung. Berlin, 1973.

³ Raab H. Die Lyrik Puškins in Deutschland. Berlin, 1964.

⁴ I. S. Turgenew und Deutschland. Hrsg. von G. Ziegengeist. Berlin, 1965.

⁵ Wegner M. Deutsche Arbeiterbewegung und russische Klassik. 1900—1918. Berlin, 1971; Schmidt H. Deutsche Arbeiterbewegung und russische Klassik. 1917—1933. Berlin, 1973.

⁶ Weiss E. Johannes R. Becher und die sowjetische Literaturentwicklung (1917—1933). Berlin, 1971; Düwel G. Friedrich Wolf und Wsewolod Wischnewski. Berlin, 1974.

¹ Точная библиографическая информация о всех научных публикациях по русской и советской литературе в ГДР содержится в кн.: Pohrt H. Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik. (1. Teil) 1946—1967, Berlin, 1968; (2. Teil) 1968—1972, Berlin, 1974; (3. Teil) 1973—1977, Berlin, 1979; (4. Teil) 1978—1982, erscheint Berlin, 1983.

советского сборника «Встреча и союз», изданного Г. Цигенгайстом.⁷ К важнейшим основополагающим трудам этого периода отнесем прежде всего первую немецкую марксистскую «Историю русской классической литературы» (1965),⁸ изданную В. Дювелем, Э. Дикманом, Г. Дудеком, Х. Грасхоффом, Г. Раабом, М. Вегнером и Г. Цигенгайстом, а также первый краткий очерк истории русской советской литературы (1970)⁹ Г. Юнгера, В. Байца, Б. Хиллер, Ф. Мирау и Г. Шаумана.

* * *

Политика СЕПГ, оказавшая в течение десятилетий многостороннюю поддержку славистике ГДР, обусловила появление на рубеже 60—70-х годов работ, позволяющих говорить о новом этапе в развитии нашей науки. Ее подъем несомненно связан с провозглашенными на VIII съезде СЕПГ в 1971 году принципами усиленной ориентации на интернационализм, экономическую интеграцию и дальнейшее сближение социалистических государств. Новый этап отмечен как качественными, так и количественными факторами. Сильно возросший численный потенциал славистической науки уже позволял создать несколько научных центров и заметно расширить круг решаемых задач. Важнейшие исследовательские коллективы сложились при Университете им. К. Маркса в Лейпциге (под руководством В. Байца), Университете им. Гумбольдта в Берлине (руководитель Г. Юнгер), Университете им. Шиллера в Йене (под руководством М. Вейгера и Т. Шаумана), Центральном Институте истории литературы Академии наук ГДР (коллектив этот возглавляют Г. Цигенгайт, Х. Грасхофф, Э. Ковальски и А. Хирше). Во всех других университетах и педагогических институтах также существуют небольшие коллективы, исследующие русскую и советскую литературу.

Новое качество работы состояло в первую очередь в том, что в поле зрения ученых оказалась русская литература от истоков и до современности, в том числе те исторические периоды, которые прежде мало привлекали внимание, например древнерусская литература¹⁰ или лите-

ратура начала XX столетия; все большшему количеству писателей посвящались отдельные монографии; все более значительное место стали занимать работы о поэзии и драматургии. Появились новые теоретические аспекты в прежде преобладавшем сравнительном литературоведении — стилистический, приемственный (традиции и повторство), коммуникативно-функциональный, стали изучаться связи литературы с культурной революцией, долгое время в центре внимания находилась концепция человека; наконец, большое внимание привлекали проблемы научно-технической революции и соотношения литературы и природы. Русская литература изучалась основательно в ее историческом развитии, и хотя сопоставление с другими литературами не являлось первостепенной задачей, продолжались попытки рассматривать ее в контексте мировой литературы. Новым был и теоретический аспект в изучении русской и советской литературы. Важно отметить, что в 70-е годы началось изучение советской литературы как многонационального явления.

Новый этап изучения русской литературы сопровождался изданием собраний сочинений многих писателей. Произведения некоторых из них издавались еще в 50-е и 60-е годы (Пушкин, Гоголь, Тургенев, Некрасов, Достоевский, Толстой, Чехов, Горький, Федин и др.); в большинстве случаев эти издания были заново просмотрены, в частности с точки зрения верности перевода, сильно расширены и, что следует особо подчеркнуть, снабжены подробными научными комментариями. Этой работе посвятили себя многие известные слависты из университетов, Академии наук и различных издательств. Приведем несколько примеров. Ученый из Ростка Г. Рааб, ныне покойный, работал над собранием сочинений Пушкина в 6-ти томах (1956—1973) — наиболее полным из существующих на немецком языке; М. Вегнер из Йены курирует с 1977 года шеститомное собрание сочинений Гоголя; К. Дорнахер (Магдебург) осуществил выпуск в свет десяти томного Тургенева (1968—1979); Э. Дикман (Берлин) и Г. Дудек (Лейпциг) подготовили самое богатое на сегодняшний день немецкое собрание сочинений Л. Н. Толстого в 20-ти томах (1964—1978). Значительным событием стало и появление первого немецкого двухтомника Некрасова (1965), первое представление немецкому читателю «Поэзии и прозы декабристов» (2 тома, 1975), подготовленной Г. Дудеком. В 1980 году началось рассчитанное на 20 томов издание собрания сочинений Достоевского (М. Вегнер, Г. Дудек), а также многотомного

⁷ Begegnung und Bündnis. Sowjetische und deutsche Literatur. Historische und theoretische Aspekte ihrer Beziehungen. Hrsg. von G. Ziegengeist. Berlin, 1972.

⁸ Geschichte der klassischen russischen Literatur. Hrsg. von W. Düwel (Leitung und Redaktion), E. Dieckmann, G. Dudek, H. Grasshoff, H. Raab, M. Wegner, G. Ziegengeist. Berlin, 1965.

⁹ Russische sowjetische Literatur im Überblick. Autoren: H. Jünger (Leitung), W. Beitz, B. Hiller, F. Mierau, G. Schumann. Leipzig, 1970.

¹⁰ Заслуживает внимания издание р евнерусских текстов: О Bojan, du

Nachtigall der alten Zeit. 7 Jahrderte altrussischer Literatur. Hrsg. von H. Grasshoff, K. Müller u. G. Sturm. Berlin, 1965.

собрания произведений Гончарова (К. Штеттке). Были предприняты издания сочинений Горького (23 тома, 1965—1979; Е. Козинг и Э. Мирова-Флорин), Маяковского (5 томов, 1966—1969; Л. Коссут), Шолохова (9 томов, 1955—1965) и Фадеева (4 тома, 1970—1973; В. Байц), Шукшина (4 тома, 1978—1981; Л. Дебюсер). Еще не завершены издания произведений Леонова (начато в 1966 году), А. Толстого (начато в 1975 году), редактируемое Н. Тун; Эренбурга (начато в 1976 году) под редакцией Р. Шредера и некоторые другие. Безусловно, эти имена и цифры не дают полного представления о публикуемой в ГДР русской и советской литературе. Это лишь некоторые примеры наиболее обширных изданий, появившихся в последние десятилетия.

Новый этап в научно-исследовательской работе был отмечен появлением большого коллективного труда — двухтомной «Истории русской советской литературы» 1917—1967 годов (1973—1975),¹¹ изданной под руководством Г. Юнгера, В. Байца, Б. Хиллер, Г. Шаумана; а также книгой «Многонациональная советская литература. Культурная революция. Концепция человека. Мировое значение. 1917—1972» (1975)¹² под редакцией Г. Цигенгайста, Э. Ковальски и А. Хирше.

«История русской советской литературы», концепция которой в значительной мере базируется на основных положениях советского аналогичного издания (М., 1967—1971, т. 1—4), как в обзорных, так и в монографических главах, посвященных отдельным писателям, дает представление о достижениях русской литературы в советскую эпоху и вместе с тем включает в себя специальную главу о многонациональной советской литературе, принадлежащую перу Г. Ломидзе. Этот труд создавался в контакте с советскими исследователями, принимавшими участие в обсуждении проспекта и отдельных разделов. В этом издании дана подробная картина восприятия и влияния советской литературы в Германии в 1917—1945 годы и затем в ГДР в 1945—1972 годы и хроника немецко-советских литературных взаимосвязей 1919—1972 годов. Заслуживают упоминания также главы о научной фантастике и о литературе для детей и юношества. «История» выдержала испытание и как учебник для высшей школы.

Книга «Многонациональная советская литература» является теоретическим исследованием, которое акцентирует вни-

мание читателя на основных исторических вехах в разработке образа человека в советской литературе. Здесь предпринимаются попытки — пусть не всегда удачные — показать значение советской литературы для мирового литературного процесса XX века. Литературный герой предстает как некое диалектическое единство желаемого и действительного, реального содержания и общественного идеала и противопоставляется антигуманистическим тенденциям изображения человека в буржуазном модернизме. Во всей своей значимости демонстрируется творческая роль рабочего класса в развитии литературного процесса в целом; произведения писателей, так же как и их публицистические выступления, рассматриваются в качестве важного фактора мирового коммунистического движения.

Первой исторической вехой являются 20-е годы, которые характеризуются как период борьбы за социалистическую народную литературу и сохранение культурного наследия прошлого. Вторая веха, приходящаяся на 30-е годы, отмечена торжеством метода социалистического реализма и стремлением к утверждению гуманизма в реальном мире. Третий этап, охватывающий время от 1945 года до сегодняшнего дня, знаменуется углублением гуманизма в новых общественных условиях, а также разнообразием и богатством многонациональной литературы.

С книгой о многонациональной советской литературе тесно связан по содержанию сборник «Защита человечества» (1975),¹³ изданный Э. Ковальски, в котором приняли участие известные ученые всех социалистических стран Европы. В нем с точки зрения диалектики национального и интернационального рассматривается отражение антифашистской борьбы и построения социалистического общества в многонациональной советской литературе и в литературах европейских социалистических стран. Особая роль советской литературы, повлиявшей на творчество прогрессивных писателей мира, представлена прежде всего в связи с разработкой в ней нового художественного метода, с ее богатейшим революционным опытом, с заслугами Советского Союза в разгроме фашизма. Здесь показана мобилизующая, формирующая самосознание роль темы Великой Отечественной войны в советской литературе, использование традиций русской классической и советской литературы в разработке этой темы.

Благодаря исследованию узловых общественно-эстетических моментов, становятся более явными те успехи и дости-

¹¹ Geschichte der russischen Sowjetliteratur, Bd 1 (1917—1941). Berlin, 1973; Bd 2 (1941—1967). Berlin, 1975.

¹² Multinationale Sowjetliteratur. Kulturrevolution. Menschenbild. Weltliterarische Leistung. 1917—1972. Hrsg. von G. Ziegenggeist, E. Kowalski und A. Hiersche. Berlin, 1975.

¹³ Verteidigung der Menschheit. Antifaschistischer Kampf und Aufbau der sozialistischen Gesellschaft in der multinationalen Sowjetliteratur und in Literaturen europäischer sozialistischer Länder. Hrsg. von E. Kowalski. Berlin, 1975.

жения многонациональной советской литературы, которые особенно важны с идеологической и эстетической точек зрения для развития социалистического сознания у трудящихся ГДР, для обогащения духовной жизни нашего народа, удовлетворения его эстетических потребностей, для его воспитания в духе социалистического патриотизма и пролетарского интернационализма, в особенности для углубления дружбы с Советским Союзом. Коллективную монографию отличает сединение литературоведческих докладов с писательскими интервью.

Интернациональная роль и мировое значение советской литературы показаны через антифашистскую борьбу и победу над фашизмом. В центре исследования находятся связи и взаимодействия социалистической национальной литературы с мировым революционным и литературным процессом, рассмотренные с теоретической и исторической точек зрения. На примере развития социалистической литературы прослеживаются тенденции литературного развития в странах социализма с учетом общих закономерностей и национальной специфики.

В том же году под руководством центра по изучению литературы Академии наук ГДР в содружестве со славистами других научных учреждений, а также ученых-филологов из братских социалистических стран был выпущен очередной номер журнала «Zeitschrift für Slavistik» (1975, № 2), который был целиком посвящен 30-летию победы над фашизмом.

Серия крупных трудов, появившихся в середине 70-х годов, была завершена двумя изданиями справочного характера. Это «Словарь советской литературы. 1917—1972» (1975, Н. Людвиг)¹⁴ и «Советская детская литература. Статьи и обзоры» (1974, Н. Людвиг и В. Бусевитц)¹⁵. «Словарь», подготовленный коллективом славистов ГДР и сотрудниками Института мировой литературы им. А. М. Горького, содержит наряду с обзорными главами по истории советской литературы, статьи о некоторых писателях русского и других народов Советского Союза. Особую ценность этим статьям придает анализ важнейших произведений этих писателей, фактическая насыщенность.

Книга о детской литературе, особо важная в условиях ГДР, безусловно приобретает и международное значение. В систематической последовательности здесь даны монографические главы о традициях советской детской литературы, о ее истории и темах — таких, как гражданская война, Великая Отечественная

война, современная жизнь. Отдельные главы посвящены приключенческой литературе, истории о животных, научной фантастике, лирике и драматургии для детей. Книга завершается биографиями крупнейших советских детских писателей — от А. Алексина и А. Барто до Чуковского и Ю. Яковлева.

* * *

Наряду с рассмотренными коллективными трудами, посвященными обширным темам, в 70-е годы появилось большое количество монографий по отдельным проблемам, авторами которых были: К. Штедтке, К. Каспер, Ф. Мирау, Р. Опци, Н. Тун, Е. Хекельшнайдер, А. Хирше.

С обстоятельностью изучает русскую литературу XIX века Клаус Штедтке. В исследовании «Развитие русской повести (1800—1825)»¹⁶ впервые на немецком языке он дал завершенную картину состояния русской повести к началу XIX века. Ученый внес важный вклад в историю русской повести, которая еще будет написана, и вместе с тем высказал ряд интересных мыслей о теории жанра. Разрабатывая проблематику преемственности и новаторства в русской повести изучаемого периода (1800—1825), автор прослеживает и историю зарождения жанра, начиная с XVII века. Рассмотрение типов повествования в литературе второй половины XVIII века — сатирической, «восточной», сентиментальной повестей — важная предпосылка сравнительного изучения различных направлений в развитии русской прозы.

В 1973 году в том же издательстве вышла другая книга К. Штедтке — «К вопросу о русском реализме XIX века. Соотношение образа и этической структуры». Автор рассматривает позицию писателей в классовой борьбе за интересы и идеалы народа, критику ими буржуазного строя в Европе и России как предпосылки того выдающегося положения, которое было занято русским реализмом конца XIX века в мировой литературе. Штедтке характеризует эпоху «ста лет великой литературы» в России словами Генриха Манна как «русскую революцию до революции».

Автор рассматривает свое исследование как вклад в изучение национальных взаимоотношений искусства и действительности и в самопонимание мирового значения русского реализма. Пользуясь термином «реализм», он не следует де-

¹⁴ Handbuch der Sowjetliteratur (1917—1972). Hrsg. von N. Ludwig. Leipzig, 1975.

¹⁵ Sowjetische Kinderliteratur. In Überblick und Einzeldarstellungen. Hrsg. von N. Ludwig und W. Bussewitz. Berlin, 1974.

¹⁶ Städtke K. 1) Die Entwicklung der russischen Erzählung (1800—1825). Berlin, 1971; 2) Studien zum russischen Realismus des 19. Jahrhunderts. Zum Verhältnis von Weltbild und epischer Struktur. Berlin, 1973; 3) Ästhetisches Denken in Russland. Kultursituation und Literaturkritik. Berlin, 1978.

дуктивным схемам, но приближается к утвержденному Брехтом принципу, гласящему, что произведения следует оценивать в той степени, насколько в каждом конкретном случае они близки к действительности, а не к некоему образцу.

Третья монография Штедтке «Эстетическая мысль в России. Тип культуры и литературная критика» (Берлин, 1978) рассказывает о русской литературной критике, которая в ГДР еще мало изучена, и освещает ее значение для развития европейской эстетики. Штедтке рассматривает литературную критику как важное самостоятельное звено в формировании общественного сознания. Критика взаимосвязана с литературой, историей, философией. В первых трех главах описывается появление профессиональной литературной критики в России. Центр тяжести исследования приходится на главы, посвященные революционно-демократической критике, и на очерк о Г. Плеханове («Возникновение марксистской критики в России»).

Книга К. Каспера (Лейпциг) «Многонациональный советский рассказ» (1978)¹⁷ относится к немногочисленным исследованиям истории жанра в области советской литературы. Обычно внимание ученых привлекал роман, Касперу же принадлежит заслуга обращения к малым прозаическим формам. Значительное место занимает изучение русского советского рассказа. Анализ текстов сопровождается критическим осмыслением современных дискуссий о значении и возможностях малых эпических форм. Каспер доказывает зыбкость жанровой иерархии, на самой высокой ступени которой находится якобы роман-эпопея, и убедительно демонстрирует, как рассказ открывает необычное в обычном, оказывается способным отразить исторические события, поднимает общечеловеческие вопросы. Он включает в свой обзор и некоторые повести, что, с одной стороны, повышает ценность книги в отношении ее содержательности и информативности, но, с другой стороны, представляет собой известную непоследовательность, так как повесть обладает несколькими иными художественными особенностями по сравнению с рассказом.

Изучению темы Великой Отечественной войны посвятила свою монографию «Война и литература. Исследование советской прозы с 1941 года до современности» (1977) Н. Тун. (Берлин).¹⁸ Автор не претендует на исчерпывающую разработку заявленной темы, как это делали советские ученые А. Бочаров, Л. Плоткин, П. Топер, но ограничивается четырьмя проблемами: Лев Толстой и его

значение для литературы о войне, роль документа в искусстве рассказа, изображение отношений личности и общества (гуманистическая проблематика) и, наконец, соотношение современности и истории (историко-философская проблематика). Ясно выделяются различные этапы, которые пройдены советской литературой в художественном усвоении подобного материала. Н. Тун обращает внимание на то, что существует много внутренних связей между названными этапами, а определенные достижения, иногда расцениваемые как заслуга только одной «волны» литературы о войне, на самом деле были осуществляемы или, по крайней мере, подготовлены в предыдущие периоды. Автор стремится включить советскую литературу в мировой литературный контекст, привлечь к сравнительному анализу произведения других национальных литератур в том или ином аспекте — теоретическом либо историко-литературном. Так, здесь анализируются произведения Э. Хемингуэя, А. Зегерс, Т. Манна, А. Андерша, Н. Мейлер, И. Масуи, Хр. Вольфа, М. Лалича.

Сходной проблематикой занимаются также преподаватели секции славистики Дрезденского педагогического института, выступившие с брошюрой в двух частях «Человек и война в советской литературе» (Дрезден, 1981—1982). Уже само название, намечающее границы этой темы, ориентирует на разработку центральных проблем многонациональной советской литературы. Авторы указывают на тенденцию взаимопроникновения военной и современной тематики в произведениях наших дней, использования эпизодов из повседневной военной жизни героев для решения актуальных ситуаций.

Предметом книги А. Хирше (Берлин) «Советская литература и научно-техническая революция» (1976, 1977)¹⁹ являются актуальные проблемы развития советской современной литературы всех жанров. Начиная с дискуссии «физиков и лириков» конца 50-х годов, когда впервые всерьез была определена связь НТР и литературы, эта проблематика прослеживается в лирике, в так называемых «производственных драмах», в прозаических произведениях. Автор не ограничивается только произведениями «об НТР» и придерживается концепции, согласно которой сегодня любое литературное творчество в той или иной степени связано с эпохальными процессами НТР. Так, например, среди других вопросов в этом аспекте изучается изображение отношений человека и природы, диалектика национального и интернационального, ставится также вопрос о возможностях художественной литературы, учитывая развитие средств информации. Ав-

¹⁷ Kasper K. Multinationale sowjetische Erzählung. 1945—1975. Berlin, 1978.

¹⁸ Thun N. Krieg und Literatur. Studien zur sowjetischen Prosa von 1941 bis zur Gegenwart. Berlin, 1977.

¹⁹ Hiersche A. Sowjetliteratur und wissenschaftlich-technische Revolution. Berlin, 1976; 2. Aufl., 1977.

тор выдвигает тезис: возросшая власть человека над природой и обществом породила или порождает новое качество отношений человека к миру при социализме. При дальнейшем увеличении этой власти ее разумное использование на всей земле становится насущным вопросом социалистического общества и литературы. Литература, наконец, свидетельствует о том, в какой степени человек при социализме становится не объектом, но субъектом НТР.

Борьба с буржуазной фальсификацией русской и советской литературы становится с конца 50-х годов одной из первоочередных задач славистов ГДР. В 60-е годы вышли два сборника: «„Остфоршунг“ и славистика» (1960) и «Наука на распутье» (1964). Хотя позднее открытая полемика несколько отступила на задний план и позитивные научные очерки истории русской советской литературы являлись основной точкой приложения усилий исследователей, тем не менее, как показывают две публикации 70-х годов, насущная необходимость непосредственной дискуссии продолжает сохраняться. Мы имеем в виду работы Е. Хексельшнайдера (Лейпциг) «Торговля мифами. К интерпретации советской литературы в ФРГ» (1975)²⁰ и Е. Хексельшнайдера и В. Борщукова (Москва) «Советская литература с буржуазной точки зрения. Критика критики» (1980).²¹

Совместная работа Хексельшнайдера и Борщукова базируется на анализе широких научных и публицистических материалов ФРГ, США, Великобритании, Франции и других стран в 70-е годы. Для исследования выбирались преимущественно те проблемы, которые особенно привлекают внимание буржуазных ученых, а также, вне зависимости от этого, проблемы, важные для развития литературы в Советском Союзе. Тем самым демонстрировались достижения советской литературы, игнорирование которых свидетельствует о явном отставании буржуазной науки. Авторы рассматривают три направления западной антисоветской критики: интерпретация собственно литературы, политика КПСС в области литературы, а также оценка социалистического реализма как художественного метода. Что касается собственно литературы, то здесь заметна концентрация внимания на 20-х годах, на изображении Великой Отечественной войны и проблеме многонациональной советской литературы. В качестве примера фальсификации творчества советских писателей приводятся оценки произведений Михаила

Шолохова, которые вызывают особенно явные политические, хотя и приукрашенные литературоведческими терминами нападки противников. Оба автора не обделяют вниманием как марксистскую, так и буржуазно-гуманистическую объективную критику и науку в ФРГ.

В монографии «Первое десятилетие. Литература и культурная революция в Советском Союзе» (Берлин, 1973)²² Ньотой Тун впервые за пределами Советского Союза был дан подробный анализ советской литературы, политики Коммунистической партии в области культуры и искусства — преимущественно в 20—30-е годы, которые объявлены исследовательницей «одной из особенно впечатляющих литературных эпох» истории. В центре внимания находится интерпретация ленинского учения о культуре и культурная политика КПСС. Поднимаются четыре проблемы: революция и культура, советская власть и искусство масс, революционные предпосылки и первые шаги нового реализма, литературный процесс и литературная политика. Н. Тун удалось убедительно доказать, что уже в первое десятилетие после 1917 года были созданы как реальные художественные, так и программные теоретические основы, которые сохраняют свою ценность в интернациональной социалистической литературе на сегодняшний день (создание искусства и литературы, действительно связанных с массами; воплощение принципа партийности, создание нового социалистического героя).

Фриц Мирау посвятил свои работы вопросам теории литературы и эстетики. К ним относятся появившееся в издании Академии наук ГДР в 1972 году исследование «Революция и лирика» — о развитии лирической поэзии в Советском Союзе 20—30-х годов, а также работа о Третьякове: «Открытие и корректура».²³

Ф. Мирау считает Третьякова активным теоретиком социалистической литературы и эстетики. Лирическая поэзия, театр, кино, проза выступают в системе взглядов Третьякова как открытия новой реальности, а также новых художественных средств и методов. Рассматривая диалектику прошлого и настоящего у Третьякова, автор одновременно выступает против его позиции отрицания наследия прошлого. По мнению Мирау, эстетические принципы Третьякова базируются на активном, оперативном искусстве, которое предполагает единство содержания, формы и функции. Такое понимание

²⁰ *Hexelschneider E.* Ausverkauf eines Mythos. Interpretation sowjetischer Literatur in der BRD. Berlin, 1975.

²¹ *Hexelschneider E., Borschtschukow W.* Sowjetliteratur in bürgerlicher Sicht. Kritik der Kritik. Berlin, 1980.

²² *Thun N.* Das erste Jahrzehnt. Literatur und Kulturrevolution in der Sowjetunion. Berlin, 1973.

²³ *Mierau F.* 1) Revolution und Lyrik. Berlin, 1972; 2) Erfindung und Korrektur. Die operative Ästhetik Sergej Tretjakows. Berlin, 1976.

проблемы отношений искусства и действительности имеет большую ценность и для социалистического немецкого искусства и эстетики (Брехт, Беньямин, Бехер, Хартфильд, Вольф и Айслер).

В книге «Концепты. К изданию советской литературы» (серия «Reclam») собраны работы Ф. Мирау, в основном предисловия и послесловия к изданным в ГДР с 1968 по 1978 год произведениям советских авторов.²⁴ Наряду с «Записками о традициях» в этом сборнике содержатся статьи о проблеме гуманизма у Леонида Андреева, о поэтике Александра Блока и Исаака Бабеля. В сообщении «Революционный плакат» изучаются взаимоотношения реальной действительности и литературы на примере поэзии, связанной с плакатом в первые послереволюционные годы. Заметка «Читать Маяковского. К 85-летию юбилею» полемически направлена против упрощенного понимания творчества поэта. Этюд «Накануне: 1913 и 1940» посвящен Анне Ахматовой. Он содержит анализ творческой истории «Поэмы без героя». Краткая «Записка об Осипе Мандельштаме» и объемистая статья «Законы славы. Литературная эволюция у Юрия Тынянова», а также исследование «Федор Гладков и Сергей Третьяков» завершают это собрание.

К работам, концентрирующим внимание на крупном писателе, на формировании его творческих принципов, относится монография Роланда Опица «Леонид Леонов. Философия и композиция» (Берлин, 1975).²⁵ В солидной монографии, базирующейся среди других исследований и на трудах В. А. Ковалева, Опиц показывает мастерство композиции у Леонова, которое в качестве мыслительного процесса может быть сравнено с логарифмированием и интегрированием реальных процессов, вести к известному диалектическому единству философской ориентации и архитектоники. Опиц выделяет три философски и композиционно связанных между собой типа. Первый тип автор видит в социальной или социальности и философски мотивированной антагонистической структуре, базирующейся на противостоянии двух фигур или групп (демонстрируется на драмах «Обыкновенный человек» и «Золотая карета»). Со вторым типом (драма «Унтиловск», повесть «Саранча», роман «Барсуки» и киноповесть «Бегство мистера Мак Кинли») связана проблема развития личности. Третий тип (романы «Скутаревский» и «Дорога на океан») выявляет непосредственное тяготение центрального персонажа к будущему, предстоящему как процесс. Автор этой монографии обращает также внимание на новые проблемы

марксистско-ленинской науки о литературе.

Первую монографию об Алексее Толстом на немецком языке написал Гарри Юнгер.²⁶ В центре внимания автора находится проблематика воздействия изменяющихся общественных условий на мировоззрение и творчество писателя. Автор исследует развитие советского искусства повествования и анализирует обновление жанра романа. Советский роман-эпопея, одним из мастеров которого является А. Толстой, показывает исследователь, отличается глубоким историзмом и неразрывной связью между литературным героем и историческим процессом. Творческая эволюция А. Толстого-художника может служить примером пути многих гуманистических писателей XX века к социализму.

В своей книге «Обновление традиции Фауста в творчестве Горького»²⁷ Ральф Шредер исследует на обширном фоне мировой литературы новый подход Максима Горького в «Климе Самгине» к проблематике Фауст—Карамазов. Многогранная переоценка традиции Фауста в «Климе Самгине» дает возможность (во второй части исследования) принять композиционную модель Фауста Гете в качестве исходного пункта при изучении истории русского историко-философского романа XIX—XX веков.

Изучение творчества Михаила Шолохова является особой заслуживающей сотрудничества лейпцигского университета им. К. Маркса. Материалы международного симпозиума «Творчество и роль Шолохова в мировом литературном процессе»,²⁸ состоявшегося в Лейпциге 10—13 декабря 1975 года, были опубликованы в 1977 году. Их выпуском русисты успешно продолжили работу первого шолоховского симпозиума 1965 года. Целью этих симпозиумов было, во-первых, стремление глубже связать творчество Шолохова с общественными вопросами и движениями нашей эпохи и, во-вторых, определение места его творчества в современном мировом контексте. В целом можно сказать, что сборник Второго лейпцигского шолоховского симпозиума послужил делу развития плодотворных научных тенденций, которые выявились на конференциях, посвященных Шолохову в Москве и Ленинграде в 1975 году, и тем самым по достоинству оценили творчество классика социалистического реализма в его мировом значении.

Труды и монографии, о которых шла речь выше, конечно, далеко не отражают

²⁶ Jünger H. Alexej Tolstoj. Erkenntnis und Gestaltung. Berlin, 1969.

²⁷ Schröder R. Gorkis Erneuerung der Fausttradition. Faustmodelle im russischen geschichtsphilosophischen Roman. Berlin, 1971.

²⁸ Werk und Wirkung M. Scholochows im weltliterarischen Prozess. Leipzig, 1977.

²⁴ Mierau F. Konzepte. Zur Herausgabe sowjetischer Literatur. Leipzig, 1979.

²⁵ Opitz R. Leonid Leonow. Philosophie und Komposition. Berlin, 1975.

всех научных достижений славистов ГДР в изучении русской и советской литературы. Наиболее яркое свидетельство многогранной деятельности в этом направлении — научные журналы, которые невозможно подробно охарактеризовать в коротком обзоре. Например, многие номера журнала «*Zeitschrift für Slawistik*» полностью посвящены русской и советской литературе. Такими являются №№ 4 за 1971 и 1975 годы, в которых советская литература рассматривается в контексте других литератур социалистических стран Европы; № 6 за 1977 год, в котором вопросы советской эпической поэзии изучаются в связи с языковыми проблемами; № 1 за 1978 год, в основном посвященный творчеству Л. Толстого, но и освещающий проблемы творчества Достоевского, Чехова, Блока, Тихонова и Вс. Иванова, их вклад в сокровищницу русской реалистической литературы и социалистического реализма; № 4 за 1982 год, подготовленный к IX Международному конгрессу славистов. В нем следует отметить доклады о традициях советской литературы (В. Байц, Г. Дювель, Э. Мирова-Флорин, Г. Юнгер, С. Хоппе, А. Хирше), о русской литературе на рубеже веков (К. Каспер), о тургеневских «Призраках» в контексте современных эстетических дискуссий (Г. Дудек), о раннем творчестве Б. Пильняка (Э. Ковальски), о Ю. Трифонове (Б. Май) и мн. др.

Университетские «Ученые записки» также все чаще предоставляют свои страницы в распоряжение русистов. В Йене появился специальный номер, посвященный проблеме человека-творца в советской литературе²⁹ и другой, в котором изучается преемственность в современной советской литературе.³⁰

Университет им. В. Пика в Ростке опубликовал материалы конференции на тему «Проблема природы в реалистической литературе» (1976).³¹ У. Кирстен, инициатор этой конференции, несколько позднее выступил с исследованием «Человек и природа с точки зрения искусства». Постановка проблемы на основе русской классической и советской литературы» (1978).³² Соотношение «человек — природа» принадлежит к главным аспектам литературного отраже-

ния мира. Оно не ограничивается, как подчеркивает У. Кирстен и другие авторы, только изображением явленной природы, но представляет собой художественное видение человека, определение его места в окружающем мире. Особые возможности с этой точки зрения предоставляют для литературно-исторического анализа русская и советская литература. На современном этапе их вообще нельзя рассматривать вне подобного аспекта.

«*Weimarer Beiträge*», журнал филологии, эстетики и истории культуры, регулярно печатает статьи о русской и советской литературе. Особенно удачным оказался тематический номер, посвященный «деревенской литературе» в социалистических странах (1980, № 4). Слависты ГДР рассматривали как материал русской советской литературы (В. Байц, К. Каспер, Б. Тесмер, А. Хирше), так и литературы польской, болгарской, чешской и словацкой. Несмотря на некоторые различия во мнениях, все участники дискуссии пришли к выводу, что она представляет собой первостепенное литературное явление в духовной и культурной жизни Советского Союза.

Доброй традицией русистики ГДР является пропаганда выдающихся достижений советской науки. Особая роль в этом отношении принадлежит 70-м годам. Еще никогда до сих пор не появлялось столько монографий советских ученых на немецком языке. Мы можем отметить здесь лишь самые значительные из них. Были изданы две работы Д. Лихачева — «Русская литература и европейская культура X—XVII веков» (1977) и «Человек в литературе Древней Руси» (1975); книги Б. Сучкова «Исторические судьбы реализма» (1971), М. Храпченко «Писатель — мировоззрение — прогресс в искусстве» (1975); Г. Фридлендера «Эстетика и история литературы. Статьи 1940—1972» (1976); А. Дымшица «Богатство и дерзание искусства» (1974). Обзор новейших исследований о Достоевском предлагает сборник «Наследие Достоевского в наше время» (1976).³³ Из серии

klassischen und sowjetischen Literatur. Dissertation B (Doktor der Wissenschaften). Rostock, 1978.

³³ *Lichatschew D.* 1) Russische Literatur und europäische Kultur des 10.—17. Jahrhunderts. Berlin, 1977; 2) Der Mensch in der altrussischen Kunst. Dresden, 1975; *Sutschkow B.* Historische Schicksale des Realismus. Berlin, u. Weimar, 1973; *Chraptchenko M.* Schriftsteller—Weltanschauung—Kunstfortschritt. Berlin 1975; *Friedländer G.* Ästhetik und Literaturgeschichte. Aufsätze 1940—1972. Berlin u. Weimar, 1976; *Dymschitz A.* Reichtum und Wagnis der Kunst. Berlin, 1974; *Dostojewskis Erbe in unserer Zeit.* Neueste Forschungen sowjetischer Literatur-

²⁹ Der schöpferische Mensch in der Sowjetliteratur. — Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, H. 2/1976.

³⁰ Traditionsbeziehungen in der Sowjetliteratur der Gegenwart. — Ibid., H. 1/1980.

³¹ Die Naturproblematik in der realistischen Literatur, Bd 1 u. 2. Rostock, 1976.

³² *Kirsten U.* Mensch und Natur in künstlerischer Sicht. Versuch einer Problemstellung auf der Grundlage der russischen

«Контекст» Института мировой литературы им. А. М. Горького была переведена книга «Контекст. Советский вклад в изучение методологии науки о литературе» (1977).³⁴ Только что появился сборник избранных статей Ю. Барабаша «Вопросы эстетики и поэтики» (1982).³⁵

Однако переводятся не только литературоведческие работы, существует постоянная служба информации о важных литературно-критических достижениях и дискуссиях, которая осуществляется, в основном, посредством журнала «Kunst und Literatur», призванного еще с 1953 года пропагандировать достижения советской литературной критики и науки. Постоянно появляются сборники, делающие попытки осветить актуальные дискуссионные проблемы. Книга серии «Reclam» «Выход в мир» (1977),³⁶ под редакцией Р. Шредера, публикует статьи первой половины 70-х годов; среди них работы А. Бочарова, В. Днепровца, В. Пискунова, а также писателей: Д. Гранина, К. Симонова, Ю. Трифонова и многих других. Новейший сборник под названием «Советская литература сегодня. Беседы—эссе—интервью» (1980)³⁷ (изд. В. Байцем) обсуждает проблемы второй половины 70-х годов; среди его многочисленных авторов мы встречаем Ф. Абрамова, Ю. Бондарева, А. Вампилова, Д. Гранина, В. Распутина, Ю. Трифонова, В. Шукшина.

80-е годы отмечены появлением многих коллективных и основополагающих трудов.

Еще в начале 70-х годов особенное внимание литературоведов было направлено на проблемы литературного наследия. Несколько позднее в эту дискуссию включились и русисты. Мы имеем в виду прежде всего большую статью М. Вегнера «Традиция и новаторство: Максим Горький» (1976),³⁸ затем, в уже упомянутом номере «Ученых записок» Университета им. Фр. Шпллера в Йене, появилась его работа «Преемственность в сов-

ременной советской литературе» (1980).³⁹ М. Вегнер рассматривает преемственность в творчестве Горького с точки зрения его мирового значения и законов литературного заимствования. При этом особая роль отведена отношению Горького к Толстому и Достоевскому, а также судьбе «Истории молодого человека XIX века» в литературе.

В университетских «Ученых записках» нередко выступают и советские исследователи Ю. Андреев, Н. Грознова, В. Ковалев.

Вопросам преемственности посвящен и один из фундаментальных трудов славистов ГДР начала 80-х годов «Наследие и наследники. Традиции в творчестве советских писателей» (1982).⁴⁰ Эта работа, созданная в содружестве с советскими учеными, внесла заметный вклад в дискуссию о литературном наследии в Советском Союзе и ГДР. Книга «Наследие и наследники» не лишена интереса и для интернационального диалога на заявленную тему, так как авторам удалось представить весьма обширный материал по истории многонациональной советской литературы, рассмотреть его с новой точки зрения, соединив актуальную теоретическую постановку вопроса с конкретными историческими изысканиями. В результате появился историко-литературный труд, который дает представление об особенностях восприятия творческого наследия писателями и художниками на различных этапах развития советского общества.

Авторами были выделены три существенных функциональных проявления преемственности: во-первых, наследие как необходимое средство развития исторического сознания (Астафьев, Ауэзов, Белов, Всеволод Иванов, Курилов, Рыхтэу и Санги); во-вторых, утверждение нового понимания литературы и роли писателя (Тынянов, Чаренц, Заринь, Довженко); в-третьих, проблемы развития видов и жанров (Шолохов, Пильняк, Айни, Алпмжанов, Муканов, Сейфуллина). Авторы книги «Наследие и наследники» показывают многообразие отношений преемственности, выражающееся в соприкосновениях с литературой просвещения, реалистическим искусством XIX века и авангардистскими экспериментами XX века, с средневековой мистерией и вплоть до усвоения фольклорного и мифологического материала.

Новейшей советской литературе посвящен коллективный труд, который также был выпущен в свет Центральным Институтом истории литературы АН ГДР. Над ним работали как русисты Академии наук, университетов ГДР, так и совет-

wissenschaftler zum künstlerischen Erbe Dostojewskis. Hrsg. von H. Grasshoff u. G. Jonas. Berlin, 1976.

³⁴ «Kontext». Sowjetische Beiträge zur Methodendiskussion in der Literaturwissenschaft. Hrsg. von R. Lenzler u. P. Palijewski. Berlin, 1977.

³⁵ *Barabasch Ju.* Fragen der Ästhetik und Poetik. Berlin, 1982.

³⁶ Vom Ich-Gewinn zum Welt-Gewinn. Aktuelle Diskussion der Sowjetliteratur. Hrsg. von R. Schröder. Leipzig, 1977.

³⁷ Sowjetliteratur heute. Gespräche—Essays—Interviews. Hrsg. von W. Beitz. Halle—Leipzig, 1980.

³⁸ *Wegner M.* Tradition und Neubeginn: Maxim Gorki. — In: Schriftsteller und literarisches Erbe. Zum Traditionsverhältnis sozialistischer Autoren. Hrsg. von Hans Richter. Berlin und Weimar, 1976.

³⁹ Ср. сноску 30.

⁴⁰ *Erbe und Erben. Traditionsbeziehungen sowjetischer Schriftsteller.* Hrsg. von E. Kowalski und G. I. Lomidsch-Berlin u. Weimar, 1982.

ские коллеги (Ю. Андреев, Г. Белая, Л. Арутюнов). Книга называется «Что может поэт на земле» (1982).⁴¹ Она издана под редакцией А. Хирше и Э. Ковальски. Здесь представлены 23 писателя многонациональной советской литературы, в том числе 15 русских авторов (Астафьев, Белов, Бондарев, Вампилов, Вознесенский, Гранин, Залыгин, Катаев, Распутин, Симонов, Твардовский, Тендряков, Трифонов, Шатров, Шукшин). Авторы книги не стремились к тому, чтобы дать полный очерк творческого пути каждого писателя, но в основном стремились охарактеризовать специфику вклада каждого из них в литературный процесс 70-х годов, дать представление о широте и многогранности современной литературы социалистического реализма. Одновременно здесь подчеркнуты некоторые важнейшие тенденции в современной советской литературе — историко-философская проблематика (деревенская проза и др.), «оперативная» литература (так называемые производственные песни), социально-аналитическая специфика, бытовой и этический аспекты и т. д.

Еще до появления этой книги был выпущен сборник очерков «Многонациональная литература Советского Союза. С 1945 до 1980. Персональные статьи, т. 1» (1981),⁴² составленный в основном советскими авторами (а также Э. Ковальски и Н. Тун). Подготовили издание ученые Института мировой литературы им. А. М. Горького в Москве. Этот труд, второй том которого появится в 1984 году, содержит очерки жизни и творчества почти семи десятков писателей из 20 литератур. Он сопровождается литературно-историческим обзором, написанным А. Овчаренко и А. Ушаковым. В известном смысле это уникальное явление на книжном рынке ГДР. Предназначена книга в основном для учителей, преподавателей высшей школы и деятелей культуры. Этим справочником педагогическое издательство ГДР «Volk und Wissen» открыло серию под титулом «Литература социалистических стран» под редакцией К. Бетхера и Г. Цигенгайста. Эта серия представляет также литературы Болгарии, Венгрии, ЧССР, Румынии, Югославии, Польши, Вьетнама и ГДР. В данном труде учитывается то историческое обстоятельство, что литература страны Советов,

откуда с 1917 года исходит революционное обновление мира, в содружестве братских литератур занимает особое место, так как она обладает более чем шестидесятилетним идейным и художественным опытом, и ее достижения, начиная с ранних этапов развития и до сегодняшнего дня, объясняют действительное влияние на национальные литературы всего мира. Многонациональная советская литература посвятила себя в значительной степени большим общечеловеческим проблемам, прокладывая дорогу мировому революционному прогрессу.

В заключение мы позволим себе дать краткий обзор некоторых трудов, которые разрабатываются в настоящее время или уже готовятся к печати в издательствах. Появился том с материалами конференции о программе ЮНЕСКО по изучению славянских культур: «Славянские культуры в европейском культурном развитии» (1982).⁴³ Само собой разумеется, что русской культуре принадлежит здесь первое место. Кроме того, скоро будет издана избранная переписка М. Горького с писателями (под редакцией И. Идзиковски); Г. Цигенгайст готовит новый том «И. С. Тургенев. Творчество — связи — восприятие». Большое значение для литературной науки, а также для духовной и культурной жизни ГДР будут иметь три основательных коллективных труда русистов: «История русской литературы от истоков до 1917 года», «История русской советской литературы» и «Литературная теория — литературная критика. Из истории эстетической мысли в Советском Союзе». История русской литературы займет два тома и будет как по идейному освещению, так и по объему материала заметно отличаться от аналогичного однотомного издания, появившегося в 1965 году. Новая история будет базироваться на последних достижениях русистики ГДР и СССР и издаваться при участии большого коллектива славистов ГДР (среди них Вегнер, Грасхофф, Дикман, Дудек, Цигенгайст, Шмидт) под руководством В. Дювеля. В основу «Истории русской советской литературы», которая появится в одном томе, также положены некоторые новые принципы, которые хотя и отталкиваются от изданий 1973—75 годов, но вместе с тем учитывают последние достижения науки о литературе в Советском Союзе и других социалистических странах. Руководство работой осуществляется известным коллективом, в который входят среди прочих Байц, Хиллер, Шауман, Юнгер. Замысел книги «Литературная теория — литературная критика» (под руководством Э. Ковальски и А. Хирше) представляет собой первую

⁴¹ Was kann denn ein Dichter auf Erden. Betrachtungen über moderne sowjetische Schriftsteller. Hrsg. von A. Hirsche und E. Kowalski. Berlin u. Weimar, 1982. Название является строкой из стихотворения Ивана Драча «Гитара Пабло Неруды».

⁴² Multinationale Literatur der Sowjetunion. 1945 bis 1980. Einzeldarstellungen. Hauptredaktion: G. Lomidse, O. Jegorow, P. Toper, A. Uschakow (UdSSR), E. Kowalski, P. G. Krohn, H. u. I. Neugebauer (DDR), Bd 1. Berlin, 1981.

⁴³ Die slawischen Kulturen in der Geschichte der europäischen Kulturen. Hrsg. von G. Ziegenggeist. Berlin, 1982.

в ГДР попытку выявить вклад Советского Союза в разработку марксистско-ленинского литературоведения.

Разумеется, мы не могли отразить во всей широте и деталях достижения литературоведческой русистики ГДР в 70-е годы. Вместе с тем хочется еще вкратце выявить некоторые очевидные пробелы. Ощутим недостаток научных монографий об отдельных писателях — русских и советских. Он не устраняется и наличием основательных историй литературы. Недостаточным является и изучение литературы периода 1945—1970 годов. В то время как русская литература от истоков до XVIII века хорошо представлена как в изданиях текстов, так и в ее научной интерпретации, более поздний этап классической литературы в некоторых фазах своего развития изучен еще недостаточно. Область фольклора также далеко еще не может считаться исследованной. До сегодняшнего дня единственная заслуга в этом отношении принадлежит И. Клагге (Росток), посвятившей себя этой важной теме и прежде всего изучению русского и советского фольклора.⁴⁴

Во всяком случае, следует с удовлетворением отметить, что литературный

⁴⁴ В 60-е годы Е. Хексельшнайдер активно занимался этой проблематикой, в том числе в названном аспекте. Ср. его монографию: *Die russische Volksdichtung in Deutschland bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts*. Berlin, 1967.

процесс исследуется теперь во все более тесных связях и взаимообусловленности с общими культурными и, в известной мере, общественными процессами развития. Тем самым вернее выявляются его внутренние тенденции с их противоречиями, с их закономерностями, взаимопроникновение преемственности и новаторства. Ясно очерчиваются исторически конкретные, т. е. обусловленные историческими переменами определения центральных категорий — таких, как реализм, социалистический реализм, отношение автора и читателя, функция литературы. Литературные течения и их взаимопроникновения рассматриваются тоже с иной, новой точки зрения. И хотя понятие прогресса в искусстве не играет такой роли в науке ГДР, как в спорах советских исследователей (Бушмин, Храпченко и др.), все-таки литературные течения оцениваются исходя из их творческих возможностей в отражении действительности.

Научные контакты и другие формы сотрудничества с советскими учеными в последние пятнадцать лет качественно изменились. На общем мировоззренческом и политическом фундаменте возникло содружество, которое представляет собой новый более высокий этап по отношению к тому, что было заложено в 1950—60-е годы. И если наша статья могла бы способствовать дальнейшему развитию этих дружественных отношений, авторы сочли бы ее цель достигнутой.

В. Н. Баскаков

БИБЛИОГРАФИЯ: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА

(К 50-ЛЕТИЮ ЖУРНАЛА «СОВЕТСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ»)

Журнал «Советская библиография» — единственное в нашей стране периодическое издание, посвященное исследованию истории и теории библиографии, разработке ее методики и методологии. Он призван пропагандировать теоретические основы библиографии и библиотекведения, определять их функции в социальной и культурной жизни, осмысливать значение этих дисциплин «для коммунистического воспитания трудящихся и научно-технического прогресса в условиях развитого социалистического общества».¹ Возник журнал в 1933 году,

¹ Советская библиография, 1978, № 1, с. 4. В дальнейшем при ссылках в тексте на журнал «Советская библиография» указываются лишь год и номер (или выпуск), при цитировании — год, номер, страница.

в пору становления советской науки, в том числе и библиографической, в пору решения важнейших задач, направленных на социалистическое преобразование страны, на строительство нового, ранее незнакомого миру общества, свободного от угнетения и эксплуатации. Постановление СНК «О передаче библиографического дела в РСФСР Народному комиссариату просвещения» (1920) свидетельствовало о значительности роли, которая принадлежит библиографии в общем процессе социалистического строительства, и намечало пути ее широчайшего развития, предполагавшего для публикации результатов этой огромной работы создание разных типов библиографических изданий, в том числе и периодических.²

² См.: *Фартунин Ю. И.* Рубежи государственной библиографии СССР (к 60-ле-

«Советская библиография» первоначально не была периодическим изданием, а представляла собой сборники, появлявшиеся хотя и ежегодно, но весьма нерегулярно. Издавала их Государственная центральная книжная палата РСФСР под руководством редколлегии во главе с директором этой Палаты В. И. Соловьевым, включавшей таких признанных деятелей книги, как В. И. Невский, директор Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, и Е. И. Шамурин, автор известного ныне «Словаря книговедческих терминов» (М., 1958). В первые годы своего существования издание выходило редко: в 1933 году появился лишь один (строенный) выпуск, в 1934-м — три и т. д. До 1958 года отдельные выпуски, за исключением 1938—1939-го и 1942—1945 годов, когда издание приостанавливалось, выходили от одного до четырех раз в год. С 1958 года сборник выходит регулярно шесть раз в год и в 1978 году преобразовывается в журнал той же периодичности. Издает его Государственный комитет СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Всесоюзная книжная палата.

Двести выпусков и номеров издания, вышедших за пятьдесят лет, по сути дела отражают всю историю советской библиографии, воспроизводят особенности ее развития, дают представление об этапах и характерных чертах библиографического процесса в стране, в том числе и в науках гуманитарного профиля. Конечно, характер издания, его роль и значение в культурной и научной жизни страны с течением времени совершенствовались и дифференцировались, изменялись его связи с практикой, с научным процессом, с педагогикой, расширялась читательская аудитория. В начале своего пути (в 1930-е и 1940-е годы) «Советская библиография» — издание, преимущественно ориентированное на разработку общих вопросов, не всегда связанных с практикой библиографического строительства в стране, и проблем исторического характера, то есть в это время сборнику свойственна некоторая академическая замкнутость, во многом обусловленная методологическими неопределенностями, отличавшими эпоху 1930-х годов, и развернувшейся в это время борьбой с вульгарно-социологическими влияниями, не миновавшими и библиотечно-библиографическую сферу нашей культуры и науки. В послевоенные годы положение меняется. С конца 1940-х годов для «Советской библиографии» характерным стало «стремление во все большей степени отражать актуальные, насущные проблемы библиографии, вытекающие из задач социалистического строительства и коммунистического вос-

питания советских людей» (1974, № 4, с. 85). Сближение с практикой, расширение авторского коллектива и читательской аудитории издания шли параллельно с быстрым нарастанием интереса к теоретическим проблемам библиографического развития, которое с середины 1950-х годов стало особенно заметным и даже определяющим профилем издания. В дальнейшем содержание «Советской библиографии» становилось все более и более разносторонним, охватывающим весь комплекс библиографических знаний в тесной взаимосвязи их с практической деятельностью. Это стало особенно заметным после 1978 года, когда издание было реорганизовано в журнал.

Преобразование «Советской библиографии» в журнал, хронологически совпавшее с празднованием 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции и принятием новой Конституции СССР, «является отражением тех выдающихся успехов в развитии народного образования, науки и культуры, которые достигнуты за годы Советской власти и закреплены в статьях Основного Закона Советского Союза» (1978, № 1, с. 4). Теперь «Советская библиография» призвана объединять библиографические силы в стране, направлять их деятельность, повышать идеологический уровень библиографии и пропагандировать достижения книжного дела в широких кругах наших и зарубежных читателей.

Дать обозрение всех разделов издания, существующего полвека, и всех проблем, в разное время на его страницах затрагивавшихся и решавшихся, в журнальной статье невозможно. Комплект «Советской библиографии» за пятьдесят лет — это целая библиотека, освещающая все стороны библиографического развития страны и дающая представление о его широте и научном уровне. Но «Советская библиография» не просто дает представление об этом процессе, а постоянно и активно в нем участвует, ведет самостоятельную разработку многих научных и практических проблем, стоит во главе этого процесса, определяет перспективы и направления его дальнейшего развития как в теории и практической деятельности библиографии, так и в ее методике и истории.

Настоящее обозрение преследует своей целью дать наиболее подробную характеристику тех из затрагивавшихся в журнале проблем, которые связаны с литературной наукой, с ее библиографией, с литературными и литературоведческими аспектами библиотекведения. Однако при этом надо иметь в виду то обстоятельство, что многие вопросы библиографии, ее истории и теории, на первый взгляд далекие от литературы и изучающих ее дисциплин, на самом деле в разной степени с ними связаны. Возьмем для примера теорию библиографии, которая в литературную науку не входит, но тем не менее все основы ее разрабатываются

тию ленинского декрета о библиографии). — Советская библиография, 1980, № 3, с. 3—11.

на материалах, безусловно и иногда в очень значительной степени включающих и литературу, и литературоведение, и историю литературоведения. Литературная библиография, в свою очередь, входит в сферу действия положений и закономерностей, этой теорией разработанных. То же следует сказать о методологических проблемах, поднимавшихся в журнале, о разрабатываемой на протяжении последних лет стандартизации и о многих других вопросах не прямо, а косвенно или опосредованно связанных с литературным процессом и его закономерностями. С учетом такой взаимосвязанности библиографического процесса с литературным в обзоре привлекается внимание и к некоторым общим или специальным вопросам библиографии, имеющим отношение к литературе и литературной науке.

Журнал имеет сложившуюся и достаточно гибкую структуру, чтобы затрагивать любые проблемы библиографии. В основном его разделе — статьи, посвященные теории, методике, практике библиографии, часто подобранные тематически. В особом разделе, появляющемся по мере необходимости, печатается информация о важнейших решениях Госкомиздата СССР, почти регулярным становится отдел «Из опыта работы», в котором, как правило, освещается внедрение в практику новых систем, приемов и методов, пропагандируется передовой опыт. Методические консультации журнала, публикуемые во многих его номерах, касаются практических сторон библиографической деятельности, сложных случаев ее организации, а также раскрывают приемы и методы отдельных работ и исследований в этой области.

Параллельно с теоретическими и методическими работами в журнале развешивается цепь исследований исторического характера, посвященных отдельным выдающимся явлениям из прошлого библиографии или разных его эпохам, затем следуют обширные информационные материалы, обзоры и рецензии, редакционная почта, международная информация. Такая структура издания позволяет обсуждать сложные и многообразные вопросы теории и практики и тем самым делает журнал интересным и необходимым для разных категорий читателей, в том числе и зарубежных.

На ранних этапах своей деятельности «Советская библиография» была предназначена для сравнительно узкого круга читателей, который с течением времени расширялся, включая не только специалистов-библиографов и историков библиотечно-библиографического дела, но и работников всех категорий библиотечных и научно-информационных учреждений, ведущих библиографическую деятельность, институтов культуры, книжных палат и т. д. (см.: 1974, № 4, с. 86). Расширился и авторский коллектив. Первоначально состоявший из небольшого

числа известных библиографов, он сейчас объединяет сотни работников разных профилей и специальностей. Каждый год на страницах журнала мы встречаем десятки новых имен, представляющих самые разные сферы общественной жизни, производства, культуры, науки. Являясь единственным изданием подобного рода, «Советская библиография» всегда объединяла на своих страницах крупные библиографические силы каждой эпохи. У начала издания стояло старшее поколение советских библиографов: Е. И. Шамурин, И. В. Владиславлев, Н. В. Здобнов, А. В. Мезьер, К. Р. Симон, Б. С. Боднарский, П. Н. Берков, И. Ф. и Ю. И. Масановы и др. В послевоенные годы среди авторов журнала Н. И. Мацуев, С. П. Луцков, Е. И. Рыскин, И. Ф. Кауфман, В. О. Осипов, М. В. Машкова, Б. Я. Бухштаб, А. И. Барсук, О. П. Коршунов и др. Соединяя на своих страницах лучшие силы советской библиографии, журнал решает научные и практические вопросы, а кроме того, выполняет в своей области и координационные функции.

Обращаясь к той части издания, которая представляет методологический аспект советской библиографии и посвящена выработке и совершенствованию методологических принципов в библиографическом исследовании, остановимся прежде всего на материалах, отражающих характер и действенность партийного руководства библиографической наукой и практикой. Это, прежде всего, постановления партии и правительства по вопросам библиографии и библиотечного дела — от известного постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР от 10 августа 1931 года и Положения о Всесоюзной книжной палате, подписанного М. И. Калининым 27 июля 1936 года, до последних постановлений Госкомиздата СССР, посвященных реализации решений XXVI съезда КПСС (1982, № 3), майского (1982 года) Пленума ЦК КПСС, утвердившего Продовольственную программу (1982, № 5), и т. д. Кроме текущих документов, касающихся партийного и правительственного руководства библиографией, издание обращается порою к этим вопросам с исторической точки зрения, рассматривая роль и значение для развития библиографии и библиотекосведения, например, Постановления СНК «О передаче библиографического дела в РСФСР Народному комиссариату просвещения» от 30 июня 1920 года (1935, № 4) или известного Постановления Народного комиссариата просвещения об обязательной регистрации произведений печати от 3 августа 1920 года (1935, № 4).

Отношение В. И. Ленина к книге, библиографии и библиотечному делу изучается у нас всесторонне, помогая не только в постановке и организации работы в этой области, но и в пропаганде ленинского наследия. Опыт «Советской библиографии» в этом отношении достаточно поучителен. Во-первых, такое изу-

чение ведется систематически, ленинская тема часто присутствует на страницах журнала и воплощается в разных жанрах публикуемых материалов — в теоретических и исторических статьях, в обзорах и рецензиях, в информационных сообщениях и методических консультациях. Во-вторых, ленинская тема разрабатывается здесь в разных аспектах: книга и библиотека в жизни В. И. Ленина, его работа с книгой, библиографический опыт, отношение к библиографии как важному государственному делу. Совмещение различных подходов к теме и ее аспектов с постоянством и многосторонностью внимания к ней придает ленинским материалам в журнале законченность и связывает их со всем его научным, методическим, информационно-критическим содержанием.

Овладение ленинским наследием в рамках научно-вспомогательных рекомендательных и отраслевых библиографий, создаваемых на языках народов СССР, является важным звеном в его пропаганде и изучении. История и методика этого отражения широко представлены на страницах «Советской библиографии». Рядом — статьи о методике составления отраслевых и рекомендательных указателей по марксизму-ленинизму (1980, № 1), а также работы О. П. Коршунова, Л. А. Левина, В. А. Фокеева о советских указателях произведений В. И. Ленина, литературы и воспоминаний о нем (1970, № 1; 1980, № 1). Отношение В. И. Ленина к книге и понимание им библиографии и ее задач раскрывается в статьях Г. П. Фоновой «В. И. Ленин и библиография» (1960, № 2), «Общественно-политическое значение рецензии В. И. Ленина на труд Н. А. Рубакина „Среди книг“» (там же), «Читая Ленина (заметки библиографа)» (1966, № 6), а также в статьях Л. А. Левина «Использование В. И. Лениным библиографических методов в изучении и пропаганде трудов К. Маркса и Ф. Энгельса» (1980, № 1), В. А. Бурана «Библиографическая культура в сочинениях В. И. Ленина» (1980, № 2), «Библиографические ссылки в книге В. И. Ленина „Развитие капитализма в России“» (1981, № 2) и др. Таким образом, ленинская тема в библиографии раскрывается в прямом соотношении с теоретическими и методическими исследованиями в этой области, сопровождая их и акцентируя их методологические аспекты.

Теоретическая часть журнала, во многом определяющая характер издания, многообразна, представлена широко и отмечена не только глубоким интересом и основательностью рассмотрения поставленных проблем, но порою и спорами, дискуссиями, полемиками. За последние двадцать пять лет журнал внес заметный вклад в создание теоретической основы библиографии. И в этом одна из его важнейших заслуг. Однако теоретические исследования в библиографии еще далеки от завершения, и каждый новый номер

журнала свидетельствует о том, что они продолжаются.

Для успешного развития науки прежде всего необходимо четкое определение и однозначное понимание ее предмета. Только в этом случае все поиски, предпринимаемые в ее сфере, обретут свою целенаправленность и обеспечат перспективность дальнейшего исследования. Тем не менее в библиографии, имеющей свою богатую историю, споры о ее предмете не прекращаются. Представление о произведении печати как предмете библиографии до сих пор вызывает дискуссии и нуждается в существенных уточнениях, которые часто обсуждаются на страницах журнала (см.: 1956, вып. 44, с. 40—45; 1962, № 4, с. 34—43 и др.). Не представляется окончательным и определение библиографии как области деятельности (1980, № 6).

Для всех гуманитарных дисциплин очень остро стоит сейчас проблема терминологии, нерешенность которой не способствует их ускоренному и успешному развитию. Между тем обращения к терминологическим вопросам редки и не всегда результативны. Поэтому следует как положительное явление рассматривать исследования и дискуссии на эту тему в журнале «Советская библиография». Дело в том, что результаты терминологического новаторства в библиографии не всегда точны и четки да и использование устоявшейся, казалось бы, терминологии подчас неоднозначно и приводит к различному пониманию явлений, одинаковых по своей сути, и наоборот. Стремясь к совершенству терминологии, «Советская библиография» публикует статьи, обсуждающие содержание термина «критическая библиография» (1956, вып. 42), ставит в статье известного библиографа К. Р. Симова общие проблемы библиографической терминологии (1937, вып. 1), дает представление о современном состоянии терминологии и задачах ее стандартизации (1969, № 2). Это немногие, в основном общие, вопросы из области терминологии, затронутые в издании. На самом деле обращений в терминологическую сферу значительно больше и они имеют свои практические последствия и намечают пути дальнейшего совершенствования терминологии.

В последние годы терминологические вопросы привлекают внимание в связи с разработкой и введением государственных стандартов в этой области.³ Дело в том, что в 1970-х годах началось интенсивное введение в практику стандартов в области библиографии, библиографического описания, терминологии, библиографических указателей и т. д. В настоящее время библиографические стандарты,

³ См.: Барсух А. И. Стандартизация библиографической терминологии — требование времени. — Советская библиография, 1974, № 6, с. 15—28.

в том числе и терминологические, применяются в литературной науке, в ее библиографии, в научно-вспомогательном аппарате ее изданий. Именно поэтому библиографическая стандартизация со всеми ее достоинствами и недостатками должна интересовать литературную науку.

Последним, с января 1980 года, введен в действие ГОСТ «Государственные библиографические указатели. Структура, издательское и полиграфическое оформление» — первый в мире стандарт на оформление изданий национальной библиографии (см.: 1979, № 5, с. 22—25). Что же касается терминологии, то первый стандарт был подготовлен и введен в действие в 1970 году, второй — в 1977-м, а сейчас готовится новый, третий по счету, призванный ликвидировать недостатки двух предыдущих, а также удовлетворить требования, возросшие в связи с расширением сферы применения терминологии (1978, № 5, с. 24). Журнал «Советская библиография» участвует в решении проблем стандартизации в разных сферах библиографии. Свидетельством этого являются статьи Б. А. Семеновкера «Как библиографам и издательским работникам использовать термины раздела „Библиографические пособия“ ГОСТа 7.0.—77» (1978, № 3), Ф. С. Сонкиной «Новый государственный стандарт „Издания. Термины и определения основных видов“» (1978, № 5), Н. Н. Грузинской, А. А. Джиго, Б. А. Семеновкера «Стандарт на государственные библиографические указатели» (1979, № 5), Р. П. Харитоновна «Система стандартов СИБИД в настоящем и будущем» (1980, № 4) и др. Целью и задачей стандартизации является повышение эффективности и качества работ и научных исследований в разных сферах библиографии и библиотечного дела. Но эта работа далеко не завершена, ее совершенствование потребует новых обсуждений для решения тех спорных вопросов, которые появляются в ходе внедрения созданных стандартов в практику, в том числе и литературоведческую. И в этом сложном процессе совершенствования системы стандартов журнал «Советская библиография» исполняет полезную и важную роль.

Необходимо отметить ряд материалов, посвященных задачам теоретических исследований в библиографии, спорным вопросам, а также многообразным связям теории и библиографической практики. Среди них, пожалуй, самое заметное место принадлежит видам библиографии, их особенностям и соотношениям. С этой точки зрения интересна статья А. И. Барсука «О разграничении видов библиографии» (1961, № 5), ставящая общие вопросы в этой области, которые в более конкретной форме обсуждаются в многочисленных работах, посвященных отдельным видам и представляющим их изданиям, как в их современном состоянии, так и в историческом плане. В своей

деятельности «Советская библиография» в разных аспектах обращалась ко всем видам библиографии, среди которых государственная библиография, научно-вспомогательная, рекомендательная, краеведческая, книготорговая библиография, библиография детской литературы, библиография библиографий. Все они освещаются в издании с исторической, теоретической, методической и организационной сторон. Например, государственная библиография и ее история рассматриваются с момента возникновения, обстоятельства которого исследованы в работе Н. Н. Аблова «К столетию первой попытки „официальной“ регистрации печати в России» (1937, вып. 1), до сегодняшнего дня, который представлен, в частности, статьями А. И. Серебrenникова «Актуальные задачи государственной библиографии и статистика печати» (1963, № 5), Н. В. Кузнецовой «Государственная учетно-регистрационная библиография СССР на современном этапе» (1967, № 3), Ю. И. Фартунина и Н. Н. Грузинской «Государственная библиография в одиннадцатой пятилетке» (1981, № 2). Современное состояние государственной библиографии представлено известными ее изданиями: «Ежегодник книги СССР», «Летопись периодических изданий СССР», «Нотная летопись», «Летопись журнальных статей», «Летопись газетных статей», «Летопись рецензий». Каждой из них, их истории, методике их составления посвящены специальные работы, которые в своей совокупности создают четкое представление о характере, назначении и истории развития государственной библиографии в нашей стране. В обсуждении, например, «Книжной летописи» принимали участие виднейшие библиографы: Н. В. Здобнов — «Достижения и недочеты „Книжной летописи“ за последние годы» (1937, вып. 3), Б. С. Боднарский со статьей «Петроградская „Книжная летопись“» (1940, вып. 1), М. В. Машкова и М. В. Сокурова — «Из истории возникновения „Книжной летописи“» (1967, № 5).

В творческой лаборатории литературоведения, в его исследованиях и разысканиях государственная библиография занимает далеко не последнее место. Ее литературная часть весьма значительна и в такой полноте не повторяется другими библиографическими изданиями. Ориентируясь в текущей литературе, особенно периодической, она снабжает сведениями о публикациях современных писателей, о событиях текущей литературной и научной жизни, о появляющихся работах, посвященных истории литературы в целом либо отдельным ее представителям, выдающимся или малоизвестным. Поэтому знакомство с историей этой библиографии, ее назначением, структурой и содержанием необходимо для всех, кто ведет разыскания исторического или историко-литературного характера. Это совершенствует библиографические на-

выки и познания исследователя. «Советская библиография» в этом отношении привлекает к себе внимание, так как подобного рода материалы печатаются преимущественно на ее страницах и в своей совокупности дают достаточно полное представление об особенностях этой отрасли советской справочно-библиографической службы.

Другие виды библиографии, рассматриваемые в журнале, посвящены разным отраслям знания, в том числе литературе и литературной науке. И только в этом качестве в данной статье они и будут нас интересовать. Обращаясь к научно-вспомогательной библиографии, остановимся на некоторых общих вопросах, и сейчас еще полностью не решенных. Среди них, например, проблема библиографических указателей к периодическим и текущим изданиям. К этой проблеме обращался и журнал «Советская библиография» (1958, вып. 51), в ее решении произошли незначительные сдвиги. Сегодняшнее положение дел свидетельствует о том, что работа в этой области еще очень далека от своего завершения. Мы не располагаем указателями к крупнейшим журнальным изданиям XIX века, заключающим огромный исторический и литературный материал. Нет таких указателей к журналам «Дело», «Русское слово», «Русская старина», «Русский архив», много лет не печатается указатель к «Отечественным запискам» времен Белинского, подготовленный В. Э. Боградом. А как нужны указатели литературных и литературно-критических материалов, печатавшихся в «Правде», «Литературной газете»; в наших «толстых» журналах (см.: 1982, № 1, с. 68). Острота положения в этой области подчеркивается сейчас тем обстоятельством, что к составлению указателей к нашим изданиям стала обращаться зарубежная библиография. В 1981 году, например, в Нью-Йорке издан указатель материалов, опубликованных в советском журнале «Историк-марксист» (1926—1941), содержащий свыше 8000 записей (1983, № 2, с. 96). Между тем подобные работы должны исполняться отечественной наукой, и ею же должно создаваться в них историческое, методологическое и идеологическое освещение раскрываемых материалов. К сожалению, указатель содержания периодического издания у нас жанр редкий и не вызывающий энтузиазма в издательских кругах.

Сегодня и журналу «Советская библиография», и нашим издательским учреждениям, и научным центрам, ведущим библиографические исследования, следовало бы вновь обратиться к проблеме указателей к русским периодическим изданиям и не просто заняться обсуждением вопроса, а наметить конкретный план работ и приступить к его скорейшему исполнению. Это положительно отразится на состоянии многих отраслей нашей науки, культуры, искусства, ко-

торые получают дополнительные материалы для своей сегодняшней деятельности и для более конкретного и точного определения перспектив развития. Особо следует сказать об указателе к журналу «Советская библиография», выпущенном в 1972 году.⁴ Построенный по тематическому принципу, указатель давал представление о разработке на страницах издания важнейших вопросов истории, теории, методики и методологии библиографии. Однако с тех пор прошло более десяти лет. За это время «Советская библиография» стала журналом, на ее страницах помещены тысячи новых материалов, отражающих состояние библиографии и библиотекостроения на уровне их сегодняшнего развития. Редколлегия журнала внимательно относится к учету публикуемых материалов и ежегодно в шести номерах печатает сводное содержание журнала за год. В 1976 году (в первом номере) напечатан указатель за 1971—1975 годы. Такие указатели, ограниченные узкими хронологическими рамками, полезны и необходимы для читателя, но они не создают общей картины издания, не дают возможности ориентироваться во всем многообразии материала, публиковавшегося на его страницах. Поэтому чрезвычайно полезен и необходим выпуск нового указателя, который мог бы представить читателю «Советскую библиографию» на протяжении всей ее пятидесятилетней деятельности. Такой указатель нужен всем библиографам, работникам библиотек, исследователям, занимающимся в разных областях науки.

Возьмем другую проблему: газетные и журнальные вырезки как научный источник в литературоведении. Она поставлена в статье М. П. и Н. М. Бергиных (1936, вып. 14), но также до сих пор не решена. Литературные и литературоведческие материалы учитываются (без раскрытия их содержания) летописями газетных и журнальных статей, рецензий. Однако пользоваться зарегистрированными там материалами, разбросанными по десяткам, а порою и сотням газет, чрезвычайно трудно и не всегда возможно. Поэтому службы Союзпечати по подписке обеспечивают библиотеки страны и научно-исследовательские учреждения тематическими подборками вырезок. Можно, например, подписаться на вырезки, посвященные русской литературе разных эпох, народному творчеству, литературным музеям и памятным литературным местам и т. д. Между тем в библиотеках коллекции журнально-газетных вырезок и сегодня должным

⁴ Советская библиография. Систематический указатель содержания. 1933—1970. Сост. Л. Н. Алферова, Б. Н. Касатова. Под ред. А. Ф. Кузнецовой. М., Книга, 1972, 212 с.

вниманием не пользуются. Эти коллекции почти не комплектуются. Поэтому научная и информационная часть источниковедческого материала, помещавшаяся на страницах периодических изданий, особенно в газетах, часто проходит мимо исследователя и порою просто теряется. В этом отношении следует говорить о налаживании работы с газетными и журнальными вырезками хотя бы в крупнейших библиотеках страны (1973, № 1), потому что вырезки облегчают разыскания и бывают крайне необходимы при работах текстологического, источниковедческого и библиографического характера. Что же касается журнала «Советская библиография», то здесь следовало бы вновь поставить вопрос о комплектовании и способах обработки подобных коллекций, используя опыт учреждений, ведущих такую работу.

В области научно-вспомогательной библиографии журнал обращается к проблемам библиографии диссертаций (1960, № 5; 1974, № 4), к методике построения внутрикнижной и пристатейной библиографии (1952, вып. 1), к библиографии периодических изданий (1949, вып. 1), к книготорговой библиографии (1961, № 6; 1980, № 2), к библиографии литературы для детей (1973, № 1; 1983, № 1), наконец, к библиографии библиографий (1981, № 4). Эти обращения характерны совмещением теоретического подхода с решением практических задач библиографии, что делает многие материалы журнала интересными для разных категорий читателей, в том числе и практиков библиотечно-библиографического дела.

Отраслевые и тематические библиографии научно-вспомогательного характера обсуждаются на страницах издания в их многообразии, включая библиографии по общественным и точным наукам, по технике и сельскому хозяйству, по культуре и просвещению и т. д. Конечно, в количественном отношении преобладают обращения к библиографическим проблемам общей культуры, истории, марксизма-ленинизма, языкознания, литературы и литературной науки. Среди разных проблем, здесь обсуждаемых, привлекают внимание вопросы научной библиографии по истории международного коммунистического и рабочего движения (1962, № 4), задачи создания разного типа справочников по истории Великой Отечественной войны (1946, вып. 1), библиография экономической и философской литературы (1970, № 6), методические разработки по учету исторических источников (1958, вып. 50). Однако нас прежде всего интересуют вопросы литературы, которые в издании, если не занимают ведущего положения, то всегда находятся в центре внимания. И это понятно: литературная и литературоведческая библиография более развита, чем другие отраслевые библиографии, и чаще применяются в практической деятельности.

Касаясь литературной библиографии, журнал ставит вопросы о ее принципах и задачах. Таковы, например, работы С. Д. Балухатого «К пересмотру принципов литературной библиографии» (1935, вып. 3), А. И. Барсука «Насущные проблемы литературной библиографии» (1958, вып. 51), С. А. Трубникова «Актуальные вопросы развития библиографии художественной литературы и литературоведения» (1959, № 3), В. С. Крейденко «Насущные вопросы библиографии национальной художественной литературы» (1960, № 1), С. А. Трубникова «Литературная библиография как фактор сближения культур народов СССР» (1982, № 6) и др. В них развития библиографии раскрываются задачи, которые стоят перед библиографией на каждом этапе ее развития, решаются методические и методологические проблемы, подводятся итоги предшествующего пути. Совместно с материалами информационного и критического характера они дают представление о сегодняшнем состоянии литературной библиографии в стране, особенно научной библиографии, а также о ее перспективах. Правда, эти проблемы ставятся и обсуждаются преимущественно в общих формах, мало касаясь конкретных трудов и задач библиографического освоения наследия выдающихся представителей отечественной литературы или отдельных эпох в ее развитии. Почему бы, например, журналу «Советская библиография» не обратиться к проблеме библиографирования дореволюционной литературы о русских писателях, выяснить причины отставания этой отрасли нашей научно-вспомогательной библиографии. В настоящее время мы не располагаем библиографическими сводами дореволюционной литературы о Лермонтове, Гоголе, Беллинском, Некрасове, Тургеневе, Лескове и многих других русских писателях, что заметно осложняет работу по изучению их наследия и роли этих писателей в истории отечественной литературы: из поля зрения исследователя в значительной мере выпадает прижизненная критика и весь ранний этап научного освоения творчества и биографии писателей. Обсуждение такой проблемы в «Советской библиографии» могло бы привлечь внимание учреждений, в этой области работающих, и способствовать не только стабилизации, но и улучшению создавшегося положения. А проблема восприятия русской литературы за рубежом! Ее библиографическая разработка имеет решающее значение для последующих исследований. Между тем зарубежные переводы наших писателей и иностранная литература о них почти не привлекают внимания библиографов, задерживая тем самым изучение процесса восприятия русской литературы за пределами нашей страны и ее роли и значения в мировом литературном развитии. К сожалению, журнал «Советская библиография» к этим проблемам не обращается.

Литературная и литературоведческая части рекомендательной библиографии представлены в журнале статьями об ее общественной роли (1970, № 4), основных чертах (1960, № 3), о семинариях как рекомендательных пособиях для специалистов (1952, вып. 2). Из выступлений «Советской библиографии», касающихся рекомендательной библиографии, остановимся на проблемах семинария, которые в 1950-х годах успешно решались как в теоретическом, так и в практическом планах, но с течением времени этот процесс ослабел, а затем и почти совсем прекратился. Подготовка и издание семинария как рекомендательного пособия для преподавателей и учащихся вузов сведены до минимума. В последние годы появились лишь два семинария, посвященные Горькому и Леонову. Положение сложилось странное: теория и практика подтвердили полезность и необходимость подобного рода справочно-методического издания, издательская же среда, не внимая требованиям науки и преподавательской деятельности, сначала приступила к изменению типа издания, сокращая и суживая его содержание, а потом почти совсем прекратила выпуск таких пособий, обойтись без которых на сегодняшнем уровне развития науки и методики преподавания невозможно. Между тем высшая школа сейчас нуждается не только в новых семинариях, но и в переиздании семинариев, выпущенных в 1950—1960-е годы и требующих пересмотра и дополнения в соответствии с достижениями литературной науки за прошедшие 20—25 лет. Назрела настоятельная необходимость нового обращения к жанру семинария и на страницах научной печати.

Существенный вклад сделан «Советской библиографией» в развитие в нашей стране библиографии местной печати (краеведческая библиография), особенно ее теории, которая начала разрабатываться в советское время, когда возрос и оформился интерес к краеведению, в том числе и литературному. В этих условиях дальнейшее развитие краеведения уже не могло обходиться без библиографии, поставленной на четких теоретических основаниях. В их разработку включается и журнал «Советская библиография», обсуждая на своих страницах содержание понятия «краеведческая библиография» (1959, № 4), ее методiku (1955, вып. 38; 1969, № 4) и историю (1957, вып. 46; 1961, № 5; 1962, № 1; 1968, № 2 и др.), основные тенденции развития (1982, № 1), аннотирование и структуру указателей литературы по краеведению (1979, № 5; 1980, № 6), много внимания уделяя универсальной краеведческой библиографии, а также отраслевой и тематической. Вместе с тем здесь разрабатываются вопросы организации работ по составлению краеведческих библиографических указателей, в том числе указателей материалов, опубликованных на страницах местной печати. Правда, не все виды справоч-

ных изданий краеведческого плана затрагиваются в «Советской библиографии». Здесь мы, например, ничего не найдем о достаточно интенсивно сейчас развивающейся краеведческой библиографии. Дело в том, что предварительные краеведческие исследования, осуществлявшиеся давно и широко, ввели в научный оборот такое количество исторических и историко-литературных фактов и материалов, что краеведение в целом получило возможность выйти на новый, более высокий уровень, задачей которого стало обобщение и систематизация всего ранее открытого и накопленного. Одним из возможных путей к названной цели является создание словарей деятелей местного края, в том числе деятелей литературы, критики, литературной науки. Характер отбора имен, содержание и полнота биографического очерка или статьи, принципы составления библиографии в появляющихся в этой области изданиях неодинаковы. Их широкое обсуждение необходимо, потому что в ближайшие годы можно ожидать заметного увеличения библиографических работ краеведческого профиля, которое во многом будет обусловлено завершением и предстоящим выпуском в свет в 1980-х годах библиографических словарей, посвященных русским писателям средневековья, XVIII, XIX и начала XX веков, над которыми сейчас работает Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР в Ленинграде и Издательство «Советская энциклопедия». Такие обсуждения необходимы, так как столь широкие работы в области библиографии в нашей литературной науке ведутся впервые и принципы, их определяющие, в процессе составления совершенствуются и порою корректируются. Журнал «Советская библиография», раньше крайне редко обращавшийся в область библиографии, теперь получает широкие возможности для постановки и обсуждения проблем, с этой областью библиографии связанных.

Виды библиографии, рассмотренные выше, конечно, не исчерпывают всего содержания библиографии. Однако это не значит, что к другим ее видам «Советская библиография» никогда не обращается. Просто по своей роли и значению, по уровню своей разработанности они не требуют столь пристального внимания, как главнейшие из них. Но иногда предметом рассмотрения становятся, например, книговедческая библиография, библиография библиографии, библиография детской литературы, но это в основном работы частного плана, крупных обобщений не содержащих. Хотя бывают и исключения: из материалов, в значительной части опубликованных в «Советской библиографии», выросла, например, интересная и крайне сейчас необходимая монография В. О. Осипова «Русская книготорговая библиография до начала XX века» (М., Книга, 1983).

Если обращения «Советской библиографии» к видам библиографии дают представление о работе теоретической и методической мысли, то огромное количество материалов о деятельности библиографических и библиотечных центров страны формирует представление о состоянии и организации библиографии в СССР в целом. Бесконечная мозаика из статей, сообщений, информационных материалов составляет общую картину, освещающую разные стороны нашей библиотечно-библиографической действительности: координация библиографической работы и кадры, научная деятельность и научная информация, центры, организации, учреждения, общественные органы, печатные издания и многое другое.

В этой общей картине преимущественное положение занимает Всесоюзная книжная палата и книжные палаты союзных республик, деятельность которых во многом предопределяется характером и уровнем библиографической работы в масштабе республики или страны в целом. Освещение деятельности книжных палат осуществляется по разным параметрам: разрабатывается их история — этому посвящено много материалов, в том числе юбилейных, — рассматривается издательская и организационная деятельность, кадровая система, библиографическая и научно-методическая работа, обсуждаются главнейшие издания книжных палат, в том числе летописи книг, журнальных и газетных статей, рецензий и т. д.

Очень широко представлена в издании деятельность книжных палат союзных республик, но представлена в основном в информационных и юбилейно исторических материалах. Но еще более широко и многосторонне на страницах «Советской библиографии» ведется рассказ о советских библиотеках разной значимости и разных назначений, об участии их в библиографической работе. Здесь не просто отдельные информации или сведения о библиотеках, а целые комплексы материалов о массовых и научных библиотеках, о крупнейших библиотеках страны, какими являются Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина или Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, а также о библиотеках исторических, театральных, политехнических, медицинских, о библиотеке Академии наук СССР и ее филиалах, о вузовских библиотеках и т. д.

Проблема учреждения, занимающегося библиографической работой, — одна из важнейших в журнале. Она не только занимает много места, но и изучается в разных аспектах: исторически, генетически, с точки зрения ее сегодняшнего дня и перспектив деятельности в будущем. Например, в связи с 50-летием преобразования Румянцевской библиотеки в Государственную библиотеку СССР им. В. И. Ленина рассматриваются глав-

нейшие направления рекомендательной и ретроспективной библиографии, создаваемые в этой библиотеке сегодня, и тем самым ставятся общие проблемы развития библиографии в стране (1975, № 1). Деятельность отдельного учреждения предстает перед читателем на широком фоне общей библиографической работы в СССР. К сожалению, деятельность не всех библиографических центров одинаково внимательно освещается на страницах журнала. Редко или совсем не обращается «Советская библиография» к справочно-библиографической работе академических учреждений, работающих в области исторической и литературной науки. Между тем учреждения, работающие здесь, обладают большим опытом и традициями в сфере исторической и литературной библиографии. Взять хотя бы Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. С 1905 года это научно-исследовательское учреждение сотни работ библиографического, справочного, источниковедческого профиля, многие из которых в разные эпохи предопределяли развитие библиографии в отдельных отраслях литературоведения или в литературоведении в целом. Однако этот опыт недостаточно изучен и сейчас редко привлекает к себе внимание, хотя и сегодня Институт осуществляет работы по подготовке библиографических словарей русских писателей, ведет подготовку библиографических указателей литературы по народному творчеству, по пушкиноведению, лермонтоведению, приступает под руководством К. Д. Муратовой к продолжению известных справочников по истории русской литературы XIX—начала XX века, созданных в Пушкинском Доме в 1962—1967 годах. То же следует сказать об Институте истории СССР, об Институте славяноведения и балканистики, об Институте мировой литературы им. А. М. Горького. Хотя они и реже выступают с библиографическими исследованиями, но такая работа и в этих учреждениях ведется постоянно и заслуживает внимательного к ней отношения, так как опыт ее способствует успешному развитию библиографии и правильному определению ее перспектив в некоторых отраслях науки и просвещения, в данном случае касающихся исторического и литературного развития нации и страны.

Вполне закономерно, что в издании, посвященном библиографии, ее истории уделяется немало внимания и места. Исторический раздел — очень насыщенный, разнообразный и интересный не только для профессионального библиографа, но и для всех, кто увлекается книгой и ее историей. Если собрать воедино все выступления в этой области, то получится обширный комплекс материалов, существенно дополняющий известные работы Н. В. Здобнова и М. В. Машковой, а в отношении истории библиографии в советское время именно

здесь сделаны первые шаги, намечающие дальнейшее систематическое изучение исторического процесса в этой области. Конечно, печатаемые материалы в своей совокупности вносят много в историю библиографии, но истории собою еще не представляют, а остаются лишь материалами к ней, хотя и многочисленными, и интересными, и надежными. История библиографии раскрывается в издании в разных формах — в биографиях выдающихся деятелей библиотечного и библиографического дела, в исследованиях крупнейших явлений в этой области, в раскрытии книжных собраний, в выявлении и публикации новых материалов и т. д. История отечественной библиографии разработана у нас неравномерно. Далеко не всегда раскрыта история выдающихся библиографических трудов, обстоятельства их создания, биографии даже крупнейших русских библиографов, деятельность библиографических организаций до Октябрьской революции и после нее. В заполнении этих белых пятен существенную роль сыграл и сейчас играет журнал «Советская библиография». Возьмем первые, сейчас почти забытые номера «Советской библиографии». В них мы найдем статью Е. И. Хлебцевича «М. Горький и красноармейские читатели», представляющую собою обобщение читательских отзывов о творчестве Горького, в данном случае отзывов красноармейских (1933, вып. 1—3), рядом статья П. Н. Беркова об идеологической позиции В. С. Сошкова и тут же работа Б. С. Боднарского «В. Я. Брюсов как библиограф», представляющая поэта с неожиданной и до тех пор неизвестной читателю стороны. Б. С. Боднарский лично знал Брюсова, наблюдал его библиографическую работу, был председателем Русского библиографического общества, в котором Брюсов состоял действительным членом почти с момента его основания и до конца жизни. Излагаемые в статье сведения имеют часто значение первоисточника, потому что Б. С. Боднарский выступает здесь и как исследователь, и как мемуарист.⁵ Впрочем, статья Б. С. Боднарского в издании не единична. Работы подобного рода раскрывают новые стороны в деятельности разных писателей, освещают их библиографические интересы и приемы работы с книгой. К ним относятся статьи Н. В. Здобнова «Книга в жизни М. Ю. Лермонтова» (1940, вып. 1), Ю. И. Масанова «Белинский, книга и библиография» (1948, вып. 6) и «Добролюбов и Чернышевский о библиографии и библиографическом на-

правлении в литературной критике» (1954, вып. 37), Е. И. Рыскина «Н. В. Гоголь и библиография» (1953, вып. 1), М. П. Гуменюка «Иван Франко и библиография» (1956, вып. 43), М. И. Слуховского «М. В. Ломоносов и книга» (1962, № 4), Л. М. Равич «М. Л. Михайлов и его место в истории русской библиографии 50—60-х годов XIX в.» (1969, № 2). В последнее время работ об отношении русских писателей к книге и библиографии стало появляться меньше. И это следует отметить с сожалением, потому что разработка этого вопроса только начата и журнал «Советская библиография» мог бы здесь предложить читателю как новые решения, так и новые материалы.

Еще в большей степени значение первоисточника принадлежит серии работ И. А. Друганова. Три его статьи называются «Библиотеки ведомственные, общественные и частные и судьба их в советскую эпоху» (1933, вып. 1—3; 1934, вып. 2, 3—4). Автор дает описание полутора тысяч библиотек, государственных, церковных, учебных заведений, правительственных ведомств, различных обществ, союзов и частных собраний, обозначая количество книг и рукописей, выделяя наиболее ценные фонды, фиксируя источники комплектования. Но самое главное — он прослеживает путь книжных собраний через революцию, раскрывает их судьбы в послереволюционные годы, связанные в большинстве случаев с переходом из частного владения в пользование народных масс — в государственные библиотеки, в научные и общественные учреждения, в учебные заведения и т. д. По своему типу и характеру работа И. А. Друганова на новом историческом этапе продолжает известный труд У. Иваски и до сих пор не превзойдена в этой области. К сожалению, в нашей библиографии так и нет труда, посвященного судьбам крупнейших книжных собраний страны, который был бы поучителен для развития библиотечного дела, для понимания его истории. Рядом с работой И. А. Друганова исследование А. Громовой (1934, № 1), посвященное не привлекавшей до того времени внимания истории публичных библиотек в провинции в 1830—1850-х годах с приложением их перечня и литературы о них. Эта работа также сохраняет свое значение и сегодня. Впрочем, история русских библиотек, их развитие в условиях социалистического общества часто рассматривается на страницах издания, которое за полвека своего существования сделало немалый вклад в отечественное библиотечное дело. Что же касается библиотек личных, библиотек писателей и ученых, библиофильских книжных собраний и коллекций, то эта проблема вошла на страницы «Советской библиографии» лишь в своей незначительной части. Между тем она представляет собою соединительное звено между библиотечным делом и литературоведением и в настоя-

⁵ Иногда журнал спустя много лет вновь обращается к ранее уже обсуждавшимся вопросам. Так было и в отношении В. Я. Брюсова, новая статья о его библиографической деятельности, принадлежащая Н. В. Гужевой, была напечатана в 1976 году (№ 3).

щее время нуждается не просто в обсуждении, а в теоретическом обосновании, которое опиралось бы на многочисленные частные работы в этой области, к настоящему времени уже сделанные. Напечатанная в «Советской библиографии» статья Н. И. Мацуева «Личные библиотеки писателей» (1952, вып. 2) поставила некоторые задачи в этой области, но далеко не все и не в полной мере. Сейчас эта работа устарела. Практическая деятельность по составлению описаний личных библиотек, в том числе и писательских, шагнула далеко вперед, а ее теоретического обоснования в нашем литературоведении и в нашем библиотечковедении так и не появилось. Работа по описанию библиотек и их изучению продолжается, с годами становится все более и более активной и плодотворной, а поэтому обращение к проблеме личной библиотеки писателя или ученого, в том числе и в журнале «Советская библиография», — насущная необходимость, обусловленная перспективами дальнейших исследований в этой области.

Исследования и разыскания исторического плана в особые разделы вначале не выделялись, а печатались в общем ряду статей, из которых многие — не только специально посвященные истории — содержали пассажи и отступления исторического характера. В последнее время, с преобразованием издания в журнал, истории стали отводиться специальные разделы — «Страницы истории», «Творческие портреты», «Наш календарь». В центре внимания в журнале — крупнейшие явления, важнейшие события, наиболее значительные и глубочайшие процессы развития библиографии. Только в самые последние годы здесь можно было прочитать статьи и исследования о пропаганде литературы среди революционной молодежи во второй половине XIX века (1979, № 3), о слове деятелей русского революционного движения (1980, № 1), о критико-библиографическом журнале Русского библиологического общества в Петрограде «Библиографические листы» (1982, № 4), о грибоедовской библиографии (1979, № 1), об истории журнала «Российская библиография» (1979, № 6), о зарождении библиографии в Средней Азии (1975, № 5), о «Библиографическом указателе» А. Г. Достоевской и др. Здесь же обстоятельные биографии известных и забытых библиографов далекого и близкого прошлого: В. Я. Адарюкова, А. И. Богданова, Б. С. Боднарского, О. С. Вольценбурга, Г. Н. Геннади, К. Н. Дерунова, Н. В. Здобнова, П. А. Ефремова, У. Г. Иваска, Н. М. Лисовского, В. Е. Межова, И. Ф. Масамова, Н. К. Пиксанова, С. Д. Полторацкого, Н. А. Рубакина, К. Р. Симона, А. Ф. Смирдина, В. С. Сопикова, А. Г. Фомина, Н. М. Ченцова, А. А. Шилова, Д. Д. Языкова, Е. И. Якушкина и многих других. Исторические материалы в «Советской библиографии» отличаются не только

многочисленностью, но и целенаправленностью их отбора. Все они дополняют существующие сейчас представления об истории библиографии, вводят новые факты и документы, готовят условия для создания в будущем капитального труда, посвященного истории русской библиографии.

Журнал «Советская библиография» затрагивает не только проблемы отечественной справочно-библиографической службы, но и обращается к зарубежной библиографии с точки зрения ее истории, современного состояния, перспектив развития. Такое обращение к зарубежной библиографии позволяет сопоставить успехи и недостатки отечественного развития в области библиографии и библиотечковедения с аналогичным развитием в зарубежных странах. Кроме того, особое внимание здесь уделяется зарубежной библиографии, посвященной нашей стране, ее истории, культуре, литературе. Использование положительных моментов зарубежного опыта и его популяризация входят в программу журнала и выполняются им в широких масштабах. В области зарубежной библиографии журнал часто обращается — в основном в жанрах информации или подробного сообщения — к деятельности международных библиографических и библиотечных учреждений, конгрессов, конференций, симпозиумов, совещаний. Одновременно на его страницах затрагиваются вопросы научных связей — двусторонних и многосторонних — в библиографии и библиотечковедении, рассматриваются международные библиографические издания.

Критика в научном издании во многом определяет его уровень, направление, характер взаимосвязанности с текущим научным процессом, освещаемым в рассматриваемой литературе. В «Советской библиографии» критика была и сейчас остается в центре внимания. Критический раздел журнала интересен организован и постоянно совершенствуется. Прежде всего, он — многожанровый, что отражается и в его названии («Обзоры и рецензии»), во-вторых, он не только несет в себе информацию, но посвящен критике недостатков, введению в научный оборот материалов, не учтенных авторами и составителями рецензируемых или обозреваемых изданий, в-третьих, он отличается достаточной широтой, откликаясь на важнейшие явления в советской библиографии и тем самым создавая правильное представление о ее состоянии и творческих возможностях. Но это не все. В последнее время, стремясь полнее представить деятельность современной отечественной мысли в области библиографии, журнал вводит небольшой, но очень важный раздел, который называется «Коротко о новых изданиях». Здесь печатаются рецензии (или правильнее сказать — отзывы), преимущественно дающие информацию о книгах, посвященных библиографии и библиотечному делу, раскры-

вающие их содержание и преследующие, в основном, цели их популяризации. Этот раздел заметно расширяет сферу деятельности журнала. Еще одной особенностью «Советской библиографии» является то обстоятельство, что порою критика перерастает здесь в дискуссию или в широкое обсуждение, которое, не укладываясь в рамки отдела критики, продолжается в дискуссионных статьях, отражается в теоретических и методических работах, наконец, выходит за пределы журнала и ведется в изданиях более специальных.⁶ Это придает критике живой и творческий характер, позволяя ей проникать вглубь процессов, протекающих в библиографии и библиотековедении.

⁶ Так, в широкие дискуссии, вышедшие за рамки журнала и затронувшие важнейшие проблемы библиографии, вылились обсуждения книги В. Н. Денись-

Журнал «Советская библиография» интересен для литературоведов тем, что он часто обращается к литературной библиографии, а также позволяет следить за развитием отечественной библиографии, которая во многих своих проявлениях связана с литературой и литературной наукой. Однако в будущем в журнале было бы желательно более тесное объединение усилий библиографов и историков литературы, пока еще недостаточное. При таком объединении решение проблем литературной библиографии, особенно определение ее задач и перспектив, будет более точным, отвечающим запросам общества и науки.

ева «Общая библиография» (М., 1954), коллективного труда «Общая библиография» (М., 1957) и др.

С. И. Николаев

ПОЭТИКА СЛАВЯНСКОГО ТЕАТРА XVII— ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА *

Исследование Л. А. Софроновой посвящено школьному театру славянских стран (Польши, Украины и России), причем наименее разработанной его области — поэтике. Чаще всего в предшествующих работах по истории школьного театра его поэтика характеризовалась попутно, зачастую авторы ограничивались указанием на «риторичность», «схематичность» этого театра. Негласно он признавался художественно несостоятельным, существовал как бы вне стиливых исканий XVII—XVIII веков. Уже само употребление эпитета «школьный» подразумевало, что речь идет о чем-то далеком от искусства.

Приступая к собственно исследованию, Л. А. Софронова объясняет причины, породившие такое отношение к изучаемому предмету, и возвращает понятию «школьный театр» его терминологическое, а не оценочное значение. Это определило и композицию книги: первые главы (всего их одиннадцать) посвящены не только введению в проблематику и истории изучения школьного театра, но и выявлению его места и роли в литературном процессе XVII—XVIII веков, в культуре той поры. Только потом идут главы, в которых непосредственно анализируются художе-

ственная структура школьной драмы, ее сюжет и герой, эмблематический и аллегорический характер школьного театра и т. д.

Выводы, к которым приходит автор, а также используемые ею приемы и методика анализа обширного материала (в указателе пьес — около 200 названий) не только раскрывают суть такого своеобразного явления, как школьный театр, но и весьма плодотворны для изучения в целом литературы XVII—первой половины XVIII века. Выделим лишь некоторые, на наш взгляд, существенные положения.

Л. А. Софронова справедливо считает школьный театр, составную часть литературной культуры XVII—XVIII веков, барочным по своей природе: «... многие его пьесы являются наиболее последовательными выразителями барокко в славянской культуре» (с. 239). Анализируя школьный театр, автор на протяжении всей книги сопоставляет свои наблюдения не только с формализованной эстетикой той поры (поэтиками, риториками и трактатами по сценической игре), но и с другими формами словесного творчества — лирикой и романом, — отчего выводы приобретают более весомый характер. Каждый исследуемый элемент, будь то структура сюжета или герой, аллегорический или эмблематический характер театра, соотнесен со многими литературными явлениями эпохи, рассматриваемыми с точки зрения современной теории

* Софронова Л. А. Поэтика славянского театра XVII—первой половины XVIII в. Польша, Украина, Россия. М., «Наука», 1981, 263 с.

славянского барокко, в разработке которой значительная роль принадлежит самой Л. А. Софроновой. Особенно убедительно выглядит такой анализ в насыщенной конкретным материалом рецензируемой монографии, задача которой «не столько назвать, определить отдельные черты барочной поэтики, сколько последовательно, не ограничиваясь рядом примеров, пусть даже убедительных, проследить их действие на всем материале, который нам предоставляет театр. . .» (с. 241).

Этот последовательный анализ показывает одновременно полную несостоятельность долгое время бытовавшего в научной литературе представления о барокко только как об искусстве формы. Утверждая, что «любой художественный текст барокко — это строгая система с выдержанной иерархией уровней, подчиненная единому эстетическому заданию» (с. 11), автор показывает, что, «тщательно работая над формой, художники барокко в первую очередь были нацелены на значение» (с. 22). Этот важный вывод главы «Несколько замечаний о поэтике барокко» сделан на основании анализа основных категорий эстетики барокко и в дальнейшем развит на драматическом материале.

Произведение барокко требует от читателя усилий мысли, иногда значительных, но при этом поэт и драматург всегда помогают читателю или зрителю, направляют его. Произведение строится таким образом, что авторская интерпретация является его составной частью. Без объяснения, введенного в текст, оно может быть понято не только неверно, но и превратно. Достаточно красноречив следующий пример. В странах Западной Европы, особенно католических, была распространена религиозно-эротическая лирика, отчасти известная и в русских переводах. Обычно эти стихотворения о возлюбленном и возлюбленной (женихе и невесте) включались в эмблематические сборники и сопровождалась эпиграфом, например из «Песни песней», и иллюстрацией-эмблемой. Этот контекст не оставлял у читателя никаких сомнений в том, что речь идет о боге и стремящейся к нему душе. Однако стоит убрать эти авторские «указания», как стихотворение превратится в образец любовной лирики откровенно либертинского толка. Проведенная в книге Л. А. Софроновой общая разработка взаимоотношений значения и авторской интерпретации (главы 1 и 11) оказывается особенно важной как раз для школьного театра, так как «благодаря дидактической направленности школьного искусства число значений его произведений могло свестись к одному» (с. 23).

Это положение представляется очень плодотворным и для решения частных проблем. Например, было принято считать, что программы фейерверков и театрализованных действий Петровской эпохи составлялись по той причине, что их аллегорический смысл был непонятен «непро-

священным россам». Можно полагать, что если это и верно, то только отчасти. Они, конечно, будучи составной частью представления, призваны были помочь зрителю выбрать из «веера значений» барочного текста единственно верное, поскольку эмблематический характер действия допускает множество его прочтений (например, лев мог олицетворять не только Швецию, но и Польшу, и Турцию, Александр Македонский — и Карла XII, и Петра I, и т. д.). Но, кроме того, программа приобщала читателя-зрителя к самому действию: интерпретируя увиденное, он становился его участником, умело направляемым к скрытому истинному значению. Пример с программой приведен не случайно. Здесь мы переходим к следующему важному положению, разработанному Л. А. Софроновой.

В не столь отдаленном прошлом значительная часть упреков школьному театру в однообразии, риторичности, безвкусице была связана не только с тем, что к нему предъявляли требования, приложимые к театру Ренессанса или XIX века, не только с отсутствием общей теории барокко, но и с игнорированием специфики школьного театра: «С одной стороны, он, действительно, был театром, с другой — чем-то вроде наглядного пособия по поэтике и риторике, что порождало, конечно, множество несовершенных пьес» (с. 9, ср. с. 34—37). По этой причине исследователей более занимала не эстетическая его функция, а дидактическая. Само же соединение общественной и эстетической функций считалось особенностью именно школьного театра, но при этом игнорировалась двойственная природа не только этого вида театра, но и целого пласта культуры XVII—XVIII веков, частью которого он был.

Рассматривая на обширном славянском материале известную метафору «мир — театр», автор убедительно показывает, что в XVII—первой половине XVIII века происходит своеобразная ее реализация, заключающаяся в растворении эстетического во внеэстетической реальности. Это нашло выражение в чрезвычайно развитой паратеатральной культуре эпохи: театр фейерверков, различные торжественные процессии и церемонии, маскарады и т. д. «Театр не только проникнул в другие виды искусства, способствовал созданию новых „под-искусств“, оказывал серьезное влияние на общественную жизнь, сливая формы общественно-политической жизни с развлечениями, но и распространялся вширь, захватывая огромное количество частных проявлений культуры» (с. 71). Апалогичные процессы происходили не только в театре: в архитектуре активно развивается окказиональная архитектура (триумфальные врата, арки и т. д., включая Ледяной дом 1740 года); в живописи наиболее ярким примером утилитаризации искусства является польский надгробный портрет, сравнительно недавно ставший

объектом исследования;¹ в литературе массовые «прикладные» формы сказались в жанре эпитафии, двойственная природа которой вызвала уже у современников (не говоря о потомках) и почтение, и едкую насмешку.

Подобное расширение художественной реальности за счет реальности внеэстетической затронуло практически все уровни культуры. «...Эстетическая реальность барокко расширяется до всего типа культуры, искусство в этот период проникает (опускается) во многие сферы жизни, а традиционная жанровая система художественных текстов характеризуется динамичностью и усложненностью».² Рас-

¹ См.: *Тананаева Л. И.* Сарматский портрет. Из истории польского портрета эпохи барокко. М., 1979.

² *Чернов И. А.* Из лекций по теоретическому литературоведению. I. Барокко: Литература. Литературоведение. Тарту, 1976, с. 144.

смотрение художественной природы школьного театра с точки зрения сложного переплетения и взаимодействия литературы и действительности, театра и жизни позволяет заключить, что «двойственность школьного театра в глазах его зрителей и создателей была не недостатком, а естественной чертой» (с. 36—37).

Разработка двух выделенных нами положений: проблема значения и авторской интерпретации в барокко и двойственная природа школьного театра — позволила автору выявить особенности такой сложной общественной институции, как школьный театр славянских стран, рассмотреть его как единый художественный организм, раскрыть его роль в общекультурном контексте эпохи. Монография Л. А. Софроновой представляет собой не только весомый вклад в изучение славянских литератур XVII—XVIII веков, но и является исследованием, в котором решаются важные теоретические вопросы.

В. А. Михельсон

ДВЕ КНИГИ О ВЗАИМОСВЯЗЯХ БРАТСКИХ ЛИТЕРАТУР *

Опыт создания истории межнациональных литературных связей на протяжении XIX—XX столетий, предпринятый Н. Е. Крутиковой, Д. В. Чалым, С. А. Кривошаповой и Т. П. Маевской, открывает новые страницы в изучении литературы народов СССР, и прежде всего русской и украинской литератур. Столь серьезные и обстоятельные работы в этой области появляются впервые и рисуют перспективу дальнейшего развития сравнительного литературоведения.

Изучение взаимосвязей литератур позволяет шире раскрыть национальное и интернациональное значение русской литературы и тем самым более полно уяснить всемирно-историческую роль ее прогрессивной идейности, гуманизма, народности, эстетической ценности.

С другой стороны, рецензируемые труды освещают важные стороны знаменательного исторического процесса, в ходе которого «на основе прогрессивных традиций, интенсивного обмена духовными ценностями расцвела социалистическая

многонациональная культура»¹ — и братские литературы, в частности такие развитые уже в XIX веке, как белорусская и особенно полно рассмотренная авторами украинская, опираясь на идеологические и художественные нормы русской литературы, взаимно обогащаясь, предстали не только в своей национальной, но и во всесоюзной и мировой значимости.

В рассматриваемых книгах украинских ученых конкретно-исторический анализ эпохи и внутренних закономерностей литературного развития сочетается с публицистическим освещением исторического смысла совместной освободительной борьбы народов против царизма, капитализма, всех националистических сил, победы и сплочения в Союз Советских Социалистических Республик.

Книга члена-корреспондента АН УССР Н. Е. Крутиковой представляет собой обозрение истории литератур ряда народов России в XIX столетии и истории многонациональной советской литературы вплоть до ее современных явлений.

В центре внимания ученого — русская, украинская и белорусская литературы, но в поле ее зрения находятся и основные факты литературного движения других социалистических наций. Автор

* *Крутикова Н. Е.* Взаимодействие и сближение братских литератур народов СССР. Киев, об-во «Знание» УССР, 1980, 64 с.; *Кривошапова С. А., Маевская Т. П., Чалый Д. В.* Освободительное движение и русско-украинские литературные взаимосвязи. Киев, «Наукова думка», 1982, 256 с.

¹ *Андропов Ю. В.* Шестьдесят лет СССР. М., 1982, с. 8.

не прибегает к синхронному обзору литературной истории: выявляется типология процесса и обрисовываются в монографическом плане крупные писательские фигуры. Специфика многонациональных литературных связей прошлого века рассматривается в историко-функциональном освещении при характеристике творческой деятельности Гоголя и Франко. Оценивается влияние Гоголя на процесс сближения русского и украинского народов. В сочинениях писателя русский читатель «увидел и полюбил Украину»; Гоголь проник в глубины, «до него неизведанные», создал «неповторимый облик народа, духовный образ Украины» (с. 18).

Со стороны украинской литературы представлена писательская и литературно-критическая деятельность И. Франко, которая приблизила украинскую общественность к родственной русской литературе. О значении для Украины романа Чернышевского «Что делать?» И. Франко писал: «...женская молодежь увидела в Вере Павловне идеал освобождения... мужская молодежь видела в Рахметове человека будущего» (с. 11). Писатель глубоко постиг художественный мир русской литературы, глубины искусства Достоевского и Л. Толстого, дух сарказма Щедрина, пророчества Чернышевского.

Н. Е. Крутикова устанавливает некоторые закономерности литературного развития в условиях социалистической действительности. Взаимодействие литератур приобретает новую основу: «Их взаимное обогащение становится осознанной закономерностью. Это уже не проявление интернационалистских стремлений отдельных прогрессивных деятелей национальных культур... а управляемый и организованный процесс, основанный на равноправии и братской дружбе народов» (с. 31).

В ходе развития социалистической культуры происходит объединение и тем самым умножение творческих сил братских народов. В области литературы это выражается в том, что выдающиеся произведения всех литератур образуют «всесоюзный культурный фонд». «Крутиное, общезначимое явление... — пишет Н. Е. Крутикова, — закономерно становится достоянием общесоюзным... новым рубежом, к которому стремятся советские писатели и которого достигают, создавая произведения, часто вовсе не похожие на первоначальный стимул» (с. 44—45). Всесоюзный культурный фонд обогатил не только классика, но и современность, произведения О. Гончара и В. Кожевникова, Г. Маркова и И. Мележа, В. Быкова и А. Нурпеисова, Ч. Айтматова и П. Загребельного.

В своих теоретических положениях исследовательница исходит из фактов литературного процесса, которые свидетельствуют о том, что «преемственность традиций всегда связана с созданием качественно новых, оригинальных творений»

(с. 13). Общение литератур ведет не к тождеству, не к «унификации», как клеветают «советологи», а к новаторству, обогащению, творческому расцвету.

Взаимосвязи литератур ярко выявляются Н. Е. Крутиковой при историко-функциональном освещении роли в литературном процессе творчества Горького, Маяковского и Шолохова. Она обращает внимание на новые, неизученные ранее формы действия механизма литературных влияний. Влияние М. Горького шло, по образному выражению Н. Е. Крутиковой, «как бы на „встречной волне“, полностью отвечая тем процессам, которые происходили в национальных литературах и были обусловлены историческими общественными преобразованиями» (с. 23).

В истории поэзии не меньшим было значение примера Маяковского. Н. Е. Крутикова приводит афористические слова М. Бажана: «Пусть мы... не располагаем своих строк „лестницей“ Маяковского, но мы по этой лестнице взойшли к тому ощущению слова, языка, лексикона, образа, эпитетов, а прежде всего к тому строю чувств и страстей, которым горел Маяковский и которые не угаснут в советской поэзии» (с. 38).

Столько же художественного обаяния несет с собой Шолохов. Как отмечал О. Гончар, «именно ему, Шолохову, суждено было с наибольшей полнотой и силой рассказать народам, как в битвах, муках и страданиях, в полных драматизма столкновениях человеческих судеб возникал и утверждал себя вновь родинский мир» (с. 40). Но, пишет Н. Е. Крутикова в согласии с Г. Ломидзе, образцом и стимулом может быть не только великий писатель. Влияет и «весь облик» литературы, «ее направление и достижения» (с. 43).

Д. В. Чалый, С. А. Кривошапова, Т. П. Маевская не избирают своей темой литературного процесса в целом и на всем его протяжении во времени, как это мы видим в книге Н. Е. Крутиковой, но исследуют подробно и обширно русско-украинские литературные связи в XIX веке. Их книга содержит свод относящихся к проблеме фактов и опирается на современные теоретические труды в этой области. В ходе изложения рассматриваются этапы революционной борьбы в России и соотносящиеся с ними события украинской истории.

Развитие литератур представлено авторами как единый исторический процесс, в котором ярко выявляется национальное и самобытное. Показано, как вместе со сближением культур зарождается духовное единство народов. Раскрыто значение освободительных идей и эстетических достижений русской литературы в развитии украинского художественного слова и участие украинских писателей в общероссийской борьбе за исторический прогресс.

Мысли великих русских и украинских политических и литературных деятелей

о братстве народов были могучим субъективным фактором единения. «Шевченко. . . с восторгом принят, как свой, в русской литературе, и стал для нас родной», — цитируют авторы Н. Огарева (с. 130). Н. Г. Чернышевский утверждал факт не только общерусского, но и мирового значения украинской литературы: «. . . теперь на малорусском языке пишут люди, которые были бы не последними писателями в литературе и побогаче великорусской» (с. 111). «. . . Царская держава, ее жандармы и чиновники и их притеснения малейшей свободной мысли — одно дело, но литература русская с ее Гоголями, Белинскими, Тургеневыми, Добролюбовыми, Писаревыми, Щаповыми, Решетниковыми и Некрасовыми — совсем другое дело», — заявлял Иван Франко (с. 111).

Показав единство взглядов передовых русских и украинских писателей, авторы характеризуют их творческие связи и затем делают теоретический вывод: во второй половине XIX века установилось художественное равновесие литератур, преимущественным фактором стала типологическая общность. Творчество Шевченко, Франко, Коцюбинского «впитало в себя лучшие достижения русской литературы» и «стало фактором развития также и в русской общественной мысли и литературном движении» (с. 41). Типологическое единство можно видеть в понимании русскими и украинскими писателями общественной роли поэта, во взгляде на прекрасное, в героических типах народных заступников. Уже Герцен отмечал, что Шевченко — «совершенно народный писатель, как наш Кольцов; но он имеет гораздо большее значение, чем Кольцов, так как Шевченко также политический деятель» (с. 129). Авторы делают и другой вывод: «. . . без могущественного воздействия русской культуры. . . творчество Шевченко не достигло бы того совершенства, той силы и изящества, с которой оно предстало перед читателем. А отсюда и вся украин-

ская художественная мысль, могущественный импульс которой был дан творчеством Шевченко, не достигла бы той глубины и того совершенства, которые проявились в творчестве Ивана Франко, Леси Украинки, Панаса Мирного, Мпхаила Коцюбинского и др.» (с. 151).

Выявляется и национальная специфика литературного процесса. Украинский романтизм развивался позднее, чем русский, и приобретал национально-особенные черты. Украинская литература переходила к романтизму от бурлеска с его народностью и сатирой.

Известная неполнота воспроизведения в книге почти векового литературного процесса не сразу просматривается в обилии информации рецензируемого труда. Тем не менее нельзя не ощутить, что собственно художественная сторона представлена не во всех возможных параметрах. В первом очерке, например, художественная специфика исследуется преимущественно на уровне поэтической лексики. Такие литераторы, как А. М. Скабичевский, Д. Л. Мордковцев, обрисованы в кульминационные моменты деятельности, а не в их эволюции в целом.

Преодолевая методику замкнутого изучения национальных литератур, исследуя взаимосвязи как центральную ось процесса, авторы создали широкую панораму литературного развития в России и на Украине. В рецензируемых книгах наглядно представлено одно из самых значимых явлений нашей эпохи — духовное объединение веками разделенных общностью наций в единую общность. В сознании советских людей формируются общие черты, свойственные всем социалистическим нациям; литература каждой нации рассказывает о современности; коммунистическая партийность и интернационализм вдохновляют художников — все это создает многогранный, многоязычный монолит советской художественной культуры, ее высочайший уровень.

Ю. К. Бегунов

ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫЧЕСТВО И РУССКАЯ КУЛЬТУРА*

Изучение древнеславянского язычества как части общечеловеческого комплекса первобытных воззрений, верований, обрядов, идущих из глубины тысячелетий и послуживших основой позднейших мировых религий и этно-философских систем, актуально и сегодня, так как позволяет вскрыть закономерности исторического процесса формирования общественного сознания славянства, и в частности восточного славянства. Без анализа древнеславянского язычества мы

не сможем понять идеологию славянских средневековых государств, например Киевской Руси. Без анализа древнеславянского язычества невозможно изучать историю русского фольклора и древнерусской литературы, так как язычество было «началом начал» духовной жизни славянских народов, колыбелью их духа. Без анализа древнеславянского язычества мы не в состоянии понять и правильно оценить антифеодальные еретические движения славянских народов: богомилство,

* Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., «Наука», 1981, 606 с.

стригольничество, новгородско-московскую ересь, ереси Башкина и Косого, подрывавшие церковные догмы, пробуждавшие свободомыслие и рационализм.

Авторами первых крупных работ в области древнеславянского язычества были: Е. В. Аничков, Н. М. Гальковский, Любор Нидерле, Ян Махал, Александр Брюкнер, Станислав Урбацкич.¹ Не может быть забыт и трехтомный труд А. Н. Афанасьева, представляющий солидную сводку этнографических материалов XIX века по славянскому язычеству.² Касались этой проблемы советские историки, этнографы, лингвисты (В. И. Чичеров, С. А. Токарев, В. В. Иванов и В. Н. Топоров).³ Польский историк-марксист Генрик Ловмянский посвятил свою монографию славянскому язычеству эпохи средневековья (VI—XII века).⁴ Однако во всех этих весьма полезных научных трудах славянское язычество не было описано и исследовано всесторонне.

Впервые восполнить пробелы нашего знания по истории славянского язычества удалось академику Борису Александровичу Рыбакову, чей капитальный труд «Язычество древних славян» явился продолжением и итогом многолетних и плодотворных исследовательских поисков ученого. Замечательные книги Б. А. Рыбакова «Ремесло Древней Руси» (1948), «Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи» (1963), «Первые века русской истории» (1964), «Русские датированные надписи XI—XIV вв.» (1964), «„Слово о полку Игореве“ и его современники» (1971), «Русские летописцы и автор „Слова о полку Игореве“» (1972), «Русские карты

Московии XV—начала XVI века» (1974),⁵ «Геродотова Скифия» (1979), «Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв.» (1982) с большим вниманием читаются и изучаются многими нашими литературоведами, находящими в них как основополагающие факты по истории древнерусской культуры и общественного сознания, так и прогрессивную методику научного поиска, развивающегося в настоящее время в сложной взаимосвязи различных гуманитарных дисциплин.

Рецензируемая книга поражает грандиозностью замысла, масштабностью, широтой и смелостью интерпретации, логикой сопоставлений огромного разнородного материала от палеолита до позднего железного века на обширной территории от Лабы на западе до Днепра на востоке, от понта Эвксинского (Черного моря) на юге до Венедского залива (Балтийского моря) на севере. Кроме материалов собственно славянских — археологических, лингвистических, этнографических, народного искусства и ремесла — автор широко привлекает для аналогий, сопоставлений и параллелей материалы по истории культуры неславянских народов: балтов, германцев, греков, иранцев, италиков, кельтов, тюрков, финноугров, фракийцев, а также других древних народов Европы, Сибири, Урала и Кавказа.

До выхода в свет книги Б. А. Рыбакова представления о славяно-русском язычестве основывались или на древнерусских письменных памятниках XI—XIII веков, или на этнографии и бытовых пережитках язычества в русской деревне XVIII—XIX веков. Славяно-русское язычество изучалось вне проблем истории первобытной религии. Важной вехой на новом пути исследования был опубликованный в 1964 году доклад Б. А. Рыбакова «Основные проблемы изучения славянского язычества», а через семнадцать лет появилась рецензируемая книга, в которой впервые дана и всесторонне обоснована стройная и убедительная концепция периодизации древнеславянского язычества.

Книга, объемом в 47 авторских листов, состоит из введения, десяти глав и заключения. К сожалению, в этом прекрасно иллюстрированном издании отсутствуют указатели.

Во введении поставлены общие задачи исследования. Первая часть «Глубокие корни» открывается главой «Периодизация славянского язычества» (с. 8—30). В центре внимания — замечательное произведение русской литературы начала XII века «Слово об идолах», авторство которого Б. А. Рыбаков приписывает игумену Даниилу. Это «умный и логичный

¹ Аничков Е. В. Язычество и древняя Русь. СПб., 1913; Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси, т. I. Харьков, 1916; т. 2. М., 1913; Niederle L. Slovanské starožitnosti, t. 1, 2. Praha, 1916; Machal J. Mythologie of all races. Boston, 1918; Brückner A. 1) Mitologia słowiańska. Kraków, 1918; 2) Mitologia polska. Warszawa, 1928; Urbańczyk S. Religia pogańskich Słowian. Kraków, 1947.

² Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. т. 1—3. М., 1865—1869.

³ Чичеров В. И. Зимний период русского земледельческого календаря XVI—XIX веков. М., 1957; Токарев С. А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX—начала XX в. М., 1957; Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов. М., 1974.

⁴ Łowmiański H. Religia słowian i jej upadek (w. VI—XII). Warszawa, 1979.

⁵ Борис Александрович Рыбаков. Вступит. ст. С. А. Плетневой и Т. В. Николаевой. Библиография составлена Р. И. Горячевой, И. М. Зарецкой и Г. Т. Серовой. Изд. 2-е, доп. М., 1978.

конспект трактата о язычестве, пополненный актуальными для эпохи крестовых походов выпадами против магометан (с. 30). Разговор о «Слове об идолах» имеет большое значение для дальнейшего изучения древнерусской литературы, особенно ее «мелких» и «переводных» сочинений. В современных академических и учебных курсах древнерусской литературы «Слово об идолах», как и другие произведения о язычестве, отсутствует. Невнимание к ораторской прозе, агнографии, гимнографии, легендарным повестям и апокрифике не способствует созданию объективной картины историко-литературного процесса Древней Руси. Своим небольшим этюдом Б. А. Рыбаков как бы подсказывает новые пути поисков и исследований.

Любопытны выводы ученого, основанные на изучении «Слова об идолах». Он перечисляет периоды, наличествующие в трактате, и обобщает свои наблюдения.

1. *Культ унгрей и берегинь*. Первобытный анимизм с ярко выраженным дуализмом. Возникает, по-видимому, в глубинах охотничьего хозяйства, может быть, уже в палеолите или мезолите, но доживает вплоть до времени написания „Слова об идолах“.

2. *Культ Рода* как божества Вселенной, всей природы и плодородия. Автору представляется, что этот культ близок к культу Озириса и был распространен на Ближнем Востоке и в Средиземноморье, откуда он дошел и до славянского мира, заслонив собою старую демонологию. . .

3. *Культ Перуна* как покровителя дружино-княжеских кругов Киевской Руси. Необходимо согласиться с Е. В. Аничковым, что военный культ бога грозы был очень поздним явлением, возникшим одновременно с русской государственностью.

4. *Принятие христианства*. Язычество отступило на „украины“, где продолжали молиться всем старым богам (в том числе и Перуну), но делали это „отай“. Наиболее жизнеспособным из всех старых языческих культов оказалась почитание Рода и рожаниц. . . Такова эта интереснейшая и глубокая периодизация, с которой мы в значительной мере можем согласиться. Главным звеном в ней является эра Рода, который подобно Кроносу, мифологическому отцу Зевса, предшествовал Перуну княжеских времен. . . единственным слабым звеном в периодизации язычества в „Слове об идолах“ можно считать отсутствие самостоятельной матриархальной стадии земледельческого монотеизма. . . (с. 24—25). Что касается последнего замечания, то отсутствие в «Слове об идолах» матриархальной стадии не кажется нам случайным: по мнению ленинградских археологов, ее могло не быть вовсе.⁶

Периодизация «Слова об идолах», подержанная Б. А. Рыбаковым, вызывает желание порассуждать, когда же у славян мог возникнуть тот или иной из названных культов. Это не могло произойти в каменном веке, потому что только в эпоху бронзы праславяне выделились из семьи индоевропейских народов. Ответ мы найдем во второй главе рецензируемой книги «Глубина памяти» (с. 31—95). Б. А. Рыбаков вполне правомерно ставит вопрос о пределах глубины памяти народов. «Слово об идолах» поражает нас как историчностью своего подхода к русскому язычеству, так и точностью информации о современном автору XII века язычестве. Очевидно, два первых культа — унгрей и берегинь, Рода и рожаниц — исторически предшествовали протославянским культам и были им переданы от общего индоевропейского корня.

Книга Б. А. Рыбакова — большой шаг вперед на пути к созданию всеохватывающей концепции истории язычества в целостном европейско-индосредиземноморском этнокультурном регионе. Автор рецензируемого труда прибегает к методу восхождения от древнего к современному, пытается проследить позднейшую судьбу и степень живучести в XIX—XX веках тех славянских обрядов, которые упоминал в XII веке игумен Даниил («огневи Сварожичю молятся», «и навъм мвь творять» и т. п.). При этом им искусно используются многочисленные орнаменты народных вышивок, прялок, деревянных бытовых изделий, пасхальных яиц-писанок и других предметов материальной культуры различных народов. В итоге выясняется исходная позиция, определяется относительная глубина народной памяти, измеряемая многими тысячелетиями.

В третьей и четвертой главах — «Каменный век. Отголоски охотничьих верований» (с. 96—145) и «Золотой век энеолита (древние земледельцы)» (с. 145—212) — автор выявляет основные этапы формирования культуры протославян в конце энеолита и в начале бронзового века. Праславянский этап Б. А. Рыбаков справедливо датирует на основании археологических и лингвистических данных серединой второго тысячелетия до н. э.

На многих страницах своей книги, пользуясь тем же методом восхождения от древнего к современному, Б. А. Рыбаков реконструирует основные черты первобытного искусства и культуры земледельческих народов, чьи представления оказались весьма богатыми космогоническим и мифологическим содержанием. Особенно интересен анализ трех сказочных сюжетов, восходящих к палеолиту: связь с инициациями, образ женского охотничьего божества и трансформированное описание схваток с мамонтами. «Первыми

⁶ См.: Охотники, собиратели, рыболовы. Проблемы социально-экономиче-

ских отношений в доземледельческом обществе. Л., 1972.

появились в матриархальном земледельческом обществе женские божества — рожаницы, а бог-мужчина явился позднейшим наслоением», — пишет Б. А. Рыбаков (с. 173). Следует заметить, что взгляд о существовании матриархата теперь разделяется далеко не всеми (см., например, статьи Г. П. Григорьева и Л. П. Хлобыстина в упоминавшемся выше сборнике «Охотники, собиратели, рыболовы»). Необходимо считаться и с тем, что в древних обществах до сих пор не обнаружено сколько-нибудь прочных и надежных фактов матриархата в человеческом обществе. Культы Рода и рожаниц могли существовать одновременно и быть равноправными.

Культура и искусство протославян не возникают на пустом месте. В этой связи разыскания Б. А. Рыбакова представляют большой научный интерес, в частности для историков фольклора (например, что прототипом Чуда-Юда и огнедышащего змея был мамонт).

Вторая часть рецензируемой книги — «Древнейшие славяне» (с. 214—352) — является центральной. Один из самых интересных, но и спорных ее разделов — пятая глава «Истоки славянской культуры» (с. 214—284), в которой сделана попытка обобщить итоги изучения одного из наиболее сложных и запутанных вопросов современной науки — вопроса о происхождении славян. Концепция автора включает в себя три звена. Первое звено состоит в наложении одна на другую трех археологических карт, тщательно составленных разными исследователями и опубликованных на страницах 222—223 книги: 1) праславяне в бронзовом веке, 2) праславяне на рубеже нашей эры, 3) часть славянского мира в V—VII веках н. э. Расхождения в деталях, иногда довольно существенные, не влияют на главный вывод: прародина славян, вероятнее всего, действительно располагалась в эпоху бронзы и раннего железа на территории между Лабой и Днепром.

Вторым звеном концепции автора рецензируемой книги является «выяснение причин прерывистости процесса единообразного развития археологических культур» (с. 223). Эта прерывистость, может быть, есть результат лакун в наших современных знаниях по археологии древних славян. Эти знания непрерывно обновляются и уточняются в процессе поиска.

Третьим звеном концепции автора рецензируемой книги является «выявление праславянской зоны из обширной области скифской культуры» (VII—III века до н. э.). При этом Б. А. Рыбаков обосновывается на гипотезе ряда исследователей о не-скифском (славянском) происхождении части скифских культур. Однако один из них — М. И. Артамонов — в своей последней книге от этой

гипотезы отказался.⁷ Автор рецензируемой работы во многом также исходит из работы В. А. Городцова, сближавшего скифов со славянами.⁸ Достаточных археологических и лингвистических данных для доказательств этой гипотезы не имеется. Гидронимика лесостепной полосы Украины — праноязычная, у всех скифов был один язык — иранский.⁹ Концепция единого потока автохтонных корней от Триполья через скифов к Киеву представляется нам недоказанной. Соседство славян (зарубицкая культура) и сарматов, наследников скифской культуры, после III века до н. э. бесспорно. Именно с этого времени, на наш взгляд, начинаются славяно-сарматские контакты, что и привело к усвоению элементов скифо-сарматской культуры восточными славянами. Весьма сомнительно, что «накануне нашествия скифов днепровское лесостепное Правобережье, а также долина Ворсклы были заселены земледельческим населением, говорившим на славянском языке...» (с. 225). Для такого вывода не хватает ни лингвистических, ни археологических данных.

Многозначность и разнохарактерность ответов на малоизученные и спорные вопросы ранней истории славян не должны заслонять от нас того большого вклада, который вносит пятая глава рецензируемой книги в науку. Здесь сделана попытка рассмотреть историю славян на широком материале первоначальных религиозных и мифологических представлений протославян эпохи бронзы, связанных с разлучением души и тела и погребением умерших. Приведенные данные могут принести большую пользу фольклористам.

Серьезный вклад в славяноведение представляет и шестая глава — «Земледельческие культы праславян» (с. 285—352), в которой шаг за шагом прослеживается переход от примитивных верований к развернутым мифам о божестве неба Свароге и божестве света и солнца Дажьбоге у праславян лужицко-скифского времени.

Глава седьмая третьей части — «Рождение богинь и богов» (с. 354—437) — увлекательно написанное, хорошо аргументированное исследование о том, как родилась система восточнославянской языческой мифологии, просуществовавшая до X века. Генезис мифологии славян впервые в истории науки рассматривается ретроспективно, из глубины веков, что позволяет понять, почему Перун выдвигается на место славянского Зевса очень поздно, не ранее IX века. На первый план выступает женское божество

⁷ Артамонов М. И. Киммерийцы и скифы. М., 1974.

⁸ Городцов В. А. Дако-сарматские религиозные элементы в русском народном творчестве. — Тр. ГИМ, 1926, т. I.

⁹ Седов В. В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979, с. 41.

судьбы и удачи, прообраз богини плодородия Макошь, христианской наследницей которой является Параскева-Пятница. Весьма удачными кажутся развернутые обоснования древности культа славянского божества Лады. После книги Б. Л. Богаевского¹⁰ это самая крупная попытка привлечь внимание к культу женского земледельческого божества.

Следом за женскими божествами рассматриваются мужские божества, среди которых главным является Велес (Волос), бог скота и богатства, место которого в христианстве заняли Власий, потом Василий, Флор и Лавр, и даже Никола. Автор рецензируемой книги строит, разумеется гипотетически, тысячелетнюю историю образа Велеса, восходящую к медвежьему культу мустьерских неандертальцев. По этнографическим материалам XIX века он искусно восстанавливает часть календарного цикла молений этому божеству, связанного со святочно-масляничной карнавальской обрядностью. Это имеет большое значение для этнографов и фольклористов, занимающихся историей обрядов и начатками драматургии у славян. Автор рецензируемой книги убедительно показал, что культ Велеса столь же древен, как и культ Рода, а языческая троица — Перун, Стрибог, Дажьбог — относительно позднего происхождения и восходит ко времени военной демократии и распада первобытно-общинного общества на классы. Нам кажется только, что при рассмотрении других богов, например Хорса, было бы лучше объяснять происхождение имени этого бога не из понятия «круглый» (с. 433—434), а из иранского (сарматского) слова «Hrs», восходящего к древнеиранскому «hvarə xšaēšam» или к среднеиранскому «xvarg-šēt».¹¹ Согласно древним представлениям индоевропейских народов, бог солнца (светило) совершает свой бег по небу верхом на лошади (hrs).

Самое загадочное и самое важное из славянских божеств — это Род, которому посвящена восьмая глава рецензируемой книги «Род и рожаницы» (с. 438—470). Собрав богатый и разнообразный материал и пользуясь все тем же методом сопоставлений и аналогий, Б. А. Рыбаков восстанавливает тысячелетнюю историю культа Рода у славян. Сущность божества сводится к формуле: «Род — творец Вселенной» (с. 458). Следует отметить весьма плодотворную интерпретацию «Слова Исайи пророка» как памятника древнерусской литературы середины XII века, направленного против культа Рода и рожаниц (с. 444—448). Чрезвычайно интересна также расшифровка древнего представления о делении

Вселенной на три зоны: небо, землю и подземный мир, что находит выражение, в частности, в трехъярусной скульптуре Збручского идола Святовита — Рода (с. 460—463). Б. А. Рыбаков, очевидно, прав, утверждая, что на Збручском идоле изображен Стрибог (с. 464). Древний культ Рода у славян пережил многие века и отразился в древнерусской литературе. Потому позитивный материал данной главы весьма существен для понимания литературы и искусства Древней Руси.

Преемственность веков, проявившаяся во взаимосвязи русских вышивок со славянской мифологией, исследуется в девятой главе (с. 471—527). Ее выводы (на с. 526—527) очень важны для этнографов, а также историков русского прикладного искусства и фольклора. В качестве замечательных находок могут быть отмечены севернорусские вышитые календари (с. 509).¹²

В десятой главе книги — «Мифы, предания, сказки» (с. 528—596) — сделана исключительная по смелости попытка воссоздать этапы истории славянской сказки от времени борьбы с киммерийцами (XI—VIII века до н. э.) до периода противостояния скифам и сарматам (VII век до н. э.—III век н. э.). «Сказка донесла до нас и очень архаичную мифологию, и первичные формы героического эпоса, начало которого отстоит от начала создания былии Киевской Руси на целых два тысячелетия», — справедливо пишет Б. А. Рыбаков (с. 596). От древних мифов до наших дней сохранились в русском фольклоре лишь отдельные следы. Автор анализирует легенды о божественном кузнеце, ковавшем первый плуг в 40 пудов и победившем страшного змея. Эти легенды могли бытовать у праславян эпохи бронзы и раннего железа, как-то соприкасавшихся с киммерийцами, а затем со скифами и сарматами. В I веке н. э. венецы, по словам Тацита, «из-за смешанных браков приобретают черты сарматов». Автор рецензируемой книги принимает здесь гипотезу А. И. Тереножкина, связывающего киммерийцев со срубной культурой бронзового века второго тысячелетия до н. э. от Днепра до Урала и от Черного моря до Камы, а праславян — с белогрудовской и червопольской культурами южной России.¹³ Однако до сих пор попытки

¹² См. также: Рыбаков Б. А. Календарь IV в. из земли полян. — Советская археология, 1962, № 4, с. 79—80.

¹³ Тереножкин А. И. Киммерийцы. Киев, 1976. Славянская лужицкая культура (с примесью кельтского, германского и иллирийского элементов) доходила до Западного Буга. Так, например, по всей вероятности, славянской была высокая культура XI—IX веков до н. э., располагавшаяся по верхнему Западному Бугу, Стыри и Серети. См.: Niesiołowska-Wędzka A. Wysoczka kultura. — In: Słownik

¹⁰ Богаевский Б. Л. Земледельческая религия Афин, т. 1, 2. Пгр., 1916.

¹¹ См.: Фаслер М. Этимологический словарь русского языка. Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева, т. IV. М., 1973, с. 267.

выделить археологическую культуру киммерийцев не увенчались успехом. Киммерийцы — собирательное название для многих племен докифского населения обширной территории степей Причерноморья. Факт славянской колонизации левобережья Днепра в VIII—VII веках до н. э. не представляется археологически доказанным. Однако это не ослабляет выкладок и выводов автора рецензируемой книги: славяно-киммерийские и славяно-скифские контакты могли иметь место в эпоху конца бронзового века, более того — они были неизбежными.

Несомненно плодотворным было бы дальнейшее углубленное рассмотрение всего «скифского» материала в его отношении к русскому фольклору, как это блестяще сделано Б. А. Рыбаковым на примере легенд об оборотнях (Таргитай — Сварог — Аполлон; Колаксай — Дажьбог). При анализе русских богатырских волшебных сказок автор устанавливает вполне вероятную исходную точку разысканий — это сказочный змей. Он рассматривает целые устойчивые комплексы сюжетов: 1) богатырь Покаян-горох («украинский Геракл»), 2) три брата, три царства, 3) Иван (зверинный сын) и Змей, 4) Баба-Яга, «войтельница-мстительница», 5) девичье царство. Такая стадильность в развитии мифов хотя и не абсолютно доказуема, но возможна. Степень доказательности или гипотетичности построений зависит здесь не столько от материала, сколько от искусства исследователя строить и обосновывать свои гипотезы. А искусство это у Б. А. Рыбакова весьма высокое. Используя результаты разысканий Н. В. Новикова,¹⁴ автор рецензируемой книги весьма удачно продолжает его работу в области генезиса русской волшебной сказки. Совершенно новым является уяснение Б. А. Рыбаковым общего фило-

софско-исторического впечатления от всего восточнославянского сказочного комплекса и выявление его отличия от русского богатырского эпоса X—XIV веков. Автор усматривает в сказках три периода богатырской ситуации: киммерийский, скифский и сарматский — и приводит свои интересные предположения.

Данная глава должна привлечь особенное внимание историков литературы, так как она выводит начало эстетического художественного сознания из глубокой древности. Ведь наша литература возникла не на пустом месте и не из деловой письменности. Предпосылки литературы гораздо старше, чем деловая письменность: деловая письменность развивается параллельно с литературой, но не имеет отношения к ее возникновению. Открытия Б. А. Рыбакова побуждают исследователей к новым поискам начатков художественного сознания в древнейшем фольклоре, в мифологии праславян.

Основные выводы изложены автором в заключении, на с. 597—606, но ими далеко не исчерпывается все богатство затронутых в книге тем, выдвинутых гипотез, интересных сопоставлений. Изложение материала в ней доведено до первых веков нашей эры, и читатель вправе ждать увлекательного продолжения — рассказа о языке восточного славянства VI—IX веков и Древней Руси IX—X веков. Очевидно, в этом будущем исследовании автор коснется воздействия славянского язычества на архитектуру, живопись и литературу, прикладное искусство Древней Руси. Это воздействие было масштабным, действенным и плодотворным, причем для русской культуры не одних только средних веков. Мы вправе ожидать и разговора об остатках язычества в наше время (например, воспоминания о поклонении змеям, камням и гаданиям в Жемойтии, остатки языческой обрядности у русского народа и т. п.). Но это пожелания на будущее. Если же говорить об обширном экскурсе, уже предпринятом Б. А. Рыбаковым в глубины народной памяти, то он вполне состоялся. Книгу «Язычество древних славян» несомненно будут читать и изучать с большой пользой и специалисты, и широкий круг читателей.

starożytności słowiańskich, t. VI, cz. 2. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, 1980, s. 646—649. Ее носителями некоторые исследователи считают «невров» Геродота и отождествляют их с праславянами.

¹⁴ Новиков Н. В. Образы восточнославянской волшебной сказки. М.—Л., 1974.



Х Р О Н И К А

КОНФЕРЕНЦИЯ «184-я ГОДОВЩИНА СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. С. ПУШКИНА»

6 июня 1983 года, в 184-ю годовщину со дня рождения Пушкина, в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР была проведена конференция, посвященная изучению творчества поэта.

Открывая конференцию, председатель Пушкинской комиссии АН СССР академик Д. С. Лихачев напомнил собравшимся, что впервые Пушкинская конференция в Институте проходит без академика М. П. Алексеева, который был одним из первых организаторов и участников Всесоюзных пушкинских конференций. Пушкинские конференции, сказал Д. С. Лихачев в своем вступительном слове, стали важной и необходимой формой обсуждения насущных проблем пушкиноведения и координации коллективной работы исследователей. Доклады, вынесенные на конференцию этого года, в основном явились результатом работы, которую ведут сотрудники Пушкинского группы Института по подготовке нового академического издания Пушкина, текстологических и историко-литературных изложений, исследований в области стиля и поэтики.

Канд. педагог. наук Я. Л. Левкович в своем докладе «„Страсти“ Евгения Онегина. Из наблюдений над черновыми рукописями» изложила ряд наблюдений, подтверждающих гипотезу И. М. Дьяконова, что зашифрованные «декабристские» строфы первоначально писались Пушкиным для восьмой главы романа «Евгений Онегин», о путешествии героя по России, от публикации которой поэт вынужден был отказаться. Я. Л. Левкович привела свидетельство П. А. Плетнева о том, что Пушкиным была уничтожена именно восьмая глава. Рассматривая далее историю работы Пушкина над этой главой и поверяя хронологическую роспись 1830 года о работе над романом, и над восьмой главой в частности, свидетельством черновиков 1829 года (в так называемой «арзрумской тетради») и перебеленной рукописи, докладчица сопоставила с ними набросок одной из «декабристских» строк в книге, подаренной Пушкиным учителю в с. Берново (имени Полторацких) А. А. Раменскому, позволяющий говорить, что по крайней мере последние «декабристские» строфы в марте 1829 года уже существовали. Я. Л. Левкович указала также на рисунки в «арзрумской тетради» (л. 127) — изображение Александра I и Наполеона, —

в которых она видит графическую параллель к стихам «Его мы очень смирным знали...». В заключение докладчица высказала предположения о возможной структуре восьмой главы (о том, что «декабристские» строфы должны были открывать главу) и о месте петербургских строк в «календаре» романа.

В докладе доктора филол. наук В. С. Баевского (Смоленск) «Театральная культура начала XIX века в „Евгении Онегине“» предложено новое прочтение ряда мест первой главы романа. Показано, что «русская Терпсихора» здесь не просто «танцовщица», но лучшая из них на рубеже 1810—1820-х годов — Авдотья Истомина. В ее исполнении Пушкин выделяет элевацию и совершенную пальцевую технику — два важнейших свойства романтического балета. Ритм стиха в строфе XX поддерживает образ полетного танца. Описывая театр, поэт непременно упоминает лорнеты зрителей. В докладе объяснено, что представлял собой «двойной лорнет», упоминаемый в строфе XXI (а также в «Горе от ума» Грибоедова и в «Четырнадцатом декабря» Тынянова), — модная новинка конца 1810-х годов. В заключение доклада сделан вывод, что жизнь в романе Пушкин изображал по непосредственным впечатлениям, но с учетом разнообразных литературных источников.

Доклад канд. филол. наук С. А. Фомичева «К творческой истории „Бахчисарайского фонтана“» был посвящен теме, сложность и значительность которой в изучении романтического периода творчества Пушкина отмечены уже первыми исследователями ее Г. О. Винокуром (1936) и Б. В. Томашевским (1949). Кристаллизацией замысла «Бахчисарайского фонтана» докладчик связывает с развитием замысла поэмы «Таврида». Главной лирической темой «Тавриды», начатой весной 1821 года, должна была стать, как сказал С. А. Фомичев, основываясь на анализе рукописи, идея противоборства духовных сил человека с неизбежностью физической смерти, с небытием. В этом замысле подчиненное место занимала легенда об узнице Бахчисарая, польской княжне Марии, в память которой сооружен фонтан Бахчисарайского дворца. Этот эпизод, еще не предусматривавший столкновения Заремы и Марии, обрабатывался летом 1822 года. Только весной 1823 года в тетради ПД № 834

записан план, в котором вводится новая героиня, Зарема, а вместе с ней и основная коллизия поэмы «Бахчисарайский фонтан». Воплощая принципиально новый замысел, Пушкин отказался от лирического вступления (соответствовавшего строфам ранее начатой «Тавриды»), отчасти перенеся его тему в лирический эпилог поэмы. Здесь же, в эпилоге, намечается параллель лирического адресата поэмы с Марией («Я помню столь же милый взгляд И красоту еще земную»). Однако докладчик полагает, что едва ли равномерно прямо проецировать лирический финал поэмы на пушкинскую биографию. Эпический рассказ и лирика в поэме не слиты воедино; поэма получилась фрагментарной, элемент недосказанности стал характерной чертой ее своеобразия.

В докладе «Иван Петрович Белкин и белкинские повести А. С. Пушкина» канд. филол. наук Н. Н. Петрушина обратилась к критическому анализу утвердившейся под влиянием академического издания версии, согласно которой текст предисловия «От издателя», предпосланного «Повестям Белкина», возник на начальной стадии работы над ними Пушкина и повести были изначально задуманы как «белкинские». Новое обращение к рукописному материалу показывает, что для правильного решения вопроса нужно разграничить два его аспекта: о генезисе образа Белкина и о том, когда Пушкину пришла мысль сделать Белкина автором повестей.

Первый очерк будущего Белкина возник не в художественной прозе Пушкина, а в наброске полемической статьи 1827 года «Если звание любителя отечественной словесности...», начатой от имени человека, воспитанного сельским дьячком и со стороны наблюдающего журнальные сшибки своего времени, писателя по склонности, а не по профессии. Дальнейшие этапы развития намеченного здесь типа — Петр Иванович Д- из наброска 1829 года, Иван Петрович Белкин и Феофилакт Косичкин.

Анализ рукописей убеждает, что, приступая в сентябре 1830 года к повестям, Пушкин не связывал их с мыслью о Белкине или о другом стилистически и характерологически определенном фиктивном авторе. Идея объединить повести образом вымышленного автора явилась на заключительном этапе их создания, во второй половине октября 1830 года. Скорее всего, она родилась в ходе работы над «Выстрелом», герой-повествователь которого усвоил ряд черт Петра Ивановича Д- из наброска 1829 года. Практически одновременно с «Выстрелом» возник первый набросок «Истории села Горюхина», начатой от имени автора «белкинского» типа, и лишь после этого созрело решение сделать Белкина автором повестей, впервые зафиксированное в плане «Истории», последовавшем за первым ее наброском. Важно отметить, под-

черкнула докладчица, что уже и тогда, когда мысль о персонафицированном авторе повестей определилась, Пушкин некоторое время колебался в выборе характерологических особенностей и культурного типа автора: образ Белкина состязался в его сознании с образом другого сочинителя, alter ego самого поэта. След этих колебаний — «Отрывок» («Несмотря на великие преимущества...»), переделанный 26 октября 1830 года и позднее использованный в «Египетских ночах». А 31-м октября помечено введение к «Истории», где горюхинский помещик предстал уже как автор повестей. Основные стилистические атрибуты белкинских побасенок были трактованы здесь как плод литературной неискренности их вымышленного автора, а стилистические модификации, несходство среды и обстоятельств, в них изображенных, объяснились тем, будто некогда слышаны они были автором «от разных особ». С выбором Белкина на роль автора повестей связана и осуществленная тогда же замена первоначального эпиграфа сборника — пословицы святогорского игумена — другим — из фонвизинского «Недоросля».

В докладе канд. филол. наук Р. В. Иезуитовой «Жанр устного рассказа у Пушкина» на примере «Table Talk» был рассмотрен один из перспективных путей формирования русской прозы пушкинской поры. В эту эпоху, отмечалось в докладе, короткие и занимательные по форме устные рассказы, анекдоты, притчи, новеллы и т. п., бытовавшие в среде образованного русского общества, разными путями проникали в литературное сознание эпохи и благотворно влияли на развитие реалистических тенденций в русской прозе. Пушкинские «Table Talk» явились первым опытом художественного освоения этого разнообразного и разнохарактерного материала. Поэтому, утверждает докладчица, в корне неверным является представление о «Table Talk» как о случайном объединении разрозненных записей поэта, «пачке отдельных листов» неясного целевого назначения. По мнению Р. В. Иезуитовой, Пушкин стремился к созданию вполне самостоятельного, целостного художественно-документального произведения, опираясь при этом как на национальную традицию (в частности, на имевшие широкое распространение сборники и собрания русских исторических анекдотов), так и на опыт современной ему европейской романтической прозы — на одноименные произведения Хезлита (1825) и Кольриджа (1835), — видимо, подсказавшей ему направление поисков в области малых жанров документально-исторической прозы и предложившей оригинальные принципы включения подобного материала в более широкие повествовательно-временные рамки.

Обозначая свои записи и заметки подобным заглавием, Пушкин несомненно

думал о создании книги русских «застольных разговоров», материалом для которой ему служили и разнообразные книжные источники (многие из которых уже выявлены), а в еще большей степени устное предание, живые беседы автора с его современниками. Установка на рассказчика — важнейшая отличительная особенность «Table Talk» — сближает их с знаменитыми циклами русской прозы 1830-х годов, например с многочисленными «вечерами» (Гоголя, Загоскина, М. Жуковой и др.), обладающими устойчивой повествовательной структурой при всем различии индивидуальных художественных ее воплощений. Однако, указывалось в докладе, в отличие от условной, вымышленной фигуры рассказчика в циклах этих повестей, рассказчики «Застольных разговоров» Пушкина всегда исторически достоверны, это реальные личности: поэт записывает свои беседы с современниками, свидетелями и очевидцами воссозданных событий или носителями живого предания о них. В докладе был в общих чертах показан круг возможных собеседников поэта, намечены пути дальнейших поисков «биографических» и «книжных» источников отдельных записей. В заключение Р. В. Иезуитова подчеркнула, что «Table Talk» представляют собою вполне оригинальное художественно-документальное произведение, своего рода повествовательно-исторический цикл, внутреннее единство которому придает особый ракурс в воссоздании исторической действительности, связанный с жанровой природой устного рассказа (во всех его многообразных использованных поэтом жанровых модификациях). Поэту удалось новыми и во многом оригинальными художественными средствами воссоздать в записях «Table Talk» широкую панораму русской истории XVIII—начала XIX века, но показать ее как бы изнутри, «домашним образом».

В сообщении канд. филол. наук В. Э. Вацура «Куплеты Гринева в „Капитанской дочке“» поставлен вопрос о литературной традиции пушкинского пастиша. Источник этого стихотворения известен и в последнее время был уточнен А. А. Карповым: это обработка подлинного текста в сборнике Чулкова. Однако и обработка, и самый выбор текста были для Пушкина фактом стилизации. Пушкин ставит его в определенный ассоциативный контекст: Швабрия соотносит его с «любовными куплетцами» Тредиаковского, Гринева сообщает читателю, что его литературные опыты «очень... похвалял» Сумароков. Из сборника Чулкова Пушкин вовсе не случайно выбирает именно литературную песню; как известно, в сборник Чулкова вошли (без имен авторов) песни Ломоносова, Ф. Волкова, самого Сумарокова и его учеников (в частности, М. И. Попова).

Для Пушкина «куплеты» Гринева — факт массовой любовной лирики XVIII века. Общую модель такой лирики

ему давало, в частности, «Собрание русских стихотворений» В. А. Жуковского — популярнейшая антология, известная ему с лицейских лет. Докладчик привел примеры, свидетельствующие, что многие цитаты из русских поэтов XVIII века взяты Пушкиным именно отсюда; так, к «Собранию» восходят некоторые эпиграфы в «Капитанской дочке» (Княжнин, Херасков). Эпиграф из Хераскова в главе IX («Сладко было спознаваться...») взят как раз из любовной песни, довольно близкой к песне Гринева. При этом важно отметить, что песня эта в антологии Жуковского не еднична, а включается в целое собрание песен, дающих как бы модель жанра. Это песни не Сумарокова, а Попова, Мелетинского-Мелецкого, Хераскова и сентименталистов (В. И. Пушкин, Дмитриев, Капнист и т. д.). Наиболее архаичные из них построены по определенной модели: они написаны четырехстопным хорем, на морфологических рифмах, нередко повторяющихся и неточных, и имеют типовую структуру (первый куплет содержит лирический мотив «борьбы любовника со своей страстью», второй — антизте «бесполезность борьбы» и т. д.). Именно эту типовую схему, обнажившуюся в подражаниях Сумарокову, удерживает и подчеркивает Пушкин в куплетах Гринева, которые становятся репрезентантами подлинной любовной лирики XVIII века в ее эпигонских образцах, восходящих, однако, к истинным достижениям лирической поэзии. В пушкинском пастише, таким образом, сказался еще раз обостренный интерес поэта к предшествующим ему литературным стилям; с другой стороны, эти куплеты были в контексте повести образцом «наивной» поэзии, вполне соответствующей логике характера Гринева. Условно-литературная декларация рыцарственной любви, которую она выражала, в дальнейшем составила основу поведения героя и его невесты, — и пастиш, таким образом, получил совершенно особую модальность и особое значение в составе художественного целого.

В сообщении сотрудника ИРЛИ С. А. Кибальника «Апологические эпиграмы Пушкина» речь шла о немногочисленных опытах Пушкина в этом жанре, созданных с 1829 по 1836 год. Традиции классической античной поэзии, почерпнутые как из Овидия, Горация, Анакреона, поэтов Антологии, так и через посредство Андре Шенье и Батюшкова, играли, по мнению докладчика, существенную роль в формировании в творчестве Пушкина классического стиля русской поэзии. Что касается собственно антологической поэзии, т. е. стихотворений, написанных в духе и манере древнегреческих эпиграмм, то она с самого начала интересовала Пушкина прежде всего как форма. «Пластическая рельефность выражения, строгий классический рисунок мысли, полнота и окончательность целого, нежность и мягкость отделки в этих пьесах обнару-

живают в Пушкине счастливого ученика мастеров древнего искусства» (В. Г. Белинский). В то же время антологическая поэзия была для Пушкина и определенным мировосприятием и в какой-то степени образом античной культуры. Большинство пушкинских антологических эпиграмм 1830-х годов содержит выраженный в более или менее открытой форме элемент «непонятной грусти», какой-то светлой печали. Здесь своеобразно отразились такие стороны античного мирозерцания как, с одной стороны, гармония духа, полное упоение жизнью, а с другой — сознание преходящности всего земного, близости смерти. Антологические эпиграммы поэта обнаруживают приобщение Пушкина к традициям древнегреческой поэзии, осознание себя до некоторой степени духовным наследником древних. По мере своего творческого развития анакреонтику и идилличность ранних стихотворений Пушкин углублял в направлении пластически живописного и декоративно-антологического восприятия античности, воплощенного в его антологические эпиграммы. От античности антологической Пушкин успел сделать только еще один шаг — в сторону трагической в своей обреченности и безысходности античности «Египетских ночей» и «Повести из римской жизни».

В докладе канд. филол. наук О. С. Муравьевой был поставлен вопрос о формах суггестивности в лирике Пушкина. По определению Б. В. Томашевского, суггестивная лирика имеет целью «вызвать у нас представления, не называя их», создать впечатление «возможного значения». Очевидно, что такой эффект может достигаться самыми разными художественными средствами. Задача видится в том, чтобы выявить ресурсы суггестивности в художественной системе Пушкина. Само понятие суггестивности несколько колеблется, не имеет четкого терминологического значения, не зависящего от конкретного литературного материала. В докладе было показано на отдельных примерах существо этого явления в лирике Пушкина. Стихотворения, которые были проанализированы в качестве образцов суггестивной лирики («Ворон к ворону летит...», «Бесы», «Страшно и скучно», «Когда б не смутное влечение»), далеко не единичны. Суггестия — это явление, существующее на разных уровнях, от наиболее очевидного, когда совершенно определенная атмосфера наводится совершенно определенными художественными средствами, и до наиболее сложного, когда напряжение «несказанного» велико, а в чем оно заключается и чем обеспечивается — скрыто. Но в любом случае существо этого яв-

ления в том, что суггестивная лирика не имеет сколько-нибудь целенаправленного развития лирической мысли и потому она выводит не к идее, а к явлению, которое встает где-то за текстом, еще не воплощенное в слове. Анализ всех этих явлений может дать очень многое, собственно, это один из путей приближения к самому существу лирической поэзии, что особенно важно в отношении лирики Пушкина, так как позволяет понять, в чем состоит мощный лирический потенциал простых пушкинских стихотворений, в которых не подсказано никакого направления нашей воспринимающей мысли, которые сами на себя замкнуты и сами себе довлеют.

В сообщении канд. филол. наук И. С. Чистовой «Переводы А. Дюма из Пушкина» речь шла о двух стихотворных переводах: отрывка из вступления к поэме «Медный всадник» и баллады «Ворон к ворону летит».

В 1858 году А. Дюма путешествовал по России, и результатом этой поездки явились его «Записки», в которые автор широко вводил и литературный материал. Пушкину в них посвящена отдельная глава, в которую был включен стихотворный перевод послания в Сибирь, проанализированный в работе М. П. Алексеева (1971). И. С. Чистова сообщила о полученных ею от кн. Г. И. Васильчикова (Лондон) в числе других материалов ксерокопиях двух переводов А. Дюма из Пушкина, автографы которых хранятся в семейном архиве кн. Васильчиковых. Оба эти перевода также вошли в книгу путевых «Записок» Дюма: стихи из вступления к поэме «Медный всадник» — как стихотворные иллюстрации к рассказу о Петре I и о Петербурге с его белыми ночами; перевод баллады «Ворон к ворону летит» — в главу «Поэт Пушкин» в числе нескольких других переводов (VII строфа «Моей родословной», пять последних стрóf оды «Вольность», послание «В Сибирь», мадригал «Что можем наскоро стихами молвить ей», «Эхо», «В крови горит огонь желанья»). Сопоставление рукописных и печатных текстов рассматриваемых переводов Дюма из Пушкина показывает, что сделанные частью в Петербурге, частью в Тифлисе, наскоро, они при подготовке к публикации подверглись некоторой правке; Дюма стремился добиться большей точности и художественной выразительности, однако достаточных результатов в этом направлении так и не достиг: его переводы это скорее факт истории литературы, чем художественное, эстетическое явление.

В. Б. Сандомирская

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. В. МАЯКОВСКОГО

В Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР 1—2 июня 1983 года проходила конференция, посвященная 90-летию со дня рождения В. В. Маяковского. Конференцию открыл засл. деятель науки РСФСР, доктор филол. наук В. А. Ковалев. Он охарактеризовал В. В. Маяковского как великого русского поэта-новатора, который, наряду с М. Горьким, заложил основы литературы нового мира и стал ее ярчайшим представителем. . . Партийная убежденность Маяковского, его устремленность в будущее, весь строй его проникновенной, глобального масштаба поэтической мысли многое определили в духовном мире советского народа, наполняют современника твердой верой в то, что все новое в жизни будет успешно развиваться и что будущее принадлежит коммунизму. И мы говорим вместе с поэтом: «. . .Время, вперед!»

Во вступительном слове «Маяковский сегодня» доктор филол. наук В. В. Тимофеева отметила, что 90-летие со дня рождения Маяковского — это не просто юбилейная дата, которая дает нам повод еще раз обратиться к наследию великого поэта революционной эпохи, оценить его роль и значение в истории советской и мировой литературы, в становлении и развитии социалистического общественного сознания. В то же время это и смотр сил нашей современной поэзии, ее достижений и открытий, трудностей и нерешенных задач, ее умения своевременно откликнуться на требования жизни, помочь действенным словом в борьбе партии, советского народа за победу коммунизма, за победу человечности во всем мире.

Особенно это важно в наши дни, когда силы империалистической реакции открыто выступают за подготовку ядерной войны, ставя под угрозу самое существование человечества, его культуры, накопленных духовных ценностей.

В. В. Тимофеева остановилась на итогах дискуссии «Маяковский и современная поэзия» и кратко охарактеризовала основные задачи, стоящие перед маяковедением на современном этапе.¹

Доктор филол. наук П. С. Выходцев выступил с докладом «Маяковский — национальный поэт». Докладчик отметил, что неправильные трактовки высказываний Маяковского о русской классике и народном творчестве дезориентируют читателя. Маяковский никогда не выступал против русской литературы, он воевал против старой поэтики, а не против ста-

рой поэзии. Маяковский шел к народной культуре иным путем, чем Есенин.²

Анализируя эстетические взгляды поэта, в частности его понимание национальных традиций, особенно народно-поэтических, докладчик показал, как под их влиянием формировались коренные качества поэзии Маяковского, как смело, творчески он обогащал их, прокладывая новые пути в русской литературе.

В докладе доктора филол. наук В. В. Бузник «Маяковский и современная поэзия» говорилось о незыблемости авторитета великого поэта XX века. Вместе с тем были отмечены ошибочные тенденции в истолковании и осмыслении конкретного значения и места его творческого наследия в текущем поэтическом процессе. В частности, подверглись критике разного рода намерения обособить поэзию Маяковского, ограничить пределы ее влияния. Как полностью несостоятельные расцениваются, прежде всего, попытки связать творчество поэта преимущественно с двадцатыми годами, увидеть в нем лишь выражение духовного склада и миропонимания человека ушедшей в прошлое исторической эпохи. Нет, утверждает докладчик, Маяковский рожден своим временем, но не замкнут в нем. Его художественные открытия на многие годы вперед как бы прочертили главный путь советской поэзии, дали ее развитию свое направление, определили основные идейные, нравственные и эстетические ценности. Не обосновано стремление иных критиков связать традицию Маяковского с узким кругом современных поэтов, преимущественно тех, кто сам пастойчиво претендует на свое родство с ним. Могучий и дерзкий талант Маяковского никогда не укладывался в узкие рамки литературных группировок, школ, направлений. И нет никаких оснований искусственно умалять его участие в современной поэтической жизни. Традиция Маяковского не знает границ, живоиспытая лучшие стихи самых разных поэтов — и «старых», и «молодых», и «деревенских», и «городских», и «громких», и «тихих» лириков.

Доктор филол. наук А. И. Павловский выступил с докладом «Традиция В. Маяковского в творчестве Егора Исаева». Как считает А. И. Павловский, традиции великого поэта, когда-то выходявшие на самую поверхность стиха, сейчас «незримо растворены в тысячах поэтических капилляров». Неправильно говорить, что современные поэты отделены от опыта Маяковского в своей повседне-

¹ Подробнее об этом см. в статье «Я к вам приду. . .», опубликованной в журнале «Русская литература» (1983, № 3, с. 9—19).

² Публикацию доклада П. С. Выходцева см. там же, с. 20—40.

ной поэтической практике. Несостоятельными оказались и все попытки создать «школу Маяковского» — его личность шире литературного канона. Реальное развитие нашей литературы свидетельствует вместе с тем о том, что есть художники, творчество которых особо восприимчиво к Маяковскому, к его «словесной обработке матернала». К таким художникам, по мнению А. И. Павловского, относится Е. Исаев. Его поэтическое мышление в резкой степени политизировано. И в «Суде памяти» и в «Дали памяти» — все подчинено крупным политическим идеям. Поэт нашел здесь образы монументальные, «глубиные», образы большого идейно-политического наполнения и почти зримого мускульного напряжения. Исаев, как и Маяковский, использует в своих политических поэмах приемы плаката. Как и Маяковский, Е. Исаев берет мир крупно, его стихам свойственно ощущение космичности бытия. Поэма «Суд памяти» легко соотносится с поэмами Маяковского «Война и мир», «Человек», а ее широким размахом, создающим впечатление всемирного действия, гигантской сценической площадки, напоминает «Мистерию-буфф». Поэма «Даль памяти» родственна великой поэме Маяковского «Владимир Ильич Ленин», в которой «история России дана в гигантском историческом разбеге». Есть перекличка поэм Е. Исаева и В. Маяковского и в некоторых формальных особенностях (укрупненность образов, символичность, продуманное приращение «лесенки»). Главное же в том, что поэзия Е. Исаева — это борющаяся поэзия.

С докладом «Маяковский и поэзия братских народов» выступил доктор филол. наук В. А. Шошин. Он сказал, что Маяковский не только явился крупнейшим реформатором мировой поэзии XX века, но и стал основоположником как русской советской, так и всей многонациональной советской поэзии. Интернационализм Маяковского не только не противоречит национальной основе его творчества, но непосредственно вырастает из нее. Выразив то, что было названо «русским революционным размахом», Маяковский передал устремленный в будущее братский интернационализм русского народа как коренную черту его национального характера. Духовное тяготение поэтов братских народов к Маяковскому проявлялось и в непосредственной творческой перекличке. Как и Маяковский, Египше Чаренц провозглашает укрепление людей труда; параллельно с Маяковским работает над воплощением образа В. И. Ленина; воспекает Москву как столицу всех угнетенных. Воздействие Маяковского, однако, не следует понимать как механическое усвоение его приемов, он воздействовал «не образами, а содержанием» (Ем. Буков). У русского собрата его коллеги учатся партийности искусства, публицистичности творчества (С. Айни, Хамза Хакимзаде Ниязи,

Г. Гулям, М. Тавк, П. Тычина и др.). В годы Великой Отечественной войны не только крылатые строки Маяковского, но и его традиции были взяты непосредственно на вооружение сражающегося народа. От Маяковского идет и традиции призывного плаката: «Окна ТАСС» военных лет — прямой наследник «Окон РОСТА». Маяковский помогает поэтам братских народов в разработке конкретных тем, например ленинской темы. Показательно, что после освобождения Литвы в 1940 году С. Нерис, работая над поэмой, посвященной В. И. Ленину, одновременно переводит поэму Маяковского «Владимир Ильич Ленин». Традиции Ленинианы Маяковского прослеживаются в произведениях М. Рыльского, М. Джаляля, П. Бровки, М. Миршакара, К. Кулиева и др. В ленинской теме современных авторов видим ту же, что и у Маяковского, борьбу с «хрестоматийным глянцем», обращение к образным резервам родного языка, национальной культуры.

С докладом «Маяковский в зарубежном мире» выступила ст. методист Музея В. В. Маяковского В. Н. Терехина (Москва).³ Докладчица охарактеризовала издания Маяковского за рубежом, постановки его пьес, кинофильмы, посвященные поэту, выставки и работы о нем. Тяготение к личности Маяковского объясняется тем, что он олицетворял собой новый тип писателя, гармонично соединяя искусство с политикой. На Западе особенно усилился интерес к Маяковскому в 60-е годы. Это было связано с усилением движения протеста среди широких слоев трудящихся. Маяковский «выходит» на широкого читателя. Это происходит, например, на таких праздниках, как фестивали газет «Унита» и «Юманите». В странах Азии, Африки и Латинской Америки обращение к опыту Маяковского вызвано необходимостью правильной духовной ориентации, необходимостью избежать как ухода в элитарность, так и буржуазной массовой культуры. Много книг и статей выходит в социалистических странах, где он воспринимается наиболее глубоко.

Основным направлением в изучении наследия Маяковского был посвящен доклад канд. филол. наук В. В. Базанова.⁴

С докладом «Комедия „Клоп“ в творческой эволюции Маяковского» выступил канд. филол. наук В. А. Сарычев (Иркутск). Он подчеркнул, что концепция человека у Маяковского лишена той

³ Статья В. Н. Терехиной также опубликована в № 3 «Русской литературы» за 1983 год (с. 41—56).

⁴ Расширенный вариант доклада см.: Базанова В. В. Маяковский в исследованиях последних лет. — Русская литература, 1983, № 2, с. 200—220.

односторонности, в которой его обвиняла критика 20-х годов. Полемизируя с адептами теории «живого человека», отказываясь от крайностей своей прежней позиции и в чем-то даже споря со своими старыми представлениями, Маяковский в 20-е годы вел борьбу за художественное освоение нового героя. Своеобразно эти поиски поэта выразились в комедии «Клоп», являющейся, с точки зрения докладчика, наглядным свидетельством его творческой эволюции. Первая часть пьесы (сцены из современной жизни) разоблачает философию жизни «для себя». Эта философия была подвергнута острой критике в поэме «Про это», причем критика носила подчеркнуто драматический характер: полемические стрелы были пущены поэтом и в самого себя. Присыпкин, по мнению Маяковского, — итог, сатирическое сгущение всего того, к чему ведет автономия, обособление личного начала. Сложнее обстоит с картинами будущего: ведь до сих пор именно в образе будущего поэт в полной мере воплощал свой идеал. Общество будущего в «Клопе» на эту роль явно не годится, хотя внимательный читатель найдет в нем немало примет «от Маяковского». Исследователи драматургии Маяковского оценивали картины будущего в «Клопе» как «игровой прием», позволяющий поэту ярче оттенить черты современного мещанства. Анализ комедии позволяет подвергнуть сомнению плодотворность этой мысли. С точки зрения докладчика, мир будущего в «Клопе» — доведенное до своего предела (отсюда и комизм ситуации!) воплощение в некую условную действительность пролеткультовской и левовской концепции будущего мироустройства, основанного на воинствующем рационализме. Вот почему в обществе будущего, нарисованном в комедии, в делах, поступках, в словах и мыслях его обитателей иногда встречаются элементы, знакомые читателю по прежним произведениям поэта, они — своего рода опознавательные знаки «родства». Теперь демонстрируя то, к чему мог бы привести последовательный отказ человека от интимной жизни, Маяковский пронизывает над прошлым и предостерегает тех, кто склонен призывать к нивелированию личности и ее полному «растворению» в «деле». Аргумент поэта таков: обезличивание, к которому приводит отказ человека от личного счастья, угрожает не только человеку, но и делу революции, обедняя ее идеалы, опустошая ее изнутри. Этот путь неприемлем для Маяковского.

В докладе канд. филол. наук Н. И. Зайцева (Донецк) «Поэтическая концепция мира в творчестве Маяковского» подчеркивалось, что прочная земная устойчивость и слитность мировоззренческой и эстетической позиции поэта, его планетарная отзывчивость явили собой новый тип художника — не только «водителя» и слуги народа, но одновременно и «водителя мирового искусства», носи-

теля самых заветных идей общечеловеческого прогресса. Поэтическая концепция мира в произведениях Маяковского имеет «родственные корни» с философско-эстетической концепцией «второй природы», разрабатываемой М. Горьким, с концепцией «вселенского счастья и братства людей труда» С. Есенина, с гуманистической космогонией Л. Леонова. Подобно тому, как сочетаются в географическом континууме части и страны света, так и в поэтике Маяковского повсюду неповторимо соотносятся страноведческие ориентиры планеты с философско-пространственными координатами эстетического познания — эти «четыре крика четырех частей», как называл их поэт в послереволюционном издании поэмы «Облако в штанах», — жизнь, политика как идейная вера, любовь и поэзия. Говоря в поэме «Хорошо!» о том, что он обошел почти весь земной шар, поэт видит самое прекрасное бытие в «коммунистическом берегу», там, где «братство рабочих — и никаких прочих!», где люди «породы редкой» делают свою «адовую» работу, превращая землю и жилище в цветущий «город-сад». В поэтической концепции коммунистического жизнеутверждения на планете Советская Земля Маяковского предстала одновременно как лирически очеловеченная и эпически укрупненная, увиденная как бы сверху, из сегодняшнего полета в будущее. Проникновение в пафос социалистического строительства, в образ Ленина имело для Маяковского и то значение, что поэт, познавший к этому времени «сплуд слов» и «слов пабат», обрел в своих стихах высшую художественную точность, органически переплавив лирику души и эпос революционного переустройства мира.

Канд. филол. наук И. В. Денисова (Москва) выступила с докладом на тему: «О развитии традиции Маяковского в современной лирике». Принципы коммунистической партийности, слияние лирики с агитацией, масштабность, стремление к историзму — эти черты поэзии Маяковского стали основополагающей традицией нашей поэзии. Их наследуют и творчески развивают многие поэты, близкие по стилю Маяковскому или совсем не похожие на него. Больше того, именно внешняя непохожесть в поэтике оказывается порою связана с глубинным художественным воздействием традиций Маяковского. Идя по пути прямых сопоставлений, мы суживаем традицию Маяковского. Надо ощущать опосредованность соотношения в художнических исканиях. У Вас. Федорова есть стихи, внешне похожие на Маяковского, но нередко воздействие великого поэта революции ощутимо и в других стихах, как бы идущих от Пушкина. Пушкинская традиция шла через Маяковского, без него современный поэт не смог бы писать так, держать руку на пульсе времени.

В докладе канд. филол. наук В. В. Перхина (Куйбышев) «Из истории изуче-

ния поэтики Маяковского-драматурга» были освещены интересные страницы изучения наследия поэта, тесно связанные с историей теоретического осмысления творческого метода социалистического реализма. В начале 30-х годов указания на общность со стилистикой экспрессионизма (гротеск, гипербола) становились достаточным основанием для того, чтобы обвинить Маяковского в «пренебрежении реализмом» (О. Литовский). Эта тенденция определила ход Всесоюзного совещания драматургов (май 1934 года), но была решительно отвергнута на Первом съезде советских писателей. К середине 30-х годов «чрезмерный гносеологизм» в освоении поэтики Маяковского обнаружил свою полную несостоятельность и в дальнейшем непосредственной роли в изучении его драматургии не играл. Заметный вклад в осмысление метода советской литературы внесли критики — последователи концепции Луначарского. П. И. Новицкий, А. Февральский, А. Гвоздев показали специфику реализма Маяковского-драматурга, его роль в эстетическом обогащении советской литературы. В дальнейшем внимание критики было сосредоточено на изучении функций художественной условности в «Клопе» и «Бане». Была выявлена связь поэтики Маяковского с традициями русской классики, эстетикой русского фольклорного театра, «балаганной сатиры», заложены основы для решения вопроса о национальном своеобразии его драматургии. Продуктивные выводы тех лет предстояло осваивать или открывать заново в 60—70-е годы.

С воспоминаниями на конференции выступил писатель В. Б. Азаров. Он отметил как удачный доклад В. Сарычева. Антимещанская направленность драматургии Маяковского и сегодня имеет важное значение, так как мещанство живо и сейчас. В. Азаров рассказал, как он собирал документацию для переименования Надеждинской улицы в улицу Маяковского, какую работу проделал в качестве составителя посвященного Маяковскому сборника статей и материалов (1940). В книге впервые было напечатано стихотворение А. Ахматовой «Маяковский в 1913 году». В. Азаров прочитал свои стихи, посвященные Маяковскому. Выступление писателя было встречено участниками конференции с большим интересом.

С докладом «Маяковский и современное кино» выступила канд. искусствоведения В. А. Кузнецова (Ленинград). Она отметила, что сфера влияния Маяковского на современную кинематографию определяется отнюдь не только примерами прямого, агитационного воздействия, его испытывает все современное кино. Проблемным, но реальным является сопоставление В. Шукшина и В. Маяковского. Этический максимализм противостоит «малой правде» в таких фильмах, как «Премия», «Прошу слова», «Родня»,

«Донос», «Магистраль», «Остановился поезд» и др. Маяковский обеспечивал каждое свое митинговое слово собственной сопричастностью с жизнью страны и с жизнью своего лирического героя. Начатую Маяковским тематическую линию продолжают, например, фильмы Г. Панфилова. В. А. Кузнецова подробно остановилась на работе Маяковского в кино, соотношении ее с поэтическим творчеством. В докладе отмечено, что по природе своего дарования Маяковский был выдающимся актером, актером-звездой, но в его искусстве отразилось новое понимание места художника в жизни народа.

Канд. филол. наук Ю. А. Мешков (Свердловск) сделал доклад «Маяковский и Асеев». Ю. А. Мешков заметил, что современные поэты часто оказываются слишком робки в поисках новых средств художественной выразительности. В этом плане правомерен, по мнению Ю. А. Мешкова, тезис П. С. Выходцева о необходимости по-новому прочесть традиции Маяковского, видеть в них в первую очередь развитие наследия русской классики, а не его «разрушение». Нельзя упрощать взаимоотношения Маяковского и Асеева. Это были два мастера, два уважающих друг друга человека, а не учителя и ученик. Маяковский и Асеев часто выступали как соавторы, при этом шел процесс взаимного влияния. В то же время их творческие поиски и поступки не только соприкасались, но и порой расходились. Ю. А. Мешков познакомил участников конференции с найденными им путочными стихами Маяковского.

В докладе канд. филол. наук Ю. П. Иванова (Чебоксары) «Твардовский и Маяковский (проблема литературной преемственности)» творческая связь первого со вторым была охарактеризована как диалектическое отталкивание-сближение, не одинаковое на разных этапах пути автора «Василия Теркина». В творчестве Твардовского 30-х годов не наблюдается сколько-нибудь заметной ориентации на Маяковского, хотя его опыт сыграл известную роль в становлении таланта автора «Страны Муравии». Идя по пути лиризации эпоса, Твардовский, начиная с «Дома у дороги», приближается к типу поэмы «о времени и о себе». Способы лирического освоения жизни во всем ее многообразии, жанровые открытия Маяковского, намечившего контуры лирической эпопеи еще в 20-е годы, актуализировались в 50-е, стали необходимыми всей советской поэзии, в том числе и Твардовскому. В докладе отмечается близость замысла и идейно-эстетического пафоса поэмы Твардовского «За далью — даль» поэме Маяковского «Хорошо!». Еще один аспект сближения Твардовского с наследием Маяковского — в понимании общественного назначения сатиры, в обогащении ее жанров и выразительных средств, в выборе объектов обличения. На разных этапах литературного пути

Твардовского, в самых разнообразных жанрах — очерково-сюжетного, лирического, публицистического стихотворения, поэмы и сатиры — в неодинаковой степени, но тем не менее достаточно отчетливо и постоянно прослеживается линия идейно-эстетической преемственности са-мобытного творчества Твардовского с наследием великого поэта револю-ции.

Канд. филол. наук А. И. Михайлов (Ленинград) в докладе «К вопросу о поэтическом образе Маяковского» разделил поэтическую образность в русской поэзии XX века на два типа — «органический» и «интеллектуальный», урбанистический. Если первый соотносится с нерукотворной природой, то второй — с делом рук человеческих. Приверженцы первого типа образов — Есенин, Блок, новокрестьянские поэты, второго — футуристы, поэты Пролеткульта, а также Маяковский. «Конструктивность» образа Маяковского подразумевает активное отношение к природе. Источниками его образности являлись окружавший поэта урбанизированный мир и книга как аккумулятор цивилизации. Структурообразующей, «критической» точкой в метафоре Маяковского являются в основном слова и понятия,

связанные с эпохой технического про-гресса.

Научный сотрудник ИРЛИ Й. Стани-шич выступил с докладом «Маяковский в Югославии». Выдающаяся заслуга Маяковского состоит в том, что он научил поэтов мира говорить с массами. Изучение и пропаганда творчества Маяковского особенно важны в Югославии в силу особенностей ее исторического и культурного развития. Первые переводы Маяковского появились в Югославии в 1921 году. Затем вместе с ростом рабочего движения росло и влияние Маяковского. Большое воздействие оказал советский поэт на Р. Зоговича, который переводил его стихи. Сейчас в Югославии выходит много работ о Маяковском, но среди них есть и такие, которые содержат ошибочные концепции, например работа Н. Богданович, в которой муссируется тезис о Маяковском-футуристе.

Затем состоялось обсуждение докладов. Подводя итоги, В. В. Тимофеева отметила, что все выступления на кон-ференции, затронувшие ряд важных вопро-сов освоения и изучения наследия поэта, стремились показать живое значе-ние Маяковского сегодня.

Д. А. Благова

СЕРВАНТЕСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Пятый год в Ленинграде и второй в стенах Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР проводятся Сервантесовские чтения. На этот раз они состоялись 21 апреля, и в их подготовке, как и в прошлом году, непосредственное участие принимали группа взаимосвязей русской литературы с зарубежными ИРЛИ и ленинградская группа Комиссии АН СССР по комплексному изучению культуры народов Пиренейского полуострова.

У Пушкинского Дома — богатые традиции изучения творчества классиков зарубежных литератур, восприятия их произведений в России, вклада русских писателей, русской и советской науки в осмысление их наследия. Эти традиции были начаты Западным отделом Института литературы и продолжены основан-ным академиком Михаилом Павловичем Алексеевым сектором взаимосвязей рус-ской литературы с зарубежными. Об этом напомнил, открывая заседание, заве-дующий группой взаимосвязей русской литературы с зарубежными, канд. филол. наук Р. Ю. Данилевский. Сами Серван-тесовские чтения, подчеркнул он, есть момент международных связей русской литературы, в данном случае русско-испанских, изучение которых занимает не последнее место в трудах Пушкин-

ского Дома. Приведа слова Гете: «Добрая воля способствует полному знанию», — Р. Ю. Данилевский отметил, что в наше время речь уже идет не только о «доброй воле», но и о «жизненной необходимости» взаимного узнавания и общения культур.

Проф. З. И. Плавский выступил с докладом «Речь дунайского крестьянина перед римским сенатом (Судьба одного гуманистического мотива в европейской литературе XVI—XVII веков)». Сочинение известного гуманиста Антонио де Гевары «Часы государевы и Золотая книга Марка Аврелия» (опубл. в 1529 году) — один из самых ярких образцов ренессансно-гуманистической общественной мысли в Испании. Книга Гевары много раз переиздавалась и в Испании, и в переводе на латинский и почти все европейские языки, в том числе в XVIII веке на русский. Едва ли не центральным эпизодом ее был рассказ Марка Аврелия о жалобе, принесенной сенату Рима дунайским крестьянином на притеснения римских колониальных вла-стей. Образ дунайского крестьянина стал воплощением мудрости бедняка. Об этом свидетельствует упоминание о нем гума-ниста Васко де Кирого, пытавшегося в Мексике реализовать на практике гума-нистическую утопию Т. Мора, а также драматизация эпизода в конце XVII века

в пьесе «Дунайский крестьянин, или Хороший судия не имеет отчизны» драматургом кальдероновской школы Хуаном де ла Ос-и-Мота.

В Италии в переложении книги Гевары, в том числе и рассказа о дунайском крестьянине, осуществленном в 1543 году Розео де Фабриано, особенно подробно развиты утопические мотивы, что ставит произведение Гевары здесь в один ряд с многочисленными социально-утопическими сочинениями, завершающимися в XVII веке «Городом солнца» Т. Кампанеллы. Во французских переводах и пересказах XVI—XVII веков особый акцент часто делался на конфликте между пороками «цивилизированного» общества и «благородным дикарем», предвещающим столь важный в просветительской и романтической литературе образ «естественного человека». Особенно отчетливо, по мнению докладчика, этот конфликт обнаруживается в знаменитой басне Лафонтена «Дунайский крестьянин», одной из наиболее резко обличительных по отношению к абсолютизму переработок эпизода из книги Гевары.

Вопрос о связи творчества Сервантеса с формированием философских взглядов Хосе Ортеги-и-Гассета рассмотрел доцент О. В. Журавлев в докладе «Ортега-и-Гассет: размышления о гуманизме и о Дон Кихоте». Анализировалось содержание писем испанского философа, относящихся к 1905—1907 годам, и знаменитое «Размышление о Дон Кихоте» 1914 года. Было отмечено, что, рассматривая Сервантеса как крупнейшего гуманиста позднего возрождения, Ортега-и-Гассет пытался представить его создателем ренессансного варианта персоналистской философии. С идеалистических позиций философ исследует и поэтику «Дон Кихота». По его мнению, реализм Сервантеса как художественный метод внутренне чужд автору романа о странствующем рыцаре, навязан ему условиями времени. Из выступления О. В. Журавлева явствует, что, ссылаясь на роман Сервантеса, Ортега-и-Гассет доказывал бесперспективность борьбы во имя неких общих целей и идеалов. Возвышенное, считал он, следует видеть не в отдаленном, а в жизненном мире каждого. Социально-историческое содержание гуманизма оказывается тем самым выхолощенным, что отражает эволюцию буржуазного гуманизма.

Бытованию в европейской литературе XVII столетия мотива о союзе человека с дьяволом был посвящен доклад канд. филол. наук В. Е. Багно, который отметил необоснованность мнения о смене «средневековой» фазы литературной судьбы мотива «рукописания» «протестантской». Анализ прежде всего испанских и русских версий, а именно испанских драм эпохи Возрождения и барокко и русских повестей XVII века на эту тему, показывает, что наряду с появляющейся в XVI столетии и развивавшейся

по особому руслу немецкой легендой о Фаусте в новую эпоху в обновленном, обогащенном и углубленном виде продолжали жить и византийские, раннехристианские легенды на тему «рукописания», такие, как сказания об Еладиин, Киприане и Юстине и о Феофиле, хорошо известные как древнерусскому книжнику, так и средневековому западноевропейскому читателю. Древнерусские повести, по мнению В. Е. Багно, не могли иметь много точек соприкосновения с испанскими пьесами XVII века. Тем больший историко-литературный смысл имеют те немногочисленные, но важные в структуре тех и других произведений черты сходства. Принципиальное значение при этом представляют этико-психологические мотивировки союза с силами зла, реальный повод его заключения и развязки повествований. Герой в них вступает в союз с дьяволом не по преступной жажде недозволенного, а по слабости, ослепленный какой-либо страстью; человек заключает с адом договор почти исключительно за обладание женщиной; наконец, поскольку он лишь «оступился» и к дьяволу его привела не «гордыня», ему дается возможность спасти свою душу или даже жизнь. Докладчик пришел к выводу, что отмеченные черты сходства между русскими оригинальными и переводными повестями и такими испанскими пьесами, как «Раб дьявола» А. Мира де Амескуа, «Гигантский огненный столб, Святой Василий Великий» Лопе де Веги, «Осужденный за недостаток веры» Тирсо де Молины, «За худые дела слетает голова» Х. Руиса де Аларкона, «Маг-чудодей» П. Кальдерона, объясняются тем, что все они относятся к одной линии развития мотива, восходят к единой литературной традиции.

В докладе И. Ю. Фоменко «М. Н. Муравьев — читатель „Дон Кихота“» речь шла о неучтенном испанскими рукописным источником, позволяющем дополнить представления о восприятии романа Сервантеса русскими читателями конца XVIII века. Читателей, воспитанных в просветительских традициях, в романе привлекал прежде всего «пародийный, сатирико-полемический аспект». Прочтение романа, как оно зафиксировано в письмах Муравьева его сестре Ф. Н. Луниной, хранящихся в Отделе письменных источников Государственного исторического музея в Москве, показывает, что Муравьев в известном смысле предвосхитил романтическую интерпретацию романа. При этом русский писатель увидел в «Дон Кихоте» не отражение извечной, глобальной борьбы идеала и реальности, но отражение своей собственной, частной биографической коллизии. Как видно из писем Муравьева, в те годы он настойчиво противопоставлял усвоенный при посредстве литературы септимиентализма патриархальный идеал «просвещенного помещика» своему быту «прид-

ворного учителя». Из этого постоянного ощущения разрыва идеала и реальности и возникает у Муравьева тема мечтателя Дон Кихота. Мечтая о добродетельной и полезной жизни, посвященной выращиванию хлеба и воспитанию детей, он прямо называет эти занятия «строением замков в Испании». Важно также, что Муравьев отождествляет себя с Дон Кихотом (в те годы герой Сервантеса, как правило, воспринимался читателями как бы со стороны), называет себя «странствующим рыцарем» и даже принимает решение учить испанский язык.

И. Ю. Фоменко приходит к выводу, что прочтение Муравьевым романа Сервантеса вполне оригинально и закономерно проистекает из его мировоззрения и эстетических взглядов.

В докладе О. А. Светлаковой был произведен анализ художественного времени и пространства в «Дон Кихоте», имеющий немаловажное значение для выяснения этапов эволюции творческого замысла Сервантеса. Композиционное деление первого тома романа на части (соответственно: главы 1—8, 9—14, 15—27, 28—32) имеет к ним лишь косвенное отношение. Первая книга представляет собой развитие идеи, изложенной в первых пяти главах как в законченном произведении, — едкую пародию на рыцарский роман. В целом время и пространство этих глав относительно просто и замкнуто. В шестой главе — открытом публицистическом выступлении автора — можно усмотреть уже более сложную пространственную структуру мысли. В седьмой же главе начинается «новый» роман — о Дон Кихоте, — художественное время и пространство которого, по мысли М. М. Бахтина, открыто в «незавершенную современность». Важнейшую роль в создании такого хронотопа, с точки зрения О. А. Светлаковой, играют новаторское изменение авторской роли в повествовании, образ Санчо Пансы, изменение концепции образа Дон Кихота, усложнение структуры романа за счет вставных новелл и введение подложных «авторов-посредников».

А. Ю. Миролобова выступила с докладом «Словесная игра в „Дон Кихоте“ Сервантеса и „Критиконе“ Граспана». Докладчица попыталась ответить на вопрос: может ли формальное наличие того или иного приема быть показателем принадлежности произведения литературе к той или иной художественной системе? В связи с этим были рассмотрены виды словесной игры, способы ее построения и функции этого приема (характерного для литературы XVII столетия, особенно для маньеризма и барокко) в таких контрастных явлениях литературы, как «Дон Кихот» и «Критикон». Был сделан вывод, что и в том и в другом произведении словесная игра является объединяющим фактором стиля: в ней наиболее отчетливо раскрываются ключевые ситуации, сквозные мотивы обоих романов. В «Дон Кихоте» присутствует как бы несколько планов, «миров». Каждый мир имеет свой голос, но сплитичность речевой стихии романа придает именно прием словесной игры: она соответствует прихотливому сочетанию реальной действительности и иллюзий героя. У Граспана же мир один, хотя и раздроблен на множество аллегорий, составленных в свою очередь из искусных антитез, каламбуров и т. д. Таким образом, формальное наличие приема, отмечает А. Ю. Миролобова, еще не говорит о принадлежности произведения к определенной художественной системе, ибо объединяющий фактор стиля проявляется на стыке слова и ситуации, формы и содержания.

Закрывая заседание, Р. Ю. Данилевский как весьма плодотворную особенность данных Сервантесовских чтений отметил широту и разнообразие их тематики, хронологическими рамками которой служили две эпохи в европейском культурном развитии — Возрождение и барокко. Многообразие подходов к их изучению — безгранично.

В. Е. Багно

ПАМЯТИ В. И. МАЛЫШЕВА

27 апреля 1983 года в седьмой раз собрались коллеги, ученики и друзья доктора филол. наук, заслуженного деятеля науки РСФСР Владимира Ивановича Малышева на ставшие традиционными Малышевские чтения, организованные Древлехранилищем его имени и Сектором древнерусской литературы ИРЛИ. Как и всегда, тематика Чтений была связана в первую очередь с научными интересами самого Владимира Ивановича — с творчеством протопопа Аввакума, старообрядческих писателей,

историей рукописных собраний, собирательской деятельностью. Непосредственно Аввакуму было посвящено два доклада — доктора филол. наук А. М. Панченко (Ленинград) «Аввакум и скоморошество» и канд. филол. наук Н. В. Поньрко (Ленинград) «Аввакум и проблема „культурной памяти“».

А. М. Панченко рассмотрел скоморошество в культурологическом аспекте и выделил несколько этапов истории этого явления на Руси в зависимости от отношения к скоморохам разных социальных

кругов, особенно духовенства. Он показал, как во времена Аввакума происходила «эмансипация смеха» и как, несмотря на резко отрицательное отношение Аввакума к скоморохам, сам он в своих сочинениях создавал скоморошеско-смеховые ситуации.

В докладе Н. В. Поньрко прозвучала мысль о том, что культура, как память, зиждется на особой связи между живыми и мертвыми и что в Древней Руси эта связь была гораздо более тесной, чем в новое время. Аввакум не отделил временной дистанцией персонажей ветхой и новозаветной истории от своих современников. Память об умерших, зафиксированная старообрядческими помянниками, службами святым и молитвой им, есть, по мнению докладчицы, продолжение древнерусской традиции окружения живущих умершими, к авторитету которых постоянно обращается писатель.

Канд. филол. наук Н. С. Демкова (Ленинград) рассказала о новых материалах из собрания Е. Барсова в Отделе рукописей ГБЛ (Москва), связанных с историей Выговской пустыни — важного старообрядческого литературного центра. Это подлинное «дело» XVII века об Олоонецком расколе. Хотя фрагмент его и издавался Барсовым, но как исторический источник почти не привлекался исследователями. Н. С. Демкова обратила внимание на то, что С. М. Соловьеву, судя по тексту его «Истории России», было известно все «дело» полностью. Но найденный текст содержит важные сведения о зачинателе Выга Данииле Викулине. Эта находка, сказала Н. С. Демкова, оказалась включенной в ряд фактов о существенном моменте истории русского старообрядческого движения.

В докладе «Эволюция выговского устава в первой трети XVIII века» канд. филол. наук Л. К. Куандыков (Новосибирск), основываясь на рукописных материалах из собрания Дрвлекранилища Пушкинского Дома, выделил три этапа в развитии устава Выго-Лексинской пустыни с 1702-го по 1730-е годы. Можно отчетливо проследить, отметил докладчик, как в отношении выговских наставников к монашеской традиции проявляются характерные для чювого времени черты рационализма и прагматизма и происходит переориентация Выга на путь буржуазного развития. Л. К. Куандыков пришел к выводу, что на протяжении всей своей истории Выго-Лексинские общешествва были своеобразной религиозной крестьянской общиной, близкой северному мирскому монастырю XV—XVII веков.

Выступление канд. филол. наук Е. К. Ромодановской (Новосибирск) было посвящено открытому В. И. Малышевым Усть-Цилемскому книжнику и интерпретатору многих древнерусских повестей И. С. Мяндину, и в частности, его работе «Повести о царе Аггсе». Изучив мяндинские сборники в собрании Дрвлек-

хранлища, Е. К. Ромодановская проследила три этапа работы Мяндина над Повестью: первоначальную переписку в Северодвинском варианте, затем незначительную правку Повести по всему тексту, представляющую собой освоение Повести Мяндиным и, наконец, вольный пересказ произведения, «свободное варьирование текста в заданных рамках». Этот метод работы И. С. Мяндина как писателя напоминает, по мнению Е. К. Ромодановской, творческий метод сказочника.

Научн. сотр. С. Р. Долгова (Москва) рассказала собравшимся о работе В. И. Малышева в ЦГАДА, где он изучал материалы по истории старообрядчества и творчеству Аввакума. Приезжая в рукописные отделы московских библиотек и архивов, Владимир Иванович не только работал над собственными темами, но и постоянно помогал научными советами, делился сведениями о рукописях, консультировал сотрудников, показывая пример редкой научной щедрости и доброжелательности.

О библиотеке В. И. Малышева, переданной по его завещанию в Дрвлекранилище Пушкинского Дома, сделал сообщение научн. сотр. М. П. Лепехин (Ленинград). Вместе с подобной библиотекой Дрвлекранилища ныне она составляет его рабочую библиотеку. Книжное собрание В. И. Малышева носит исключительно рабочий характер, и главное в нем — Аввакум и литература об Аввакуме. Это издания сочинений Аввакума на русском и иностранных языках, исследовательские работы и художественная литература об Аввакуме, это собранная с не меньшей полнотой литература о патриархе Никоне и старообрядчестве XVII—XVIII веков, полные собрания трудов Е. В. Петухова и А. С. Архангельского, основная литература по русской агиографии (Барсуков, Ключевский, Серебрянский), по русской истории (Татищев, Ключевский, Соловьев), работы советских историков (Тихомирова, Устюгова, Черепнина). Заслуживают внимания библиографические издания, различные словари русского языка, литература об освоении русского Севера и Сибири, о древнерусской музыке. Советская художественная литература, почти вся с дарственными надписями авторов, представлена именами Ф. Абрамова, Е. Дороша, В. С. Журавлева-Печерского, Б. Шергина, Вс. Ник. Иванова, А. Черкасова, Н. П. Смирнова-Сокольского, Г. П. Шторма и многих других. Библиотека В. И. Малышева, сказал докладчик, свидетельствует об определенности и глубине научных интересов ее владельца.

В докладе доктора филол. наук А. Х. Горфункеля (Ленинград) «Бескорыстное усердие к общественной пользе» говорилось о собирателе книг для библиотеки Петербургского университета В. А. Пивоварове (1798—1860). Родом из старинного Углича, Пивоваров по происхо-

ждению и роду своей деятельности (он был старостой университетской церкви) связан с культурой Древней Руси. В 1844 году он обратился к ректору Университета с просьбой принять в дар библиотеке редкие славяно-русские книги XVI—XIX веков, доставшиеся ему по наследству. Среди них было 157 ценных книг и 26 рукописей. В. А. Пивоваров был одним из тех бескорыстных любителей и собирателей русской старины, чьи благородные традиции продолжал всей своей деятельностью В. И. Малышев.

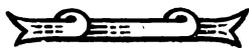
Научн. сотр. В. П. Бударагин (Ленинград) познакомил аудиторию с обзором собрания древнерусских рукописей Кабинета редкой книги научной библиотеки Государственного Эрмитажа, которое в свое время было обследовано В. И. Малышевым. Среди шестидесяти рукописей Кабинета, сказал докладчик, есть и пергаменные, интересен также список первого перевода «Великого Зерцала»,

что является редкостью. Однако судьба этой коллекции в ближайшем будущем неясна. В. П. Бударагин выразил надежду и пожелание, чтобы древнерусские рукописи остались в научной библиотеке Эрмитажа и были бы вскоре как можно более полно изучены.

Завершая Малышевские чтения 1983 года, А. М. Панченко отметил, что в этом году в них приняли участие ученые из многих городов нашей страны. Он поблагодарил всех участников Чтений и тех, кому дорога память о В. И. Малышеве. Хочется думать, сказал А. М. Панченко, что эта добрая традиция будет продолжена и впредь.

Ко дню Чтений в Древлехранилище была открыта выставка новых поступлений 1982 года — рукописей, привезенных из экспедиций и полученных из частных собраний.

М. В. Рождественская



ВИКТОР АНДРОНИКОВИЧ МАНУЙЛОВ

(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Виктор Андроникович Мануйлов относится к тем советским ученым, чей творческий рост начинался в годы перестройки не только социального, но и духовного мира. Перед ними стояла задача взять из накопленного дореволюционной наукой все ценное, приобщить широкого читателя к сокровищам русской культуры. Эпоха во многом определила индивидуальность Мануйлова-ученого.

Наряду с сугубо научными, «академическими» в лучшем смысле слова работами, приверженностью к таким «академическим» жанрам, как научный комментарий, летопись жизни и творчества, в научной деятельности В. А. Мануйлова всегда чувствуется стремление донести достижения литературоведческой науки до самых широких слоев читателей, в том числе и учащихся, которым прямо адресованы многие его книги.

В. А. Мануйлов родился в 1903 году в Новочеркасске в семье врача. Литературные и музыкальные увлечения семьи во многом определили его широкий круг будущих интересов. Этому же способствовало обучение в лучшей частной гимназии Новочеркасска, где особое внимание уделялось литературе, истории, изучению иностранных языков, поощрялось самостоятельное художественное творчество учащихся.

В 1920 году Виктор Андроникович окончил среднюю школу и поступил преподавателем литературы и языка на Военные командные курсы в Новочеркасске. В феврале 1922 года он был переведен по военной службе в Баку, а в 1923 году перешел в политотдел Каспийского военного флота в качестве преподавателя школы повышепного типа для моряков «Красная звезда». Одновременно с февраля 1922 года учился на историко-филологическом факультете Азербайджанского университета в Баку, который в те годы отличался высоким уровнем преподавания гуманитарных наук. Одновременно с Виктором Андрониковичем здесь училось немало будущих известных ученых. В университете он слушал лекции и посещал семинары Вяч. Иванова, М. О. Макковельского, Л. А. Ишкова и др.

Успешно защитив дипломное сочинение о поэме Пушкина «Граф Нулин» и демобилизовавшись из Каспийского военного флота, осенью 1927 года Мануйлов переехал в Ленинград.

С особой благодарностью вспоминает он А. А. Ахматову, которая рекомендовала его П. Е. Щеголеву, известному литературоведу и историку революционного движения в России, в качестве помощника, а тем самым и ученика этого выдающегося ученого. С именем Щеголева связана первая работа Мануйлова по изучению биографии и творчества Лермонтова. В 1929 году в издательстве «Прибой» вышла «Книга о Лермонтове» — свод мемуарных свидетельств о поэте. Она получила высокую оценку в печати. Эта работа, самостоятельно задуманная Мануйловым и выполненная им под руководством П. Е. Щеголева, была хорошей школой для начинающего литературоведа. В частности, она дала возможность получить доступ в рукописный отдел Института литературы, чем он и широко воспользовался, став литературоведом-рукописником, умеющим и любящим добывать свежий материал в рукописных собраниях.

Когда в 1928 году началась подготовка Полного собрания сочинений Пушкина в шести томах, издаваемого в качестве приложения к журналу «Красная нива» под ред. А. В. Луначарского, Д. Бедного, П. Е. Щеголева и П. Н. Сакулина, П. Е. Щеголев привлек В. А. Мануйлова к этой работе. Он стал секретарем редакции и занимался не только организационной, но и текстологической работой.

До этого, с 1921 года, В. А. Мануйлов переносился по вопросам пушкиноведения с М. П. Алексеевым, руководившим в начале 20-х годов Пушкинской комиссией при Одесском Доме ученых, консультировался с М. А. Цявловским, Т. Н. Гроссманом, М. О. Гершензоном, П. Н. Сакулиным. Работа над собранием сочинений Пушкина дала возможность повседневно общаться с Б. В. Томашевским, С. М. Бонди, М. А. и Т. Г. Цявловскими, Д. П. Якубовичем и другими выдающимися учеными-пушкинистами.

С 1931 по 1933 год Мануйлов работал главным библиотекарем фундаментальной библиотеки Ленинградского университета, продолжая занятия по изучению наследия Пушкина и Лермонтова.

В 1936 году Ленинградский академический театр оперы и балета предпринял издание серии небольших сборников, посвященных новым постановкам. В. А. Мануйлова пригласили к участию в этой

серии как автора очерков о произведениях, которые легли в основу опер и балетов. Здесь в полной мере проявился популяризаторский дар В. А. Мануйлова, обнаруживший себя еще в 20-е годы. Его увлекла задача дать театральным зрителям квалифицированные этюды о литературных источниках музыкально-драматических произведений, поставленных на сцене прославленного театра. Первым опытом такой работы был его очерк о «Бахчисарайском фонтане» в связи с балетом на музыку Б. В. Асафьева. Этот очерк был одобрен Ю. Н. Тыняновым и хорошо встречен пушкинистами. Он выдержал три издания, а затем отдельной книжкой вышел в издании Пушкинского общества. Затем в книжках этой серии появились статьи Мануйлова о «Полтаве», «Пиковой даме», «Русалке» Пушкина и «Демоне» Лермонтова. Эти книжки неоднократно переиздавались и пользовались успехом у читателей. Впоследствии в этом жанре статей, посвященных театральной постановке, были написаны Мануйловым «Пушкин и балет» в сборнике Музыкального театра им. В. И. Немировича-Данченко (М., 1936) и «М. Ю. Лермонтов и его запись сказки об Ашик-Керибе» в сборнике Академического Малого оперного театра (Л., 1941).

В 1934 году Б. М. Эйхенбаум приступил к подготовке для издательства «Academia» пятитомного издания сочинений Лермонтова — одного из лучших, не потерявших своего значения и в наши дни, с текстологическим аппаратом и обстоятельными комментариями. К этой работе Б. М. Эйхенбаум привлек молодых филологов; среди них — И. Л. Андроникова, Б. Я. Бухштаба, Е. Р. Малкину, В. Н. Орлова, Т. Ю. Хмельницкую и др. В. А. Мануйлов принял участие во всех пяти томах и составил новые комментарии к письмам Лермонтова и «Летопись жизни и творчества поэта». В следующие годы сотрудничество В. А. Мануйлова с Б. М. Эйхенбаумом продолжалось в ряде других изданий сочинений Лермонтова. Многолетняя работа В. А. Мануйлова под руководством Б. М. Эйхенбаума была не менее плодотворной литературоведческой школой, чем годы ученья у П. Е. Щеголева.

В эти же годы у В. А. Мануйлова возник замысел целого комплекса библиографических работ по Лермонтову. В выполнении этого замысла самое активное участие приняли ныне покойные Н. А. Кузмина и К. Д. Александров. Более двух лет длилось составление библиографии библиографий Лермонтова и описание всех изданий и публикаций его произведений с обязательной их проверкой de-visu. Библиография изданий Лермонтова составила первый том «Материалов для библиографии М. Ю. Лермонтова». Она отличается исчерпывающей полнотой и подробностью библиографического описания: указываются даты цензурного

разрешения, все отклики в печати и пр. Во второй том должны были войти переводы Лермонтова на языки народов СССР и иностранные языки и в третий предполагалось включить все труды по Лермонтову. Второй том был частично подготовлен, но Великая Отечественная война прервала этот труд, а затем скончались и оба составителя. Только в 1980 году издательство «Наука» выпустило в свет «Библиографию литературы о Лермонтове», составленную ученицей В. А. Мануйлова О. В. Мизлер. Это пособие воплотило замысел первой книги третьего тома «Материалов для библиографии Лермонтова». В настоящее время на очереди остается задача составления полной библиографии дореволюционной литературы о Лермонтове.

В 1936 году началась подготовка к столетию со дня смерти Пушкина. В это время (с 1934 года) Мануйлов был одним из руководителей Пушкинского общества — сначала в качестве ученого секретаря, а затем заместителем председателя правления при председателе академике Н. С. Державине, а потом с 1936 года при А. Н. Толстом. В юбилейные пушкинские 1937 и 1949 годы в журналах и газетах появляются многочисленные статьи В. А. Мануйлова о Пушкине, темы которых во многом связаны с его активной лекторской работой и выступлениями в Домах культуры и рабочих клубах, на собраниях Пушкинского общества.

Среди научных работ Мануйлова о Пушкине и Лермонтове следует отметить две работы 1939 года: «Полководец Пушкина» (совместно с Л. Б. Модзалевским) в книге «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии» и «Семья и детские годы Лермонтова» (Звезда, № 9), предшествовавшая первым главам научной биографии Лермонтова, написанной Н. Л. Бродским и изданной в 1945 году.

В годы Великой Отечественной войны В. А. Мануйлов — уполномоченный Президиума Академии наук СССР по Институту литературы (Пушкинский Дом) АН СССР — остается в осажденном городе. Чтобы не тратить время и силы на ходьбу из дома в институт через занесенный снегом, замерзший город, он поселяется в здании института и вместе с небольшой группой оставшихся в Ленинграде сотрудников несет дежурства на крыше здания, участвует в ликвидации поврежденных, в покрытии чердачных перекрытий огнеупорным раствором и проведении других мер по сохранению здания, рукописных и музейных богатств института. «В. А. Мануйлов всюду поспевал; мне казалось, что он никогда не спит, — вспоминала одна из сотрудниц Пушкинского Дома. — Ему мы во многом обязаны сохранением не только оставшихся в нем музейных и архивных ценностей, но и самого исторического здания Пушкинского Дома».

В. А. Мануйлов всегда приходит на

помощь товарищам. Пишущий эти строки не может не вспомнить с благодарностью следующий случай. Вследствие несчастного происшествия в начале 1944 года в Ленинграде я оказался без всяких документов, денег, карточек, обеденных талонов и пр. В. А. Мануйлов, узнав о случившемся, поделился со мной своим скудным блокадным пайком, снабдил деньгами и талонами на обед, помог с возобновлением документов, что было совсем сложно в условиях войны.

Деятельность В. А. Мануйлова в Институте литературы в годы войны послужила темой стихотворения Вс. Азарова «Хранитель Пушкинского Дома».

Вместе с тем он участвовал в продолжавшейся научной работе института: писал книги и брошюры в специальной «Оборонной серии», выпускавшиеся в осажденном городе, организовывал и проводил научные заседания, читал лекции в госпиталях и на предприятиях, был членом редколлегии журнала «Звезда».

В декабре 1945 года В. А. Мануйлов в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР защитил кандидатскую диссертацию на тему «Жизнь и творчество Лермонтова. Детство и отрочество». В 1948 году во втором лермонтовском томе «Литературного наследства» (т. 45—46) были напечатаны его статьи «Утраченные письма Лермонтова», «Лермонтов и Краевский», «Бумаги Е. А. Арсеньевой в Пензенском государственном архиве» и «Отклики современников на смерть Лермонтова».

В. А. Мануйлов широко известен прежде всего как лермонтовед и пушкинист. С 1958 года он член Пушкинской комиссии АН СССР, но круг его научных интересов очень широк. Им написано несколько работ о Чехове, в том числе книга «А. П. Чехов» (1945). Творчество Л. Н. Толстого всегда вызывало исследовательский интерес Мануйлова. Лето 1946 года по приглашению С. А. Толстой-Есениной, тогда директора «Ясной Поляны», он провел в этом заповеднике и занимался изучением Толстого. После этого на протяжении нескольких лет издавались и переиздавались статьи Мануйлова о повестях «Хаджи-Мурат» и «Казаки». Статья «Кавказские рассказы и повести Толстого» — предисловие к сборнику произведений Л. Н. Толстого подвела итоги этой работы, а в 1978 году в журнале «Звезда» была напечатана статья «Вслед за Лермонтовым», в которой идет речь о сходстве и различиях творческих индивидуальностей Толстого и Лермонтова.

Н. В. Гоголю посвящена книга «Гоголь в Петербурге» (1961), в соавторстве с А. Н. Степановым и М. И. Гиллельсоном, а также статьи: «Петербургские повести Гоголя» (1952), о постановке «Ревизора» в театре драмы им. Пушкина (1952), «Гоголь и Русь» (1969) и др.

В 1979 году вышла книга В. А. Ма-

нуилова «Белинский в Петербурге», написанная вместе с Г. П. Семеновой. В ней Мануйлов поставил перед собой задачу показать живую личность Белинского и его роль в становлении русской интеллигенции XIX века. Кроме того, в ряде работ Мануйлова рассматривается вопрос об отношении Белинского к Лермонтову, а также о борьбе Белинского за Гоголя.

Мануйлов не занимался специально изучением Достоевского, но его статья «Друг Достоевского Чокан Валиханов» ввела в литературу о Достоевском неопубликованные письма и материалы об этом казахском просветителе.

Среди статей, относящихся к литературе второй половины XIX века, следует упомянуть вступление и публикацию неизвестной статьи М. К. Цебриковой (1935) и публикацию воспоминания М. Николевой о В. Г. Короленко (1958).

В статьях Мануйлова о советской поэзии творчество поэтов постоянно рассматривается в тесной связи с их личностью. Такому ракурсу способствовало личное знакомство его с А. Ахматовой, С. Есениным, М. Волошиным, Н. Тихоновым, В. Рождественским и др.

Много сил и времени отдал Мануйлов исследованию творчества М. Волошина, привлечению молодых сил к изучению его жизни и поэзии, к сохранению и восстановлению дома-музея поэта в Коктебеле. В настоящее время исследователем подготовлен для серии «Литературные памятники» том литературно-критических статей поэта «Лики творчества» с подробным комментарием.

Параллельно с научно-исследовательской работой В. А. Мануйлов читает курсы в вузах: еще в 1943—44 годах в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена — введение в литературоведение, затем в Ленинградском библиотечном институте им. Н. К. Крупской (1948—1957) и Ленинградском университете (1951—1977) он читает курсы по литературе XIX века и литературоведению. В своих лекциях Виктор Андроникович всегда стремится не только сообщить необходимые сведения об изучаемых предметах, но и дать возможно более полное представление об эпохе, обрисовать литературное явление на широком историко-культурном фоне, а также привить вкус к размышлениям. Его лекции и особенно спецсеминары по Лермонтову пользовались исключительной популярностью у студентов и сыграли значительную роль в становлении поколения литературоведов. В Ленинградском университете Мануйловым была защищена докторская диссертация по совокупности работ о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова (1967).

Лермонтовские спецсеминары дали возможность вместе с участниками этих занятий В. Вацуро и М. Гиллельсоном создать пособие для высшей школы «Се-

минарий» по Лермонтову (Учпедгиз, 1960), явившееся в известной мере и итоговой книгой, и подготовкой к «Лермонтовской энциклопедии».

В том же 1960 году группа энтузиастов приступила к работе над созданием первой персональной энциклопедии, посвященной великому русскому поэту.

Тогда же в Пензе вышла книга «М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников», подготовленная В. А. Мануйловым совместно с М. Гиллельсоном, и впоследствии с некоторыми дополнениями, но и сокращениями, издававшаяся в Гослитиздате (1964 и 1972). Этот самый полный свод мемуаров о Лермонтове, снабженный комментариями, так же облегчил дальнейшую работу над созданием «Лермонтовской энциклопедии».

Не раз в различные издания сочинений Лермонтова в разных редакциях включалась «Летопись жизни и творчества Лермонтова» (начиная с 1937 года в 5-м томе изд. «Academia»), но отдельным изданием она вышла в издательстве АН СССР только к 150-летию со дня рождения поэта — в 1964 году. К сожалению, в этом издании не могли быть учтены многочисленные труды лермонтоведов, появившиеся в юбилейный год, в том числе таких исследователей, как И. Андроников, Э. Герштейн и мн. др. Впоследствии в «Лермонтовскую энциклопедию» включен дополненный вариант «Летописи», но без обоснования фактов и дат, без библиографических источников, что делает совершенно необходимым переиздание «Летописи» отдельной книгой со всеми дополнениями, которые можно сделать со времени выхода издания. «Летопись» также оказалась очень нужной при создании Лермонтовской энциклопедии.

Таким образом, в течение ряда лет В. А. Мануйлов сосредоточил внимание на подведении итогов многолетних трудов русских и зарубежных исследователей Лермонтова, и издание «Лермонтовской энциклопедии» явилось логическим завершением этой работы. При ее создании в полной мере проявился организаторский талант В. А. Мануйлова, который как

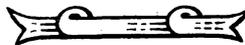
никто умеет привлечь молодежь к задуманному им делу, увлечь перспективами научного замысла, заразить своим энтузиазмом. Он никогда не опасается привлекать к делу новых, еще не испытанных в научных трудах помощников. Случайные, неуверенные, слабые сами отстают, по его убеждению, отойдут в сторону, зато в работе раскроются деловые качества и возможности тех, кто может участвовать в научном процессе. И тут щедрость, с которой Виктор Андроникович готов отдавать свое время, силы, замыслы статей и темы научных исследований, не имеет границ. Не случайно именно к нему в свое время обратился известный лермонтовед Л. П. Семенов, советуя начать подготовку «Лермонтовской энциклопедии». Взяв на себя всю тяжесть неблагоприятной организационной и редакторской работы и думая только об интересах издания, В. А. Мануйлов легко отказывался от написания статьи для энциклопедии, если для нее находился другой автор. При этом ему были чужды не только материальные интересы, но и ранимость авторского самолюбия, часто являющаяся помехой в коллективных начинаниях.

Двадцатитрехлетний труд ученого-исследователя, ученого-организатора, ученого-наставника над этим изданием завершился в 1981 году выходом в свет «Лермонтовской энциклопедии».

«Лермонтовская энциклопедия» явилась не только завершением двадцатитрехлетнего целеустремленного труда В. А. Мануйлова, но в известном отношении подвела итоги лермонтоведению за весь предшествующий период, позволил намечать дальнейшие пути науки о Лермонтове, одной из неотложных задач которой становится сейчас создание нового академического собрания сочинений поэта.

Пожелаем же В. А. Мануйлову с новой свойственной ему неистощимой энергией приступить к выполнению и этой важнейшей задачи лермонтоведения.

Д. С. Лихачев



КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА МУРАТОВА

(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

В науке о литературе, особенно в той ее части, которая посвящена истории русской словесности, имя Ксении Дмитриевны Муратовой известно всем. Ее труды по истории русской литературы конца XIX—начала XX века представляют собою важный этап в развитии филологической исследовательской мысли, в горьковедении — она признанный знаток биографии и творчества основоположника социалистического реализма, в библиографии и источниковедении — непревзойденный специалист, искусный редактор и опытный организатор.

Ксения Дмитриевна Муратова родилась 13 (26) января 1904 года в городе Болхове. Здесь в 1920 году началась ее трудовая деятельность, здесь на Орловщине, в литературном краю России, зародилась у нее любовь к русской литературе, жажда ее познания. Уже с опытом библиотечной работы пришла К. Д. Муратова на литературное отделение Государственного института истории искусств, которое успешно окончила в 1928 году. Годом раньше она закончила высшие курсы библиотекведения при Государственной публичной библиотеке, где занималась параллельно с учебой в Институте. Проработав несколько лет библиотекарем и библиографом в массовых и научных библиотеках Ленинграда, К. Д. Муратова в 1934 году пришла в Пушкинский Дом. И с тех пор вся ее научная деятельность, за исключением военных лет, связана с этим центром советского литературоведения, где она прошла путь от библиотекаря и младшего научного сотрудника до признанного в нашей стране и за рубежом ученого.

Большую роль в жизни К. Д. Муратовой сыграло ее долгое сотрудничество с С. Д. Балухатым, известным своим трудом, посвященным Чехову и Горькому, а также по библиографии и источниковедению. Замечательный знаток русской литературы XIX—начала XX века, С. Д. Балухатым в 30-х годах заведовал библиотекой Пушкинского Дома. Именно он совместно с К. Д. Муратовой создал здесь ту систему каталогов, которой пользуется не одно поколение литературоведов.

Настоящую филологическую школу

К. Д. Муратова прошла именно у С. Д. Балухатого. Под его руководством она комментировала сочинения Чехова, вместе с ним составляла горьковские библиографии, которые подготовили базу для научного освоения биографии и творчества великого пролетарского писателя. В работе над этими библиографиями К. Д. Муратова и сама стала профессиональным горьковедом. Вместе с В. А. Десницким и С. В. Касторским она долгие годы активно занималась горьковедением в Пушкинском Доме, не оставляя его и сейчас. Ее горьковедческие исследования многочисленны, разнообразны и, что самое главное, весьма авторитетны.

В горьковедении К. Д. Муратова от источниковедческо-библиографических разысканий переходит к созданию фундаментального исследования, в котором рассматривает творческую и общественную деятельность Горького на широком фоне литературного движения в стране в двадцатые—тридцатые годы. В этом исследовании много внимания уделяется роли Горького в общественно-литературной борьбе первых лет революции. По сути дела этот вопрос здесь решается заново, решается с позиций марксистско-ленинской методологии и на основе обширнейшего источниковедческого материала, в большинстве своем впервые вводимого в научный обиход. В 1959 году книга К. Д. Муратовой «М. Горький в борьбе за развитие советской литературы» Президиумом Академии наук СССР удостоена премии им. В. Г. Беллинского.

Горькому Ксения Дмитриевна посвятила около пятидесяти работ. Среди них статьи о фольклорных и литературных традициях в его творчестве, о связях с современной ему литературой и искусством («Горький и Лесков», «Максим Горький и Леонид Андреев», «Сопутники (В. Вересаев и М. Горький)», «Горький и фольклор», «М. Горький и советский театр», «Горький и советская сатира» и др.), исследования об отдельных произведениях («Сказки об Италии», «Русские сказки», публицистика), раскрывающие творческую лабораторию Горького, главы о нем в десятитомной академической «Истории русской литературы» (1954), в четырехтомной «Истории русской литературы» (1983), в учеб-

нике для 10-го класса средней школы (1976). В качестве пособия для преподавателей литературы издательство «Просвещение» дважды (в 1956-м и 1982 году) выпустило в свет подготовленные К. Д. Муратовой семинарии по Горькому. В 1971 году Пушкинский Дом издает ее книгу «М. Горький на Капри. 1911—1913 гг.», воссоздающую один из сложнейших этапов творческой биографии писателя, освещающую многообразие его литературной и публицистической работы.

В горьковедении труды К. Д. Муратовой отличаются особенной глубиной познания исследуемого материала. Ей знакомы в мельчайших подробностях не только биография и произведения самого Горького, не менее основательно и компетентно она может судить о литературной, культурной, общественно-революционной действительности, современной писателю, о предшественниках его в горьковских традициях в позднейшей литературе. Эта глубина познаний пришла к К. Д. Муратовой в результате постоянного, огромного и кропотливого труда. Сейчас не в моде слово «подвижник», а жаль! — именно этим словом следовало бы обозначить одну из наиболее замечательных особенностей К. Д. Муратовой как ученого и как человека. Люди такого типа появляются в науке не часто, но, появившись, способствуют созданию в ней новых направлений, открытию и определению перспектив дальнейшего ее движения. Другая черта К. Д. Муратовой — это многообразие интересов, позволяющее не замыкаться на творчестве одного писателя, а охватывать целые эпохи в литературе. Ведь Горький — это крупнейшая фигура той эпохи, изучению которой многие десятилетия посвятила К. Д. Муратова, поэтому в ее работах исследованы многие писатели, начиная с Чехова. Среди них Леонид Андреев, И. Бунин, В. Вересаев, А. Кузрин, В. Брюсов и другие представители реалистического направления в русской литературе конца XIX—начала XX века. К. Д. Муратова убедительно отклоняет существовавшее ранее мнение о глубоком кризисе в русской литературе рассматриваемой эпохи. Важнейшие в этом отношении выводы сделаны в подготовленном под ее руководством коллективным труде «Судьбы русского реализма» (1972). Изучая творчество писателей-реалистов, она аргументированно доказывает, что художественные поиски этой поры были плодотворными и перспективными, поэтому говорить о кризисе нет оснований. Наоборот, эти поиски привели к зарождению нового метода — социалистического реализма. И К. Д. Муратова была одной из первых, кто

обратился к исследованию художественных принципов метода социалистического реализма на ранних этапах его развития. Этому и посвящена вышедшая в 1965 году ее монография «Возникновение социалистического реализма в русской литературе».

Среди специалистов по литературной библиографии К. Д. Муратова по праву пользуется заслуженным уважением; после появления библиографических указателей по истории русской литературы — она признанный руководитель в этой области нашего литературоведения. Начиная К. Д. Муратова свой путь библиографа пятьдесят лет назад. В 1933 году под редакцией С. Д. Балухатого вышел в свет составленный ею указатель «Периодика по литературе и искусству за годы революции. 1917—1932». Это была первая в нашей стране библиография подобного типа, которая, к сожалению, так и осталась единственной. В конце 50-х—начале 60-х годов К. Д. Муратова возглавила в Пушкинском Доме Сектор источниковедения и библиографии, в котором не только были созданы известные указатели по истории русской литературы, но и воспитано целое поколение библиографов. Значение трудов, созданных под руководством К. Д. Муратовой, заключается в том, что благодаря им повысился общий уровень нашей русистики, оснащенные фактами и доказательствами стали ее выводы и концепции. Из индивидуальных библиографических исследований К. Д. Муратовой следует назвать кроме горьковских указателей свод дореволюционной литературы об А. Н. Островском (1974) и библиографию «А. В. Луначарский о литературе и искусстве» (1964).

Долгое время Ксения Дмитриевна заведовала Рукописным отделом Пушкинского Дома, редактировала его «Ежегодник», работала в редколлегии журнала «Русская литература». Сейчас в Пушкинском Доме она возглавляет группу библиографов, которая занимается составлением библиографии по истории русской литературы XIX—начала XX века. Это продолжение известных трудов, в 60-е годы вышедших под ее редакцией.

Доброго Вам здоровья, творческих успехов, Ксения Дмитриевна. Читатели и литературоведы с нетерпением ждут Ваших новых книг — историко-литературных, источниковедческих и, конечно же, библиографических, которые так необходимы для дальнейшего успешного развития нашей науки, советской культуры и литературы.

*А. П. Овчаренко
В. Н. Баскаков
Л. Ф. Еришов*



ПО ПОВОДУ СТАТЬИ ТАКАСИ КИМУРЫ «ГРУЗИНСКИЙ ВОПРОС В ПОЭМЕ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА „МЦЫРИ“»*

Статья Т. Кимуры вызывает недоумение, начиная с заглавия. «Грузинского вопроса», темы о «русско-грузинских отношениях» как исходного момента возникновения замысла, как главной темы в развитии ее сюжета в поэме «Мцыри» нет.

Преувеличенные представления о месте и функциях краеведческих элементов в идейно-художественной структуре лермонтовской поэмы, как справедливо указано в статье Н. А. Любович, «заключают в себе несомненную опасность упрощения ее сложной генетической основы»¹ (курсив мой, — К. Г.), что в свою очередь неизбежно приведет к обеднению ее содержания.

О чем поэма Лермонтова? В чем ее основная тема, идея? В чем состоит ее пафос?

В нашей историко-литературной науке давно получила признание, концепция, опирающаяся на Белинского, по которой «Мцыри» рассматривается в ряду высших достижений жанра романтической поэмы. В ней исследователи находят не отражение какого-то отдельного частного момента, а обобщенное выражение авторского сознания, воплощение идеала Лермонтова.

Для правильного понимания содержания и пафоса «Мцыри» нужно, прежде всего, отличать внешнюю канву повествования от внутренней темы. Иначе путаница неизбежна.

Географическая среда (место действия) составляет весьма важный элемент в художественной концепции поэмы «Мцыри», но он целиком подчинен задаче раскрытия внутренней темы.

Произведения Лермонтова проникнуты ярко выраженным личным началом, лиризмом. При их изучении бросается в глаза редкая последовательность в пристрастии к определенному кругу идей, мотивов. И герои поэта одни и те же. Они кочуют из произведения в произведение. Все они, живущие и действующие в разные эпохи, в различной среде, в различных странах и ситуациях, объединены

общностью натуры, темперамента, страстей.

Герой поэмы «Мцыри» не составляет исключения. То, что обозначено высшим понятием ее «внутренней темы», присутствует первоначально в «Исповеди» (1829—1830), «Боярине Орше» (1835—1836). Связь «Мцыри» с ранними поэмами Лермонтова не внешняя, а глубоко органичная, о чем свидетельствует факт включения в текст «Мцыри» целых отрывков из ранних поэм. Автор переносит события из одной страны (на литовской границе) в другую (Испания), а герой один и тот же, и мотивы (тоска по воле и родине) те же. Отсюда можно сделать только один вывод: *географическая среда (место действия) не имела для автора решающего значения.*

В 1837 году Лермонтов побывал в Грузии. Великолепные картины горной природы, встреча со стариком-монахом, рассказ о трагической судьбе юноши-горца, попавшего в грузинский монастырь, тоскующего по воле и родине, побудили поэта вернуться к своему излюбленному герою и излюбленной теме, чему способствовали яркие впечатления от природы Грузии. Психологические предпосылки к созданию поэмы «Мцыри» были тонко подмечены Белинским: «... вся природа сама несла и подавала ему материалы, когда писал он эту поэму. Кажется, будто поэт до того был отягощен обременительной полнотою внутреннего чувства, жизни и поэтических образов, что готов был воспользоваться первую мелькнувшую мыслью, чтоб только освободиться от них, — и они хлынули из души его, как горящая лава из огнедышащей горы...»²

Пафос поэмы «Мцыри» — в отрицании всего того, что гнетет свободный дух человека, в «неутолимой тоске» заточенного в монастыре юного горца «по дикой воле», в тоске по отчизне, с которой его разлучили.

Природа в «Мцыри» — активно действующее начало. Она «заполняет почти все произведение... наделена огромной силой внутренней жизни...»³

* Japanese Slavik and East European Studies, Vol. 3, 1982.

¹ Любович Н. «Мцыри» в идейной борьбе 30—40-х годов. — В кн.: Творчество М. Ю. Лермонтова. 150 лет со дня рождения. 1814—1964. М., 1964, с. 107.

² Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. IV. М., 1954, с. 543.

³ Максимов Д. Поэзия Лермонтова. Л., 1959, с. 243.

«Мцъри» — лирическая поэма. Она, по словам Белинского, «почти вся состоит из исповеди». В ней отражена личность поэта, его «мятежные» мечты, его идеалы. «... Что за огненная душа, — писал Белинский, — что за могучий дух, что за исполинская натура у этого мцъри! Это любимый идеал нашего поэта, это отражение в поэзии тени его собственной личности. Во всем, что говорит мцъри, веет его собственным духом, поражает его собственной мощью».⁴

Из сказанного не следует, что исследователь в изучении поэмы Лермонтова не вправе избрать другой аспект, искать в «Мцъри» отражение исторической действительности, отражение русско-грузинских отношений конца XVIII—начала XIX века. Для такого подхода текст поэмы дает достаточное основание. В ней очевидно «обилие грузинского элемента». События происходят в Грузии. Присутствует там и история Грузии в таких лаконичных деталях, как разрушенный монастырь, гробницы последних грузинских царей. Присутствует и судьба Грузии, с упоминанием факта добровольного ее вхождения в состав России.

Японского исследователя интересует только один вопрос: об идейной позиции Лермонтова в «Мцъри», его отношении к продвижению России на Кавказ. На этой почве Т. Кимура вступает в полемику с общепринятой в нашем литературоведении точкой зрения: Лермонтов добровольное вхождение Грузии в состав России в 1801 году воспринимал как явление неизбежное и прогрессивное, что ясно выражено в заключительных строках первой строфы поэмы:

И божья благодать сошла
На Грузию! — она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасая врагов,
За гранью дружеских штыков.

(IV, 149)

По утверждению Т. Кимуры, во всем виновато «сходное» чтение текста. Слова поэта «советские лермонтоведы» понимают в прямом смысле, в чем и видит он причину их ошибочного взгляда на идейную позицию автора поэмы. «Исследователи, как правило, — пишет он, — отождествляют повествователя в экспозиции поэмы с самим поэтом. При этом они понимают слова повествователя в прямом значении (курсив мой, — К. Г.), не предполагаая иного чтения текста. К тому же, в названных работах слабо уделяется внимание идейно-композиционным отношениям между экспозицией поэмы и последующими строфами. Это значит, что взгляд советских лермонтоведов на позицию самого поэта к этому известному историческому событию можно считать правиль-

ным только тогда, когда он будет проверен и доказан по этим трем пунктам. Следует заметить, что собственное мнение поэта о том или ином реальном явлении не всегда или не полностью совпадает с тем, что говорит произведение в целом...» (с. 58).

Свою задачу автор статьи видит в «определении идейного содержания поэмы „Мцъри“ на фоне вопроса присоединения Грузии к России в 1801 году» (с. 58).

Игнорирование значения религиозной принадлежности различных народов Кавказа в их судьбе в конкретной исторической обстановке конца XVIII—начала XIX века приводит автора статьи, по крайней мере, к странным утверждениям. «В самом начале поэмы, — пишет он, — изображены развалины монастыря. Давно ли он был разрушен? Нет, недавно. Еще „немного лет тому назад“ этот монастырь функционировал». И далее: «Самой собой разумеется, что несчастье не случилось с каким-либо реальным грузинским монастырем, а что это, скорее всего, вроде символического пейзажа всеобщего духовного краха Грузии того времени. Неизвестно, например, куда ушли монахи. Мы не знаем, что с ними случилось. Зная о той важной роли монастырей в истории грузинской культуры, нельзя не почувствовать в поэме и описании о разорении культурной жизни Грузии в моменты написания „Мцъри“» (курсив мой, — К. Г.; с. 59—60).

Как известно, исторические события, нашедшие отражение в поэме Лермонтова, относятся к концу XVIII—первым годам XIX века. Т. Кимура не без умысла переносит их в конец 30-х годов XIX века, «в момент написания „Мцъри“» (1839 год). Зачем это пошлобылось? Это была уже другая эпоха и историческая обстановка была другая. В риторических вопросах автора статьи таится свой смысл. Давно ли разрушен монастырь, куда ушли (делась) монахи? Из намеков и полунамеков Т. Кимуры можно заключить, что, по его предположению, монастырь разрушен русскими. Но возникает естественный вопрос: для чего русские стали бы разрушать памятники культуры, в данном случае христианские монастыри в единственной Грузии?¹

Ввиду того, что подобная постановка вопроса вступает в явное противоречие с авторским замыслом поэмы и ее реальным содержанием, Т. Кимуре приходится производить ряд операций. Он ищет «двойственность» «во многих образах „Мцъри“», противоречие между начальными двумя строфами поэмы, названными им «экспозицией», и последующим ее содержанием. «Экспозиция», по словам автора статьи, «приводит у читателей (каких? — К. Г.) впечатление некоторой неуместности и отсутствия композиционной необходимости» (с. 63).

После этого автор статьи перебрасывает мост, соединяющий «судьбу Грузии

⁴ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. IV, с. 537.

и грузинского народа» и «главного героя», несколько не смущаясь, что последний, т. е. «главный герой» поэмы, не грузин, а плененный горец (это отмечается и в статье на с. 65), тоскующий в грузинском монастыре, в неволе о земле своих отцов, «по стороне своей родной».

В своих суждениях «по вопросу о взаимоотношениях России и Кавказа» японский исследователь игнорирует вопрос религиозной принадлежности. Одно дело малые горские народы Дагестана и Северного Кавказа, их покорение Россией. Принципиально другое — армянский и грузинский народы, которые всегда тяготели к России как великой христианской державе.

Известный грузинский писатель демократического направления и деятель народного просвещения Яков Гогобашвили писал в 1877 году: «... Армяне всегда высказывали совершенную преданность России. Что же касается до грузин, то они рождаются с привязанностью к России, так глубока их симпатия к ней и так неразрывна связь, соединяющая с русскими всех грузин от мала до велика... Братство между грузинами и армянами и теснейшее единение с Россией — вот двойной девиз, который слышится из глубины народной жизни».⁵ В этом видел Гогобашвили светлую будущность обоих народов.

Лермонтову не было никакого смысла скрывать от читателей, как предполагает Т. Кимура, «важную тайну» о том, кем разрушен монастырь (с. 58). Картина развалин монастыря могла появиться в «экспозиции» поэмы в духе традиции романтического пейзажа, в котором живописные руины были в числе важнейших аксессуаров. Если даже предположить — и это вполне допустимо, — что Лермонтов видел руины какого-то реального монастыря («... Столбы обрушенных ворот, И башни, и церковный свод»), и в этом случае совершенно ясно, что он никак не мог быть разрушен русскими.

Т. Кимура искусственно притягивает друг к другу два различных элемента, стоящих на различных ярусах в идейно-художественной структуре поэмы («судьба Грузии и грузинского народа» и судьба пленного юноши-горца). Это сближение понадобилось автору статьи для обоснования своей исходной позиции. «М. Ю. Лермонтов, — пишет он, — сравнивает Мцыри с „цветком темничным“». Большая идейная нагрузка этого образа несомненна». И далее вывод: «Не мшило ли тогда и цветение Грузии в тени своих садов на основе божьей благодати, о чем рассказывает повествователь в экспозиции? Какова судьба темничного цветка? Мцыри рассказывает в своей исповеди.

Но что ж? Едва взошла заря,
Палящий луч ее обжег
В тюрьме воспитанный цветок...»

Цвела ли Грузия на солнце, „под живительными лучами“? Нет, она цвела „в тени“ садов. Читатели (о каких читателях идет речь? — К. Г.) здесь находят скрытое значение за метафорическим изображением „цветущей Грузии“» (с. 67).

Таков способ «нового» своеобразного прочтения лермонтовской поэмы. От «метафоричности» к «символике», от «символики» к «аллегориям» (с. 68, 69), поиск «иносказательного подтекста» там, где его нет. Главное: не нужно доверять поэту, понимать его слова в их прямом значении. Причина ошибок «советских лермонтоведов» заключается именно в том, что они «понимают слова повествователя в прямом значении» (с. 58, 69). «Разве можно верить наивно и простолюдню словам повествователя, которые производят с первого взгляда впечатление, будто автор одобряет действительное положение грузинско-русских отношений в конце 30-х годов XIX в.» (с. 66).

При помощи подобного «метода» аргументации можно приписать Лермонтову что угодно. Если бы поэт думал, что Грузия после ее добровольного вхождения в состав России «не цвела», то он нашел бы нужные слова. Нет основания не верить в искренность поэта. Находил же он в себе гражданское мужество и пугливые слова в поэме «Измаил-Бей», где он открыто выражает свое сочувствие к горцам, где герой поэмы, обращаясь к русскому воину, говорит:

За что завистливой рукой
Вы возмутили нашу долю?
За то, что бедны мы, и волю
И степь свою не отдадим
За злато роскоши нарядной...»

(III, 192)

В «Измаил-Бее» Лермонтов, изображая войну как страшное народное бедствие, показывает ее жестокие будни (убийство казака в начале поэмы). Поэт горячо сочувствует народам Кавказа в их борьбе с самодержавием. Он рисует скорбные картины разоренного врагами мирного края:

Горят аулы; нет у них защиты,
Врагом сыны отечества разбиты

.....
Как хищный зверь, в смиренную обитель
Врывается штыками победитель...»

(III, 201)

В «Измаил-Бее» автор осуждает войну. Его симпатии на стороне героически отстаивающих свободу своего отечества горцев. Совершенно иная идейно-психологическая основа в «Бородино». Воспевание подвигов русских воинов вызвало

⁵ Летопись дружбы грузинского и русского народов с древних времен до наших дней, т. I. Тбилиси, 1961, с. 104—105.

не ложным патриотизмом, а сознанием торжества справедливости. Французы напали на Россию. Русский солдат защищает честь и свободу родины. С этих же позиций Лермонтов подходит к кавказской войне, и батальные сцены в «Измаил-Бее» имеют такую же героическую окраску.⁶

Т. Кимура пытается опираться на И. Л. Андроникова. Но известный советский исследователь жизни и творчества Лермонтова с полной определенностью высказывает свое отношение к поставленному им же вопросу о мнимом противоречии между «экспозицией» (словами поэта о «божьей благодати» и «цветущей Грузии») и последующим текстом поэмы. «Противоречия нет, — пишет Ираклий Луарсабозич. — Здесь сказалось понимание исторической судьбы Грузии и умение Лермонтова отличать Россию — великую страну от Российской империи, славу царских колонизаторов от той роли, которую Россия была призвана сыграть в судьбе кавказских народов. Строки о Грузии свидетельствуют, что сочувствие к кавказским народам не мешало Лермонтову воспринимать продвижение России на Кавказ как явление неизбежное и прогрессивное. . . Присоединение к России обеспечивало Грузии безопасность от внешних врагов и представляло собой единственно возможный путь для развития ее экономики и культуры».⁷

События на Кавказе конца XVIII — первых лет XIX века, добровольное вхождение Грузии в состав России (1801 год) и предшествующий этому «дружест-

венный трактат» с Россией (1783 год) грузинские передовые деятели рассматривали как важнейшие рубежи в исторической судьбе грузинского народа. Александр Чавчавадзе писал в 1857 году о том, что Георгий XIII «не ошибся в выборе», обратившись к России, «зная данную приверженность к ней грузин», «намерение его было принято с единодушным восторгом народа».⁸ Характеризуя положение Грузии после ее вхождения в состав России, Илья Чавчавадзе писал: «Наступило новое время, время покоя и безопасной жизни для обескровленной и распятой на кресте Грузии. . . Была заложена грань мирной жизни. С этого дня никто не осмелился переступить эту грань с огнем и мечом. . .»⁹ Другой выдающийся деятель грузинской литературы, Эгнатэ Ниношвили, отмечал тот факт, что Россия пришла в Грузию «не с помощью войны и насилия». «Наше объединение с Россией, — писал он в романе «Восстание в Гурии» (1902), — произошло по нашей же воле».¹⁰

Нет основания видеть скрытый смысл в строках великого русского поэта. Позиция автора «Мцыри» ясна. Никакой двойственности. В оценке событий конца XVIII — начала XIX века он исходил из исторической реальности. Да, как бы то ни было, при всем том, «божья благодать» сочила на Грузию, потому что вхождение (добровольное) Грузии в состав России исторически-объективно, независимо от политики царизма, вопреки этой политике, открывало путь к культурному возрождению грузинского народа.

Е. Н. Григорьян

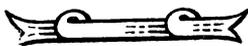
⁶ См.: Григорьян Е. Н. Лермонтов и романтизм. М., 1964, с. 107—109.

⁷ Андроников Ираклий. Лермонтов в Грузии в 1837 году. М., 1955, с. 51.

⁸ Летопись дружбы . . ., с. 90.

⁹ Там же, с. 104.

¹⁰ Там же, с. 105.



УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» В 1983 ГОДУ

СТАТЬИ, ИССЛЕДОВАНИЯ

	№	Стр.
Абрамов А. М. Об одном незавершенном замысле Маяковского (поэмы «IV Интернационал» и «Пятый Интернационал»)	4	72
Акашкин В. М. Дом и мир (художественные искания А. Твардовского в раннем творчестве и «Стране Муравии»)	1	77
Базанов В. В. «Удивительно талантливый поэт. . .» (к столетию со дня рождения Демьяна Бедного)	1	42
Волкова Л. С. О некрасовских традициях в послевоенном творчестве Твардовского	1	60
Выходцев П. С. Велимир Хлебников	2	53
Выходцев П. С. Маяковский — национальный поэт	3	20
Гончаров Б. П. О народных истоках рифмы Маяковского	2	35
Горелов А. А. О «византийских» легендах Лескова	1	119
Горский И. К. Об исторической поэтике и сравнительном литературоведении	3	79
Грознова Н. А. «Октябрьская революция как художнику мне дала все. . .» (о творческой эволюции А. Н. Толстого)	1	24
Дудин М. А. Поэт. Рыцарь. Человек	1	3
Иезуитов А. Н. Марксизм в действии	3	3
Иезуитов А. Н. Партия и актуальные задачи науки о литературе	4	3
Иезуитова Р. В. В. А. Жуковский. Итоги и проблемы изучения (к 200-летию со дня рождения поэта)	1	8
Кочеткова Н. Д. Сентиментализм и Просвещение (о преемственности идей в русской литературе конца XVIII—начала XIX века)	4	22
Лебедев Ю. В. О проблематике и поэтике литературно-критических работ М. Е. Салтыкова-Щедрина	3	112
Лихачев Д. С. Поэтика повторяемости в «Слове о полку Игореве».	4	9
Мысляков В. А. «Критическая мысль» в социологических концепциях Салтыкова-Щедрина (Щедрин и Лавров)	1	94
Овчаренко А. И. Семидесятые годы	2	3
Павловский А. И. День и вечность (о философских воззрениях Александра Твардовского)	4	84
Петрунина Н. Н. Первая повесть Пушкина («Гробовщик»)	2	70
Салим Аднан. О проблематике романа И. С. Тургенева «Новь»	4	58
Скатов Н. Н. Кольцо и русская культура (конец 30-х годов XIX века)	4	38
Терехина В. Н. Маяковский в зарубежном мире	3	41
Тимофеева В. В. «Я к вам приду. . .»	3	9
Хватов А. И. Мера историзма	2	21
Чудаков А. П. Истоки чеховского сюжетного новаторства	3	97
Шошин В. А. Пафос всенародного единства (из опыта русской советской поэзии 30-х годов)	3	57

ФОЛЬКЛОРИ И ИСТОРИЯ

Азбелев С. Н. Народный эпос и история (к изучению национального своеобразия)	2	104
Балашов Д. М. Эпос и история (к проблеме взаимосвязей эпоса с исторической действительностью)	4	103
Новичкова Т. А. Функциональное своеобразие былин и проблема их историзма	3	129
Фроянов И. Я., Юдин Ю. И. Об исторических основах русского былинного эпоса	2	90

ПОЛЕМИКА

Бузник В. В. Приобщая к человечности (о центральной коллизии романа Ю. Бондарева «Выбор»)	2	118
Емельянов Л. И. Об интерпретации художественного произведения	1	145
Каминский В. И. Некоторые проблемы гносеологии классицизма в русской литературе	1	134
Охрименко П. П. О хронологических рамках литературы Киевской Руси	4	113
Творогов О. В. К вопросу о периодизации литературы Киевской Руси	4	118

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Багно В. Е. Письмо Л. Толстого в романе Асорина «Воля»	1	158
Баскаков В. Н. Ученый и книга (о библиотеке академика М. П. Алексеева)	2	184
Бегунов Ю. К. Источники сказки С. Т. Аксакова «Аленький цветочек»	1	179
Березина В. Г. Дополнение к статье «Из цензурной истории журнала „Московский телеграф“»	4	133
Битюгова И. А. Страница из научной биографии ученого (к 100-летию со дня рождения В. Е. Евгеньева-Максимова)	4	180
Бударагин В. П. Новые поступления в Древлехранилище Пушкинского Дома	2	168
Веленгурин Н. Ф. Еще о кубанских маршрутах Лермонтова	4	136
Галаган Г. Я. Л. Толстой 1900-х годов и роман Горького «Мать»	1	152
Горбенко Е. П. К биографии Е. Л. Милькеева	1	197
Гужиева Н. В. Книга и русская культура начала XX века (Брюсов)	3	156
Дьяконова Ю. Н. Русско-якутские фольклорные связи	2	175
Ефимов В. В. Две статьи А. В. Луначарского о Льве Толстом	4	164
Желтова Н. И. По поводу интерпретации отзыва В. И. Ленина о романе М. Горького «Мать»	3	143
Захаров В. А. Две поездки М. Ю. Лермонтова на Кубань	4	139
Кафанова О. Б. «Юлий Цезарь» Шекспира в переводе Н. М. Карамзина	2	158
Китайник М. Г. Об утерянной рукописи «Переписки Д. Н. Мамина-Сибиряка»	1	164
Короткина Л. В. Письма Н. К. Рериха В. Я. Брюсову	4	173
Кошелев В. А., Скачкова С. В. «Звонкий мир философических созвучий» (В. И. Соколовский)	2	150
Лобач-Жученко Б. Б. Марко Вовчок и И. С. Тургенев (о некоторых живучих ошибках и неизвестных биографических фактах)	2	143
Маркова Т. Н. Анна Ахматова в творческой судьбе Л. Татьяничевой	3	150
Моисеева Г. Н. Новые материалы по истории Апостола 1307 года с цитатой из «Слова о полку Игореве»	4	128
Морозов А. А. Загадка лермонтовского «Штосса»	1	189
Пузов В. В. Первое послание Б. А. Жуковского к П. А. Вяземскому	1	187
Рыжова М. И. Миле Клопчич — переводчик и популяризатор русской литературы	3	172
Свиясов Е. В. Гоголь и царская цензура	2	147
Станишич Йоле. Лермонтов в Югославии (воздействие лермонтовской поэзии на Й. Дучича)	3	184
Творогов О. В. Литератор Иван Михайлов	2	164
Тиме Г. А. О новых материалах второго академического собрания писем И. С. Тургенева	4	151
Травушкин Н. С. Буревестник до и после Горького (символ, метафора, слово-сигнал)	4	158
Феньевши Иштван (Венгрия). Первые венгерские переводы «Жития» Аввакума	3	168
Фойницкий В. Н. Одна из любимых песен В. И. Ленина	3	148
Ханпира Э. И. Об одной группе гротескных слов у Маяковского	4	175
Шершевская М. А. И. С. Тургенев в письмах Генри Джеймса	2	133

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Базанов В. В. Маяковский в исследованиях последних лет	2	200
Баскаков В. Н. Библиография: история, теория, практика (к 50-летию журнала «Советская библиография»)	4	196
Баскаков В. Н. Советская энциклопедия по книговедению (Книговедение. Энциклопедический словарь. М., «Советская энциклопедия», 1982, 664 с.)	1	240

- Бегунов Ю. К. Древнеславянское язычество и русская культура (Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., «Наука», 1981, 606 с.) 4 211
- Генералова Н. П. Живое наследие (А. В. Луначарский в оценке современного советского литературоведения) 1 209
- Данилевский Р. Ю. Швейцарская русистика 1 234
- Дмитриев Л. А. 600-летний юбилей Куликовской битвы 1 216
- Говальски Э., Хирше А. (ГДР). Исследования и публикации по русской и русской советской литературе в ГДР (1970—1980-е годы) 4 186
- Коровин В. П. Обобщение разысканий (Пустильник Л. С. Жизнь и творчество А. Н. Плещеева. М., «Наука», 1981, 142 с.) 1 245
- Котельников В. А. Наследие русской критики (Чернышевский Н. Г. Письма без адреса. М., 1979; Добролюбов Н. А. Избранные статьи. М., 1980; Гоголь Н. В. Избранные статьи. М., 1980; Аксаков И. С., Аксаков К. С. Литературная критика. М., 1981; Баратынский Е. А. Разума великодушный пир. М., 1981; Герцен А. И. Письма издалека. М., 1981; Тургенев Н. С. Статьи и воспоминания. М., 1981; Некрасов Н. А. Поэт и гражданин. Избранные статьи. М., 1982; Одоевский В. Ф. О литературе и искусстве. М., 1982; Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу. М., 1982; Карамзин Н. М. Избранные статьи и письма. М., 1982; Салтыков-Щедрин М. Е. Литературная критика. М., 1982; Афанасьев А. Н. Древо жизни. М., 1983) 3 230
- Левин Ю. Д. М. П. Алексеев — исследователь русско-английских литературных связей (Русско-английские литературные связи. (XVIII век—первая половина XIX века). Исследование академика М. П. Алексеева. — Лит. наследство, т. 91. М., «Наука», 1982, 863 с.) 3 223
- Лихачева О. П. Южнославянская книжность в ленинградском собрании (Иванова К. И. Български, сръбски и молдо-влахийски кирилски ръкописи в сбирката на М. П. Погодин. София, Издателство на Българската Академия на науките, 1981) 2 232
- Михельсон В. А. Две книги о взаимосвязях братских литератур (Крутикова Н. Е. Взаимодействие и сближение братских литератур народов СССР. Киев, об-во «Знание» УССР, 1980, 64 с.; Кривошапова С. А., Маевская Т. П., Чалый Д. В. Освободительное движение и русско-украинские литературные взаимосвязи. Киев, «Наукова думка», 1982, 256 с.) 4 209
- Михнюкевич В. А. Книги о сказе. Замысел и воплощение (Федь Н. 1) Путешествие в мир образов. М., 1978; 2) Зеленая ветвь литературы. Русский литературный сказ. М., 1981) 3 238
- Николаев С. И. Польская художественная литература в русской и советской печати (1711—1975) (Курант И. Л. Польская художественная литература XVI—начала XX вв. в русской и советской печати: Указатель переводов и литературно-критических работ на русском языке, изданных в 1711—1975 гг., т. I. Отв. ред. Б. Ф. Стахеев. Wrocław, Ossolineum, 1982, 296 с.) 3 218
- Николаев С. И. Поэтика славянского театра XVII—первой половины XVIII века (Софронова Л. А. Поэтика славянского театра XVII—первой половины XVIII в. Польша, Украина, Россия. М., «Наука», 1981, 263 с.) 4 207
- Ровда К. И. Труды и думы чехословацких русистов 3 205
- Семенов Е. И. Русская эстетика в памятниках и документах (Русские эстетические трактаты первой трети XIX века. Сост., вступ. статья, примеч. З. Каменского. В 2-х томах. М., 1974, т. I, 408 с., т. II, 647 с.; Катенин П. А. Размышления и разборы. Сост., вступ. статья, примеч. Л. Г. Фризмана. М., 1981, 374 с.; Киреевский И. В. Критика и эстетика. Сост., вступ. статья и примеч. Ю. В. Манна. М., 1979, 439 с.; Русская эстетика и критика 40—50-х годов XIX века. Вступ. статья В. Кантора и А. Основата. М., 1982; Григорьев Аполлон. Эстетика и критика. Вступ. статья, сост. и примеч. А. И. Журавлевой. М., 1980, 496 с.; Чернышевский Н. Г. Избранные эстетические произведения. Сост. А. М. Ушаков, вступ. статья, коммент. У. А. Гуральника. М., 1974, 550 с.; Добролюбов Н. А. Избранное. Сост. А. М. Ушаков, вступ. статья У. А. Гуральника. М., 1975, 439 с.; Потемкина А. А. Эстетика и поэтика. Сост., вступ. статья и примеч. И. В. Иванько и А. И. Колодной. М., 1976, 614 с.; Плеханов Г. В. Эстетика и социология искусства. Сост. Н. Н. Сибиряков. Вступ. статья М. А. Лифшица. Примеч. И. Л. Галинской. В 2-х томах. М., 1978, т. 1, 631 с., т. 2, 439 с.) 2 220

ЗАМЕТКИ, УТОЧНЕНИЯ

Зленко Г. Д. Неучтенные публикации произведений А. Блока	1	252
Михайлова Т. А. «Старина о большом быке» и некоторые параллели в мировом фольклоре (мотив похищения скота)	3	242
Шустов А. Н. Комментарии требуют уточнения	1	249
Эльзон М. Д. Телеграмма А. П. Чехова	3	243
ХРОНИКА	1	254
	2	235
	3	244
	4	217
	2	243
Алексей Сергеевич Бушмин		
Григорьян К. Н. По поводу статьи Такаси Кимуры «Грузинский во- прос в поэме М. Ю. Лермонтова „Мцыри“»	4	236
Кишкин Л. С. Письмо в редакцию	1	260
Ковалев В. А. Неоправданные упреки	3	262
Лихачев Д. С. Виктор Андроникович Мануйлов (к 80-летию со дня рож- дения)	4	230
Овчаренко А. И., Баскаков В. Н., Ершов Л. Ф. Ксения Дмитриевна Муратова (к 80-летию со дня рождения)	4	234



НОВЫЕ КНИГИ

- Актуальные проблемы классической филологии. [Сб. статей. Вып. 1. Отв. ред. А. А. Тахо-Годи]. М., Изд-во МГУ, 1982, 168 с. (Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова).
- Альманах библиофила. [Вып. 13. Гл. ред. Е. И. Осетров]. М., «Книга», 1982, 255 с.
- Беленкова Л. П. Д. И. Писарев как историк философской и общественной мысли. М., Изд-во МГУ, 1983, 126 с.
- Белинский В. Г. Современные заметки. [Сборник. Вступ. ст. и примеч. П. А. Николаева]. М., «Сов. Россия», 1983, 395 с.
- Болдинские чтения, 11-е. С. Большое Болдино (Горьковской обл.). 1982. [Материалы]. Горький, Волго-Вятское книжное изд-во, 1982, 190 с.
- Вопросы русской литературы. Респ. межвед. науч. сб. [Вып. 2 (40). Редколлегия: Н. В. Николаев (отв. ред.) и др.]. Львов, «Вища школа», 1982, 128 с.
- Гессен А. И. Набережная Мойки, 12. Последняя квартира А. С. Пушкина. Минск, «Нар. асвета», 1983, 240 с.
- Гоголь и современность. Творч. наследие писателя в движении эпох. [Сб. статей. Редколлегия: Г. В. Самоиленко (отв. ред.) и др.]. Киев, «Вища школа», 1983, 150 с.
- Громов М. Н. Максим Грек. М., «Мысль», 1983, 199 с. (Мыслители прошлого).
- Жуков Д. А. Алексей Константинович Толстой. М., «Молодая гвардия», 1982, 383 с. (Жизнь замеч. людей. Серия биогр. Осн. в 1933 г. М. Горьким. Вып. 14 (631)).
- Заволокин А. Д., Заволокин Г. Д. Частушки Западной Сибири. Новосибирск, Западно-Сибирское книжное изд-во, 1982, 158 с.
- Зайка С. В. М. Горький и русская классическая литература конца XIX—начала XX века. М., «Наука», 1982, 144 с. (Ин-т мировой лит-ры).
- Кантор В. К. «Братья Карамазовы» Ф. Достоевского. М., «Художественная лит-ра», 1983, 192 с.
- Карамзин Н. М. Избранные статьи и письма. [Вступ. ст. и коммент. А. Ф. Смирнова]. М., «Современник», 1982, 351 с.
- Кардашевский Г. Р. Досюветская драматургия А. И. Софронова. Якутск, Книжное изд-во, 1982, 103 с.
- Коровин В. И. Русская поэзия XIX века. М., «Знание», 1982, 128 с.
- Лазарева М. А. Трагическое в литературе. Лекции. Для студентов-заочников филол. фак. гос. ун-тов. М., Изд-во МГУ, 1983, 119 с.
- Лихачев Д. С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Л., «Наука», 1982, 343 с. (Ин-т русской лит-ры).
- Ломов А. Г. Фразеология в рукописях А. Н. Островского. [Тексты и лекции, ч. 1]. Самарканд, СамГУ, 1982, 60 с. (Самаркандский гос. ун-т им. Алишера Навои).
- Лубянская Г. И. Типология стилизованных течений русской лирической поэзии. Учеб. пособие. Тула, Тульский ГПИ, 1982, 122 с.
- Никитина Н. А., Никитин В. П. Ясная Поляна. Путеводитель по заповеднику. Тула, Приокское книжное изд-во, 1982, 126 с.
- Никишов Ю. М. Концепция героя в романе Пушкина «Евгений Онегин». Учеб. пособие. Калинин, КГУ, 1982, 88 с. (Калининский гос. ун-т).
- Осьмакова Л. Н. Хрестоматия по теории литературы. [Пособие для студентов. Сост. Л. Н. Осьмакова. Вступ. ст. П. А. Николаева]. М., «Просвещение», 1982, 448 с.
- Проблемы творчества Ф. М. Достоевского. Поэтика и традиции. [Сб. статей. Редколлегия: Т. В. Захарова (отв. ред.) и др.]. Тюмень, ТГУ, 1982, 113 с. (Тюменский гос. ун-т).
- Путилов Б. Н. Героический эпос черногорцев. Л., «Наука», 1982, 239 с. (АН СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая).
- Русская литература и фольклор. (Вторая половина XIX в.). [Отв. ред. А. Горелов]. Л., «Наука», 1982, 444 с. (Ин-т русской лит-ры).
- Салтыков-Щедрин М. Е. Литературная критика. [Вступ. ст. и коммент. Ю. В. Лебедева]. М., «Современник», 1982, 349 с.
- Семченко А. Д., Фролов П. А. Мгновения и вечность. К истокам творчества М. Ю. Лермонтова. Саратов, Пенза, Приволжское книжное изд-во, 1982, 183 с.
- Сплютина О. Ф., Теплинский М. В. Темы контрольных работ по русской литературе XIX века. Для студентов-заочников III—IV курсов фак. рус. яз. и лит. пед. ин-тов. М., «Просвещение», 1983, 103 с.
- Теория и практика преподавания русской и советской литературы студентам из ГДР. Материалы науч.-метод. конф. [Редколлегия: П. П. Шуба (отв. ред.) и др.]. Минск, Изд-во БГУ, 1983, 160 с.
- Толстой читает Гете. [Сборник пер. Сост. и вступ. ст. Т. Л. Мотылевой. Автор примеч. А. Аникст, Н. Вильмонт. Худож. М. Г. Рудаков]. Тула, Приокское книжное изд-во, 1982, 463 с.
- И. С. Тургенев и русская литература. [Редколлегия: Г. Б. Курляндская (отв. ред.) и др.]. Курск, КурГПИ, 1982, 164 с. (Науч. труды Курского гос. пед. ин-та, т. 217).
- Учебный материал по теории литературы: литературный процесс и развитие русской культуры XVIII—XX вв. [Сб. ст.]. Таллин, ГПИ, 1982, 99 с.

- Федоров В. И. История русской литературы XVIII века. [Учебник для студентов пед. ин-тов]. М., «Просвещение», 1982, 335 с.
- Цеткин К. Искусство—идеология—эстетика. [Сборник. Пер. с нем. Вступ. ст. Г. Фридлендера. Комментар. С. В. Попова]. М., «Искусство», 1982, 415 с.
- Н. Г. Чернышевский. История. Философия. Литература. [Сборник. Редакция: А. А. Демченко (отв. ред.) и др.]. Саратов, Изд-во Саратовского ун-та, 1982, 254 с.
- Эпоха реализма. Из истории междунар. связей русской лит-ры. [Сб. статей. Отв. ред. М. П. Алексеев]. Л., «Наука», 1982, 328 с. (Ин-т русской лит-ры).
- Аборский А. И. Душа брата. Лит. портреты. Ашхабад, «Туркменистан», 1983, 184 с.
- Асадуллаев С. Г. Эстетический идеал и социальная активность писателя. Баку, «Язычы», 1982, 306 с.
- Базанов В. Г. Сергей Есенин и крестьянская Россия. [Послесл. Л. Емельянова]. Л., «Сов. писатель», 1982, 303 с.
- Барковская А. Ф. Великое братство. Лит. народов СССР в школе. Минск, «Нар. асвета», 1982, 176 с.
- Батин М. А. Павел Бажов. Свердловск, Средне-Уральское книжное изд-во, 1983, 209 с.
- Бикмухаметов Р. Г. Орбиты взаимодействия. Монография. М., «Сов. писатель», 1983, 239 с.
- Блажес В. В. П. П. Бажов и рабочий фольклор. Учеб. пособие по спецкурсу для студентов филол. фак. Свердловск, УрГУ, 1982, 104 с. (Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького).
- Богомолова З. А. «Как эхо долины родной...» Ст., очерки, воспоминания. [Вступ. ст. А. Блинова]. Ижевск, «Удмуртия», 1983, 303 с.
- Борзунов С. М. Михаил Алексеев. Встречи. Книги. Размышления. М., «Московский рабочий», 1983, 192 с.
- Боровиков С. Г. Алексей Толстой. Очерки. М., «Сов. Россия», 1982, 158 с. (Писатели Сов. России).
- Борщук В. И. Поле битвы идей. Современная зарубежная критика о сов. лит-ре. М., «Сов. писатель», 1983, 415 с.
- Бугаенко П. А. Русская советская литературная критика (1935—1955). Хрестоматия. [Для филол. фак. пед. ин-тов]. М., «Просвещение», 1983, 271 с.
- Васильева И. А. Всеволод Рождественский. Очерк жизни и творчества. Л., «Сов. писатель», 1983, 240 с.
- Взаимодействие жанров в художественной системе писателя. Межвуз. сб. науч. тр. [Редакция: Б. И. Пуришев (отв. ред.) и др.]. М., МГПИ, 1982, 177 с.
- Вишневская И. Л. Трудовые будни в свете рампы. Пьесы и спектакли 70-х гг. М., «Искусство», 1982, 158 с.
- Власенко А. Н. Федор Гладков. Страницы жизни, страницы творчества. М., «Современник», 1983, 272 с.
- Вопросы литературы народов СССР. Респ. межвед. науч. сб. [Вып. 8. Редакция: В. В. Фашенко (отв. ред.) и др.]. Киев, Одесса, «Вища школа», 1982, 166 с.
- Горбачев В. В. Временем назначена цель. М., «Правда», 1982, 47 с.
- Гулиев Г. М. Рубежи прозы. Баку, «Язычы», 1982, 177 с.
- Гусев В. И. Испытание веком. Сб. лит.-критич. статей. М., «Современник», 1982, 256 с.
- Давыдова И. Н. В созвездии братских культур. Русские театры на Украине, 1917—1982. Очерки. Киев, «Мистецтво», 1982, 173 с.
- Дарсалия В. В. Быть человеком. Лит.-критич. статьи. Сухуми, «Алашара», 1982, 135 с.
- Даутов Н. Главное — поиск. Лит.-критич. статьи. Фрунзе, «Кыргызстан», 1982, 208 с.
- Дементьев В. В. Пламя поэзии. Сов. лит-ра 70-х гг.: новые имена. М., «Молодая гвардия», 1982, 222 с.
- Джамбинова Р. А. Дыхание современности. Элиста, Калмыцкое книжное изд-во, 1982, 112 с.
- Дияжева Р. И. С. Н. Марков. Очерк творчества. М., «Сов. писатель», 1983, 175 с.
- Ершов Л. Ф. История русской советской литературы. [Учеб. пособие для филол. спец. ун-тов]. М., «Высшая школа», 1982, 343 с.
- Железнов П. И. Наставники и друзья. Очерки. М., «Сов. писатель», 1982, 239 с.
- Жирков А. В. Крылья творчества — единство и многообразие. Кн. о русско-киргизских лит. взаимосвязях. Фрунзе, «Кыргызстан», 1982, 208 с.
- Задачи коммунистического строительства и перспективы развития советской филологии. [Межвуз. сб. Редакция: П. А. Дмитриев (отв. ред.) и др.]. Л., ЛГУ, 1982, 227 с.
- Золотницкий Д. И. Академические театры на путях Октября. Л., «Искусство», 1982, 343 с.
- Иванов А. Д. Всеволод Иванов. Лит. портр. М., «Сов. Россия», 1982, 156 с. (Писатели Сов. России).
- Идейно-стилевое многообразие советской литературы. Сб. науч. трудов. [Редакция: С. И. Пешуков (отв. ред.) и др.]. М., МГПИ, 1982, 195 с.

- Книпович Е. Ф. Жизнь и память. Статьи. Воспоминания. М., «Сов. писатель», 1983, 335 с.
- Корн Р. Э. Воспоминания. [О В. Гиршоне и Л. Афиногенове]. М., «Правда», 1982, 47 с.
- Г. Д. Красильников — писатель и человек. Ст., воспоминания. [Сост. З. Богомолова, В. Вапюшев]. Ижевск, «Удмуртия», 1982, 231 с.
- Кременцов Л. П. К. Г. Паустовский. Жизнь и творчество. Кн. для учителя. М., «Просвещение», 1982, 96 с.
- Курашинов Б. М. Содружество муз. Нальчик, «Эльбрус», 1982, 203 с.
- Литвинов В. М. Душа таланта. (О мировоззрен. позиции писателя). М., «Знание», 1983, 63 с.
- Литература и современность. [Сборник 19. Статьи о лит-ре 1981 года. Сост. М. Числов. Редколлегия: А. Бочаров и др.]. М., «Художественная лит-ра», 1982, 454 с.
- Литературные связи и проблема взаимовлияния. [Сб. науч. трудов Горьковского гос. ун-та. Редколлегия: И. В. Киреева (отв. ред.) и др.]. Горький, ГГУ, 1982, 119 с.
- Луначарский А. В. Литература нового мира. Обзоры, очерки, теория. [Вступ. ст. и примеч. Н. П. Машовца]. М., «Сов. Россия», 1982, 320 с.
- Марксистско-ленинская критика и литературный процесс. [Сб. науч. трудов. Редколлегия: Е. К. Озмитель (отв. ред.) и др.]. Фрунзе, Б. и., 1982, 162 с.
- Метченко А. И. Избранные работы. В 2-х т. М., «Художественная лит-ра», 1982. Т. 1 — 495 с.
- Минюкин М. В. Современная советская проза о подвиге народа. Пособие для учителей. М., «Просвещение», 1982, 176 с.
- Мущенко Е. Г. Поэтика прозы А. Н. Толстого. Пути формирования эпич. слова. Воронеж, Изд-во Воронежского ун-та, 1983, 106 с.
- Недургов Е. И. Стилистика киносценария. Речь персонажей и ее взаимосвязь с яз. ремарки. [Учеб. пособие]. М., ВГИК, 1982, 64 с.
- О литературе для детей. [Сб. статей. Вып. 25. Редколлегия: В. М. Акимов и др.]. Л., «Детская лит-ра», 1982, 175 с.
- О Сельвинском. Воспоминания. [Сборник. Сост. Ц. А. Воскресенская, И. П. Сиротинская]. М., «Сов. писатель», 1982, 399 с.
- Озеров Л. А. Необходимость прекрасного. Кн. ст. М., «Сов. писатель», 1983, 327 с.
- Петросян А. А. История народа и его эпос. М., «Наука», 1982, 216 с. (Ин-т мировой лит-ры).
- Поспелов Г. Н. Вопросы методологии и поэтики. Сб. статей. М., Изд-во МГУ, 1983, 336 с.
- Проблемы типологии литературного процесса. Межвуз. сб. науч. трудов. [Сборник. Редколлегия: С. Я. Фрадкина (гл. ред.) и др.]. Пермь, ПГУ, 1982, 168 с.
- Русская советская художественная критика, 1917—1941. Хрестоматия [для худож. вузов. Под ред. Л. Ф. Денисовой, Н. И. Беспаловой]. М., «Изобразит. искусство», 1982, 895 с.
- Сагандыкова Н. Ж. Казахская поэзия в русском переводе. (Опыт критич. исслед.). Алма-Ата, «Наука», 1983, 129 с. (АН КазССР. Ин-т лит. и искусства им. М. О. Ауэзова).
- Связи армянской литературы с литературами народов СССР. [Сб. статей. Вып. 2. Отв. ред. Е. А. Алексанян, С. Г. Амрян]. Ереван, Изд-во АН АрмССР, 1982, 320 с.
- Собеседник. Лит-критич. ежегодник. [Вып. 3. Сост. И. И. Ростовцева]. М., «Современник», 1982, 304 с.
- Советско-японский симпозиум по литературоведению, 2-й. Москва. 1981. [Сборник]. М., «Наука», 1983, 119 с. (Ин-т мировой лит-ры).
- Современные литературные музеи: некоторые вопросы теории и практики. [Сост. А. К. Ломунова]. М., НИИК, 1982, 147 с. (Сб. науч. тр. НИИ культуры, № 111).
- Стилистика художественной речи. Межвуз. темат. сб. [Редколлегия: Р. Р. Гельгардт (отв. ред.) и др.]. Калинин, КГУ, 1982, 171 с.
- Суровцев Ю. И. Необходимость диалектики. (К методолог. изучению интернац. единства сов. лит-ры). М., «Художественная лит-ра», 1982, 535 с.
- Творчество. Очерки, воспоминания, штрихи к портр. [Сборник]. Ставрополь, Книжное изд-во, 1982, 382 с.
- Алексей Толстой и Самара. Из архива писателя. [Сборник. Сост. М. П. Лигарева, Л. А. Соловьева. Вступ. ст. В. П. Скобелева]. Куйбышев, Книжное изд-во, 1982, 368 с.
- Толченова Н. П. Слово о Шукшине. М., «Современник», 1982, 160 с.
- Традиции и новаторство в творчестве А. П. Гайдара. [Отв. ред. В. И. Самохвалова]. Горький, Б. и., 1982, 102 с. (Межвуз. сб. науч. тр. Горьковского гос. пед. ин-та, вып. 4).
- Трофимов К. Д. Так закалялась сталь. Новые страницы жизни и творчества Н. А. Островского. М., «Молодая гвардия», 1982, 128 с.
- Устинов А. А. Точка опоры. Лит-критич. статьи. Алма-Ата, «Жазушы», 1982, 400 с.
- Хмельюк Н. Д. Образ героини в советской литературе. Киев, «Вища школа», 1983, 176 с.
- Храпченко М. Б. Горизонты художественного образа. М., «Художественная лит-ра», 1982, 334 с.

- Художественное творчество и литературный процесс. [Сб. статей. Вып. 4. Ред. Н. Н. Киселев]. Томск, Изд-во Томского ун-та, 1982, 159 с.
- Чаковский А. Б.** Литература, политика, жизнь. [Сборник. Вступ. статья Н. Грибачева]. М., Политиздат, 1982, 367 с.
- Что такое литературно-мемориальный музей.** Сб. науч. тр. [Отв. ред. А. В. Бартковская]. М., Б. и., 1981 (вып. дан. 1982), 157 с.
- Шамаева С. Е.** Времен необрывная связь. Заметки о творчестве В. А. Кораблинова. Воронеж, Центрально-Черноземное книжное изд-во, 1982, 103 с.
- Шевлоков П. Ж.** Правда жизни. Литературовед. статьи, творч. портр. Нальчик, «Эльбрус», 1982, 164 с.
- Шпирт А. И.** Поэтические портреты. М., «Знание», 1983, 64 с.
- Эвентов И. С.** Демьян Бедный. Жизнь, поэзия, судьба. М., «Художественная лит-ра», 1983, 191 с.
- Это волшебное слово — театр.** [Сборник. Сост. и авт. предисл. Ю. Ф. Юшкин]. Саранск, Мордовское книжное изд-во, 1982, 60 с.
- Этов В. И.** Современный рассказ. (Пробл. и герои). М., «Знание», 1983, 64 с.
- Юзовский И. И.** О театре и драме. В 2-х т. [Т. 2. Из критического дневника. Послесл. А. А. Анкста]. М., «Искусство», 1982, 429 с.
- Бавин С. П., Гурболик О. А.** Удостоенные Ленинской премии. Библиогр. справ. произведений сов. писателей. М., «Книга», 1982, 127 с.
- М. Горький в печати родного края, 1969—1977. Указатель лит-ры.** [Сост.: О. К. Галенко, Г. Д. Исакова, Г. В. Кашина и др.]. Горький, Волго-Вятское книжное изд-во, 1982, 145 с.
- Долгорукова Т. Н., Нежданова О. Ю., Юдкин С. И.** Центральные государственные архивы СССР. Краткий справочник. М., Гл. арх. упр., 1982, 63 с.
- Исаева И. Н., Гельфанд Н. В., Либман В. А.** Взаимосвязи и взаимодействие литератур мира. Библиогр. указатель (1976—1980). [В 3-х ч. Ч. 1—3]. М., ИНИОН, 1983. (Ин-т мировой лит-ры). Ч. I — 234 с. Ч. II — 208 с. Ч. III — 262 с.
- Книги изд-ва «Современник» за девятую и десятую пятилетки.** М., «Современник», 1982, 179 с.
- Литература и искусство. Рек. библиогр. указатель 1981.** [С. П. Бавин, О. А. Гурболик, Е. Д. Золотарева и др.]. М., «Книга», 1982, 192 с.
- Русские советские писатели. Поэты. Биобиблиогр. указатель.** [Т. 6. Гитович — Н. Дементьев. Сост. И. В. Алексахина, Д. А. Берман, Н. В. Гужиева и др.]. М., «Книга», 1983, 487 с. (Гос. Публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина).
- Соболева Е. Б.** Сибирские огни. Лит.-худож. и обществ.-полит. журнал. Указатель содержания, 1965—1980 гг. Новосибирск, Западно-Сибирское книжное изд-во, 1982, 215 с.
- Урубкова Л. В.** Пушкин и Москва. Указатель лит-ры. Ред. Л. Я. Шрайбер. М., Б. и., 1982, 81 с. (Гос. музей А. С. Пушкина, Центр. гор. Публ. б-ка им. Н. А. Некрасова).
- Цапенко Г. М.** Произведения Л. М. Леонова в переводах на иностранные языки. Отд. зарубж. издания. Указатель лит-ры. М., ВГБИЛ, 1982, 43 с.

ОПЕЧАТКА

В третьем номере журнала за 1983 год по вине типографии допущена опечатка. На 16-й странице 22-ю строку снизу следует читать: «...назвать монографию чешского исследователя Мирослава Микулашека».

Технический редактор *М. Н. Кондратьева*
Корректоры *И. А. Корзинина* и *Г. И. Суворова*

Сдано в набор 03.08.83. Подписано к печати 23.11.83. М-21680. Формат 70×108¹/₁₆. Бумага типографская № 2. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 21.7. Усл. кр.-отт. 22.14. Уч.-изд. л. 27.35. Тираж 10925. Тип. зак. 651.

Издательство «Наука», Ленинградское отделение. 199164, Ленинград, В-164, Менделеевская лин., 1

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука», 199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12